1 р. 90 к.

Индекс 70331

В БЛИЖАЙШИХ НОМЕРАХ
И ВО ВТОРОМ ПОЛУГОДИИ
1991 года
«ЗНАМЯ» ПУБЛИКУЕТ
РОМАНЫ И ПОВЕСТИ:

Василий АКСЕНОВ. Желток яйца
Георгий ВЛАДИМОВ. Генерал и его армия
Олег ЕРМАКОВ. Заклинание против вепря
Франц КАФКА. Письма Милене
Анатолий КУРЧАТКИН. Реквием
Амоз ОЗ. До самой смерти
Александр ТЕРЕХОВ. Зимний день начала новой жизни
Николай ШМЕЛЕВ. Сильвестр
Артур ХЕЙЛИ. Вечерние новости

ISSN 0130-1616. Знамя. 1991. № 4. 1—240.

ЗНАМЯ
4
1991

ISSN 0130-1616

ЗНАМЯ

1991

Май



Ежемесячный
литературно-
художественный
и общественно-
политический
журнал

Выходит
с января 1931 года

Содержание

5

МАЙ

1991

Москва
Издательство
«Правда»

К сведению уважаемых авторов:

Редакция не рецензирует рукописи, а только сообщает о своем решении.

Рукописи, присылаемые на дом работникам редакции, не рассматриваются.

Рукописи менее двух печатных листов редакция не возвращает.

Учредитель — трудовой коллектив редакции журнала «Знамя»

Александр Терехов

ЗИМНИЙ ДЕНЬ НАЧАЛА НОВОЙ ЖИЗНИ

ПОВЕСТЬ

От окна тянуло осторожной, процеженной рамами стужей, и он чувствовал ветер легким немением руки, вздрагиваньем стекла, и он хотел убрать руку под одеяло, но засыпал; и опять поднимался из сна, вынесенный мягкой водою на отмель, — в несколько дыханий умещалось мотание задубевшей в жесть половой тряпки на балконной веревке, шершавой от инея, волнистое провисание штор и рука, немеющая рука.

Руку, нужно убрать руку — он выдыхал это, отталкиваясь от смерти, приближаемой будильником, несъедобным вкусом зубного порошка, пуговицами и петлями, шнурками, бантиками, скрежетом дворницкой лопаты, шагами, извилистой очередью в столовой и хрипом простуженной кассы, и полнейшей памятью о себе и всех и всем, — и он выдыхал, будто гасил этим больничный свет мертвой зимы и настойчивый ветер, бинтующий нечувствительную руку — не надо пока...

Он вздрогнул вдруг, когда в ванной с костяным треском посыпались в раковину зубные щетки, мучительно задергался кран, пытаясь прокашлять комок в своем длинном заржавленном горле, и, наконец, прорвался ровный, нарастающий шелест воды.

Окно загородила уборщица — он увидел шалашик платка и мятый подол синего халата, и ему сделалось стыдно, как всякому, застигнутому чужими во сне, с мокрым пятнышком на наволочке, в детском малодушии жалкой позы, и в нищей мольбе изогнутой рукой.

— Вот как запишу твою фамилию, — обещала уборщица, оглядывая углы. — Эх, ты.

Он проснулся на фамилии, но захотел выдохнуть и ее:

— Грачев, — и стал облизывать зачерствевшие, нерастягивающиеся губы, сглатывая немоту.

— Ведь написано! Рус-с-ским языком! — кричали из ванны, усилив воду — струя вдарила прямо в спусковую горловину с победно яростным клекотом. — Написали: с ванны все вынесть! Шестого травим тараканов! С утра! Хоть трусы с батареи поснимали б! Ладно араб какой, а то — русские ребята. Такой гадюшник! Тараканы эскадронами ходят! Дусь, не буди, ну его в дницу. Дуся, помрет — авось умнее будет...

Уборщица пропала из комнаты, освободив серый оконный простор с дерганиями тряпки на балконной веревке, уже слабыми, погрузневшими, как последние судороги повешенного. Грачев выдохнул еще, отпуская голову в белую трясину с клеймом прачечной, едва успев втащить в пододеяльный жар страдалицу руку и налечь на нее и придавить, греться, греть, не видеть, как уборщица, приложив ухо к паркету, как беглец, выслушивающий топот погони, превратив свое тело в основанье для Медного всадника, запускает дряблую ладонь под кровать, выуживая с коротким, неприятно стеклянным стуком бутылки — его сберкнижку.

Она была потом еще раз, на вдохе: стояла, отдыхающе поводя головой после многоэтапного вставания, и платок ее съехал на затылок, и Грачев видел пыльные, как свалявшийся тополиный пух, волосы, зачесанные к ушам туда и сюда, оставившие посреди широкий, непристойно исподнего цвета пробор.

— Скока бутылок...—она держала их на отлете, схватив за горловины, как гроздь убитых птиц, в ванной качали насос, он скрипел, и коротко пшикала смерть насекомых.—Я точно запишу фамилию. И коменданту. Живо полетишь из общаги. Пинком под зад. А то: выжрут и спят. Выжрут и—спят.

— Грачев,—и он опять оттолкнул выдохом ждущую его жизнь и смерть, вместе с рыжей пылью, поползшей занавесом от бутылок, и вонью тараканьей отравы.

А потом что-то застряло между подрагивающих ресниц и шевелилось, барахталось, как муха в стакане,— он проснулся, раскрыв глаза,— это был таракан, он полз по прыщавой пустыне обесцвеченной холодным бликом стены, медленно, наверное, слабея, но пытаясь быть повыше, прежде чем сорваться. Надо было вставать. Надо вставать.

В столовой Грачев ел, согнувшись к борщу.

Оцепенев, будто собрался топиться в тарелке с кляксой сметаны и строгим вензелем общепита, чуть не засыпал, держась за тяжесть ложки между пальцами.

За стеклянной стеной толстогубые мужики тянули из лопоухого фургона мускулистую тушу, ухватившись за снежные мослы—ему казалось, что их губы, морща к носу наждачную щетину, тянутся к заледеневшему мясу, и отпадают эти губы, как гнилая кожура, обнажая мокрые нетерпеньем костяные зубы, жар слюны, клонят головы вниз—Грачев выронил ложку.

Это только утро дня, еще до вечера—пропасть светла, до сна еще пропасть темна, и все, что может случиться, это: тарелки, под которыми потеет поднос, ноздреватый хлеб, шаги по линолеуму, вечные лица пустых разговоров, книга, поворачивающаяся спиной на пятой странице, молитвенное оцепенение видеозала, вечерние крики, песни, глаза, поседевшие на сгибах карты, чье-то согласное, мягкое, почти нечеловеческое тело, набуханье земли, почерневшей после полива в цветочном горшке, и влажный, неясный вздох ее под плавной струей из графина,— бессмысленность, неизбежность всего — и стаканов олимпийскими кольцами на столе, и равномерный лепет бутылки, и все это еще раз, но чуть уже по-другому, хотя и так же, и спать. И весь этот день, этот день.

Грачев выпрямился, упершись ладонями в стол, встал конвейер с грязной посудой, замолкла очередь на раздаче, стих кассовый аппарат, негритянка в просторном халате вошла в раздевающий луч света, остановилась, все повернули головы и бросили жевать, устал гудеть молочный плафон.

Грачев очень внятно сказал:

— Сегодня, в этот день, я начинаю жить по-новому. Да.

Он ждать не будет, будет жить.

Это значит—идти по снегу, под снегом в институт.

И в комнате Грачев распахнул шкаф — одежда подстерегала во мраке, расположившись рядком, как вечерняя компания в вонючем подъезде: джинсы заставят идти вприпрыжку; костюм принудит косолапить и прямить спину, и быть уверенным; свитер облапит липким неводом, и это будет мягкий плен, и будешь ворочаться в нем, доступный любому удару, как бескостный безрукий мешок.

Грачев выбрал костюм, и тот полетел на кровать беззвучной легкой тенью, как прирос.

Грачев смыкал дверцы у шкафа чуть дыша, боясь разбудить невыбранное, чтобы оно не ломанулось жадно рвать из него свою долю.

И он сказал себе: мы начнем.

Начнем, он стал лицом к зиме, к ее студеной сорной пасти, в которой заперли ветер. Начнем, он, ежась, натягивал рубашку, и пальцы поочередно боролись с пуговицами, он понимал, что ждет его, и говорил: ну, Ну, давайте, давайте, ну.

Он заправлял излишки рубашки в брюки и все ждал, пробирался в чаще звуков к вонючему оку норы, отводя в стороны и заламывая лишние ветки: шипение водопроводных сочленений, редкую капель смывного бачка, ставящую точку после немых предложений, хрупкие коготки снега, царапающие стекло.

Ну! Заваленная мусором и объедками паутинная длинная пазуха за шкафом, ну начнем!

И коротко, нагло хрустнуло, бухнув кровью в лицо, лезвием пресеча дыхание... И хрустнуло еще — уверенные, исполняющие свои дела, не считающие его живым шажки, рядом, в двух шагах, готовые выбраться на свет так же неуклонно, как хрустнуло еще раз!

Грачев резиновыми пальцами хватанул с качнувшегося стола стакан и, зажмурившись, метнул его в черную щель, за шкаф, боясь даже глянуть туда, и отпрянул.

Там что-то дернулось, бумажно, пыльно, темно, шелохнулось, ему почудился писк, утекающий, остренький писк — и все, а он тяжко дышал у окна, перед небритой мордой зимы, видя, как ветер гложет наспех забинтованные березы, облепленные обугленными поцелуями.

Замок два раза щелкнул с аккуратной паузой, качнулась дверь.

— Чего не спится?—сказал сосед, Шелковников, он был с пробежки, его кеды поскрипывали, и он изнурительно высмаркивал нос и харкал в ванной, над трупами тараканов.

— Не май месяц, так вот, тара-та-ра,—теперь он расчесывал короткие, редкие кудряшки, глаза его надулись напряжением и сухо поблескивали, как стекло,—даже моргал с усилием, будто делал знак.

— Опять крысы,—пробубнил Грачев, обернувшись.

Шелковников нехотя положил на место его расческу и теперь орудовал в голове пятерней, поглядывая на соседа между пальцев.

— Да? Может, это я ключ в замке... Пошевелил?

Грачев глянул на него прямо и помотал головой: нет. Нет.

— Ну ты размышляй со мной, вместе,—глухо звал его сквозь снимаемую олимпийку Шелковников.—Ежели б они были. Вот тут. За шкафом. То мы бы их увидели, верно? Хоть бы раз, верно?

Он на коротких ногах подкатил к шкафу и сунул за него голову и продолжал замогильно оттуда:

— Ведь нету! Ни разу. А почему ты заладил: крысы? Может она одна? Один. Хотя—шестой этаж. Откуда?

Ушел к себе на половину и кричал:

— А может, ты больной? И ведь спишь плохо от этого, верно? Ну а если есть—чего так бояться? Это ж—твари. Они нас боятся! Сидят по норам и трясутся! А ты сам трясешься. Как крыса, ха-ха, ха, ой.

И заткнулся, листая страницы и напряженно сопя при чтении.

Грачев оглядел свои ноги, поднес к лицу ладони — от них был свет, как от древесных стружек, он коснулся ими головы и, спохватившись, упрятал свое тело в пиджак. Подумал и твердо продвинулся к шкафу: он посмотрит сам. Он топнул при этом сильно и грозно. Если встреча и суждена, то не сейчас, сейчас — случайность, не тот повод, он топал еще.

Шелковников страдальчески вздохнул и презрительно поцыкал.

И Грачев, как воровскую, тишайшую руку, пустил свою голову в карман за шкафом.

Там было просторно, мог бы на бок прилечь человек, с краю свет вымывал горелые спички, гнутый чайник, которым дрались на втором курсе, рыжий веер газет, молочные пакеты, взрезанные с угла, две пластмассовые урны с продавленным дном, лохмы ржавого шпагата, комки бумаг, сгнившие огрызки вперемешку с окурками, свитки плакатов, а дальше—темень и горы чего-то еще, скрывающие пол, из-под которого приходит это...

И он осторожно подался назад, прикрыв глаза, будто нес от чернильницы перо, боясь сронить каплю.

— Ба-бах!

Грачев резко дернулся, бухнувшись головой о стену и шкаф, мигом вспотев.

Шелковников просиял. Он стоял буквой «эф» и даже насвистывал.

— Это я. Ну как там? Глубоко?

И хохотнул, утирая пальцем под носом.

— Наблюдал за тобой и вспомнил, ха-ха... У нас на призывной комиссии... Парнишка такой. Ему сестра в халате говорит: раздвиньте ягодицы. А сестра такая: губки, глазки. Он раздвинул, нагнулся — она смотрит. А он повернулся и спрашивает: «Ну как там? Не видать моей деревни?»

И он пустил свой отрывистый смех жестяными тарелками в потолок — они разбивались над головой и стекали крошевом по углам.

Грачев медленной рукой вел по лбу — пот, мокро, все стучит внутри.

— И ты... Как медсестра, в зад, верно?

Еще он быстро глянул Грачеву через плечо, мыкнул:

— Ну да, живем мы, конечно, — и ушел к себе, читать. Он собирался качать мышцы, ему надо было знать все про диету.

Грачев подождал непонятно чего и прошел следом.

— Ну что? — как спросонья буркнул Шелковников. — Денег нету. Я читаю. Видишь же.

— А что она ему сказала?

— Кто?

— Медсестра. Тому парню. Который на комиссии.

— А, отправила его на освидетельствование в психушку. Чтоб не шутил. Понял? Я думаю — может, и тебя туда? Подумай. Когда уйдешь — дверь прикрой.

— Я давно хотел тебе сказать, что ты скотина, — скучно выговорил Грачев. — Я три года хочу тебе это сказать. У тебя та часть, что жует, в два с половиной раза больше, чем та, что думает. Цени. Этого тебе никто не скажет.

Шелковников поглаживал грудь, где у него через определенное время начнет прорастать и наливаться курганами сила, и отвернулся в сторону, к стене — там на плакатах напрягались скользкие и разлапистые, как коряги, культуристы.

— Иди поспи, — почти шепнул он. — Или выпей. Или поплачь ночью в подушку. Ведь больше ты ничего не можешь. Береги горло от крыс — отгрызут. Мумия!

И еще крикнул через стену:

— Там в ванной, в стакане — не вода. Это растворитель, пятна чистить. Смотри не хлебни, понял?

Грачев кулаком пхнул дверь, поозирался и, ломанув стеклышко, ткнул твердым пальцем кнопку пожарной сигнализации: ну!

Он топил в стену этот черный глаз, чувствуя, как смертно бьется он, тяжелой кровью стукаясь, стучась в палец, наружу: так, так, так...

По длинному коридору худосочный сквозняк перекатывал свалявшуюся в комья пыль, и все спали, только в читалке, на другом краю, громко, как в лесу, перекликались люди, — сирены не было.

Он отпустил кнопку, хмыкнув: тихо, так тихо и пошел, шлепая тапками, бросив за спину понапрасну погибшее стеклышко — оно клюнуло стену и сухо и длинно скользнуло в пыль...

Администратор отсутствовал. Из читалки бросали комки бумаги, целясь в бумажный мешок. Сухим костром пыль подлизывала стены.

Грачев постоял у читалки, подышал и крикнул неприятным голосом:

— Администратор тут?

Из читалки вылезла задом толстоногая аспирантка, вытянув за собой сильными рывками коробку из-под телевизора, набитую мусором. Коробка упиралась, но аспирантка живо смяла ей бок — и отшвырнула к стене.

— Нету, — отчеканила она, подтягивая пузатые штаны к низкой груди. Майка у нее была с алым мотоциклистом, тот мчался, застряв шлемом как раз в ложбинке.

Она стукнула ногой по коробке, не отозвавшейся, и крикнула в читалку, усилив, будто свитую из канатов, шею:

— Симбирцев, может, хватит? Передых?

Грачев продрался впритирку к ее округлым штанам в читалку.

— Да нет там администратора! — гаркнула ему вслед.

В читалке, застеленной одеялами оконного света, у открытой морозной форточки столбом торчал Симбирцев, близоруко морщился в тетрадку — очки лежали на столе, лягушачьи уставившись в потолок.

— Ну? Убедился? Теперь — все? Иди, — махнула сильной рукой тащившаяся за Грачевым аспирантка. — Ну иди-иди.

Грачев уселся получше на скользкую крышку стола, не спуская глаз с аспирантки, — ее основательный, пористый нос опалял возмущенным дыханием потную губу, чуть заштрихованную пушком.

— Ну, ну не мешай ты, будь человеком, а? — попросила она убеждающе, зацепив ладонью воздух.

— Что? — звонко выпалил Симбирцев и потянулся за очками, макнул в них лицо и по-куриному дернул голову вперед. — А? Ого, Грачев. Это Грачев, Нина. Привет!

— Привет.

— Даже в столовой тебя не вижу. Ты и не ешь, быть может? Все спишь? Это — Нина Эдуардовна, а это вот — Грачев.

Грачев кивнул, предварительно соскользнув со стола, и забрался обратно. Аспирантка с ожесточением терла пальцы, вычищая пыль.

Симбирцев размеренно, словно считая шаги, походил, строго взглядывая на покорно сникшего Грачева, как на подследственного, и официально промолвил:

— Я действительно очень давно тебя, братец, не наблюдал. Все спишь? Или — лежишь и обдумываешь? А? Ну скажи.

Аспирантка встрепенулась, нервно чмокнув губами, и проговорила:

— Так. Мы работаем сегодня еще? Так. Или — уже все?

— Ни-на! — воскликнул Симбирцев, — милая Нина! Сейчас. Безусловно! Безусловно — да. Работаем! Мне и так ведь, слов нет, неловко, что вот на ваши плечи, женские плечи, падает, так сказать, этот труд. Среди этой пыли. И грязи. Скверно! Я даже не знаю! Если бы не вы!

— Ну ладно, — буркнула Нина, смягчившись. — Я пойду. Так. Там покурю, позовете.

— Я даже не знаю, как мне вас, — вдогон попричитал Симбирцев, обернулся к Грачеву, вгляделся и спохватился, — ах, да... Итак: спишь или все же — обдумываешь? Я думаю, что прав я в своей догадке? Да? Ведь неспроста... ты? Да. Можешь не отвечать. Для меня — ясно. Не-со-мненно. Точно так. Но, братец, если даже то, что с тобой, — это просто так, и спишь, то я готов завидовать тебе. И таким, вот Шелковникову, к примеру. Если вы — вот так, и больше вам ничего не надо — значит, вы знаете о жизни что-то такое, чего я не знаю. Что позволяет не замечать ни жизни, ни смерти. Может статься — это счастливей. Хотя я не счастья, как ты понимаешь, ищу.

Он снял очки и, сжав их, как мертвую стрекозу, продышал прямо в щеку Грачева:

— Но все же. Вот так жить... И ничего не меняя?

— Ну почему же, — Грачев зажмурился от зевка. — Вот сегодня как раз я решил многое изменить. А чем это вы тут занимаетесь, ребята? Что созидаете? Летучий штаб оперативного отряда? Склад одноразовых шприцов? Самоокупаемый публичный дом на базе рабфака и первого курса?

— Видишь ли, — серьезно объяснял Симбирцев. — Мыслится такая штука — некий культурный неформальный центр как интегрирующее начало будущей независимой ассоциации студентов и молодых ученых, то есть база нового поколения, обладающего совершенно широкими, что ли, нравственными границами на основе свободы. И только на основе свободы. Которые смогут оторваться от всего, чистые. Ядро будущего дерева общества. Мы расшевелим всех, — он довольно рассмеялся, и очки его заблестели, — мы собьем этот жир! Разбудим сначала наших, потом закрутится. И пойдет — кругами по воде. Хватит, думается, терпеть общий сон. Ждать больше нечего, от прошлого мы рванули уже достаточно далеко. Народ же гибнет. Мы тут разбираемся, а ты знаешь, между прочим, что здесь сплошь бутылки да, извини меня, презервативы... Скверно! Сгореть со стыда перед Ниной можно, честное слово... Знаешь, сколько она для меня делает...

— И я бы на твоем месте ее отблагодарил, — у Грачева лодочкой на губах качнулась узкая усмешка, — да, скопленья... — он нагнулся к полу, разгребая бумажную кучу, оглядываясь на смутившегося Симбирцева. — А ты по-прежнему? Братец? Лекции на заводах и фабриках? Доклады в научном обществе? Ученый совет. Борьба за чистоту в буфете. Контроль над парткомом. Контролируешь? И красный диплом? В партию ни в какую не вступил?

Симбирцев протирал краем майки очки, показывая впалый живот.

— Мы за беспартийное общество, — пояснил он, — партком меня уже не волнует. А что касается диплома... То ты же знаешь, сколь ничтожно для меня значение... Что с тобой?!

Грачев швырнул от себя пыльную синюю тетрадь и как-то всхлипнул, вздернув плечами, его шатнуло, как на ветру.

— А? — испуганно побледнел Симбирцев.

— Вот. Вот это.

— Что? Это? — нагнулся Симбирцев к тетради. — Это? Да? Да черт его знает, конспекты, что ли, чьи? Да что с тобой такое?

— Что вот это, что вот это, вот это, — спешил горячо Грачев и показывал на обложку. — Вот это!

— Да конспекты это чьи-то! — громче, громче повторял Симбирцев, — ты можешь сказать? Сказать ты можешь? Меня-то зачем толкаешь? Да ты кончишь ломаться, черт тебя раздери!

— Что вон там на обложке! Что вон там на обложке?! Ну-ну, вот на пыли! Ну ты, очки свои протираешь, нет?!

— Вот, черт, швыряет, а тут и без него, — Симбирцев потащил тетрадь на свет и кривил губы, разворачивая ее: так, этак. — Ну, пыль!

— Ну а на пыли!

На крепко запыленной обложке узорчатой тропкой тянулись чистенькие отпечатки лапок, как крохотные цветочки с растоптанными и вмятыми в землю лепестками, карабкались, тянулись уверенно, лишь чуть срываясь, чиркая радужным росчерком в сторону на пыльном плотном небе. Тетрадь потяжелела и запрыгала в руках, словно по ней царапало, перебиралось, переваливалось мягкое, скребущее, с круглым пляшущим окончанием, изготовляясь к прыжку, продолжению пути.

— Грызун, — заключил Симбирцев и прочувствованно продолжил, — вот видишь, до какого бедственного и ужасающего состояния довели мы, молодые, свой быт. Скверно! Даже в читальном зале! Ладно уж в столовой. Я по утрам в столовой подрабатываю — вот стою сегодня, прямо сегодня, у мойки, такой деревянный настил под ногами и вдруг чую — что за черт...

— Ну не надо же! — умолял Грачев, — ну не надо!

— Да что, братец? Ты крыс, что ль, боишься?

— Нет. Нет, но вот что: мне нужна твоя помощь. Вот сейчас мне очень нужна твоя помощь, ты помоги мне, — Грачев пятился, до самой стены, щупая пальцами подбородок, стискивая кожу, ткнулся в стену и сполз на пол, утомленно вытянув ноги вперед.

В коридоре ходила туда-сюда курящая аспирантка, усмиряя свою обделенную плоть, внизу, в зиме, под ветром и снегом летучим, спешили люди, с размахом проскальзывая языки заледеневшего асфальта, и торопились к трамваю — тот глотал их и, трезвоня невидимыми колоколами, которых нет, уносился прочь меж голых, как рыбьи кости, деревьев, и на смену ему звенел другой...

— Я готов, — мигом присел ошарашенный Симбирцев. — Ты же знаешь: на самом деле я тебя очень уважаю. Может, внешне только игра некоторая есть... А так... Я с первого курса понял, что ты — сильный лидер, я всегда тебя поддерживал, прислушивался. Ждал от тебя многого. И очень пожалел, удивительно и обидно было, что ты... тогда... ушел. Это на тебя Шелковникова влияние. Он вообще — алкоголик. Хотя, может быть, ты не очень сейчас пьешь, братец?

— Погоди ты, — процедил Грачев, — обожди. Ты вот что. Ты мне помочь можешь? Сразу говори. Без трескотни. Только без завываний. Ты, интегрирующее начало, можешь человеку помочь?

— Да, могу! Слов нет. Но странно как-то просишь, просишь и — так говоришь... Обидно.

— Погоди ты, — Грачев оторвал руки от лица, оставив на нем малиново пылающие полосы, перемеженные белыми бороздами. — Короче, что делать? Что делать? Так, время — это сегодня. Сегодня вечером. Место — в моей комнате. Мы: ты и я, отодвигаем шкаф. Сначала включаем свет и сильно пошумим. И отодвигаем шкаф — весь мусор сразу оттуда, кучей, в сторону, к стене, а может, и сразу вынесем...

— А еще можно пол вымыть... — подсказал горячо Симбирцев.

— Погоди ты! Так. Дальше. Берем пустые бутылки. В эти пустые бутылки мы набиваем бумагу. Рваную. Разную. Любую... Бутылки нужно взять большие, у нас есть. Как можно больше. Можно молочные — у них шире горло. Далее: поджигаем бумагу. Она горит. Дым из горлышка идет, а мы бутылки туда, в дыры, вниз горлом! И дым туда, вниз, под пол. В общем, прикидываем: доступ воздуху есть? Есть. Да. Дым идет в дыру, это два. Они, может быть, полезут с других дыр, но не у нас! Не у меня! Они не высидят! В дыму!

— Да кто? — кротко вставил Симбирцев.

— Далее. Может быть, дым, часть его, будет скапливаться в комнате, а мы сразу изначально открываем окно. Если это и будет, то совсем недолго, — еле слышно рассуждал Грачев, пошевеливая переплетенными пальцами. — Это вряд ли будет дольше, чем четверть часа... Правда, есть вариант. Вдруг дыра у нас глухая? Другие выходы завалены? Или выше по уровню, и дым раньше заполнит их? Даже если просто — их много и кто-то из них ломанется наружу к нам, сквозь дым... Ну вот тогда и нужен ты. Возьмешь гантелю и с этой гантелей у самой дыры. Запомни, смысл в том, чтобы не дать ей даже высунуться полностью. Точно в голову! Но быстро. Она ведь будет ошалевшая от дыма. Она — мигом! Ка-ак выпрыгнет! Они вообще-то очень могут прыгать, и все будет зависеть от тебя. Поспевай. Лишь бы ты ее не упустил, тогда мы с ней не сладим. Она может кинуться прямо на нас, на ноги, полезть по одежде, цепко так, шустро, — Грачев вдруг хрипло запнулся, сжав рукой горло, утопив подбородок в грудь, стиснув зубы, раздышался и заключил. — Я все продумал. Если сильно в комнату дым, и наружу... Мы сами в дыму, и дальше, мы дверь, если начнут стучаться, мы все равно не откроем. Главное — выдержать время. А ты убьешь ее. Вот! Вот: не оглушить. Убить. Быстро прихлопнуть. Вот куда девать потом, не подумал.

— Да кого?! — заорал Симбирцев.

Грачев незнакомо увидел его, увлажнил языком губы и шепнул на выдохе:

— Крысу. Только тихо...

Симбирцев кивнул. Еще покивал, уточнил:

— Гантелей. По башке.

— Да, — Грачев сомкнул веки.

— И прихлопнуть. Насмерть, — Симбирцев заключительно кивнул и добавил себе под нос, — ага, за-анимательно, — и со вздохом перебрался к бумажной куче, попинал ее ногой и принялся разбирать на ровные стопки.

— Погоди! — вдруг спросил он. — А кто же даст гарантию, что вылезет она в единственном числе?

Грачев сидел сгорбившись, будто стены давили на плечи.

— Хотя не страшно, — ответил себе Симбирцев. — Вылезать-то они будут по очереди, гуськом, так сказать. По одному. Главное, братец, равномерно распределить удар, не прослабить, верно я понимаю задачу?

И он позвал неожиданно сочно:

— Нина!

Покачивая тяжелыми боками, вошла серьезная аспирантка, и он объявил:

— Ну что ж, продолжим, коли вы не устали. Сегодня еще пару мешков и достаточно, так полагаю. Чуть подмести придется, видимо. Еще до конца недели пыль поглотаем, и можно будет организовываться, документы оформлять. Еще Сидоров и Коваль обещались подойти после обеда. Я думаю, есть смысл устав обсудить. Я тут понабрасывал ряд тезисов. Обсудим с товарищами.

— Володя, пора вам уже перекусить. Вот вы себя не видите, а вы такой бледный. У меня даже сердце сжимается. У меня, правда, не густо,

но тушенка есть, чай горячий. Все не в столовой желудок портить. Пойдемте, я только за хлебом сбегаю, — умоляюще выговаривала аспирантка Нина. Когда она сидела, то была совсем колобок.

— Чуть позже, — Симбирцев неуклюже отодвинулся от ее магнитного притяжения и взобрался на стол поближе к Грачеву.

Аспирантка побагровела от навалившегося молчания. Паркет под ее ногами стонал так, будто она переминалась на клавишах пианино.

Поэтому она встала и неуклюже почесала в голове.

— Я знаю, что ты не шутишь, — протяжно сказал наконец Симбирцев. — И тебе, видимо, больше некого просить. Но все-таки. Позволь мне отказаться. Все это, понимаешь ли... довольно... Не думай, что противно! Раз это так важно для тебя, я готов не считаться с противностью. Это довольно-таки, как бы... Б-болезненно.

— Нет, — шевельнул губами Грачев.

Симбирцев повнимательней глянул на него.

— Нет?

— Я могу. Я могу не любить их. Их! И защищать себя. От них. — Грачев с натугой поднялся на ноги и потряс головой: все плыло перед ним, напитавшись жаром.

— Вероятно, — согласился Симбирцев. — Не болезненное. Хотя я и не про то пытался высказаться. Просто я давно тебя не встречал. А сам все ждал и ждал. И ждал... Вот, кстати говоря, мы тут с Ниной Эдуардовной раскапывали, возились и, пожалуйста, — обнаружили вот такую старую штуковину, сейчас, я прочту тебе, я это не выбросил, как я мог бы это выбросить. Это мне дорого очень. Поймешь почему, сейчас.

Симбирцев распрямил мятый листок, хрупкий, как ночная бабочка, и зачитал, прерывисто, высоким голосом:

— Отчизна наша охвачена нравственной гражданской войной. Поколение отцов расколото трагическим противоборством — они уничтожают друг друга. Одни защищают свое прошлое, свою шкуру, вторые — возможность прошлое перечеркнуть. Жестокость и безнравственность людей, узнавших о не замеченных ими страданиях и не почувствованных ими унижениях, намного превосходит жестокость людей, пострадавших безмерно. Они убивают друг друга. Им опять нужна высшая правда, без разницы какая — лишь бы высшая. Их взоры обращаются за помощью к нам. Товарищи, сверстники, братья мои, в этот тревожный для Родины час...

— Да не читай ты мне эту муть!!! — долбанул кулаком в стену Грачев.

Аспирантка охнула. Стена отозвалась слабым гудением.

— Муть? — осекся Симбирцев. — Муть?! Может быть. Но ты все равно: ты послушай. Пускай для тебя это муть, а вот мне в свое время это казалось важным, большим, честным!.. В этот тревожный для Родины час мы не должны стать очередным преданным поколением. Нас не должны поставить на колени, в строй к себе люди, привыкшие убивать друг друга. Молодые объясняют свои ошибки убеждениями, старики объясняют свои убеждения ошибками — избавимся от убеждений! Останемся людьми живыми, вечными. Мы будем жить. Смерть возьмет свое без нас. Жизнь отстоит свое без нас. Нам не нужна больше правда, она в грязи и крови. Мы будем истиной. Мы станем первой генерацией новых людей, которые ничем никому не обязаны и ничего не должны, свободны и выше даже терпения, свободны не замечать ничего. Мы станем первыми прямыми наследниками ломаной нашей истории, и ветры всех веков будут вольно засевать нас своим семенем со всех сторон, вольно... Вот так. Еще вот... Хватит мучить себя мифами о неотданном долге: ничего этого нет. Есть только мы. А мы будем жить. Вот... И дальше: мы — люди с наследственной усталостью в глазах, и в этом наше бессмертие, мы рыцари вечной жизни... Все!

Симбирцев сложил ровно листок, проглаживая сгибы со старательной силой, упрятал его в карман и прокашлялся до слез, сделавших жалкими его глаза за очками.

— Володя, вы это уже читали мне, — подала голос заскучавшая аспирантка.

— Ведь это ты писал! Еще на первом курсе! Тогда! — лающе бросал Симбирцев. — Мы могли! Я и сейчас не сдался, ты это хорошо знаешь, я верю, и руки мои не опустились... Я ищу нового, рывка. Но тогда я ходил вообще... Как с чемоданом динамита. Казалось: вот все взорву! Все! А ты взял и сдох! И я понять не могу — почему. Ну, дураки не понимали твою стенгазету, посмеивались, но ведь сколько было нас, тех, кто хотел быть... Быть! Я ждал, что ты всех и сведешь... в тесное... сплотишь... что пойдем... Но что же случилось тогда?

Грачев прошелся к двери, обитой фанерой с волнистыми разводами и короткими матерными лозунгами, и там остановился.

— Я так и не могу понять... Что случилось тогда, — старательно повторил Симбирцев.

— Ничего.

Аспирантка подняла понурую голову на Грачева.

— Совсем ничего не случилось? — уныло уточнил Симбирцев, изучая слоистый паркет.

— Нет. Почему же. Случилось... Случилось — ничего, — Грачев передохнул и добавил: — Тебя ждать? Вечером?

— Да нет! Я все думал, что ты еще придешь. Что ты не просто сдох, а тебе надо что-то понять, получше вглядеться, проникнуть, и что ты еще будешь с нами, придешь, позовешь, укажешь, я этого ждал.

— Я и зову, — очень глухо отозвался Грачев. — Пойдем.

— А, ладно. Хватит тут, — громко заключил Симбирцев. — Иди ты хоть куда... Нина Эдуардовна, а мешки у нас еще остались?

Грачев слабо отворил мир за дверью, полный рукав бесконечного коридора с пустыми колясками и двумя настенными телефонами, он еще улыбнулся:

— А с девушками будь повнимательней. Не злоупотребляй бескорыстием и энтузиазмом.

Уже в коридоре — уходил, отдалялся, а в спину сочно бабахала аспирантка:

— Это он что сказал? Про кого? Что-о-о? Это на что, интересно, намек? Это как — ничего особенного? При вас женщине практически сказали низость. Да! А вы думали, сейчас честью своего имени уже никто не дорожит? Я не позволю, чтобы разное... тут... унижало и пыталось тень бросить, сопляк! Это наглое, ленивое... Слов нет!

У администратора пили чай.

Свет протекал сквозь сдвинутые желтые шторы холодной песочной массой, шторы мерно покачивались, двигая едва приметные тени на стенах, на сваленных в уголке подушках, дряблых и покрытых неряшливым седым пухом, как старческие щеки; на кипах одеял, разноцветных и тесных, как напластования горных пород, на конфискованных нелегальных чайниках, задиравших печально носы, на теннисном столе, где кружили хоровод разномастные чашки, опоясав две банки консервов, ощерившихся зубастыми пастями, и пожилую шершавость полбуханки хлеба.

Люди, убивавшие тараканов, ждали чай за теннисным столом, на дне студенистого неба, в которое вмерзло солнце осколком хряща, в середине зимы, убивающей голубей с кровавой икринкою глаза, в стране навьюженных сугробов, в которой земля всегда ближе, а неба нет, где лезут из труб неторопливые дымы и нет ни капли голубого и зеленого, и нет разницы: стоять или идти — везде будет зима и обветреет лицо, и будет корчиться земля на отпотевших венах теплотрасс.

Кружки были пусты, и не кипел из лучших лучший чайник, зато грудастая администратор с ресницами, намазанными до комков, протягивала единственному мужчине зеленоватую бутылку с качающейся тяжелой кровью и распоряжалась:

— Открывай, Никола-чудотворец, один ты мужик.

— Да как ее? — нежно, как женскую шею, гладил емкость лысый мужик, и уши его, напрягаясь, толстели, а усталые женщины были похожи на аптечные пузырьки в белых косынках, и узоры на их халатах читались, как сухие гроздья рецептов на латыни, они охали, оглаживая намаявшиеся ноги, основательные, как опоры рояля, и им за шторами было

тепло, и пахло хозяйственным мылом, и ломко скрежетал подоконник под птичьими лапами, ищущими приюта.

Администратор тронула пальцами в перстнях морщинистую щелку меж сдвинутых воедино тесным платьем грудей, и глаза ее блеснули:

— А дальше, Матвевна?

— Грязиш-ша кругом,— отмахнулась старушка, сухонькая, как замерзшая на бельевой веревке тряпка.— На лошадях не вывезешь. И хоть бы совесть кого кольнула, а то вить..

— Да не это!— всплеснула руками администратор,— забыла, что ли. Ну зашли вы в 806-ю, а там?

— Что там? Да спят, и все,— пробормотала старушка, оглядывая окружившие ее расслабленные улыбки.

— Девка с девкой?

— А то? Повернулись друг к другу задницами и — спят.

— И голые? — замирающе выстонала администратор, вытягивая шею.

— Накрыты были,— отрезала старушка и болезненно сощурилась на лысого.— Да ладно, Николай, не мучайся. Лучше выбросим ее, раз такое дело.

Лысый вгонял штопор рывками, с боязливо искаженным лицом, как крутил ручку адской машины, косясь за спину, в остренькую щель меж маревом штор: цела там зима или нет?

— Кто ж такие, в 806?— кусала губы администратор,— Кулакова, что ли, с Евстафьевой? Ах, мать твою, что девки творят!— и она моргнула сально сладкими глазами.

С тугим, коротким чмоком пробка вырвалась из узких губ бутылки, и бутылка отправилась по кругу, кланяясь в пояс каждой чашке и в каждой чашке полоская поочередно свой пенистый чуб.

— Лишь бы не было войны,— внушительно пожелала администратор.

— И здоровья. Всем здоровья,— растерянно поозиравшись добавила запоздало старушка, когда все уже пили, открыв голые шеи.

— Дай хоть, Николай, я тебя поцелую, единственного мужика, опору нашу,— тяжело высунулась из-за стола администратор.

— Не трогай его, Верка! Жена Колькина в больнице. Ему и так повалять, можа, кого-нибудь хочется,— закудахтала старушка.

— А я поэтому и целую,— рассмеялась администратор.

Лысый Николай покорно приблизился, чуть прихрамывая, и подставил щеку.

— А-ах! Сласть! Вот — мужик,— крякнула администратор и смахнула оставленную помаду с покорной щеки.— Живет у вас в санэпидемстанции один. Как в малиннике!

— Уж такой малинник,— крякнула старушка.— Отойди от нее, Николай, она заманит. Расскажи давай лучше, что дед тебе сказал, которому болячки показывал.

— Вчерась ходил,— потрогав толстоватый нос, по-детски напевно сказал Николай.— Четвертной отстегнул. И потом еще...

— Ну, чего он сказал-то?— подогнала его старушка.— Ну ты, шевели языком, прям блаженный какой, затянул тут.

— Стою. А он молчал. Решаю: все, на корню я сгнил. Ему, видать, и сказать это противно. Сам испугался. Стоит, кряхтит, тужится. Как зарычал: а ну стань к оконцу, сиволапый!

— Это он тебе?— ахнула администратор.

Лысый печально похлопал глазами на нее, глотнул и продолжил, уставясь в чашку:

— Прямо сразу засадил: у тебя, окромя страшного, камни в почках и голова ушиблена камнем в малолетстве. От жадности помер твой папаша. Орет: правду говорю, сиволапый? Я ответил: не врешь пока, в точку, голова ушиблена, и камни... Отец колхозный огород сторожил, огурцов без хлеба поел много очень, и дизентерия его прибрала совсем. Ага, он сказал, сечешь? Выдул ты вчера три стопаря водки, из закуски только семечек погрызь, а спать тебя мотнуло прямо при отхожем месте... Вся полностью правда!

Старушка потрясла согнутым пальцем с отсветом на плоском ногте.

— По зрачку определил. Так японцы. Затем и на свет выводил. Высветить.

— А я чирикнул: про родных! Он: про каких таких тебе родных; ты, сиволапый, ты считай, что их уже нету совсем. Сын далеко, в отъезде, а только жена-то уходит еще дальше, уж так далеко, что не жди. И не вернется она. Не ожидай свиданья больше. Вот. Значит.

Кто-то заткнул рукой вздох и ах, все потупились, оправляя подолы на раздутых отечностью коленях.

Лысый Николай покосился на всех, как курица на червяка, и сосредоточился опять на чашке, озадаченно жмуря глаза.

— Не сдыхай! Не сдыхай! Мне рявкнул, в угол пересадил, на морду бросил красный лохмот с бахромой, вроде как от знамени, молитвы две прочел. Лохмот снял. Глаза открой! И харкнул прямо в глаза, густо. Все, камни выдут с почек. И иди отсюдова. А сам он у киоска стеклотары крутится, ниткой пробки достает, пьяндышка с виду.

— И камни... Да?— администратор прихватила ладонями спелые щеки.

— Ага,— подтвердил Николай.— С утреца. Даже слезу пролил. Больновато.

— И ушел? Пошел?— подозрительно нахмурилась старушка.— И это все, что ли?

— Не-ет,— вдруг усмехнулся Николай и шлепнул ладонью по коленке.— Я выложил вмиг: предскажи про державу! Как жизня устроится? Вот так. В лобешник. Какой примется и останется вид. Куда повернется, за что зацепится? Нельзя мне без этого!

— Это я понимаю!— обняла всех взором администратор.— Мужик! Мне даже опять захотелось тебя поцеловать, очень.

— У него вся морда перекривилась: ах, ты грязь черноземная, зимний лапоть, аж булькает. Точно и подлинно желаешь узнать? Отвечаю: да! Давай тогда деньги. Пятьдесят. Выложи.

— Пятьдесят?— качнуло вперед слушательниц, выпучились глаза, разомкнулись рты.— Полста?

В дверь осторожно побарабанили.

— Я полез в карман. Достал. Отслюнявил — на!— запаленно дыша, доложил Николай, и усмешка переползла его рот, он набухал плечами и шеей.— Возьми, но! Но всю самую правду. Чтобы точняк! Как будет? Будущее зарисуй, план. Я хочу про весь этот грядущий момент все представить верно. Вот что после меня? Что потом? Даже без меня. Ну? Скажи? Говори, а то...

— Да говори, твою мать, что ты жилы тянешь?!— передернулась старушка.— Ну!

Николай глотнул сильно воздух и, уставившись в штору, стал твердить с радостным ожесточением:

— Вот и попомните, что он сказал: будет лучше, если будет хуже. По земле по всей дороженька ковровая проляжет, прокатится, кровавая, и придет по ней гость невиданный, только никто его не увидит. Ровно через три лета хорошо очень настанет с продукцией цельномолочной. Картошку — выйдет указ — не есть и вырыть всю, и не садить. В следующей пятилетке потащится от Коломны ледник: тыща километров одна длина, толщина — тыща метров, протащится и достанет до Загородного шоссе там, где винный магазин, и мост обрушит, поезда запоздают многие. У проводницы поезда с путевым обходчиком случится при этом интимная близость, и тот, кто родится потом, в президенты выйдет, и знак у него особый будет на голове — спираль металлическая, как родится, так и будет в голове воткнута. Ледник потает, хлопка станет завались, а в России откроется в народе страшный радикулит от сырости, ходить будет и кричать от шага каждого. Через десять лет на Чукотку сядет тарелка. И всех чукчей заберут. Покормят и выпустят. С мехами станет получше. А потом, еще через пять годов,— с юга покатит орда узкоглазых, резать и жечь, языки человечьи только жрать будут, особенно пожилых и партийных. И будет их сто раз по сто миллионов тысяч, саранчой полезут, земли не увидишь, мочой всю Аравию затопят. Пики у них острые и

ножницы, все верхом на быках. И одни бабы. Только без грудей. И органы все мужицкие. И религия у них новая: все жрать, всем спать. И повалят они с жаркого юга, рекой, морем, океаном бескрайним, докатят до наших границ, изготовятся к атаке — да вдруг и сгинут без следа, ищи и плачь.

— Так... Во намолол, так, а с Президентом-то что нынешним? Застрелится? Про конец света ничего не говорил? — пролепетала обескровленными губами администратор.

— Вот и доживать так, — перекрестилась суровая старушка. — Все на нас, ничего не минет.

— А из Президента кровь пойдет. Будет писать — из него кровь хлыщет. Примется говорить — тоже хлыщет. Думать начнет — снова льет. Только если спит — почти нет. И устроят ему спаленку, и все условия. Чтобы все время спал. Раз тока в год будут подкрадаться, чтобы указ подписать, скажут: «кушать», он рукой шевельнет — кровка брызнет, подписал значит, давайте. И про конец света сказал, так сказал: к глубокому сожалению, будет не с того конца, а пока экономьте стройматериалы и живите.

Женщины обмерли.

Опять нетерпеливо и требовательно стукнули в дверь.

Администратор еле повела тяжелой головой в сторону двери и продолжила царапать стекло на столе разогнутой скрепкой, хмыкнув:

— Ну и наплел он тебе. Алкоголик.

Николай плеснул из чашки в иссохшее до песчаной жесткости горло и с жуткой силой навалился на лосося из банки, озабоченно и размеренно сопя.

— А я считаю: это — все правда, — бодро ляпнула старушка. — Точно так будет, глянете. Ну и ничего, как-нибудь. И не такое бывало.

Тишину снова раскололи озлобленно резкие удары в дверь.

Администратор мутным, как спросонья, взглядом всмотрелась в каждого, убедилась, что бутылка канула за дальний стеллаж, и отозвалась вяло:

— Кто там? Слуша-ю!

— Грачев, — ответили подземельно.

— Это мальчик с этажа, — поняла администратор, истомленно потянувшись на стуле. — Открой там, Матвевна, тут и так уже не продохнуть.

Грачев прилип к стене, угадывая в салатовой двери смутную свою тень, кулак ныл — он больше не стучал, он раскусывал зубами тугую, вязкую зевоту и наблюдал спины, вылезающие из комнат и бредущие сонно в столовую.

Сыто, послеобеденно цыкнул замок, тронулось враскачку его сердце — вот, сейчас, мы начнем; крохотная, как иссохшая между зимними рамами муха, старушка позвала:

— Ну зайди.

Там пили чай, сплотившись тесней локтями, разморившись от спертости, роняя о чем-то неразборчивые слова, единственный мужик, основательно и надолго лысый, старательно жрал, не отдыхая: то хлеб, то консервы, то хлеб.

— А, это Грачев, — протянула администратор и томительно пощелкала язычком. — Давно-о не был. Ну, шторы там еще не пропили?

Брови ее упруго переламывались в усмешке, как тугие пружинки.

— Вера Александровна, — серо произнес Грачев. — Мне надо крыс отравить.

Его душило желтое облако, растущее от штор и тяжкое заоконным присутствием ледяного снежного ветра. Он нетерпеливо вскинул голову: ну как?

Старушка рассыпчато хихикнула, шлепая лысого по спине:

— Что, Никола, подъел? А и за работу пора. И для тебя работка нашлась. По твоей профили. Это тебе не у Верки под боком греться. Давай. Не бойся.

Лысый, не разогнувшись, обтер сморщенным платком бледный тонкогубый рот и коряво полез на выход, ощупывая пузатые карманы синего пиджачка.

— Куда? — только и обернулся он у порога, задержав на Грачеве слезливо-голубые глаза.

— Четыреста двадцать вторая, — подсказала выбравшаяся следом администратор, оправляя юбку и оглаживаясь, и довольно окликнула. — А ты, Грачев, ну-ка пойди сюда... Стой, лучше я к тебе...

Сильно ставя каблук и раскачав на шагу тяжелую выпуклую юбку, она настигла Грачева и, вкрадчиво и переменчиво улыбаясь, расправила ему ворот рубашки сладко пахнущей материнской рукой:

— Вот и мужика у меня распоследнего уводишь, да?

Грачев видел то шею, то грудь и редко, искоса, как из-за дерева, подсматривал в лицо, заглядывал в колыхающееся перед ним.

— Чудо какое, и крыски у вас завелись, достали... Неудивительно, по такой грязи. А у тебя самого, — она ступнула ближе, тесней, — ничего там не завелося, нет? Не ползает? Что ж ты, хоть бы пришел разок.

Ее зубы выпускали душный воздух — прямо в шею Грачева, ошейником, и трудно глотать.

— И Шелковникова твоего не дождешься. Все вы меня забыли. Да? А мне докладывают, от тебя рано Машка с Виткой шла. Ты, смотрю, уже с двумя? Уже сам не знаешь, что придумать? Не хватает тебе чего-то, не хватает, хороший ты мальчишечка, но что-то тебе не хватает, ищешь, — уже пошептывала она, и глаза ее дрогнули и поплыли в жирной тягучей влаге, и губы перекатывались медузами на волне. — И как ты, справлялся? Ты по очереди или успевал сразу, пустил бы меня посмотреть. Дурачок ты дурачок, это тебе потому не хватает, что девчонки они, малолетки, чего они знают? Что могла та же Машка от одного негра набраться? Ну-ну, ты стой, не падай... А? Ты не знал про негра, что ли? Нет? А как ты думал? Всем жить-то хочется. Надо, край надо мне тебя просвещать, продолжить, надо мне за тебя посерьезней взяться, жалко мальчишечку, мучаешься, а то так и проспишь-то свои денечки...

— Надо бы, — раздельно подтвердил Грачев. — Хорошо.

— Зайди. Хоть просто поговорить. За жизнь. Как раньше. Ты ж любил мне раньше глаза открывать, наставлять, учить, хоть так зайди, — уходила она, бросая через плечо, каблуки ее били линолеум. — Николай, если пить будут предлагать, — не смей! Там все алкоголики и развратники. Четвертый курс же. А четыре года в общаге — как десять лет в публичном доме!

Она захохотала, а потом грохнули в комнате, сыто и дружно, и Грачев пошел, а лысый ждал его статуей у двери. Грачев шел, и голова его вползала раздутым языком в тесный колокол и билась, терлась, влипала во влажные, щекочущие, потные стены, ворочалась, изнемогая в клейком водовороте, и он с хрипом дышал, изредка выбираясь на воздух.

Шелковников спал, лицом в подушку, растопырив локти якорем и посвистывая на выдохе.

Грачев притворил дверь на его половину и указал пальцем:

— Там спят.

— Понял, — отозвался лысый, потрогав острый свой нос. — А где...

— За шкафом, стена, там вон.

Лысый свободно прошелся до шкафа, окунулся за него по пояс, пошуровал совершенно молча в мусоре ногой, выбрался и, кусая губу, уставился на голое тело на плакате.

— Мож-т, мыши? — отрывисто спросил он.

— Крысы, — тяжело выговорил Грачев, он сел на кровать, заставляя себя читать расписание занятий. — Это — крысы.

— Но почему такая уверенность? — возмутился лысый, прометнулся по комнате, заметно хромая на левую ногу, так споро, будто у него была под ногами бочка. — Видел? Хоть раз?

Грачев нехотя поднял голову, запрятав глубже глаза.

— Я чувствую... Кроме этого — постоянные шорохи. Мыши так не смогут. Лезет. Так сильно, что разрывает на своем пути, продирается.

— Ну-у! Это мышь-то не сможет! — оскорбился за мышей лысый, — со

страшной силой сможет! Ведь ночь — все шумит сильней, чем может. За шкафом тута — как рупор, усиляет, орет. Это мыши — несомненно. Крыса, она не скрытно. За ней сила. Она хорониться не станет!

— Я, я почти видел... ночью. Чувствовал, точно!

— Ну как возможно это,—чу-ять?!—раздраженно крикнул лысый, уселся на стул, потер хромую ногу и уставился прямо на Грачева.—Я, я тоже порой много чего всякого чувствую, но не надо слишком воспринимать-то, искренне очень. Смерть, к примеру, или жизнь. Это губительно слишком это понимать... Чувствовать! Крыса—это не то, что эмоцией или мозгой схватишь... Разве это таракан? Это — сила, огонь! Ее ведь не спрячешь. Да неужели она — она! — будет там отсиживаться? — и он, пригасив голос, опасливо покосился на шкаф.— Это же слепая. Сле-пая злоба. Она тебя не видит.

И лысый тщательно нюхнул воздух:

— Душ-шно у вас!

— Да вы боитесь, что ли?—тихо нагнулся к нему Грачев и потер защипавшие щеки.—Не надо, что вам-то? Я испытывал. Вот была ночь, и я спал, и сон. Шелковников, сосед мой, шутник, веселый,—и будто он съел яблоко и огрызок мне, сюда, на плечо. Влажный, такой тяжеловатый,—с запинкой вышло последнее слово, он крепился.

Лысый что есть сил тянул к нему по-птичьи скособочившуюся голову.

— Я проснулся от этого. Ну и—действительно: вот что-то на плече, как бы,—сидит, и как бы,—Грачев изогнулся, заледенев лицом, и пугливо повел в воздухе рукой по-над шеей.—Как бы—ближе уже к шее, щекотно так, чуть. Я подумал: вот сволочь. Это я про Шелковникова. Что он там положил? Огрызок. Потянулся к лампе—включу, а это, это—раз!—пропало, раз—скак-нуло так, на животе, здесь, так легонечко толкнулось и дальше, уже по полу, по полу, царапчатый такой клубочек: так и покатился: црап-тап-тап и црап-тап-тап, и црап-тап-тап и прямо вонзился — аах! — под шкаф, в бумаги, продрало, и дальше, сквозь пол, под пол — ноги мои уже на полу, вскочил — и дошло до ног потрясение от того, что провалилось, что-то, под пол... пол...

Грачев смолк, изучающе осматривая набитые карманы лысого, острый его подбородок, выцветший шпагат рта, нос, прохладный, как ручка холодильника, и безжизненно вытаращенные глаза.

— Я-а...—сипло сказал Грачев,—я-а, потом я еще подумал, думал, вспоминал: вот рот иногда, во сне, открывается рот...

— Стой,—едва слышно попросил лысый,—завязывайте свои истории.

Он коротко вытер под носом и с отвращеньем принюхался:

— Да что смердит-то у вас?

Грачев пожал плечами, повел взглядом вокруг — ничего неизвестного нет.

— Пьяный был тогда?—устало спросил лысый.

— Был.

— Ну вот и ясно все, понятно.

— Я нашел следы. На обуви, на черной. Как цветочки такие, из пыли—там же пыльно, у них. Редкие следочки. Широко лапки ставила. Или большая. Наверное, большая. А я ведь по ночам камни кидаю. Отражаю. Вот тут, в коробочке—я это из щебенки выбрал. Сплю, а рука в коробочке...— Грачев улыбнулся себе.— Если ты ведешь огонь на испуг, так сказать, с целью создания паники—тогда камень пускается по паркету, вскользь: гремит. Когда влетает уже под шкаф непосредственно—цели уже нету, сокрылась. Если на поражение цели непосредственно, тогда надо метнуть! Низко и сильно. Тогда достигается бесшумность и появлется надежда на поражение. Но все это трудно,—и он вдруг качнулся к лысому, и глаза его беспокойно заискали что-то на безмолвно слушающем лице.—И знаете, вот что странно до ужаса. Она, она ведь раньше—боялась куда как больше! Сразу, сразу—пырск! И нету, и нету, мигом. А теперь—будто недовольная, вызнала, что ли, что я—один? Запищит, как забьется даже... Вы, наверное, знаете, приходилось, как они так, так по-писки-ва-ют? Вгрызается в камень! А вот я и думаю: а если выскочит? Она ведь очень-очень быстрая—раз! Озлобится, так? И в потемках разве я услежу когда? И сможет скакнуть, скак-нуть, как пружинка. Ага? Знаю, я продумал: самое уязвимое у меня горло, да? И она цеп-кая, вцепится, это сколько коготочков-то сразу—не оторвать! И еще беда—скользкая. Рукам неудобно. Правда, за хвост можно рвануть, да он тоже беда—все виться будет на стороны, или в кольцо. И скользкий, в выделениях, наверное, а уж чтоб до пасти достать...

— С-стой!!!—прошипел лысый, и рот его безобразно расползся, желая вдохнуть, он хватал корявыми пальцами горло свое, мял его с силой, срываясь пальцами, и забрал наконец в себя вдох, задышал глубоко и жадно, как спасшийся.

Грачев даже не посмотрел на него—он вслушивался.

Лысый забегал опять по комнате, похожей на гранату. Споткнулся в узком, как ручка, коридорчике об обувь, распустившую шнурки сомовьими усами, сунулся в журчащий санузел совместного типа, дальше — назад, в комнатку: кровать, стол без единой газеты и книги, разбитый шкаф у стены, оперенный лохматыми щепками отстающей крашеной фанеры и подсеребренный паутиной.

Сквозь грязное окно горбатился пышный воротник заметенного снегом подоконника, мертво торчала пивная палатка, люди дубели на трамвайной остановке.

Безмолвия не было на этом пресном зимнем свету: сталкивались, бились два дыхания, болезненно противно подсвистывал Шелковников из-за стены, кряхтел дряхлостью паркет, ветер отвешивал упругие пощечины окну, и темное, неясное, нутряное копошение обитало в мусоре за шкафом.

Грачев сидел, понурив голову,—будто ждал.

— Ничего, ничего, дружок,—подбодрил его лысый, никак не решаясь сесть, и поежился, спросив, наконец, с надеждой:

— А сосед? Ни разу не слышал? Вот видишь,—чуть не подскочил от радости лысый и расправил плечи.—А мож-т и мыши. Под кроватью что тут у тебя?

— Обувь, сумки, варенье, учебники,— доложил Грачев, как на обыске, и вздохнул, словно после пролитых слез.

— Ничего, ничего, дружок, нормально,—лысый тяжело присел и со смертным оскалом обозрел подкроватное содержимое, подергивая носом.—Чего ж воняет-то? Туфельки, что ли, пардон, конечно? Или варенье давнишнее, бомбажное? Вообще, конечно, под кроватью все держать—не дело. В тумбочку хотя бы, или на шкаф, выше,—свет копился до масляной густоты на поляне его лысины, он тащил голову вдоль пола, бормоча.—Коробки тут какие-то, не по нашему написано, утюг вот—тоже зря, ох, сожгете вы общагу, запылает, шарфик тут какой-то позабыли, бросили, а он уже и заплесневел, ну-ка...—он резко отпрянул, отпрыгнул к стене, как ошпаренный, и глянул оттуда на дрогнувшего Грачева белым и очень спокойным лицом.

Грачев привстал. Ноги его залила упругая, горячая зыбь. Он, заикаясь, спросил, голос его слабел и сох:

— Что? Что там? Под... Да что там...

— А вы все правильно излагали, товарищ,—тоненьким голоском отозвался лысый и отвернулся к окну, сцепив ручки на животе.—А ежели вас интересует текущий момент, то мне требуется пакетик целлофановый. И что-нибудь такое... Картонки, что ль, кусок, поплотней. Хорошо, в общем, вам тут спалось.

— Б-большой пакет?—Грачев широко шагнул от кровати и прижался к стене сутулой спиной, почти сомкнувшись плечом с лысым.—Что там?!

— А? Пакетиком интересуетесь?—отрешенно пищал лысый.—Размером да как бы под буханку хлеба. Такой, примерно. И картонку. Чо там у вас, насморка нету? Нет? Вообще—нормально нюхаете? Ха-ха...

— Картон? Картон, есть, но вот там только,—показал Грачев под кровать и все пытался успеть заглянуть лысому в лицо, как в уходящий поезд.—Что вы там увидели?

— Из-под кровати картону не надо, не надо. Усопших чего уж тревожить,—лысый улыбался и подхихикивал без передышки.—А может, хотя бы совочек для мусора? Хотя что я... Вы ж не подметаете, зачем вам, чего это я спросил... Так может, хоть случайно завалился где? Совочком очень бы удобно—прах транспортировать, вынос тела осуществить.

— Совок? Есть. В ванной, там...

— Ну так и неси скоренько, хах-ха, сделаю тебе доброе дельце...

— Что там?

— Уже ничего. Почти совсем. Ты сходи за совком-то. И пакетик, и пакетик мне скорей найди, да быстрей, а то передумаю, сам, один останешься.

— А вам, наверное, мусоропровод понадобится...

— Совершенно точно проникаетесь. Это очень не помешало бы. Все землю не рыть, на экспертизу не везти. Земля мерзлая, да и где попа в эту пору достать, хах-ха... Да и какой веры-то, ха-ха...

— Недалеко, у лифта, последняя дверь слева, вот там мусоропровод, в конце...

— Желаете показать, проводить? Мож-т, вместе? Вам и приятность должна прочувствоваться, все одной поменьше. Мож-т, мамка ихняя скончалась. Им все навестить хотелося, а вы — каменюкой в мордасы, ха-ха... В наилучшие родственные чувства. А то бы вместе? Один пакетик держит, другой совочком — этот шарфичек, ха-ха... С хвостиком. Я, может, первый раз из-за тебя... паскуды, довелось-таки увидеть, узреть, настигло-таки...

— Я пойду, выйду, схожу к товарищу, задание надо узнать...

— Бегите, бегите, а через пять минуток уже возвращайтесь. Мне совок и пакетик дай. Да не дрожи ты так! Зато с каким ароматом спал, молодец! И не месяц уже, какой там! — вон, как таранка, уже ссохлась, до белого, кости и кишение уже... И я тебе правду главную говорил: прятаться они не будут. Они этого не терпят совсем! Это мы, дурачье, думаем, что они потом по ночам, что боятся, испуг в них живет — чепуха! — им просто так удобней, режим такой, для дела способней, да им весь мир — нора! Это уж нам приходится... Ах, старая, старая, красиво помирать любила, повыше, на воле, под человеком, на стопочке книжек: история, философия да научный атеизм, и хвостик свесить, как шарфик такой, пушистый, ха-ха, да-а, и живете вы, ребята...

Грачев спрятался, забился на лестничную клетку, где шелестели вверх-вниз сонно зевающие лифты и по-комариному дребезжали лампы, расплескивая маслянистое серебро электричества, он жался к окну, как к спасительной проруби, — по окрестным крышам гуляли мутные потоки взвихренного снега, обламывая вниз наметенные козырьки и царапая себе бока о черные, железные антенны.

Холод, как вата, — он впитывал, и внутри полезли в медленный рост кости, распирая тело, натягивая, как холст на тесный подрамник, сохла влага в глазах, и в птичьи когти смерзались пальцы, и он ссыхался в посох, прямой и впалощекий, готовый вонзиться в путь.

— Ого! Какие люди! И без охраны!

Толстогубый рабфаковец Хруль подкосолапил к нему, больно шлепнул ладонью в ладонь, хохотнул, махая руками, не зная, куда деть упругую силу, заключенную в недра сияющего, как павлинье перо, спортивного костюма, брови его взлетали и порхали на крохотном небосклоне розового лба, а губы подпрыгивали в круглой щелястой улыбке:

— Не спится? В школу собрался? Иди поспи — и все пройдет!

— У тебя нету кошки? — спросил Грачев.

— Была, — заскучал Хруль и хрустнул пальцами. — Кот. Кузя у меня, кот. Да ты видел. В столовую на пайку жрать вместе ходили, тут, за пазухой. Жрали вместе. Понимаешь, да, сбросила сволочь какая-то с шестнадцатого этажа. Твари. Хоронили вместе с Асланом. Где потеплей, на теплотрассе... Аслан, слышь, ты помнишь, как Кузю хоронили?

Чеченец Аслан, отчисленный со второго курса, выступил из-за угла, коричневый, широкий, в снежной рубашке под дешевым черненьким костюмом, зацепил острым нездоровым взглядом Грачева и, тесно собрав мокрый рот, лоснящийся, как асфальт на подтаявшей дороге, заковырял в зубе белой спичкой.

— Не кот был, а тварюга... Люблю.

Хруль пришлепывал ладонями по заду, приседал, шерстил куцую

волосню на голове, оглядывался на злого Аслана, смеялся и, еще улыбаясь, спросил:

— Ну, а ты куда счас? Жрать? В школу?

— Я пожрал, — ответил Грачев. — Пойду. Надо тут с одним посчитаться тут...

— Давай. Будут трудности — зови. А мы — жрать! — и Хруль опять шлепнул ладонью о ладонь. — Счастливо!

Грачев пошел, наращивая скорость, не сгибая деревянной спины, пустой, как черепные глазницы.

Лысый повернулся к нему и легким мимолетным движеньем уже оказался рядом, чуть задрав подбородок и странно помягчев лицом.

Грачев начал:

— Все?

— Все, упокой душу...

— Теперь мне надо в институт. Давайте быстрее, если можете, как травить?

— Это — семечки в конверте, съедобные, можете сами погрызться, коли скука случится. Три дня и три ночи раскладывайте их на местах вылезания. Так прикормим и приучим всех, все соберутся к вам, и окрестные, ближние, дальние... На четвертый день разложите вот эти, другой конверт, яд. Ночь спите, утром — всю падаль — вон, тщательная уборка, грязь вымыть, мусор лишний вынести, вычистить, дыры заложить кирпичами, обшарить все закоулки, умирать могут, где угодно, и потом вонь пойдет... Пищевые отходы больше в комнате не оставляйте, сгниете. Ясно? Денька три придется еще терпеть. Четвертая ночь будет веселой.

— Оставляйте только яд, — бросил Грачев.

— Возможно и так. Но — малый эффект. Немного уложите, жаль. Конкретно ваших, может, убьете, и то — не всех. А соседи могут навестить, придут. Хотя... Все равно — придут. Будьте спокойны.

Они разом переглянулись и качнули друг другу понимающе головой.

— Все. Закончили. Спасибо, — и Грачев стал обуваться.

Лысый бережно приземлил на стол белый конверт почтовый с синей рисованной марочкой и коротко спросил:

— Физик, да?

— Я географ, — ответил Грачев и пошел в коридор за курткой, — и сейчас я очень тороплюсь.

— Это ясно, понял. Да вам надо еще и семечки раскласть. Соседа хоть предупредите — пощелкает.

Грачев остановился напротив лысого и внятно сказал:

— Я. Тороплюсь.

— Хорош-ш, — изучающе прошептал лысый. — Собран! Молодец. Молод! Ха-рошее слово «молод» — как молот. Сильно бью! А я вот намучился одной загадкой, задачкой вернее. Она хотя больше из физики, по разумению моему, но, может, посочувствуете моим страданиям-то?

Грачева потянуло до смерти уснуть, он изнуренно ощупывал сыпучий бок конверта, с усилием сопя.

— Земной шар — это задачка — бурим насквозь посередке. И магму эту и ядро, и всю остальную чертовню, такую шахту бурим — сквозь, вы усекаете? Пусть покрытие в ней специальное. Чтоб не расплавилось. И широкую такую шахту — это важно. Сделали, да. Глянем теперь под ноги у шахты — небо под ногами, с той стороны. Целая смехатория и можно использовать под аттракцион, или всерьез — как транспортную артерию... Но меня не это долбануло. Бросим туда человека — и тогда? Посвистит ведь туда? С возрастающим ускореньем? И что с человеком-то потом? — спросил лысый, умоляюще выкатив глазки.

— Его разорвет, — глухо отозвался Грачев. — При такой скорости разорвет.

— А мы в скафандр обрядим. Формы ему соответственно придадим, обтекаемые, — затараторил лысый, прерывисто дыша. — Это я все продумывал, это еще мне доступно. Ну, а вот дальше? Что? Неужто выпулит с другой стороны? В космические пустоты? Или сила тяжести не даст? А ведь не даст... Не даст! Стормозит, паскуда, нижняя половина то, что

верхняя придаст, спружинит, загасит, сожрет. И обратно он полетит — вверх. И опять — тормозить его будет. Вниз полетит. И дальше уже качельками — верх-низ, верх-низ, и все тише так, тише и тише... Пока не замрет вовсе, совсем. Так? Ведь так выходит? И тогда повиснет? В середке? Как семечко в яблочке? Посередине ядра, магмы, коры земной? Поболтает ножками, как муха в стакане, волн понапустит и — висит? Как на перине такой небесной, подземной — меж небом и небом, во все времена: ночью и днем, зимой, летом и — нигде. Ведь так? А? — спрашивал, задыхаясь, лысый, еще раз заливаясь певуче. — А? Да? Я выдержать этого не могу. Невозможно так, невыносимо ведь. Так ведь не можно, господи? — стонал он, припадая на левую ногу и заглядывая, заглядывая Грачеву пытливо в лицо. — Ну, скажи, скажи, не молчи только, а?

— Это к физикам. Я не могу, — твердо ответил Грачев. — Ничего в этом не понимаю. Мне надо уйти.

— Не трогает, — сипло подытожил лысый и смахнул со лба росистый пот. — Молод и высок. Не дотянешься. Не допускает он к себе. Гигиена.

Грачев присел у шкафа и единым махом выплеснул из белого конверта сыпучий веер в мрачную, черную щель, скомкал конверт и бросил туда же, вослед, в глубины.

— На здоровьичко, — заключил лысый. — Жалею только, что россыпью. Искать бедняжечке придется. Вдруг не наберет с одного раза смертного, намучается. Пойду водички захлебну.

— Там в стакане растворитель, не трогайте, — крикнул ему Грачев и, побросав в сумку тетради, утопил голову в шапку и ступил в коридор. Лысый уже поджидал его там, нетерпеливо облизывая мокрые губы.

— Жаль, что упредили-то, про стаканчик, — ухмыльнулся лысый.

— Все, довольно, кончено, — объявил Грачев и обхватил пальцами дверную ручку.

— Все ведь это случается у вас от угла зрения, — деловито заметил лысый. — Чуть сдвинулся уголок — и уже не остановишься. Уж в этом-то вы согласитесь? Даже если взять, к примеру, подлую вечность. Смотря ведь какой уголок заломить. Подлая вечность — это когда мы померли, а все живут, живут, живут, и живут себе. А подлейшая! — когда мы померли, кто-то там еще пожил и потом — все, конец! все кончилось, сгорело, в прах космический и — ничего... Ах, это все разные уголочки, но все равно — уголочки же. И поэтому вам бы, товарищ, к нам в санэпидемстанцию надо работать идти. Потравим, походим, половим — и обвыкнетесь. Даже замечать скоро перестанете, слово даю, надеюсь, знаю... Ну чего вам здесь?

— Нет. Все, иду.

— Доказать что-то хотите? — кисло осведомился лысый. — А напрасная суета только это все... хоть, быть может, уголок мною взятый, не так благородно крут, как душе вашей привычно. Ну тогда, раз смелы... Хотите об руку уйдем — вообще? Ну к чему дальше-то ломаться? Трава да снег, что с этого нам? Отметились и освободимся. Поучаствовали и — ладно.

— Нет, — опять сказал Грачев и захлопнул дверь. — Спасибо.

— Пожалуйста, не увидимся, — бормотал лысый и, словно споткнулся, перегородил Грачеву путь, раскинув руки поперек, пугалом.

— Хватит, — процедил Грачев. — Все, пообщались, затыкайтесь.

— И последнее, — осенним листом шелестнул лысый. — Вот не пожалею для вас. Это — ценность. О подобном для себя — мечтаю очень, но достать страшуся. Счастлив, что хоть сам могу вам помочь. Это на случай, если уж совсем станет невмочь и поумнеть сразу захотите, осмелеть, вернее...

И сунул Грачеву под нос короткий свисток, вырезанный из сухого лозняка.

— Еще не надоело? — рявкнул Грачев.

— Это — на край, если уж совсем стало невмоготу, — не слыша его, рассказывал лысый. — Когда поймете сразу, что пора, мол. И посвистите. Но не сильно. Поиграйте так, с переливчиком, пальцем тут в прорезь, подправляйте... И — они все выйдут, все-все, все, кто рядом случится, а потом и дальние потянутся. Разом, увидите — придут на мою пищалочку! Очень, очень, обещаю вам, это пригодится. Поиграете, потешите, их и по-

тянет из нор, это для них сладенько... Это когда избавиться совсем захотите, поймете... Берите!

Грачев взял в пальцы теплую кору веточки лозы, сжал, как гильзу, свисток и спрятал в карман, пояснив:

— Лишь бы только отстал.

— Ага. Ну конечно. Только этого не стыдитесь, — убеждал его лысый, щипая пальцами нос, — это водоворот, хочешь выскочить — пускай утянет на дно, а там толкнись, а еще лучше — там останься — без разницы, без разницы. И вы этим проникнетесь, точно. Уголок у нас с вами разный, но если уж заломлен, то уж покатимся.

Грачев не слышал его — он шел в институт.

И он радовался каждому шагу, таранящему душную стену тепла, нудной капели водопровода, шорохов подземных, шелеста бумажного, царапанья, писка, окон в чужеземье — он шел туда, навстречу зиме...

Челюсти лифта сдерживал черняво заросшими руками чеченец Аслан, он встрепенулся, но Грачев — мимо, по ступеням, ногами, вниз, вниз, ему захотелось идти самому, а из коридора вдруг выпрыгнул сильно подобравшийся Хруль, бросил в руки чеченца запеленутый курткой угловатый сверток и тяжелым звериным скачком переметнулся в лифт, толкнув вперед чеченца, и они уплыли вверх, на высшие этажи, по своим делам, а внизу вахтерши засевали письмами частые ячейки для почты, как пчелы соты, кутались в платки и грузно приподнимали в дыхании грудь под тесными фуфайками.

И открылись двери, и под ногами разлетелась шершавая ледяная шелуха, и мерным занавесом потекло вниз целлофановое крошево снега, и небо врастало в затылки домов косматым брюхом, и жизнь ласково покидала лицо и ладони — белела и теряла упругость кожа — он шел, и строгие вороны в серых фартуках, ломко цокая коготками, переступали по запорошенным крышам машин, и становилось уже больно застуженному лицу, но счастливо — не думать ничего, уходя прочь.

Он оглядывался на непривычное издали общежитие,он давно не выходил отсюда, и его сглотнул трамвай, а потом и метро повело его в чрево узкой тропинкой, обсаженной белыми, как комки вербы, лампами, слева и справа, внутри которых огненной гусеницей тлела и изгибалась нить накаливания, свет меловыми языками лизал стены, и подвывали поезда, унося Грачева дальше, — отогревшиеся руки болели, на ноги ставили чужие сумки, тяжелые, с нерусскими буквами, от солдат пахло сапогами, и кукольная девушка читала книжку, взволнованно не замечая его упрямых, бессмысленных глаз, толкались, падали, кричали друг другу, перекрывая вой, отгораживались газетами — Грачев недоуменно рассматривал заголовки и сфотографированные морды, щелкали перевозимые лыжи, и деловитые дети вспархивали на освободившиеся места, он поискал девушку, девушка выходила, обмахнув иноземным веером парфюмерии, и он потом гадал, думал: а во что же она была одета?

И тащил вверх эскалатор к белесому пятачку, будто к солнцу, внутрь, и люди были окаменевшими за грехи словами, криком, исторгнутым белой, глубокой глоткой метрополитена, а ноги уже ждут неподвижной земли и шагов, зависящих лишь от тебя, — вырвался!

И вон он, институт, уже на горке, от него скользят быстро, а наверх брести — мучение, но Грачев почти бежал, прижимаясь к заснеженной обочине, дорога вздувалась синеватыми наплывами льда — он торопился наугад, еще не зная времени и расписания, но на всякий и обязательный случай, не поднимая головы, лишь изредка пряча подмороженное ухо в воротник, затупляя медленную боль, впивавшуюся острыми зубками.

И он уже улыбался на древних ступенях крыльца тому, что ногу лизнул собачьим языком горячий воздух из выхлопной трубы подкатившего такси, что день растащил мохнатую утреннюю хмарь на косые пряди снегопада, затвердевшие сугробы и черную кору щетинистых изморозью деревьев и небо стало, как голубой асфальт с легкими морщинами облаков, похожими на вьюжные разводы свежевыметенного снега, что выгрузился из такси очкастый белобрысик с холеными щеками и распечатал переднюю дверцу — и майским, простоволосым деревом, сгустком сирени, ты-

чущейся в стороны пушистыми перстами, запорошенная волосами, как снегом,— поднялась, выросла девушка и двинулась к крыльцу, расталкивая березовыми, нагими почти ногами тяжелые полы серебристой грузной дубленки, согнав с лица детскими пальцами прядь, как легкую тень; извергая глазами синеву, она двигалась, и рот ее цвета закисающего варенья клубил в воздухе кусты роз, вырастающие в шиповники, чуть разомкнувшись, как птичий клюв в весенней, песенной истоме,— она приближалась, покачиваясь, как высокий букет, который свесился через плечо, едва мирясь запретным телом с волнистой, тесной одеждой,— Грачев держал мертвыми пальцами дверь открытой — она протекла рядом рекой, над которой стремительной птицей, чиркнувшей воду, пронеслось бесплотное слово: «Спасибо».

Спасибо!

Белобрысый очкарик протащился вслед, громыхая каблуками и рассуждая звучным мужицким голосом.

Спасибо!!

Грачев пустил захлопнуться дверь, растер пальцы и вдруг с радостным изумлением вгляделся в ладони свои: сильные, чистые, крепкие, они смотрели на него человеческими лицами, распахнутые навстречу,— и он рассмеялся чуть слышно, прихлопнул с удовольствием ладонями, глотнул холода побольше и отворил дверь — начнем.

В раздевалке он осматривал уши. Они высунулись в стороны толстыми сыроежками и налились кровью. Через снимаемые шубы и текучие полосатые шарфы серчала невидимая гардеробщица:

— Не. Не суй мне свою дубленку. Не приму! Что? Вот так и носи. Не запаришься. Хоть куда иди. Одна вот точно такую сдала. Затаскали потом, тридцать тыщ стоит! А я что, всех помнить вас должна?! Номерок дают — обязана выдать, все... Сидеть и молиться, что ли, на нее...

Грачев протиснулся на голос — кругом встряхивали мокрые шапки, как бубны,— гардеробщица уже отвернулась, закупорив задом окошко, а по радио пикало время, и он вторил ему: так, так, так.

Грачев сунул в замурованное окошко куртку, подставил ладонь под белую серьгу номерка и опустился на скамью.

Он откровенно рассматривал, торопясь, эту девушку всего немного внезапно громких сердцебиений, пока она прямо уходила, не видя земли, всплывая уверенной тенью вверх по ступеням, по просеке, покорно образуемой людьми, цельная и недостижимая, как знамя.

Белобрысый, пытаясь дотронуться до ее равнодушной руки, лениво чеканил:

— Я ж говорил. И с кем тут говорить? Как кабана стричь. Визгу много, а шерсти мало.

Грачев оцепенел ненадолго, в странном томлении, но тут перед ним стали расчесывать жидкие волосы над угристыми лбами и дешево мазать губы, он ссутулился от чужих лиц и побрел наверх, именно по левой лестнице — там, где прошла эта девушка.

Из Ленинской аудитории вещал сухопарый голос озлобленного человека, Грачев приостановился с болезненной гримасой, как у кабинета зубного врача:

— Интеллигенция России всегда разрывалась между подвигом и предательством, которые непрестанно менялись местами и одеждами и манили спасением народа. И теперь для интеллигенции русской все едино: погибнуть ради своей и общей напрасной чести или предать ради животной жизни своей. Нет разницы! В этом нет больше разницы! Нельзя вести народ или идти за народом. Либо вести народ — либо бежать за толпой...

Расписание обещало лекцию, захрипел звонок, Грачев заспешил в аудиторию.

Он взбирался повыше вдоль рядов, отмеряя: раз-два, где бы сесть; раз-два, из аудитории выгребались сонные остатки некоего курса; раз-два, он искал место без огрызков и фантиков, без надписей «Девочка, а что ты умеешь?»; раз-два, вот тут.

Посреди аудитории. Напротив доски. Окна, перепончатые, как стрекозиные крылья,— слева и справа, и он сидел, как ангел, ожидая свой курс, сошедший, и прятал это от себя. Но как все-таки все удивятся, что он пришел!

Потом он прикрыл глаза — будто спит, и смотрел в мягкую изнанку век на белесые, подрагивающие пятна и полосы, и потоки, повернув голову к окну и — сливочный туман сменил тьму — в аудиторию прорвалось солнце широким неводом.

Зашаркали шаги первого человека — неспешащие и уверенные. Грачев покойно дышал, умиротворенный светлым днем.

Шаги помялись внизу и неожиданно, внушительным скрипом забрались на кафедру — там прочертил ножками пол неудачно расположившийся стул, и кафедра вздохнула, приняв в свой стакан человека.

Грачев открыл глаза — это был лектор. Задребезжал звонок.

— Ждем пять минут и начинаем работать,— жестяным голосом объявил лектор.— Ни единой души не допущу больше! Пусть хоть плачут...

Грачев, поместив подбородок на кулак, наблюдал, как лектор перебирает листы своих ветхих записей, словно грязные ошметья капусты в овощном, протирает платочком маленькие, черные очки; сильно покраснев, освобождает доску от легкомысленных меловых записей молодецким размахом тряпки и, наконец, застывает за кафедрой: ну-ну.

Это оказался высоченный, седовласый мужик в хорошо глаженных брюках.

Воздух побледнел от наплыва облаков, и перестала струиться золотая пыльца от стен вековой аудитории, померкло.

Грачев вытащил из-под стула сумку и отправился к выходу.

— Да,— подтвердил седой.— Даже: шесть минут уже. Ладно. Но куда же вы, коллега? Располагайтесь, располагайтесь поближе, и скорей начнем! Но слово я свое сдержу: никто больше сюда не зайдет! — он бодро подбежал к длинным дубовым дверям и засунул ножку стула в дверные ручки, очень довольный собственной молодцеватостью.— Не пущу! Ни одного боле.

— Никто и не придет,— равнодушно бросил Грачев и нехотя сел в третий ряд.

— И не надо! — живо отозвался лектор.— И не надо. Для меня, если по совести, гораздо приятней одна светлая и заинтересованная голова, чем сто недорослей. Которые придут на лекцию поиграть в картишки! Отоспаться после пьянки, выпивона, так выразимся! Или потискать коленку своей девки! — заключил он с задорным наслаждением.— Нуте-с,— обозначил он начало.— Я полагаю, вам лучше записывать. Важность сегодняшней темы... Которая, в некотором роде, краеугольный камень... Тем более — по профилю специальности. Да и просто многое даст в смысле общей культуры. Поблагодарите потом, вспомните.

Грачев с протяжной тоской глянул на лектора, запустил руку шарить в пустой сумке. Вытащил меж пальцев лоскуты засаленных бумажек, выбрал которая почище — конверт материнского письма.

— Листочек-то я дам, дам,— лукаво рассмеялся седой, волосы его были зачесаны тугой волной. Он уже полез в свой портфель.

— Не надо. Уже есть. Я нашел. Уже есть бумага, спасибо.

— Есть, да? А то смотрите — у меня целая кипа, уж чего-чего...

— Есть, уже есть. Все нормально.

— Прежде чем приступить к обозначенной теме, мне бы хотелось, чтобы вы увидели ее явственно... В обрамлении эпохи, которую нам довелось пережить,— и лектор сделал паузу, давая возможность записать.

Грачев, досадуя, прочистил горло и обреченно заскрипел непишущей ручкой зигзагами по конверту, прямо по образцу заполнения индекса.

— Можете сокращать по ходу,— разрешил лектор.— Чтобы уместить. У нас еще час, почти... Много успеем. Итак, крах советской цивилизации... этот крах советской цивилизации... стал малозаметной, но тотальной и окончательной трагедией вашего прежде всего поколения. Невозможность возвращения... утеря национального... искажение человеческого... нежелание будущего... Ах, я это понимаю слишком хорошо потому, что нам, моим прекрасным и великим сверстникам, борцам, страдальцам, изгоям, титанам угнетенного духа, довелось пережить в свое горькое время нечто близкое... Это близкое...

Грачев приноровился и пустил стержень по одному и тому же мар-

шруту, без устали углубляя в бумагу зубастую, как мелкая пила, слепую бороздку.

Лектор остудил ладонью жар благородного лба и подвел итог:

— Вышеизложенное для контекста... Прям так отчеркните от основной темы... Отчеркнули? Хорошо, теперь... так... Как вы помните, тема прошлой лекции...

Грачев подождал, потерпел, удивился тишине и, подняв глаза, обнаружил, что последнее предложение заключается не точкой, а знаком вопроса. Лектор поощряюще мотал ему головой: ну, ну.

— Я не был, к сожалению, на прошлой лекции,— твердо ответил Грачев.

— Ага?—сник сразу лектор и, смотря в пол, продолжил.—А предпоследней? Вспомните, не сочтите за труд...

Грачев спрятал в сумку конверт и ручку, раскинул руки в стороны и признался сквозь утомленный зевок:

— Я вообще как-то нерегулярно посещал этот курс.

— Должно быть, тяжелые заболевания хронического характера,— участливо предположил лектор.— Напряженность студенческого быта. Непростая общественно-политическая обстановка. Заботы по воспитанию грудных младенцев... Ну, ну а хотя бы — одну лекцию? Ну порадуйте, а? Ну—одну. Всего!—Он быстро вскинул глаза, блеснув очками и потупился снова.— Нет? Нет... Да-а. А... А осмелюсь ли я спросить вас хотя бы о названии точном читаемого мною курса? Ну а хотя бы — приблизительно, как? Вообще? А?

Грачев смотрел на него в упор.

— Да, я понимаю, что вам не стыдно совершенно, это мне ясно, ясно, чего уж...— объяснил лектор.— Я даже думаю, что излишним было бы интересоваться у вас моим именем или цветом учебника... И я не шучу, а уверен, что вы не очень тверды в сегодняшнем числе или даже в названии учебного заведения, где я имею честь преподавать. Но меня, как вы понимаете, это не обижает — вы хоть это-то понимаете? Но не соблаговолите ли вы объяснить мне одну штуку, ну совершенно не постигаемую разумом моим... Что происходит с вашим курсом?—И он вскинул на Грачева вытаращенные глаза.

Грачев подсчитывал про себя: а сколько же он не писал матери? Он теребил ремень сумки: сколько же, сколько же? Вот был снег или еще нет?

— Вы могли бы незамедлительно переадресовать этот вопрос и мне,—признался лектор, выбрался из кафедры и ухватился за первый ряд.— И это, может статься, справедливо. Но загадка участи поколения для меня разрешима,— он перебрался на ряд Грачева и плюхнулся рядом на стул, загудев Грачеву в ухо,— если я вижу хоть что-то. Хоть что-то! Но я ничего не вижу!

И он оцепенел, сжав сильными руками коленки.

Двери дернули снаружи, подергали, стул, замыкавший их, позорно рухнул на паркет и, белобрысый очкарик засунул голову в аудиторию, кого-то пряча за спиной. Он брезгливо глянул на лектора, на Грачева и исчез, известив крепким басом невидимого спутника:

— И тут ничего не читают, побродим, найдем... Где же наши?

И его ботинки громыхали размашисто и резко и были оправой для колющего кожу людскую острого перестука тонких томных каблуков, клюющих без запинки, но будто со вздохом воздушным в паузе — Грачев стер с щек колючий озноб плавными пальцами.

Лектор сильно подышал, откинулся назад и сунул ноги под передний стул, как Грачев.

— У вас хороший одеколон,— серьезно заметил Грачев.— Вот и перстень вы носите на пальце. Недешевый, да? Мне кажется, что у вас все схвачено и без нас, все хорошо.

— И презираете, и не верите, и все вы знаете про меня наперед.— Лектор с усилием прокрутил на пальце перстень.—Я ведь ищу уверенности. Почувствовать себя звеном в цепи. И я хочу знать, что такое вы. Ну пусть вы—пустота. И я знать буду, что вы пустота. Но только не неизвестность... Вы мальчик, вы даже понять не можете, как это связано с такой штукой, как смерть.

Грачев засунул ладони под затылок, потянулся, смочил краешком языка губы, подхватил сумку и пошел на выход.

— Не убегайте так, коллега,— слабо попросил в спину лектор,— мне ведь даже вас припугнуть нечем... Что вам до моего экзамена... А вы хоть чего-нибудь боитесь?

Грачев томился у дверей, сквозняк из коридора тыкался в его спину сухим, текучим хоботом.

— Или все — ничего? И в этом здании для вас — тоже? Ничего? — Лектор воздел руки к пожилой, пенной люстре и привстал.—Да? Ничего? А вот для меня, старого дурака, по-вашему, день счастлив, лишь когда я обмакну себя в тишину этих стен, подымусь по этим усталым ступенькам. Все время мое драгоценное—время до звонка, когда свобода: можно слушать скрип паркета... Вы хоть раз, один раз слушали этот дом?! — закричал он Грачеву, и губы его корчились.—Когда люди здесь—он мертв, каждый размазывает его на себя... Но вот когда тишина, ну хоть бы глоток ее... И в этот миг начинаешь осознавать, так... недоступность всю этого дома, равнодушие даже его ко всему, в чем мы копошимся,— здесь великие голоса Белинского! Гоголя! Достоевского!.. Здешний воздух сродни чему-то незримому, неощутимому, тому, что растет неприметно для нас, что в ряду с жизнью и смертью, что есть духовный скелет... А теперь я хочу услышать ваш голос, ну ответьте, коллега, громче, сразу, быка за рога,—что вы думаете о смерти? Как бы вы хотели умереть?

— За нашу Советскую Родину,— кратко ответил Грачев.

Лектор выбрался из ряда и оказался совсем близко к нему — нос к носу. Грачев смотрел на мраморного Ленина за его спиной.

И добавил:

— Очень хорошие у вас духи. Одеколон.

Лектор отвернулся трудно и выдавил:

— О чем я с вами, кто вы... Но я вот что скажу, хочу вам это сказать обязательно. То, что вы сейчас пытаетесь,— это не так. Это даже не так, как вы думаете, нет... Не надейтесь. А в вас, милый друг,— слишком много животного. Вы слишком любите жизнь — а это черта животных — сонных, трусливых, жующих, не знаю с кем даже сравнить. Вот для этого вы родились, и росли, и готовили себя — только для этого.

Грачев еле кивал готовно его словам, потом кивал просто— без слов, потом поперхнулся и не согласился:

— Нет. Тут чепуху сказали. Лично я себя готовил в контрразведку. Очень люблю книжки про разведчиков. И мечтал стать полковником КГБ. По возможности — почетным чекистом. Ага, вот вы спросили: почему?

— Я не спрашивал ничего.

— Охотно поясню вам, коллега. Первое: почему именно в контрразведку? Потому, что с языком было неважно, да и боязно как-то: двадцать лет на чужбине без отца и матери... Они нежные у меня очень. Тем меня и испортили. Это очень опасно: правильным быть мальчиком. Не вообще — правильным, а вот именно — мальчиком. И как без жены двадцать лет? Она здесь страдать да стареть, я там страдать — разве дело? Романы без любви—это ведь разврат и позор. Нельзя врать, можно жить и спать с человеком, только когда его любишь и доверяешь. В любви главное — это стоит и вам записать: доверие. И второе. Почему — полковником КГБ? С этим проще. Просто нравилось. Полковник КЭ ГЭ БЭ. Сильно. До сих пор нравится...

Грачев переместился еще ближе к дверям, там обернулся и объявил парадно:

— А вот кстати. На тему: а хорошо бы! По существу жизненной линии!

И заголосил с зловещим подвываньем, взметнув руки к люстре:

— Ах, хорошо бы! И ах, хорошо бы! Ах, хорошо бы, коллега, стать графом и покутить в гусарах, стрельнуть на дуэли человек пяток и укатить к маменьке в деревню — и жить в глуши! И равнодушно взирать на гостей! И уклоняться от сватаний! И пялиться с холодным отчаяньем в камин, и ни черта не хотеть. А с утра,— Грачев сноровисто оседлал стул, сделав важную рожу,— скакать на лошади, по полю, и чтоб — пар валил, и ехать тихо-тихо назад, чувствовать ветер, молчать и морщить от снега лицо, и пройти, не раздеваясь, в кабинет, и застыть

посреди, оглянувшись пустыми глазами на вопрос слуги: когда обед? И спать, проваливаясь в перине. Избегая мучений. Не слывя ни оригиналом, ни либералом, а только человеком, который понял, что своего места не найти, и поэтому чужого — лучше не занимать. — Грачев отпихнул надоевший стул и громко закончил вверх, под своды вековые, непонятно кому, — мне кажется, я бы смог так. — Голос его съежился, и он поник, махнув пыльным взором по отчужденно напрягшемуся лектору.

Лектор рассовывал в портфель бумаги, потряхивая серебристой гривой.

— Мне вообще кажется, что вы — мой брат, — проговорил тускло Грачев. — Глупость ведь, но ведь топчемся у друг друга на костях.

Лектор ушел, не сгибая спины, высокий, как маяк, мерцающий седым огнем, строго по середине коридора, не махая портфелем.

Грачев косолапо взошел на кафедру и голову свою склонил — как у гроба; был слышен ветер, сиплый от простуды, — ветер выл в заунывной мольбе, и трещали мелко оконные рамы, а Грачев прислушивался и вздыхал — тяжко, устало, по-детски — снова вздыхал и носом жалко шмыгал, заходился в страдании ветер, и срывался на острых, зубастых наледью карнизах белых крыш, похожих на перевернутые лодки.

*

— Какие люди. На трибуне! — пробрался в аудиторию украдкой рабфаковец Хруль, неожиданно раздувшийся в тесном костюмчике.

Грачев накренился вперед, подставив шею невидимому палачу, и покачивал головой в тиши.

— Зуб болит?! — гаркнул Хруль. И сам смутился от неожиданности.

Грачев повернулся к нему и длинно выговорил:

— Аа-а... Хруль. Хруль. Хруль-чик. Хру-Хру. Хру-уль...

— Аха-ха, — начал подхохатывать весь подобравшийся Хруль. — Ха-ха.

— Крыши, Хруль, — протягивал Грачев. — Кры-иши. — Он сам слушал голос свой. — Пустые, белые... Была бы воля — жил бы на крышах. Была бы воля — да вот зима.

— Ха-ха, — потряхивался толстогубый Хруль, и губищи его шлепали, — ха-ха...

— Зима вот. Устал, — сдавленно признался Грачев. — Сухой земли хочется. С девочкой хорошей познакомиться. Чтоб молчала — и не скучала. Чтобы сидела на кровати напротив — и ничего от меня не ждала. И на фортепьяно играла... А я бы носки вязал в кресле, да? — Грачев еще раз со стоном нутряным вздохнул и, покачиваясь, спустился с кафедры, сморщился и звучно решил:

— Идти надо. Ну, а ты?

— Я, — разом отозвался Хруль.

— Ну а ты, Хрулек?

— Я — Хруль, так... Учиться пришел.

— Есть какие-то проблемы? Сложности? Пожелания трудящихся? Письма и жалобы? Хлынул поток телеграмм? Какие расклады в моей державе? Откель супостаты?

— Ха-ха, — выкашливал Хруль, глаза его были тверды, как камешки.

— Идти должен, — сказал с напором Грачев. — Увы, боярин, мне пора...

— Конечно, учиться надо, учеба, — поддержал Хруль. — Курсовичок вот у меня, надо. А коллоквиум! У нас такая падла ведет — силов нету. Жрет прямо с дерьмом. Слушай, Грачев, ну а чего ты так сегодня рано встал, ходил? Вдруг пошел куда-то? — торопился он за Грачевым вслед по коридору.

— Учиться надо, учиться и учиться, — говорил упорно Грачев.

— Учиться? Ну да, ясный веник, — вторил ему Хруль. — А счас куда? Куда пошел?

— Жрать, в буфет.

— В общаге чего не пожрал, там... Слышь, да стой, ты! Мать твою...

Грачев круто развернулся:

— Ну что?

Хруль насупил брови, и голова его завращалась по сторонам, выглядывая что-то по закоулкам, губищи терлись друг о дружку, обнажая в слюнявом просвете два массивных резца, широких и желтоватых, как прокуренные ногти.

— Ну ты, вот глянь, утром сегодня... Шел куда-то, да? Ну помнишь, нет.

Грачев видел, как тесно его шее в тугом охвате новенькой рубахи.

— Ты, это, — мямлил Хруль. — Я тебя тогда видел, ну ты помнишь, а ты там стоял, а потом пошел, одетый, потом. Ну Аслан тогда еще... видел, утром, ну ты...

— Да, — подтвердил спокойно Грачев. — И я видел.

— Что видел?! — выпалил вдруг Хруль и сжался в тугой пружинящий столбик и процедил. — Ну чего ты видел?

— Видел, как вы магнитофон тырили, — бесстрастно сообщил Грачев, — у араба, наверное...

Хруль, бессильно улыбаясь, осматривался по сторонам.

— Что ж вы так шаганулись-то от меня? — так же безучастно спрашивал Грачев. — Ну кто ж так ворует? Ведь пора научиться. Не впервой ведь... Спокойненько надо так. В ящичке с-под пива. Бутылочек положить, чтоб гремело. Покурить у лифта, спокуха такая, а вы... Устроили метания, перебежки, эх! — и он страдальчески зевнул. — Сынки!

Хруль раздавленно сглатывал, машинально ковыряясь в ухе, наливаясь горячей кровью.

— Счастливо. Пойду я, — сообщил ему Грачев.

— Так теперь что? — отрывисто пролаял Хруль, глаза его зло не мигали. — Мать твою... А? Как будем расходиться?

Грачев пожал плечами:

— Да ладно, чего там. Купите мне бутылку водки. Да и все.

— И все, да?

— Да.

— Совсем? Поклянешься? Что никогда? Заткнешься?.. Ну что ты молчишь, скотина?

— Я пойду, Хруль, — опять зевнул Грачев. — Жрать и спать. Счастливо тебе, милый.

— В буфет?

— Туда. Я же говорил. Спрячь свои зубки. Счастливо.

— Иди, — весомо сказал Хруль. — Иди, — и он остался стоять, и расстегнул с больной натугой верхнюю пуговицу, рванув ее что есть сил, пустив на волю красную, рыхлую шею, и стонуще выматерился, качая сокрушенно головой.

Грачев побрел по коридору, косясь на пустые крыши, на подоконниках курили и смеялись молодые, от буфета тянуло теплой, душистой выпечкой и противным кофе с молоком, и Грачев уже представлял на подносе две слоистые булки с маком, марципан, два стакана виноградного кисленького сока и самое-самое большое яблоко — желтое, в серую крапинку, из чужой земли, суховатое, как прессованная вата, поглощаемое аккуратными укусами, оставляющими бессочный беловатый срез — и это не то, что наш «белый налив»: мягкий, с коричневыми родинками и синяками от падений, разваливающийся на зубах, открывая с веселым треском зернистую блестящую внутренность, окропляя губы мокрые пенным соком, или «антоновка» — зеленая громада, без единой морщины, литая, с глухим внутренним сердечным отзвуком от щелчка, никогда не червивая, с гранитной неподатливостью укусу, кислая, особенно вначале, легко набивающая оскомину и заставляющая морщиться...

Его поймал за локоть у буфета мордастый парень с комсомольским значком, он когда-то давно знал Грачева, но тот тупо осматривал костюм, галстук, значки, мордастость, не в силах решить: профком этот мордастый, комитет комсомола или что-то еще.

— Ну хоть тебя, слава богу! Грачев, друг, сколько у тебя сегодня пар? — трубил мордастый. — Вот сдай, пожалуйста, денюжки на Таджикистан.

И его морда свернулась набок. В буфетную дверь немой, переливающейся рыбой протекла в серебристой, пышной дубленке, с неясным ли-

цом под сенью привольных волос — эта девушка, и медицинский отблеск буфетного кафеля заголил и напитал теплотой ее сильные, плотные колени, сменяющие друг друга в поступи гладкими волнами.

За ней протопал неотвязный очкарик, смачно рассуждая.

— Можно сказать, что без юбки совсем, — облизнулся мордастый. — Вот это ножки, ах. И ведь кто-то, ах чтоб тебя, — ведь спит же кто-то с такими бабами! И не мы с тобой! А вон та очкастая задница. Ведь такой бы на курс хватило, а все кому-то... Как идет! Левой пишет, правой зачеркивает. И рожа нездешняя: с вечернего, что ли, такой цветочек перевелся? — мордастый сообразил, что за истекшее время Грачев что-то мигнул уже утвердительно ему и стремительно продолжил:

— Знаешь: землетрясение в Таджикистане, жертвы, дети, разрушения, женщины и старики. Все по рублю собирали. Ты тоже ведь сдавал, да? Вчера все перечислили, а сегодня 418-я группа донесла — четвертак. Вот, ты давай сдай, я совсем — замот, дыхнуть некогда, веришь, учебников еще не брал, совсем закрутился, давай сдай, ага, ладно? Ну ты понял, да? Любая сберкасса, прямо любая, там у общаги есть, где почта, ну ты знаешь, ну ты сдашь, ага, да? Ну ладно, тут в конвертике, ну ты давай, держи, побежал, давай.

И повернулся к Грачеву гладкой спиной, а в пальцах Грачева оказался конвертик: синяя рисованная марочка, чистые графы, картинка с флагами и профилями и почему-то волнующая, плотненькая толщина у нижней кромки — он с удовольствием ощупывал ее.

Он столик выбрал любимый — у высокого окна с овальным верхом, по-старинному утопленного глубоко в стену, кинул на подоконник сумку и глядел исподлобья, редко дыша, как эта девушка несет от стойки к столику кофе, стакан — словно свечу у груди, едва ступая, меняя ладошки — горячий кофе, и как пьет потом, будто целует, украдкой, стесняясь, оберегая широкие рукава дубленки от крошек и луж на плохо протертом столе, и застывает смутным взором над всеми, поверх, за его любимое окно — там качают черными рогами деревья — она это видит — у Грачева стало тесно крови в голове, он купил себе что-то и глотал большими кусками, не узнавая вкуса.

Из очереди выбрался и направился к нему кудрявый и развеселый сосед Шелковников, приветственно жмурясь Грачеву, хорошо отоспавшийся, за ним семенили две студентки в длинных провинциальных юбках и мохнатых одинаковых свитерах. Шелковников загрузил себе полный поднос, студентки тащили только сок.

— Ап-петит не испортим? — осведомился Шелковников с середины буфета. — Так и знал: найду здесь! Загонишь его на лекцию! Ага! Девочки, сюда, тут сгружаемся.

У студенток широкие толстощекие лица раскалялись румянами.

— Это — Ирка, а это — Ольга. Они — заочное отделение, — церемонно представлял Шелковников, составляя с подноса тарелки: засохшие щепочки сыра, горку холодного пюре с горелым кругом жареной колбасы. — Они, девочки, первый раз в Москве, верно, девочки? Или нет?

— Ты нас не оскорбляй! — махнула на него рукой, унизанной тонкими браслетами та, что потолще. — Мы — третий курс!

— Я говорил, девочки, не в том смысле, что вы — девочки, а в том, что думал — первый раз в Москве, а раз нет, то какие обиды, — с наслаждением чмокал губами Шелковников, грызя сыр. — Я никого не хотел обидеть.

Студентки дробно рассмеялись, выставив подковками острые, мелкие зубки, сок плескался в их руках, от них круто разило духами.

— А поселили их неподалеку, совсем неподалеку, — плел быстро Шелковников, азартно подмигивая Грачеву. — И чайник уже запасен, пора и гостей звать, верно? Всухую никакая сессия не пойдет, верно? Смазать бы надо! А?

— А вы-то где живете? — напористо спросила опять та, что потолще. — А то все про нас, а вы?

— Мы — хорошие ребята, мы — ребята-акробаты, — бойко частил Шелковников. — Ваш этаж. Вы — от лифта налево, мы — от лифта направо. Самый конец — 422! Не путайте с чеченцами, знаете. Аслан такой, черный, знаете? Они в начале — 402, а мы в конце, где окошко и огнету-

шитель, представляете? А это — вот самый товарищ Грачев, учитель и вождь, вот он!

— Ой, а он нам столько про вас наговорил такого, — пропела толстая. — Что уж...

— И такого прям, ну тако-о-ого, — подтягивала вторая, и глаза ее маслились остреньким, распутным любопытством. — Даже боязно стоять рядом, такой вы...

— Это он шутит так, — важно сказал Грачев и, посмотрев, допила та девушка кофе или нет, сухо осведомился, — девчонки, ну так как насчет перепихнуться?

Шелковников задохнулся ломтем колбасы и поспешно забулькал соком.

Студентки осеклись, разом побагровели, дохлебали скорей сок и, устроив поудобнее сумки на плечах, ушли, стуча вперебой каблуками, презрительно фыркнув на прощанье.

— Да девочки! — воскликнул умоляюще Шелковников, простирая вслед свободную от вилки руку и досадливо крякнул. — Всю малину обломал! Как с утра начал — так и дуреешь. И ведь такие хорошие бабы, эх, да что с тобой баландить?! Да ты хоть знаешь, сколько они с собой жратвы навезли? Колбаску, огурцы — все домашнее, орехов — мешок. Самогона... Три литра самогона! И ведь голодные, как собаки, — очень хотят. Как кошки лезут, эх. Ну да ладно, хоть ты и сволочь, — утешил себя Шелковников, — все равно. Наши будут.

Грачев оглянулся опять: белобрысый очкарик уже вцепился в сумочку этой девушки, но все рассуждал, поводя руками, а она крепко сжимала пустой стакан, бережно, как букетик, и посматривала в сторону — надо нести на мойку.

В буфет завалились Хруль, Аслан и еще пара смазанных лиц. Хруль радостно махал им рукой, бурчал что-то, кивал, хохотал — все они разом смотрели на Грачева. Он почувствовал — темный ветер осенил его лицо и плечи, его покрыла тень. Стало слышным всеобщее жевание, плеск воды на мойке, звяк монеты о тарелочку у кассы, шорох ветра за окном, шепот крови испуганный.

— Ты бы сходил к администраторше, — вымученно улыбнулся Грачев, осушив стакан сока. — Просит.

— Сам сходи, — скривился Шелковников. — Ты ее раскочегарил, ты и утешай, верно? Уже мхом заросла, а все не наестся... А муж живет и не знает, женись так, твою мать... Как же она меня достала, тошнит, вспомню — тошнит. Гора сала, все висит, тьфу! И все чего-то про жизнь говорит. «А ты доволен жизнью? Есть у тебя радость?» Тоже мне — цветочек, да ну ее! И все ты выпендриваешься. Есть же хорошие крепкие девки, голодные, дают, ничего не надо. Кончится сессия — поедут к мужьям и деткам. У толстой, что Олька, — двое детей. Ну чего ты их обидел? Вот на хрена? Тебе что — уже ничего не надо? Только в крыс пулять? Да на кого ты все время пялишься?!

Белобрысый устал выступать и потащил сумку к выходу. Девушка меж столиков пробиралась к мойке.

Грачев бросил:

— Ну ты давай, — и понес свой стакан туда же.

Застолье Хруля смолкло и напряженно глядело в стаканы и тарелки.

А Грачев сначала увидел бледную до просвеченности руку, утверждающую на цветастой, желтой, красной, зеленой клеенке стакан, только руку, а потом вздымающейся медленной волной поднялось и неслось навстречу лицо, растущее, плывущее, заклубившееся и распавшееся от напряжения в стороны от чистых, пронзительно синих до крика глаз, и маленький твердый подбородок взлетел на выдохе вперед на тонкой, белокаменной шее, и вся она напиталась движеньем, неостановимым, чтобы плыть и дальше без него, не видя, протекать мимо ладным, стремительным телом чужим, навсегда.

— Ничего у меня сегодня не получается, — признался ей Грачев.

Он перегораживал ей путь. Он понимал, что все его сокровище — это крупинки от ее жизни, крупинки, крохи от ее волшебных дней, непредставимых вечеров, огромных, как простые судьбы, ночей, великих таинств пробуждений, неохватимого простора весен вечных и лет, и только кру-

пинки — ему, пока она не догадается, что надо обойти его, и обойдет, лишь шаг в сторону и вперед.

— И тут еще вы,— говорил он спеша.— Как отблеск от... Хотя я во все такое не верю. И вы, наверное, то же самое — неправда. Но ничего поделать не могу... Пока вижу — не могу прямо взглянуть. Как в пропасть — голова сразу кружится.

Она споткнулась на нем, опалив взглядом запоминающим, удержала смутный порыв губ, ступила немного в обход, еще тревожно и болезненно заглядывая в его лицо, шагнула еще, еще раз, и ушла, скрывшись за спиной легким бесплотным звуком.

Шелковников сочувственно развел руками и присвистнул:

— Куда уж нам к красивым бабам!

Грачев сунул стакан на мойку и шепнул:

— Вот так. Так.

И он опять отправился к расписанию с безучастностью пенсионера, осматривающего пионерский лагерь,— навстречу решительно вышагивал Симбирцев с тремя соратниками — очки его млечно потели от стужи, полы куртки величаво расплылись в стороны.

— Братец, сегодня у курса аттестация по теории социализма,— сердито бросил он Грачеву.— Не пройдешь — стипендию снимут, понял? В 316-й или 333-й, глянь по расписанию.

В расписании аттестация не значилась. Грачев изучал его строчка за строчкой, уже чувствуя присутствие за спиной гнетущего ожидания.

Это был Хруль.

— Чего ты там вычитываешь? — спросил Хруль.

— Аттестация, говорят,— раздраженно пояснил Грачев.— А что?

— Да то. Говоришь — разойдемся? — сипло спросил Хруль.— Так думаешь?

— Разойдемся,— и Грачев упорно досказал,— бутылку мне купишь и — живи, порхай и ползай.

— Не нравишься ты мне. Нормальный вроде, а гниешь снутри, все не так говоришь, чего-то гнешь, все не в строчку,— прошипел недоверчиво Хруль.— Вот нет чтобы по-людски... Не, не хочешь ты по-людски. Ну посмотришь.

Грачев отошел на онемевших ногах в сторону 316-й аудитории, глупо что-то насвистывая.

Из 316-й выбрался взъерошенный мужик и с отвращением заглянул в зачетку.

— Аттестация? — уточнил Грачев.

— Она,— подтвердил мужик.— Ух, проститутка!

— Баба принимает? Сильно сажает, да?

— Не то слово. Стерва,— потряхивал головой мужик.— Аспирантка, а дерьма из нее лезет, как из профессора. По всему курсу мутузит, на датах ловит...

— Списать можно?

— Мастер спишет. Давай за последний стол, там учебник, бумажки какие-то бабы оставили, пошаришь. Но аспирантка — это просто облом какой-то, ну валяй. Ты не видал, в «Российские вина» очередь стоит?

Грачев помялся у двери, подержал рукой грозный холод дверной ручки, ухмыльнулся и сильно постучал: так, так, так, так.

Четыре товарища гнулись за столами слева и справа, как гребцы на галерах, прикованные к веслам. Пятый сидел на стуле, словно на колу, с лицом подвергнутого клизме и невнятно булькал что-то по-бульдожьи подобравшейся аспирантке.

— Вы ничего не знаете! — с отвращением резала аспирантка.— И списать пытались, все, все, ну все, не надо мне ничего говорить, недоноски просто какие-то, все! Вон!

Товарищ заерзал, будто на сковороде:

— Я читал, памяти просто нет никакой: ребенок болеет, спать не дает. Может, я по кусочкам отвечу?

— По кусочкам ты будешь туалетную бумагу рвать,— аспирантка переправила зачетку в помертвевшие руки товарища — тот пошатался к двери слепцом, аспирантка повернулась к скромно ждущему очереди Грачеву.

Это была Нина Эдуардовна. Утренняя аспирантка из читалки в общаге.

Грачев, очень глупо ухмыляясь, пятился назад и наскоро объяснял прерывистым голосом:

— Я — следующий раз. У меня содоклад на другой кафедре и курсовой коллоквиум, я просто зашел предупредить, очень жаль, следующий раз, уж тогда...

— А что? А? Что там мальчишечка говорит? Что? Малышик, а ты знаешь, сынулька, что сегодня последняя сдача? И сдают те, кто уже пытался по одному разу? А? Что? Ах, ты масечка ненаглядная,— плотоядно облизывалась аспирантка, и лицо ее смерзалось в глыбу льда.— Через час я вообще ведомости закрою! И сдам в учебную часть. Набегаешься без стипендии! Очень уверен, да? Раз ждал до последнего. Ну что, так, может, без подготовки, а? Гений времен и народов? Рулевой и кормчий, умник?

— Да нет, отчего же, хотелось бы суммировать как-то мысли,— канючил Грачев, внушительно шевеля глазами товарищу за последним столом,— тот что-то интимно пощупал у себя между ногами и пересел к стене, освобождая место.

— Сядь. Готовься,— позволила Нина Эдуардовна и, наслаждаясь, улыбнулась.— Вот тут будет удобно.

И показала на свой стол.

— Легче припомнится,— объясняла она, клацая зубами.— Все, что знаете.

Грачев сел камнем, у аспирантки над бровями крепли гневные ямки. Грачев смотрел на ее шелушащиеся от стирок пальцы с дешевеньким колечком и ярким до неряшливости лаком, он успокоился совсем.

— Ну-ка не списывать там! — громыхнула аспирантка, и позади что-то трусливо трепыхнулось.

— Готов? А? — осведомилась она у Грачева.— Время, время. Так, товарищи, этот студент первый раз и очень спешит, я думаю, позволим ему без очереди, согласны? Итак, мой ученый друг, о чем бы вы хотели нам поведать? — она развалилась на стуле, который страдал под ней всеми суставами.— Ну, товарищ, но только не надо нас задерживать, мы ждем, все ждут вашего слова... Ну хотя бы какую тему вы затронете? Как? Неужели совсем ничего? Какая жалость! Я так мечтала вас послушать, наслышана, наслышана... Ведь так надеешься услышать приличный ответ.

Грачев помалкивал, тело аспирантки томилось в одежде, как тесто в кастрюле, ему всегда было очень жаль таких женщин — просто женился бы на всех сразу, пожалел и утешил, в коридоре постукивали каблуки, не сужденные ему никогда.

— Без-зобразно подготовлен курс,— скорбно вещала аспирантка,— что за люди, не человеческие лица, а рожи... Ни гордости, ни желания честно работать, ни стремлений, ни честолюбия, начнут что рассказывать про себя, так только пошлости и разврат, да морду кому в кровь разбили, а если увидят кнут — только подлизаться да унизиться. Срам! И курс на курс похож — одно и то же, улучшения никакого, только хуже. Сидят и хвалятся только своей грязью. Неужели так приятно вот сидеть и знать про себя: я — балдей! я — дурак! Даже помечтать не можете, а только прижмешь — сразу плакать да каяться. Ни мечтаний, ни порыва, вам даже судьба-то своя и та безразлична. Только пожевать. И поразвратничать, обидеть честную девушку какую-нибудь. Да в вас мужского-то ничего вовсе нет.

Позади иронично покашляли.

Грачев пошевелился и негромко проговорил:

— 4 мая 1805 года во рву Венсенского замка был расстрелян герцог Энгиенский, захваченный на чужой — баденской территории по вздорному обвинению в причастности к заговору роялиста Жоржа Кадуля. Россия резко протестовала против этого злодейства — это стало формальным предлогом для обострения отношений с Францией — так в русскую жизнь ворвался Бонапарт.

— Это очень по теме,— прервала его аспирантка со вздохом.

— Много лет спустя, в изгнании, в своей «Настольной книге наблю-

дений за природой и атмосферой острова Эльба императора всей Франции Бонапарта Н.» он записал примерно такое: «Меня спрашивают, с каким чувством я вырывался из снегов России... Пожалуй, это был стыд. Там, вдали от любезного Отечества, понял я цену себе, душе своей и сердцу. Столкнувшись с огромным, бескрайним отображением своим, я с потрясшей меня четкостью осознал, что я — ничтожество. И я бежал. С этой землей нет надобности воевать — она не способна принять чужое надолго, и верно — эти люди слишком искренни, и в порыве своем быстро устают и умирают, и убивают. Их нельзя победить — у них нет дна, они опустятся ниже любой низости, но им всегда есть откуда вернуться. Это единственное место в созданном Богом мире, где поражения и победы совпадают — им не нужны герои, они их не хоронят и не хранят, я понял все про себя, но земли этой постичь до конца не сумел, и бежал, и быстрые кони понесли меня к Березине».

— Так, затыкай — нанюхались! Издеваться решил? Я ведь не буду разбираться — дурак ты или больной, отведу к декану, да и все, — завелась Нина Эдуардовна, довольно поглядывая на ожидающих своей участи товарищей. — Лапшу оставь себе. Девушкам на уши вешай, если они у тебя есть. Только языком трепать, разные лживые сказки плести высокоумные, а по предмету я от тебя, милый, ничего не услышала. Работать не умеете, так послушаешь, и руки тянет помыть с мылом, как...

— Отхожее место почистили...

— Вот! Да! Сам сказал. И сам понимаешь, а сделать ничего не можешь, — аспирантка полезла в ведомости. — Так, Грачев, Грачев, это какая у нас группа, так, стыд какой, четвертый курс... и так заниматься, переучился, что ли, был вроде на виду, вот как вас общага ломает... Так, ну какая группа-то твоя, а?

— Четыреста четвертая.

— Как? А ты группу свою точно помнишь? Не путаешь?

— Четыреста четвертая.

Аспирантка залистала с поскучневшим лицом его зачетку, убедилась и кинула ее через стол Грачеву:

— Иди отсюда! И здесь наплел! Только и знают, что расписание безобразничать. Хоть объявление на дверях прочел бы! Идиот. Твоя группа сдает в Коммунистической аудитории, сколько времени украл, дожил — читать не может, сиди тут и слушай бредни его, псих какой-то... Недоумок. Та-ак, кто следующий? А это что там в парту бросил? Как ничего? А я подойду, подойду: что здесь? Уберите колени, студент, ну! Да что вы со мной бороться будете? Что вот это? Вот это — я спрашиваю. Ничего? Ах, ничего, раз ничего — так берите ваши вещи и идите отсюда, нет, ничего не знаю, не знаю, вон, вон, стыдно, стыдно в вашем возрасте, да, да, тем более, поговори еще, да, хорошо, всего доброго...

Грачев стоял в коридоре. На подоконнике курил чеченец Аслан и уверенно смотрел на него.

Грачев почувствовал свои ладони липкими, сунул их сохнуть в карман и, сгорбившись, отправился искать свой курс — чеченец шел следом.

День переламывался надвое, снег валил коровьими ресницами, и в сиреневых тенях копилась вечерняя тьма и ночь. Грачев шел под ровными сводами, как в чреве вымершего чудовища незапамятных времен, по этажам острова вчерашнего века, где его никто не оставит, он не хотел вечера, возвращения, но шел в Коммунистическую аудиторию, что было все равно — в этом направлении.

Он еще выдумывал: не спуститься ли ему во двор, где есть лавки, подсоленные наледью, и ветер ручной в окружении стен, и меж черных коленей скорбных деревьев, у которых внутри, пусть скромное, но все равно — тепло, течет, копится и ожидает в терпении великом, и где совсем нет людей и не так зримо одиночество, но там еще ржавый бак с паршивой, вонючей рвотой мусора вокруг и в нем что-то ворохнулось серое — или под ветром, или само, — Грачев наклонился к окну с лихорадочной, обреченной зоркостью, прося силы, жмясь ногой к дебильно горячей жизнерадостности батареи — но это был голубь.

Голубь лазил по мусору, перебирался повыше, не взлетая, пешком, и копал ногами, как безрукий, пропитания ради.

Грачев потрогал в кармане свисток из дерева лозы, достал и обнял губами иссушенную теплую кору: не получилось сразу, но затем прорвалось и выросло — с комариного нытья на ветровую жалобу, свист взлетел и пал, Грачев спрятал, испугавшись, свисток и пошагал скорее, обходя углы, заглядывая под батареи, прислушиваясь, что за спиной — за спиной следом шел чеченец Аслан, и весь мир будто разворачивался навстречу и тащился, придвигался неотвратимо, как ледник.

Коммунистическая аудитория с древним балконом и тающим эхом, негусто засеянная людьми, шевелилась и потрескивала, как остывающий костер, преподавателя не было, зевали, дремали, ржали, ерзали, три отличницы с натруженными глазами и задницами переписывали друг у дружки конспекты и страшились аттестации. Симбирцев, лишившись где-то своих соратников, ожидал отстраненно, с видом принца на городской свалке, и опять что-то нудил во втором ряду белобрысый басистый очкарик, и ладони его порхали, как две ощипанные птицы, а та, что слушала его, освободив круглые плечи из дубленки своей серебристой, даже не увидела Грачева, улыбалась сфинксом — все, кто не дремал, ржал, зевал, смотрели на нее — будто оттуда шел свет — Грачев поднялся к Симбирцеву и кивнул вниз, на нее.

— Да, — подтвердил Симбирцев. — Очень даже. Положить на плечо и отнести на сеновал. Больше, на мой взгляд, ни для чего не годна. Проститутка. К нам с вечернего только такие и переводятся.

— Вы простой очень человек из народа нашего, товарищ Симбирцев, — сказал Грачев и успокаивающе помахал чеченцу Аслану, суетливо озиравшему аудиторию. — Раз в короткой юбке, красивая и не с тобой — значит: проститутка. И если не очень похожа на мужика — тоже проститутка. Но вот в этом цветке как раз больше возможностей найти и откопать мечту. И ослепление. И даже озарение. И что-то такое, ну вы понимаете, коллега, — рассуждал Грачев, хитро поигрывая бровями.

— И у ней, братец, гораздо больше возможностей оказаться тварью.

— И это тоже. А твой соратник — скромный аспирант Нина Эдуардовна — оч-чень крутой товарищ.

— Она — хорошая, — Симбирцев подобрел. — Хорошая. Но очень трудно с ней работать вдвоем. Знаешь, личный фактор у нее, как-то э-э...

— Обострен?

— Угу. И это мешает работе. Скверно! Она — живая женщина. Это я понял. Ей хочется рожать, мужа супом кормить...

— Борщом.

— А ничего не выходит, черт побери. Сколько я ни содействовал — и дельных товарищей вроде рекомендовал, а все — неудачно. Жалко девушку. Очень жалко, опускается она потихоньку, совсем духом упала. Мне уже думается, что она готова уже на все, лишь бы начать свое, женское, существенное, с ее, конечно, точки зрения... Я думаю, этого нельзя презирать, я это вполне понимаю. Но в работе — просто беда. Вечером пишу — сидит и сидит у меня в комнате. Уже не могу — спать хочется, говорю: идите, Нина, мне ложиться пора. Нет, я еще немного посижу, может, понадоблюсь, что помочь. Да нет, говорю, не надо...

— Это с твоей точки зрения.

— И сидит. Чего сидеть-то?!

Грачев поморщил лоб и предложил:

— А может, взять тебе этот фактор и сгладить?

Симбирцев не отвечал.

— Конечно, вы, коллега, можете этот вариант предложить и мне, но мои силы на исходе, я и не смогу, а вот вы. Взять и сгладить! Ничего другого у нее уже не будет, чего ждать? Ты к ней вроде неплохо относишься. Ну потерпишь, в крайнем случае. Хотя я не думаю, чтобы это было так невыносимо неприятно и омерзительно. Зная твой образ жизни, я прикидываю, это и тебе было бы очень удобно, спать будешь ложиться пораньше... Тем более — для пользы общего дела.

— Ты заткнешься наконец?

— Пожалуйста, но ведь ей же счастье!

— Люди так не поступают.

— Это тупые бараны так не поступают. Коллега, рассудим: ты за руку ее берешь? Когда приветствуешь? Или когда пересекаете оживленную автостраду? Берешь, я надеюсь, не хам же ты немытый. А в щеку

поцеловать можешь? Чуть? Я думаю, да, и не вырвет. Да она симпатичная девчонка, о чем мы говорим. Так это — то же самое: одна часть твоего тела касается, скажем так, другой части уже ее тела — ну почему вышеперечисленное возможно, а последнее — нет? Это же, как рукопожатие, но с гигантски возросшей эффективностью. Я бы сказал даже — самое искреннее и доверительное рукопожатие, возможное только между истинными товарищами, даже соратниками, что мы имеем в твоем случае. В этом подлинная простота и пролетарская культура. В этом самая большая человечность, стать простыми, как правда, человечными, как жизнь. Она останется тебе на всю жизнь благодарна. Ты, так сказать, вольешь в нее уверенность в силу и жизненность женского природного начала, ну сколько ей еще в девках сидеть? Она мигом изменится, образумится — мигом себе жизнь устроит, только шорох будет стоять, ты носом шмыгнуть не успеешь — кадра себе найдет. Так дай же ей ее главное оружие, не томи девку! За что ей пропадать? За твои великие идеи? За то, что ты дурак? Ну чем она, если без деталей, хуже хотя бы вот этой, — Грачев указал вниз и закончил завистливо, — а хороша, сволочь, цену знает — хоть бы раз оглянулась. И почему она к нам раньше не перевелась!

— Не ори ты так, скоморох! — Симбирцев поозирался разозленным взором. — Все не так. Не так, как ты городишь. Желание голое — это ее внешнее, одежда, а внутри-то она — все равно надеется, что будет единственный, тот самый, супруг, который оценит ее чистоту. Может, она думает, что это буду — я. И она положительно знает мою порядочность, что я без серьезных намерений никогда не позволю себе покушаться... Грачев, я порядочный человек!

— У тебя, коллега, есть единственная в жизни возможность, — твердил веселый Грачев, — без идиотских планов студенческих ассоциаций и союзов подлинно нравственно свободной молодежи с работой на будущее нации, без всего этого, сейчас, почти моментально, я надеюсь, сделать человека счастливым! Своими, если так можно выразиться, руками! Вот где подлинное историческое творчество. А что касается ее иллюзий... Ну что ж, ей даже легкое потрясение, прозрение, накопление мудрости будет только на пользу огромную. Надо только-только немножко так ее подтолкнуть, последнюю такую точечку махонькую поставить, а уже дальше! — с новой строки! Новыми буквами! Я! Люблю тебя! И подпись: жизнь!

— Подтолкнуть?

— Ну конечно.

— Чуть-чуть?

— Ну а как без этого? Исцеление через боль. Надо уметь жертвовать мелкими личными потерями. Можно ли говорить об идеологической целомудренности, когда речь идет о судьбе человека? Тут где-то с большой буквы, потом расставишь.

— Ты последний подонок, Грачев!

Они отвернулись друг от друга, а в аудиторию на коротеньких ножках вбежала седенькая тетенька в пушистой теплой кофте пыльного цвета и с раздутой хозяйственной сумкой в руках. Она уже с порога запричитала:

— Ой, дождались, ребятки, ждут меня, старую, а я бегу, я бегу. Знаю: ой, опаздываю, сейчас, быстренько, в этот троллейбус — да разве влезешь... Опоздала — виновата, и так уж спешила, думала — не дождутся меня, уйдут, разбегутся, а вот молодцы, умнички, ждут.

— Еще эта древность приперлась, — долбанул кулаком по коленке Симбирцев. Грачев рассмеялся и уселся поудобней.

— Садитесь ближе, ребятки, кучнее, — тетка засучила рукава, открыв руки серые и высохшие, как заплесневелые батоны.

Народ с кряхтеньем собрался в комок, поближе к ее столу, а тетка уперлась дряблыми кулачками в стол, сильно запрокинув голову, и проговорила, закусывая губу в паузах:

— Товарищи, я преподаю свой предмет вот уже скоро тридцать семь лет. Вот вы улыбнулись, да? Да, это конечно много. Вам трудно это понять, вы ребята молодые... Это, можно сказать, вся моя жизнь. Жизнь сознательного человека. И коммуниста. Сейчас, в последние годы, многие оценки и углы зрения существенно меняются, вы знаете об этом... Я не

могу сказать, что была к этому полностью готова. Это трудно невероятно. Не-ве-ро-ят-но. Это — тяжело. Хотя даже и в те годы я понимала, что мы очень часто формально подходим к своей дисциплине, старалась как-то оживить учебный процесс, предлагала, вводила новшества. Не все, к сожалению, удалось. А что-то и удавалось, были активные студенты, интересные диспуты... Но я все равно свою вину чувствую, я переживаю, мне жутко трудно порой...

Симбирцев смурно посмотрел по сторонам — на коленях листали серые учебники, шушукались, хихикали; три отличницы, вспотев, сидели истуканами, белобрысый очкарик, снисходительно улыбаясь, продвигал руку за прямую спину своей спутнице — Симбирцев закрыл лицо руками.

— Я — виновата, — с усилием повторила тетка, глаза ее искали себе приюта поверх голов, на древнем балконе и синеватых окнах. — Мне важно сказать это вам. Сегодня я начинаю учиться вместе с вами, и буду стараться только помогать. Все-таки опыт есть. Аттестация сегодня пройдет как свободная дискуссия. Жизнеспособен ли социализм? Вы, пожалуйста, говорите, что хотите, без всяких стеснений, а я послушаю. Кто будет активен — тому аттестация. Я хочу, чтобы каждый определил свою позицию.

Она опустилась, как упала, на стул, но подумала, и встала мишенью опять:

— Ну так что, ребятки?

— Вот мне кажется, что в исторически конкретных условиях нашей страны социализм был необходимым этапом, — вывела преданно одна из отличниц. — Была произведена культурная революция, облик страны преобразила индустриализация, в войне была одержана победа, несмотря на ошибки и ошибочные извращения...

— Хватит молоть чепуху! — важно крикнул белобрысый очкарик, и со всех сторон вяло потекло:

— Какая там жизнеспособность, нам нужно, как в Швеции, такую модель, чтоб народ зажил.

— Но сначала пусть коммунисты ответят!

— А мне кажется, мы из дерьма никогда не вылезем, загнали нас в коммуну, сделали народ рабами — самый настоящий фашизм, и мололи людей, гноили, пока от красного не отмоемся — жить не сможем как люди.

— Да и так не будем никогда, провели на нас опыт...

— Да ты чо, земляк, плохо живешь?

— А ты сравни жизненный уровень, а у нас? Если взять только мясо...

— Ну и езжай туда. Я смотрю, у тебя там родственников уже, небось, хватает.

— Нужен сначала свой Нюрнбергский процесс, посадить их всех. Можно даже не вешать — выдать толпе. Кто принес к нам эту заразу?!

— Чтоб полетели и партбилетами зашелестели.

Грачев, воодушевясь, блеснул глазами и крикнул, косясь на Симбирцева:

— А судьи кто? Агенты либеральной буржуазии! Товарищ не знает диалектики!

Тетка чуть встрепенулась на его крик и опять смежила веки.

— А народу — колбаса чтоб была, и автобусы пусть по расписанию ходят, а это можно просто...

— В двадцать четыре часа!

— А ты народ, что ли? Ты по себе не суди!

— А мне кажется — России нужен свой путь.

— Да хватит молоть, какой там путь, уж лучше как Сингапур. Пока ищем, вечно нам кто-то на шею сядет, до сих пор партию скинуть не можем, кто будет отвечать за все? Я это хочу спросить!

— Надо ехать отсюда на хрен, чего ждать. Пусть голое место, японцы до ума доведут, не бросят.

— Ну о чем разговор, партия уничтожила народ, самые лучшие силы, пока партия есть — всегда палки в колеса, надо просто аккуратно выявить всех этих, сторонников, коммунистов и отодвинуть отовсюду. Пусть не трепыхаются!

— Где ты столько людей для этого возьмешь?

— Я сам готов, а чего?

— Лучше поздно, чем никогда! Мягко стелют, да жестко спать! — привстал Грачев. — Лучше меньше, да лучше!

— Социализм — изначально власть черни, подонков и грязи, — небрежно разъяснял белобрысый, его соседка даже не оборачивалась на говорящих. — И только с нашими холуями и дураками мужиками можно было такое сотворить. Надо объяснить нашему быдлу, что оно — быдло, что единственное, чего быдло боится, — это плетка, что убийца Ленин сделал из страны тюремный барак, надо вытравливать из крови все коммунистическое...

— Я уже слышать не могу про этого лысого и картавого...

— Плюс электрификация всей страны.

— Леш, а ты читал, что он был больной? Врачи определили. Это Плеханов сразу разглядел.

— Ага, и с Мартовым они разнюхались из-за этого.

— Немцы купили и завербовали, а дальше уже винтовки и евреи...

— Да ладно...

— А что? Нет, а что, имею право! Разве не правда? Ты вон почитай!

— Управлял державой... это позор!

— У нас в архиве американцы нашли любительский кинофильм, где на Капри Ленин, Троцкий и голый Каганович играют в карты на животе какой-то бабы. Плохое качество, но подлинность уже установили. Да им жрать да пить надо было!

— А тебе не надо?

— Наша сила в заявлении правды! Шаг вперед — два шага назад! — выпалил это Грачев, успокоился и приземлился на место, испытующе глянув на безжизненного Симбирцева.

— Отдайте посылочки детям, а себе сколько оставил?

— Небось, не подыхал.

— Куда не ткнись: плакат и его морда. Надо собрать все в одну кучу вместе с книжками да пожечь!

— Странно, что про туалеты ничего не писал.

— Писал: партия — это ум, честь и совесть нашей эпохи! Ха-ха.

— Пусть сидят и молятся на бюсты. Похудеют-то без пайков, ножки без привычки заболят-то от дорог.

— Я б на каждой улице сделал пивбар.

— И баб. Вообще — публичный дом, это лучше.

— А пока бутылок даже нельзя сдать.

— И купить.

— Ничего не изменится, как были азиатами...

— Азиаты сейчас как раз — очень хорошо.

Вторая отличница, устав тянуть руку, осмелела и встала сама, пролепетала:

— При всей противоречивости этой личности, сложности международного положения того времени, особого характера русской революции и неоднозначности развития производительных сил и производственных отношений, уникальности сложившейся ситуации и совокупности индивидуальных качеств...

— Спасибо, — вдруг дребезжащим голосом сказала тетка. — Спасибо.

Она провела смутной ладонью по лбу. Нашла неуверенной рукой стул за спиной, придвинула его ближе, уселась. Поправила сумку рядом и потерла руки с сухим шелестом. Потрогала часы, глянув на время. И занесла после долгого припоминания сегодняшнее число в ведомости, шумно сопя носом и обижаясь на ручку — та плохо писала.

В тишине стало слышно, как тихонько плачет третья отличница — она так и не успела хоть что-то вставить.

Тетка раскладывала ведомости шеренгой, подправляла, чтобы получились ровные ряды, перекладывала, меняла местами, если номера групп лежали не в порядке возрастания. Затем занялась ручкой. В сумке нашелся ненужный измятый рецепт, и она, тряся головой, пустила ручку плясать по нему, пока та, наконец, не сдалась и не засочила из себя фиолетовую кровь — тетка удовлетворенно оставила ручку в покое и больными глазами провела по аудитории.

Все смотрели на нее.

Все ждали.

Она прокашлялась, подбородок у нее часто задергался, но она справилась с ним.

Грачев обмяк, он видел в коридоре чеченца Аслана — тот слушал нетерпеливо переминающегося Хруля. Хруль тыкал ногой батарею. После аттестации надо возвращаться в общагу. И еще. Сдать деньги на Таджикистан. Донесла деньги 418 группа. В Таджикистане вздрогнула земля. Им придется начинать все с начала. Бедные таджики! И представители других национальностей.

Еще длинный день, еще жить. И еще в общаге.

Под ногами у него тускло отсвечивала пыль, лежали обрывки бумаги и ржавый яблочный огрызок. Там были щели в паркете, а ботинки широки, как ступени, и готовы принять на себя текучий, когтистый прыжок — внутри все накренила и протащила внезапная тошнота, и он поджал онемевшие ноги, наливая их резиновой, неживой силой.

Симбирцев освободил лицо от ладоней — лицо его было пористо и бледно, как подвальный росток.

— Я-а, ребятки, — протянула вдруг тетка, и тишина стала снежной, все были под сугробом, трудно дыша, все глохли, немели, глотая открытыми ртами. — Я-а... Очень довольна. Вашей активностью. Молодцы.

Народ скрипнул, зашуршал, заголосил, перелился дружной рябью. Грачев и Симбирцев не шелохнулись.

— Скоты, — обронил Симбирцев.

— Мне трудно дается все это, — она вжала сложенные ладони в сухую грудь. — Я все пропускаю через сердце, надо многое успевать прочесть, услышать, сейчас столько нового, полезного... для нас. Я-а, а у меня сейчас, еще такая история — у меня умирает мама, и так это все накладывается, что...

— Дура, — шепнул Симбирцев. — Господи, дура.

— Все не просто, а Ленин — Ленин был единственным человеком, которому я поклонялась, которого я любила всем существом своим, всем...

— Телом, — добавил кто-то немедленно, и народ заржал и радостно задвигался.

— Дура, какая дура, — твердил неслышно Симбирцев, у него словно болели зубы, он вминал в щеку пальцы и глухо рычал. Грачев застывше улыбался.

Тетка жалко поморгала и прошелестела:

— Особенно мне понравились вот этот товарищ, этот, — показала она, по-доброму улыбаясь, на белобрысого. — Вот, вот вы, вот еще, активно работали, — последним был Грачев. — Хорошо готовы ребята, подкованы. Много читают. Ориентируются. Мыслят оригинально. Это очень радует. Есть, значит, кому нас сменить, растет смена... Но вот двоим я поставить не могу ничего, — этими оказались Симбирцев и немедленно зарыдавшая третья отличница. — Ну зачем же так переживать? Надо было в семестр добросовестней заниматься, на лекции ходить. Раз чувствуете, что нет навыка самостоятельной работы, мало читаете — тогда ходите на лекции, записывайте, занимайтесь. А как вы думали? Не заниматься, не посещать и сдавать наравне со всеми? Так не выйдет, товарищи. Нет.

Отличница стала перекатываться по столу, комкая в пальцах убористые конспекты и разрывая колготки о занозистый стул.

— Теперь. В зачетки я буду проставлять по очереди. Сразу все не идите, толпой.

Вниз, к ее столу потянулась жизнерадостная вереница.

Эта девушка поднялась, расправив хрупкие мальчишеские плечи, легкие руки отбросили волосы назад, подставив скупому зимнему свету сильную выпуклую грудь — девушка сошла вниз, махнув чуть рукой белобрысому, наклонилась на миг к тетке, та отпустила ее кивком, и вышла вон, наружу, вздрагивая сладострастно плывущим телом, она билась, как сердце, когда шла и слепила.

— В туалетик, — мертво сказал Симбирцев. — Пошла твоя... Тоже отмолчалась.

— Что? А? — встрепенулся вдруг белобрысый по только ему слышному зову. — Понял, сейчас, принесу! — схватил в охапку дубленку и полетел следом, также отпросившись у тетки умоляющим шепотом.

— Или покурить, — передумал Симбирцев.

— Вовка. Я хочу сказать тебе одну штуку. От сердца, — сказал Грачев. — Но только ты не обидься.

— Я не обижусь.

— Погоди, погоди ты, не зарекайся... Я об этом очень много думал, прежде чем понял. Все последние четыре года ушли на обдумывание. Я очень непросто пришел к итогу. И мне очень трудно все это тебе сказать.

— Я все равно не обижусь. Что бы ты ни сказал.

— Правда?

— Правда.

— Я мог бы и не говорить, но этого тебе больше никто не объяснит, если не я. Короче, я понял причину твоих поражений в жизни.

— Говори.

— Только не обижайся, ради бога.

— Говори!

— Заниматься надо в семестр, — проникновенно произнес Грачев, — на лекции ходить. Не бывает так, чтобы не заниматься и сдавать.

Симбирцев обратил к нему суровое лицо, подождал, пока он кончит смеяться, и твердо сказал:

— Я все равно в это твое не верю. Играй-играй, но ты устанешь. Мы все равно одинаковые. Покойники, самоубийцы. Лежали в могилах, а вдруг пришли и раскопали, разрыли и сказали: выстрел, которым вы себя убили, жизни лишили, — был холостой. Живите теперь! И ты тоже на этом...

— Нет уж. Я давно уже здесь не живу. Вы, коллега, ломитесь в пустую квартиру. Не стоит.

— Врешь! Сидишь, притаился на чердаке и ждешь, пока все плюнут да уйдут, тогда и слезешь: копаться и свое отбирать. И вообще, пошел ты к черту!

— Я пошел. А с посещаемостью ты подумай. Надо заниматься. Как теперь без стипендии?

И Грачев, помахивая зачеткой, отправился вниз.

Седая тетка гнулась закатным солнцем над столом, руки ее с дряблой, шершавой кожей тяжело лазили по зачеткам, как две старые голые ящерицы по черным, синим, красным камням, и вписывали в графы одинаковые числа и буквы. Она будто спала. Не видя, не слыша.

— Вера Павловна, — позвал Грачев, — Вера Пална.

Она задрала лицо, сощурясь на него, как на яркое.

— Давайте аттестацию всем поставим. Уж больно ребята расстраиваются.

Отличница рыдала из последних сил, впечатляюще сотрясаясь плечами. Две другие деловито переписывали ее конспект.

— У вон того парня жена ушла, оставила на него троих детей, тещу, тестя и свою бабушку, все в одной комнате. Он спит в ванной, валетом с тестем. Сторожем подрабатывает в морге. Как ему без стипендии? Отравится с горя, упаси бог. Крысиным ядом.

— Но ведь... Это ведь будет как-то нечестно по отношению к другим товарищам. Они же не готовы. Не совсем, то есть, — стыдливо покраснела Вера Павловна.

— Честно! Они прекрасно готовы, просто болезненно скромны и нет навыков ораторского мастерства, трудно им высказываться в свободной дискуссии. Давайте у остальных товарищей спросим. Посоветуемся.

— Ребята, ребята, послушайте меня, — закудахтала Вера Павловна, — мне сейчас в голову поступила одна мысль. А что если мы поставим аттестацию всем? У этих студентов, я не могу тут говорить, у них особые обстоятельства... Даже ночевать негде. Я не буду вдаваться... Ну как?

Народ одобрительно завопил.

— Ну хорошо, идите и вы.

Отличница, сорвавшейся с привязи бочкой с квасом, понеслась к столу. Симбирцев безучастно покинул тоже свое место.

— А вы... Какое-то знакомое лицо, — как в забытьи шептала Вера Павловна Грачеву.

— А я у вас на спецсеминаре был на первом курсе — помните, все про коммунизм-то без устали? А вот этот товарищ, что одинокий семьянин, — он даже, по-моему, первое место на конкурсе научных работ брал, тоже крупный теоретик, Энгельс.

Тетка сонно помигала и вывела Грачеву в зачетке необходимые буквы.

И тут, будто ветром в окно надутая штора, в аудиторию вступила эта девушка — шаг ее укорачивался, медлил, таял, и она остановилась солнечным пятном и беспомощно обожгла синим взглядом Грачева и тетку, — волосы ее могучей белокурой пеной разбились с налету в брызги о плечи, она что-то выговорила, слова какие-то, напевы, как камешки стукнули в колодце сухом, внизу, звонко.

Грачев разозлился на свой юный стыд и отвернулся совсем, помещая зачетку в карман.

А она еще что-то повторила, пропела, громче — глотку аудитории перехватил спазм.

— Что там? А? — сварливо переспросил Симбирцев, указывая тетке в зачетке нужную графу. — Что там у вас стряслось?

Грачев в неловкую раскачку переместился к дверям.

Девушка дотронулась до щеки рукой, сухой и чистой, как сосновая стружка, и отчетливо-звонко спросила у всех:

— А где моя дубленка?

Тетка спросила у аудитории:

— Какая дубленка? Так, я всем аттестацию поставила, а вам, девушка? А где беленький такой мальчик?

— Дубленку твой мужик следом вынес! Так ты ж его сама позвала за собой! — рявкнул Симбирцев, помахал вразнобой руками, крикнул, — да ты хоть его знаешь?! — и вдруг закатился булькающим горьким смехом в бездонной тишине.

Девушка растерянно отшатнулась — лопатки дрогнули крылышками чуткой бабочки на ее тонкой спине.

Грачев покашлял, посмотрел на свои ногти, чесанул за ухом и бросился что есть сил бежать по коридору, врезаясь грохотом под белоснежные своды, пронзая тенью застекленную зиму и снег, пятнистый от теней надвигающейся ночи, в конце споткнулся: куда? вниз? вправо? наверх? куда? — а его уже обогнали, обдали, смели, обошли бешеным топотом все отчаянные мужики курса, разлетелись вверх, вниз, направо, к телефонам, а его пихнули, оттолкнули, и он пошатнулся, разжевывая смущенную усмешку, и побрел направо, к расписанию, потом — вниз, пил газировку, борясь с газами и отворачиваясь для этой цели в сторону от стакана, морщился, вернулся наверх за сумкой, а там уже клокотала и фыркала толпа и ужасался клювоносый неловкий декан — Грачев обходил всех, прятал глаза, укутывал себя в куртку, забирался в нее, смотрел с тупостью на конверт в Таджикистан — надо перевести, пусть пытаются жить еще, и двери предательски выпустили его, холодно бухнув, но он повернул еще во двор, там прижался к стене, пуская, приглашая в себя стужу — черные деревья кружили хоровод, с немой болью всплеснув заледеневшими ветвями, и три человека загородили ему волю: Хруль, Аслан и еще мужик — он был с ними в буфете.

Грачев отпустил из рук сумку и глянул на них: ну!

— Не замерзнешь? — прошипел Хруль, и рот его перекашивала ненависть.

— Ну так чо, чо, — полез вперед, как и полагалось, третий, и Грачев уже прикидывал, что первым ударит он, незнакомый, смуглый, и почесал рукой бровь, закрываясь локтем слева, но начал Хруль — тычком в подбородок — Грачева бросило на стену, и в этом был плюс, и он толкнулся от нее, рванул от горла обезьяньей лапу чеченца и, сберегая время, без размаха, пустил кулак снизу вверх, незнакомому мужику в челюсть — у того мотнулась голова, и он шатнулся, но устоял, устоял. Грачев еще успевал — встретил локтем в лицо напрыгнувшего Хруля, но Аслан уже хватанул из-за спины, за горло душил локтем, Грачев сильно качнул затылок назад, метя в зубы Аслану, но незнакомый очень гра-

мотно засадил ногой ему в живот, лишь слегка прикрытый руками, и дальше оставалось только беречь голову, подставляя бок или спину, вслепую отмахиваться, уже не видя удара, угадывая, или с ослеплением боли — нет, но все же он стоял, упал потом, когда они бросили и пошли уже в сторону разом и оставили Хруля — тот заглядывал в лицо с прежней мукой и неуверенностью и выспрашивал все:

— А может, тебе что-то надо, Грачев? Ты попроси, хватит играться, давай по-людски...

— Ничего, — хрипел Грачев, ломая в себе желание ударить, вцепиться в это лицо, хотелось этого до визга, и он сдерживал, сдерживал себя. — Бутылку водки мне купите. Это — обязательно. И будете спокойны, пока захочу.

— Паскуда, ты в руках нас держать хочешь? — плачуще запричитал Хруль. — Хрен поверю тебе! Бутылку! Ты хочешь, чтобы мы тебя кончили?

Грачев направился заплетающимися шагами к лавке, сумка тащилась следом на ремне, как прикованное к каторжнику ядро. Он нес свою боль, как грудного ребенка — у груди, близко, двумя руками, с нежной и бережной заботой.

— Так ты хочешь, чтоб мы тебя кончили? — переспрашивал непонятливо и плаксиво Хруль, а потом ушел в сторону, сгинул, а Грачев опустился на простонавшую лавочку, не стерпел и сполз на колени, вцепился крючковатыми пальцами в снег, сжимая, сгребая его в скользкие, мокрые стручки — пальцы немели, он потащился к дереву, к корням, ботинки пропахивали след за спиной, ткнулся носом в кору, омертвевшую, отжившую, перебарахтался на спину, охватил горло тесней воротником и лежал, сотрясаясь припадочной дрожью, он знал теперь все, это мерзкое ясное все, что будет с ним после, обязательно, и он уже не сможет не думать, а думать сможет уже только об этом, бояться, кружить, толкаться, умирать, вымирать — это разодрало небеса — а он все выжимал из себя морды чеченца, Хруля, страшную, потную память о боли и точное предначертание ее еще, еще раз, и не раз и всегда невыносимо внезапно и жутко, как и вечное ожидание ее, и запах общаги, и всю неправду подлую того, что он лежит здесь, на снегу, и на щеках противной мухой касанье снежного ладенья — его все равно здесь не оставят, и это все неправда, нет, разодралось серое небо на две половины и полезло навстречу, в удар, и снег повалил навсегда, наглухо заметая. Он разлепил холодными, как сырое мясо, пальцами веки, прозрел — на лавочке, рукой достать до него, брезгливо убрав ноги под себя, смотря в пустое, сидела эта девушка, страдальчески ровно, как крест на могиле, внезапно доступная, живая и белая, и почти непричастная призрачной вуали дыхания от теплых своей трогательной темнотой, маленьких, будто клубящихся, ноздрей.

Грачев завозился у нее под ногами, изнеможденно утвердил себя стоять, хватаясь за посеребренную снегом кору, укрыл ее плечи курткой и рухнул рядом на лавку.

— Какая встреча, — сипло высказался он и забился в стонущем кашле, выкашливая из себя обрывками в шатких паузах. — Ну стырил он дубленку. Дак и хрен с ней... Жива-здорова... Что еще надо... Не плакать же. Переживете. Ерунда... Тьфу!

Из сумки, несчастной, как павшее на землю старое, разоренное гнездо, он выковырял яблоко запасенное, схватил невесомую, святую руку, разломил ледяной кулачок на пальцы-веточки и зажал в них яблоко.

— Вам, — и пояснил. — А я тут... Немножко отдыхал.

Он замолчал и вдруг с воровской, торопящейся сладостью, обрекая ненасытные свои глаза захватить это не уходящее лицо, растекаясь и забываясь сам в этом жадном завоевании, похоже, святотатстве, будто впивался иссохшими устами и впитывал в себя, запечатлевал пушистые, выгнутые гусеницы бровей, ползущие в стороны друг от друга под сенью детских, мокрых от снега прядок белокурых, что лозняком спускались и клонились над чистой заводью гладкого лба, он растирал себя в прах, пыль в скольжении по твердому, по-оленьи вздернутому носу, то спускался по нему к тугому сжатию влажного рта, способного переливаться, как пламя, и напрягать складочки-морщинки в обесцвеченных уголках, то взмывал к страданию тихих глаз, под искристо играющими, как точильный круг, веками, к их поразительно нездешнему зрению и недоступности, к бесстрашному в своей силе обнажению души — две летящие синие частицы, пойманные птицы, две капли от этого грядущего, блаженного, божественного, возможного обнажения всего; он, задыхаясь, гладил глазами своими тягуче оформленную мякоть этих пьянящих чистым ног, округлую плоть и силу этих коленей — он смаргивал растроганные слезы с ожесточением к себе, к поплывшему в голове и разбухающему солнцем в осеннем тумане порыву дотронуться, коснуться легко, как снежинка, этих запретных розовых ровных полей жизни чужой и всесильной, он стиснул руками плечи свои и бормотал, не слушая себя, борясь:

— Вы сами ж знали... Осторожно надо было... Он и на студента не похож... Хотя, чего... Видный мужик... На таких, как вы, и липнут, надо осторожно... Вы с вечернего к нам, да? А он вам врал, что студент?

Яблоко отсутствующе вывалилось из ее бесчувственных пальцев, как созревший и павший плод, и пальцы остались несомкнуты, кувшинкой.

Он не дал яблоку убежать, стряхнул с его желтого бока снег и сунул в карман куртки, безумея от того, что яблоко, там, в кармане, коснулось прямо тела ее, вот тут, вот этого, он говорил уже внятней, заставляя себя припомнить, что он есть, что его ждет, и все вокруг:

— Я знаю, что вы здесь не из-за дубленки и этого скота. Вас гонит от себя толпа, это наше быдло, что сразу лезет за пазуху глазами, словом, под юбку... Я знаю, что вам это противно. Я ведь вижу вас. Почти всю. Но вот это «почти»... А вдруг то, что я вижу, это и есть всего лишь «почти» — жизнь здорово накалывает нас на этом, да-а...

Он успокаивался и мерз, и говорил все привычней, обычное свое, со стыдливым презрением озирая перепаханный им снег, сохранивший черно-белые страдания тела:

— На всякий случай. Мне хочется пошире разъяснить вам сказанное в буфете. Про то, что не верю я во все это. Вы — гордая, вас это и обидеть могло. Вернее — разозлить. Если гордая. И обидеть, если вы — то, что я готов выдумать про вас. Я говорю в расчете, что обидел. Ну так вот. Я както перестал уважать любовь. Если прикинуть, в ней что-то слишком много крови. Это — то же самое, что революция. Прыжок во времени, сопряженный с угрозой гибели участников и окружающих. С исполняющейся угрозой. Любовь, как и революция, бывает вечная, мировая или в отдельно взятой семье. Вечная любовь — это постоянная агрессия, постоянное перенесение ее на чужие земли и державы, это неизбежное снижение ценностей, идеалов. Это соревнование с собственной дряхлостью и низведение революции до чисто силовых, физиологических упражнений. Постоянный поиск и война со временем не придает глубины переживаниям — некогда, некогда. Это — огнем и мечом. Как-то нехорошо, не выходит, да?

Девушка не шелохнулась.

— А если строить любовь в отдельно взятой семье? Настоящую любовь. Это очень скоро станет постоянным террором, физическим и моральным. Это муки постоянного возрастания и изменения требований, репрессии в любой миг, издевательства, это изнурение. Это — изнурение. Мне вообще стало казаться, что революции, и все, чего мы так хотим, — это не очень нормально, это нездоровье... Да и кругом этого нет совсем... Только называется... Остались два или три идиота, имевшие несчастье поверить и пытаться осуществить, вот и я. Ладно. И вы молчите. Вы ведь все знаете, — он с неприязнью покосился на холодное лицо. — Вы знаете, что молча вы весомей. И так неподъемны, а если молчите — вообще от людей мокрое место. Меня одно всегда донимало: а сами вы понимаете, что мы можем выдумать про вас? Или для вас это необъяснимо, но естественно? Как дождик? Молчите? Молчите-молчите, все правильно. Все верно. Вот, а это уже по вашу душу.

Во двор закатывал «УАЗ» милиции песочной расцветки и, проскальзывая на льду, поехал за угол, искать главный подъезд, шуганув пару ворон, терзавших что-то, вмерзшее в лед. Вороны равнодушно покачались на ветках и по очереди слетели вниз работать клювами.

Грачев опять покосился на летящее это лицо. Глаза больше не пускали корни в ее детскую кожу с алым внутренним светом, и он проворчал:

— Оценил. Можете расслабиться. Высидели, даже не посмотрели. Не хотите даже унизиться до того, чтобы сказать: мне пора. Пойдете, сейчас

пойдете. Дубленка как-никак. А это верно, что может стоить — тридцать тыщ?

Он даже не поднял лица — знал, что не ответит.

— А скорее всего — дура, — хлестнул он, примерившись. — Набитая дура. Вы даже не допускаете мою вселенную. Вы заранее, с тупостью самки, уверены, что я — кусок мяса, слепленный по известным вам законам. Хотя я в отношении ваших глазок и ног делаю самые щедрые допущения.

Она точными пальцами вдруг промокнула что-то у глаз.

— Ну наконец-то. Хоть что-то, — жестко добавил Грачев. — Уже все, все, мы заканчиваем, а то мне что-то уж больно захотелось вас обнять, и вообще, — он поднялся, застегнул и отряхнул от снега сумку, гася делом дрожь в руках. — Вы даже сами себе не представляете, как ломаете людей. Посидел рядом, и уже жутко захотелось промеж скулежа и серьезного втиснуть еще что-то обязательно хорошее про себя, лично про себя. Хоть как зовут. Чуть даже не ляпнул. Сразу торопишься. Встреча — как лифт, мой этаж скорее вашего. С собой не возьмете. И я останусь. И вы никогда не узнаете, как мне было тесно жить сегодня. Не сердцем, не башкой — воздухом. Дышу — тесно. Не дышу — нет, почти. И хотелось за вас зацепиться, так. А кроме хорошего, я о себе могу сказать следующее: у меня есть замысел романа эпохи...

Во двор вышли ленивый мужичок с канцелярской скукой на лице и жирный милицейский сержант, сильно мерзший и задиравший от этого плечи, будто пытаясь взлететь из черных, глыбистых ботинок, слепо топчущих снег.

Товарищи вращали головами в поисках. Грачев приветствовал их взмахом руки и радостно стал заканчивать:

— Хотя о романе позже. Главная цель моей мыслительной деятельности — это притеснение смерти. Которой я шибко боюсь, эту тварь. Правда, не хочется помирать. Все драндулеты и сопленжуи до меня в чем видели спасенье? Или врать себе, что ее нету. Или смирять себя тем, что и жизни нету — становись скелетом в пещере и бубни, что все — тлен. Либо вообще ни о чем не думай и гуляй себе, как солдат в захваченном городе, которому на грабеж и баб вся жизнь. Все это от трусости. Лично я создал подлинно наступательный путь к спасению. Первое. Вы могли бы даже записывать, между прочим. Или хоть дрыгните ногой, чтоб я знал, что вы не спите. Кстати, пока не забыл: хотел бы я поглядеть на ту сволочь, что с вами спит. Ну вот, первое — это радикальное улучшение памяти, обострение ее до предела, схватываете? Человек сможет очень славно путешествовать в себя и жить там, в полюбившихся местах, вчера и позавчера, далее — ежедневно. Уже пространство пошире наше, а? Он сможет даже там, в не сейчас, и помереть, и даже не сообразить, что конец фильма. Это только первое, для разгона. Главное и второе: наша боевая задача и лозунг насущный: сделать жизнь вечной. В чем трудность? Вечность — существительное единственного рода. Две вечности: жизни и смерти быть не могут. Это ясно, да? Сейчас совсем приблизятся озабоченные вашей пропажей правоохранительные органы — вы уж тогда не забудьте мою курточку оставить, у меня сегодня знаменательный день, столько нового, но без куртки нельзя. Хочу в гробу лежать одетым, в форме не похоронят, нельзя. Вернемся к нашей теме. Вывод прост: надо уничтожить совсем вечность смерти: все, что ее обуславливает, и вселенную в том числе. Останется только жизнь. Принцип ясен? Я могу повторить для особливо малограмотных и сопливых. Как это технически? Ерунда, время есть, продумаем. Но уже ясно, что от потомков придется отказаться — они рождаются из вечности смерти, а этого не будет. От предков откажемся тоже, и об этом я думаю с особенным удовольствием, эти ублюдки, я имею в виду девятнадцатый век, нас здорово накололи. Мы как-то недооценили, что вылезли они все из шинели и все мыслишки и стоны их привели к кокардам и погонам, и единственное, чего они добились, — это ухайдакать бога и купить маршальскую шинель быдлу. Сказали нам: счастливо оставаться — и укатили по Тверской к своим Ростопчиным да Волконским, да Смирновым — я бы на эту хотел особенно глянуть. А мы остались и век пускали слюни над сломленными лирами и угасшими кадильницами; половина пускала слюни, считая себя победившими продолжателями их дела,

а половина — считая себя угнетенными продолжателями их дела, а когда все рухнуло, то у нас в кармане — вековая пустошь, мы, дурачье, все кроили из их запаса. Предков мы тоже уничтожим. Останемся только мы. Кроме нас пусть не будет ничего. Даже взрыва. И тогда мы будем вечны. И вы. И, конечно, я. Н-да, понесло, редко случается. Ну так, возникнет желание или станет не дай бог плохо совсем, хотя куда вам до этого, да все равно — заходите в общагу. 422 комната. Комитет по борьбе с вечностью. Грачев. Ничего не обещаю. Даже чая. Что я вам могу дать? То, что я обычно предлагаю девушкам, к вам никакого отношения не имеет, увы. Да вы не расстраивайтесь так из-за этой дубленки! У нас ведь какая милиция! Найдут вмиг! Чтобы правоохранительные органы, да мордой в грязь? Да — никогда! Они — руку на пульсе, а ногу — в стремя...

— Ну чо? — зло спросил достигший лавочки окоченевший сержант, — чо сидеть-то?!

— Это ваше? — подключился мужичок. — Похитили? Пойдем бумажки писать... Где он тебя снял-то? Знаешь его?

— Ушами хлопают, — сокрушался сержант. — И сидит... А ты чо?

— Я — ничо, — с достоинством ответил Грачев. — Посторонний прохожий. Случился тут между делом.

— Что случилось? — лоб сержанта нахмурился.

Девушка коряво поднялась и сгорбленно, как голая, пошла между ними, сняла на ходу куртку с плеч и оставила ее на нижней толстой ветви попавшегося ей навстречу дерева.

Грачев добрался, неуверенно улыбаясь, до куртки, подождал и бережно окунул лицо свое — как в быстрые струи ручья — в еще теплую, еще душистую, еще нежную ткань подкладки, впитавшую в себя горький, непонятный, несужденный ответ, он чуть дышал, ощущая, как тает это тепло, этот запах и это прикосновение, и дожидался смиренно этого до последнего, сдавшись и повторяя непонятливо вслед:

— И кто же спит с такими бабами? Неужели кто-то спит с такими бабами? Мне кажется, что с ними вряд ли кто-то спит...

Этот город — большой и вроде открытый, куда хочешь — иди, но ни земли, ни деревьев, ни рек, ни холма хоть пологого, ни оврага, ни птицы, ни человека и ни шага напрямую, чтобы срезать, а все углами костлявыми по набитым снегом, перетоптанным в грязь подземным переходам со студеным отсветом туалетного кафеля или тротуарными рабскими тропками — обгоняя, огибая, уступая, пропуская и все вдоль машинного шелеста и мельканья, мертвого и пыльного, как камнепад, и куда вроде хочешь иди, да везде — то же самое, так же, да и зимой — чего гулять? — зимой самое теплое: путь к дому по кратчайшей прямой; и большой вроде город, а что остается, кроме ступеней под землю, ожидающей немоты постанывающих вагонов и общаги, крышу которой уже лижет вечерняя хмарь, а это только кончается день света, а надо еще будет пережить день тьмы и обитаемую и бессонную в общаге половину ночи и тогда только — лечь, и все.

И куда еще можно шагнуть в большом городе, что толку в красивом, промерзшем гулянии и бестолковом задирании башки, внутри останется то же самое, паршивое, неотвязное, но что поделаешь, если тошнит от метро, за время которого у тебя украдут остатки света и ты выйдешь на своей станции уже в ночь, так пусть хоть день уходит на глазах.

Грачев упрямо ожидал троллейбуса, опустив зачерствевшее лицо, сонно моргал, будто припоминая и потряхивал головой, когда снег чиркал по лицу или ложился на щеки — за спиной снег умирал на подогретом изнутри асфальте под буквой «М», там часто шамкали двери, и вновь чуть оживал под ногами асфальт смутным внутренним землетрясением, сердцебиением.

Чеченец Аслан недовольно расхаживал вдоль остановки, обижаясь на ненужные троллейбусы, катившие потоком, и откровенно улыбался Грачеву — лучше было бы ехать в метро — и быстрее, и теплее. Грачеву было тошно смотреть в эту сторону, и он разглядывал урны, ноги, ворон с серыми платками на плечах, сумки, портфели и хотел засыпать и хоть внешне забываться только в своем, независимом, неподвластном ожиданиям и страхам тела.

Аслан в троллейбус залез сразу следом, даже чуть коснувшись грудью его спины. Грачеву казалось, что при этом должно было пахнуть рыбой или псиной, или чем-то похожим, и он, не дыша, уселся у окна, залепленного ледяными чертополохами, сунул руку греться к телу, ближе, и наткнулся на конверт: что? А, это таджикское землетрясение. Грачев старательно рассмеялся для всех, из последних сил, чтоб без напряжения и обычно — так это денежки в Таджикистан.

Троллейбус поехал через мост, все удаляясь от Кремля, и еще через мост, поменьше, подчищая остановки и облегчая свое нутро, бог миловал от немощных старцев, инвалидов с протезами и костылями, матерей с младенцами и дев с животами — внутри было довольно покоя воздуха и мягких сидений, Грачев скреб ногтями плотную злую изморозь на окне, стряхивал ее под ноги, за спиной разговаривали и целовались:

— А ты помнишь Светку Сурину?.. Ну Славка, ну-у... Подожди, ну чего ты, ну? Она сапоги принесла, ей большие. Знаешь, черные, примерно как у, видишь, тетки, что вошла, но на шпильке, такие, на каждый день.

— Ну бери.

— Ага. Дороговато. Крестной, что ли, сказать? Пускай подарят мне на день рождения с матерью, все равно что-то искать, так чем искать, лучше, наверное...

— Крестная может и одна подарить. Она вон на свадьбе не особо бросалась: конвертик и все. А кричала больше всех.

— У нее это есть. Вот еще, знаешь, Светке шапку какую пошили, вот так здесь, да посмотри ты, боярка тут такая... Да погоди ты, да дай хоть скажу... Да Славка!.. Ну!

— Да что?

— Ничего. Сам знаешь чего!

Грачев показался себе старым, грязным, вонючим, заросшим и пьяным, и это было хорошо, и он прикрывал глаза, чтобы видеть в окрестных лицах свое отображение, и с напрасной силой сжимал кулаки, удивляясь, что у него ничего особенно не болит, и если бы забыть, то ничего как бы и не было, и не будет.

К нему подсели, привалившись мягкой шубой, набитой плотью внутри, и он замер совсем.

— Спишь? Не заболел? — и прохладная ладошка покрыла его лоб. Грачев обнаружил рядом одну из новых подруг Шелковникова с заочного отделения, которую потоньше, она уже натягивала на ладонь белую варежку с синим резным узором, смешно сжимая круглые и розовые, как у ребенка, губы.

— А били тебя за что? Я курила в туалете — глянула: летает наш Грачев, нахал. Так ему и надо — да вру, вру. Наоборот: хотела выручать, крикнуть, да они быстренько справились. За что?

— За глупость.

— Так умней. А то ведь не отстанут. Жизни не дадут.

— И не поумнею. И уже ие отстанут.

— Ну чо ты сразу скис? Друзья у тебя есть, соберешь, дадите им... Может, и так отстанут. И чего тебе не поумнеть?

Грачев объяснил серьезно:

— Хоть что-то я должен оставить себе. Ведь не все же до конца... смерти. Хоть мне что-то можно? Надо кончик оставлять до последнего, за него можно все вытащить обратно. Но за этот кончик уже ничего не жалко, лишь бы он был.

— Ты про что? — не поняла, которая потоньше, пробила с натугой талончик, рассмотрела, нахмурясь, расположение дырок на талончике, заправила его в варежку белую, узорчатую и грустно вздохнула.

— Откуда вы? — другим голосом спросил Грачев.

— Белгород. Говори — «ты», что ты как...

— С мужем живешь?

— И с бабушкой. Ну прописались мы у бабушки, стоим на расширение. Она жена погибшего, чего-то там обещают, пока вместе.

— Нет детей?

— Подождем. Бабушка ведь не вечна.

— Понимаю. А ты?

— Работаю, взяла неполный день, свободный график, муж — в конторе.

— И как муж?

— Очень хорошо. Всегда на работе. Если не сразу взял телефон, — значит, читает газету. Если нет на месте — значит, обедает. А так всегда на работе, все очень хорошо.

— Мечтает накопить на машину, пьет пиво по субботам...

— Хватит, я тебе и так достаточно сказала, не лезь...

— Хорошо, красавица... А чего ты на троллейбусе?

— Потому что дура, в «Гименей» поехала глянуть, что есть. Встала в очередину, гляжу — ба-альшая такая очередина, вьется, с четвертого прямо этажа, аж вниз. Кажется, час отстояла, все волновалась: по записи или нет. А это, оказывается, в туалет стоят. Дура! А долго ехать?

— Уже скоро, — Грачев поперхнулся и попросил, — давай, красавица, сойдем. Погуляем.

Она просветлела и согласилась мигом:

— Давай. А тут есть, где хлеб купить? Мне Олька сказала хлеба взять...

Они выбрались из троллейбуса, все было уже темней, холодней и бесполезно. Грачев мрачно интересовался:

— Олька... Это, это твоя подружка, да? — и опускал голову, скучал, ему уже не хотелось гулять и ждать.

— Ну как... На сессию вместе ездим сдавать, готовимся. Это как? Вроде подруга.

Троллейбус укатил дальше, холодно щелкая усами по проволоке. Грачев откровенно жалко огляделся — Аслана не было. Чеченец поехал сразу в общагу, и в этом освобождении было что-то обидное, но Грачев перебарывал это и радостно хмыкал и, повернувшись к девушке, осторожно тронул пальцем кончик ее носика:

— А тебя как зовут, кнопка-красавица?

— Ира.

— Ирка, а зачем тебе высшее образование, когда любой, кто тебя видит, знает наперед: эта красивая женщина лишь для того, чтоб ее любить и как можно скорей, и отдавать зарплату, и делать с ней совместно детей. И ни для чего больше. Тебе надо жить легко-легко, поняла? Ну пошли в твой хлебный, красавица.

— Я поняла, чего ты спросил за Ольку, — довольно тараторила она, поспешая следом, раскинув руки для устойчивости. — Нет, я конечно, не все в ней одобряю: вот то, что она так от мужа гуляет. Даже в Белгороде. Что негры ей нравятся, тряпки она очень любит, но ты не думай, она не проститутка, она добрая по-своему, знаешь, как поет!

В хлебном она закупила витые рогалики и батон, за баранками и сухарями стоять не захотела.

Они остановились еще у общаги, под снегом, у сотен окон на виду.

— Не хочешь идти? — слабо спросила Ирка. — ну, заяви на них в милицию, а чего? Чо в этом такого?

— В этом много всего. Это будет хуже для меня.

— Ну не ходи.

— Некуда больше.

— Это вам-то некуда? В Москве живете — кафе, музеи, театры, артисты выступают — до самой ночи разгуливай! Красная площадь, куда хочешь! Вы ж счастливые!

— Да. С этим да. Но у меня тут беда — крысы преследуют... Если иду вечером, — из бака мусорного — шур-шур-шур — лезет и через дорогу так... Бегом, перетекает. Трамвай вечером, едет, фарами светит — а там, бежит такая: серая, серенькая, торопится. В метро — из-под лавки. Сядешь на лавку — а она: прямо по ногам. Не дают мне жить. Покоя не дают... Все чего-то хотят от меня.

— Так это со всеми же! — Она схватила его за руки. — И со мной так же! Получается, и меня, что ли, преследуют? Глупости какие. Вот только вчера, встала утром...

— Уходи, ладно...

— Если тебе туда совсем нельзя — к нам приходи. Олька... может, вечером куда пойдет. Я чаем напою. У нас там еще что-то может остаться. Все равно приходи, хоть поговорим, просто так. Экзамен у нас только послезавтра.

Грачев тряс головой: да, да, да. Ему казалось, будто тряслась вся общага.

Он еще постоял внизу один: снег редел, совсем зачах и перестал; раньше времени, добавив серости, зацвели чахоточные фонари цепочкой, и холодной, желтой водой наполнились окна соседних домов и общаги, перечеркиваемые качающимися тенями, ветер силился, леденел — стало просто невозможно стоять, и Грачеву пришлось пойти.

Лифты увезли наверх людей и не спешили возвращаться.

Вахтерши собрались кругом над черным дипломатом, хмуро, как у гроба покойного товарища, — Грачев стал к ним поближе, скорбно соединив руки, словно на гражданской панихиде.

— Час уже нету! — ныла косая вахтерша с черной пацанячьей головкой. — А говорил: сейчас-сейчас. Сказал: документ забыл. За пропуском пройду и — назад. А этот портфель оставляю в залог, вернусь. Гарантия, двести процентов. Вот скока было, он ушел, без десяти, и сейчас скока там, ой, отсвечивает, сколько? — ну без восьми — уже час прошел, больше? И нету.

— Зачем брала, Холопова? А вдруг бомба? Подорвется, и кранты? — кряхтела седая бабища в толстом, похожем на блин платке и даже подняла зад и отбежала к стене.

— Да ну тебя, — махнула на нее другая бабулька. — Не петришь, так и не болтай! Тогда б тикало. Тики-тики. Ну раскрывай, Холопова, — так и будем, что ли, до утра ждать? Ищи его теперь, обормота. Да он и не вернется небось, пустой тебе и сунул, вернется он, ага, размечталась, — и ожидающе, недобро покосилась на Грачева — тот принялся читать поверх всех инструкцию пожарному наряду: номер первый расчета...

Косая повернулась лицом в угол, чтобы поймать глазом Грачева.

— А у тебя-то пропуск есть? Стоишь тут... — пискнула она подозрительно и рот оставила открытым, будто пропуск должны были положить в него.

— Это наш, — толкнула ее под локоть толстая в платке. — У меня уже все эти морды... В памяти навечно. Ну открывай давай, раз такие дела, чего теперь выжидать, высиживать.

У лифтов заклубилось шевеление, началась перегруппировка, знаменовавшая возвращение блудных кабин, и Грачев переместился туда, в гущу событий, — он уже согревался, расслаблялся, а вахтерши засунули согласно три головы в беззубую пасть дипломата, погрузив туда же немедленно и ручищи.

— Книжки... Скока тут. Да нерусское все. По-каковски это? Еврей он, что ли? А фамилия, как у грека, все на «ос». А эти книжки — про белых голубей, погля-ань, ах, прелесть птица, как люблю, прям невозможно...

— Не там глядите, ну вон, в кармашках, там паспорт или что... Двести процентов! Нашла? Что? Фотокарточка? Дак это вроде и не он. Ага-га-га, подписано, вон оно как: «На крепкую память от незабвенного брата Саши. Счастливого пути». Брат это его. Старший, наверное. Ишь какой лобина. Компьютер. Двести процентов! И ведь скока книг понабил! Как только носит. Как порядочный. Должен вернуться, такой вернется, не оторва какой... Или аспирант? А мы влезли... Чего там, в книжке записной? Инциалов нету?

— Из магазина «Ганг» блокнотик. Просим посетить священную Индию. Только стишок какой-то записан. Ведь грамотный. Вообще поэт, может быть.

— Ох, господи боже ты мой, закроем, что ли, скорей? Разорется щас, если застанет, развоняется. Двести процентов!

— Не боись, Холопова. Обманул он тебя? Обманул. Ты его обождала? Обождала. Нет? Нет. Ты должна принять меры к установлению личности: мало ли, кто это. И никаких. Ну, зачти стишок.

— Читаю: «Мой друг, коль хочешь жить кудряво и ввысь над Родиной взлететь, ты обходи, не будь раззявой, хворобу, стариков и смерть!»

— Ой, очень верно, не убирай, я спишу потом. Так душевно. Деду моему понравится, он же летал. Ввысь над Родиной! Одним словом: держитесь, ветераны. Берегите свое здоровьице. Давайте, девки, закрывать, а то не приведи господь, хлебнем досыта, ежели вернется. Может, даже и не русский.

— Закрывай живей, Холопова, не терпится все тебе, час да час, тут пока вверх-вниз подымешься, скока время надо, ну задержался просто парень, такой разве к девке пойдет? Ты глянь, сколько книг, такому разве гулять? Обожди, что тут-то, во у стеночки, в журнал обернуто... А, так-так, вот она! Ах, ты!

— Что тама?

— А водочка. Пол-литра! Сосун вонючий, а туда же, как совести хватило, пропуск он забыл, такие головы позабыть готовы, лишь бы выжрать, с кем попало...

— А все «извините» да «простите», а я в глазенки его сразу глянула, так и решила: мразь он, да и все тут. Порядочный разве такую вещь на чужого человека оставит?

— Это он точно за девкой побег. Двести процентов! Она ему пропуск у знакомого сыщет, он и вернется за своей бесценной, коблище такой, морда отъевшаяся. Такой, небось, не работает. Только по шлюхам нашим, прости меня, господи, грешницу, бегать.

— Холопова, ты чего ждешь? Вызывай оперотряд, надо засаду, и возьмем.

— Ах, паразит. Поматросить его и отбросить.

— Доверяй, но проверяй!

Раззявились сразу три лифта. Грачев зашел в последний.

— А ну. А ну, а ну, ждите! Оп! — Лифт плавающе колыхнулся, и двери, просвистав, сомкнулись. — Как, Грачев, отучился?

От администратора Веры Александровны в лифте накалялось все, она хохотала беспорядочно и громко и жаловалась, подрагивая мясистыми щеками:

— Денек, ох, ну ты понимаешь сам. Утром — тараканы. И крысы твои. День — белье сдавала, вообще свихнешься скоро с этой прачечной. Все по счету надо, все по счету. Еще Салих этот ходит и ходит, достал уже совсем: магнитофон его куда-то уплыл. А я что? Камера хранения? Сейф несгораемый? Изнасиловал уже. Почти, мать моя родная, женщина, так, какой там? Шестой? Товарищи, вот тут мы выйдем с молодым человеком, выходим-м-м...

— Отучился? — Лицо ее жарко плыло, и она прыскала, втихую прижимая его к стене. — Отдохнул ты? И сил набрался? Да? Ведь да? Ну только не будь таким. Я хочу, чтобы сегодня ты был совсем другой, другой, — и ткнулась в него с мягкою, властною силой, стиснула зубы и выдохнула, — о-ох, — и сразу отпрянула назад, дальше, в угол, приглашая, надеясь, зовя к себе. — Студент, это вы что себе позволяете? Как вы себя ведете, студент? А? Я вот маме вашей напишу. Как же не совестно вам, распротуды вашу мать? Ох, господи. — И она визгливо расхохоталась, дробно, а потом пожаловалась еле слышно, сквозь спрятавшие лицо руки, — это ты меня сделал такой. Своими разговорами. Если б ты меня не трогал, если бы ты меня не подобрал, если бы ты мне про меня не рассказывал — я бы, может, при корнях бы и осталась, среди людей бы жила себе и жила, крепко бы стояла... Я бы крепко стояла, я бы себя ценила. А теперь все, не могу, как последняя... Сама понимаю, вижу! И стыдно, да не могу! Деньки мои ведь уходят, все скорей деньки мои уходят, не могу так, хочу, хочу, я хочу еще, мне надо, а я уже такая старая, а сколько времени ушло, а ничего почти не осталось, я хочу, хоть немного, мне немного, ну ладно, так. Ну ладно. Мне тут надо еще на восьмой, по делу, понял? Ты не думай, нос не задирай. Я тебя не специально встречала. И не думала. Приходи к ночи ближе, когда ключи от читалок сдадут. Как всегда, короче, чего я тебе объясняю... Хотя, может, забыл? Давно ведь не был, ах, как давно...

И она побежала почти на восьмой — ноги ее поскользили по лестнице, как щедрый солнечный луч, темнеющий в подоле, и она все-таки не выдержала и жалко, стонуще вскрикнула:

— Да хоть придешь ты сегодня, а? Ну не молчи ты, камень! Я ведь по-боевому настроена. У меня огромные планы на сегодня!

Грачев кивнул и сипло подтвердил:

— У меня тоже.

Она всхлипнула, помахала рукой и побежала наверх, шаги ее отдавались на лестнице, как капель среди зимы.

Он вступил в коридор и остановился. Руки его повисли без дела. Коридор был пуст до его двери — насквозь.

Он покорно прошелся еще вперед, за комнатенку мусоропровода и телехолл, и опять передохнул, ожидая, сдавшись.

Никто не дернулся, никто не шаркнул, никто не шепнул, никого. И он резкими, подневольно свободными шагами ворвался в коридор, и перед ним, как маяк, трясся и рос кровяной плевок огнетушителя на стене у его двери. Он сломал, задавил свое презренное тело и заставил последние, явно уже спасительные шаги до комнаты почти ползти — лениво, вразвалку, рассеянно.

Коридор остался свободным.

Хотя это ничего не значило. Они могли ждать и в комнате. И теперь коридор был уже землей родной, и добрая старуха-зима за стеклом аварийного выхода уже утешала обещанием хвои и металлическим пламенем елочных украшений, прорастающим сквозь тяжесть и муть позднего послепраздничного пробуждения, и не пугала смертной дрожью паршивых собак и властью последнего глотка стужи внутри павших птичьих тел.

Грачев отпер дверь с пронзительным скрежетом. Распахнул. Нет. Он помедлил и заглянул в ванную. Наступил на хмельно заплетающегося по полу таракана и деревянной рукой отдернул клеенку, прячущую ванну. У ванны было ржавое, рыжеватое слоями дно.

Он торопливо вышел в комнату, бросил сумку на кровать, сильно смял руками подушку, ударил в нее кулаком. Скинул куртку, шапку — развесил их в коридорчике, размеренно двигаясь и поворачиваясь.

Посетил половину Шелковникова. Тот спал, угнетенный учебой. И Грачев на цыпочках вышел.

Закрыл на надежные два оборота дверь. Скинул сапоги, повесил на стул пиджак и прилег ничком на кровать. Чтобы очень проголодаться, надо хорошо поспать.

Чтобы заснуть, надо сначала лежать на животе. Потом четко — на правом боку и всей массой. И в заключение — на спине с легким, чуть обозначенным, левым креном — на сердце чуть-чуть.

Часы стригли ножницами жизнь, и это мешало. Грачев расстегнул ремешок, добавил часам завода, выдвинул из-под стола стул и, закрывая глаза, опустил часы на стул, от себя, подальше, не слышать.

Часы легли неровно. Странно выгнулись. Он поправил их лучше, уложил, теребил и коснулся пальцами мясной, холодной упругости под короткой щекочущей шерсткой.

На стуле, свесив толстый, дохлый хвост, лежала крыса.

Грачев выронил часы.

Потом переполз в угол кровати. Немного посидел, глядя в сторону.

Встал, в носках подошел к двери, близко, вплотную. Кругом стало тесно, и руки его полезли по двери, по одежде, скользкой и чужой. Он схватил шапку и заткнул ею короткий, животный вопль. Посмотрел в нее, будто там должно что-то остаться после. Выронил шапку. И, крадучись, разбежавшись, ударил ногой, задохнувшись яростью и болью, стул и зверино отпрыгнул сильно к двери, толкнулся в нее и осел на колени, сжав пальцами разламывающуюся ступню и раскачиваясь, утопая в коричневой духоте, лизавшей и отпускавшей лицо, грудь, живот, зудевшей в ногах и плавившей ступню, которая разбухала кровяными ударамн вздыбившегося тела.

Он еще оглянулся. Стул от удара врезался под стол, вскинувшись на задние ножки, — а что-то серенькое, седоватое, пушисто-плесневое съехало совсем назад и упало бы, вывалилось бы, да зацепилось окоченевшей лапкой за спинку, свесив пыльный хвост и все толстое, что за ним, что за ним.

Больше не оглядывался. Он стал ходить спиной вперед. Спиной вперед прошел к Шелковникову. Тот спал и спал. Грачев захотел позвать его, разбудить, но не смог вызвать из себя даже шепот. Он вернулся к дверям, пробовал говорить, но шипел:

— А, а-ааа, аа-аа, аааа...

И он увлекся уже, и стал покачиваться в такт, поворачивать и отпускать дверную ручку, и она поскрипывала в такт его шипенью, и наступало такое время, когда темнеет разом, будто сваливается занавес, и сразу мало что видно, особенно под крышей, и он опустился на колени, стукнувшись головой о дверь, и разводил руками, раздирал и распутывал сумерки вокруг себя, теснившиеся, густевшие жарким и липким колоколом, он мучил голову поворотами, теряя в кружении все, отлепляя лицо от глухих клейких стенок, и только пробовал речь, будто пел:

— Ааааа, аааа, аааа....

И моргал глазами, раскаленными, как сухие камешки у костра, и задыхался.

Он придумал еще спрятаться в ванной — включить там свет и даже, может, полезть в воду, в воду залезть, и встал, охнув от боли, так больно сразу, но тут звучным хрустом просел мусор за шкафом — не все! — опять! — наступало время их, а может, оно и кончалось, и наступало время агонии, убивавшее не только убитых, когда все равно хочется увидеть мир свысока, весь, хоть со стула, умирая, — и он бешеными, нечеловеческими руками отпер дверь и выбрался, вырвался в полутьму коридора, а там дуло по ногам, низко, и он передернулся и еще раз, оперся на стекло: темные комки людей топтали белую тошноту зимы, пересекали желтые лужи света, не поднимая головы, гнали от себя понурых бесшумных собак, деревья теснились к домам грудами черных костей, и мрачно звали смоляные подъезды, но там же есть батареи — у них можно согреться, но можно согреться и без этого, здесь: надо только походить, размять — стынут ноги на голом полу, он обернулся — а к нему уже шли.

— Вот. Легок на помине! — празднично сказал Хруль. — Как ждал. Чего в носках? Закаляешься спортом?

Грачев убирал и убирал что-то пальцами с лица, с шеи, груди, перехватывал уже готовые что-то шептать жалкое и пустое губы, но голова его блуждала: пол линолеум темный светлее узор пыль огнетушитель Аслан кнопка сигнализации еще черные фигуры стекло ночь зима трамвай Хруль киоск потолок плафон дрожь вечер вдох течение крови конец коридора время выдох его дверь номер 422 плинтус пол линолеум вниз...

— Пошли так, — сказал незнакомый и смуглый. — Поговорим.

Они потом втолкнули его в комнатку, где отвесил железную губищу мусоропровод над россыпями объедков и отбросов и дырявыми урнами.

Грачев пришел за ними, как привязанный, как шарик воздушный, шатаясь и послушно. У порога он еще забылся и стал поворачивать туда и сюда, и тогда его просто втолкнули, вправили в нужное русло, а он не стал приближаться к стене, он расположился посреди, зябко растирая плечи и поджимая постепенно, справедливо пальцы на ногах — погреть, как коготки, — ступня болела уже много меньше, и здесь было как-то теплей и суше, а где-то за стеной шелестели лифты и говорили люди, которые ехали на свои этажи.

А они не закрыли даже дверь, не прятались, и оттуда был свет, и Грачев смотрел только туда, только, теряясь, не замечая, пытаясь отмирать от всего этого вокруг.

— Мужик, — окликнули его опять, и он стал рассматривать незнакомого, смуглого, с очень дорогим, крепким запахом, — Грачеву даже захотелось подойти поближе, когда его позвали, — как маленькому. — Мужик, я не понимаю, в чем наши проблемы?

В мусоре зашевелилось, ожило, бумажно заворочалось, выбираясь наружу, тошнотворно, мерзко, душно, и Грачев уже просто опустился, сел на пол и, опираясь за спиной руками, пополз к стене, отполз от мусора подальше, держа старательно ноги впереди — оттолкнуться, пихнуть, хоть что-то...

Незнакомый и душистый шел за ним следом, наступал, надвигался, у него обувь была лакированная и поблескивала.

— Кыса. Кыса-кыса-кыс, — тревожно позвал Хруль, сложив пальцы манящей щепотью, — кис-кыс-кыс...

Кошка в мусоре подобралась, устроила опорные лапы прочнее и смотрела на него стеклянно, противно обнажая влажные десны, а потом перепрыгнула мягко к стене, там, где Грачев, и смурно стала тыкаться пуговичным носиком в дыры и щели.

У Грачева вдруг намокли и пролились каплями глаза. Он постарался отвернуться и подмоченным голосом шептал:

— Кыс, кыс...

— Слушай, мужик,— говорил незнакомый на чистом русском,— какие у нас с тобой могут быть проблемы? Я не вижу, от кого тут ждать проблем. Ты — мразь. Ты сам это знаешь. У тебя пасть твоя вонючая не откроется. Потому, что не может она открыться, тебя же нет, мразь, пусто. Зачем ты что-то хочешь из себя ломать? Тебе уже нечего ломать, быдло.

Он чеканным щелчком выбросил из кулака широкое лезвие, посветил им, посверкал чистым, едва искристым отсветом и заправил обратно сильной небольшой ладонью.

Грачев подтянул покучнее колени и начал пошептывать кошке опять «кыс, кыс, кыс», и гладил ее по лысоватой макушке одним пальцем, у него перестали ползти по щекам слезы, и теперь на лице холодком таял сквозняк. Кошка перебралась к нему ближе и неодобрительно оглядывала присутствующих.

Свет заслонил сутулый Симбирцев с набитой мусорною урной. Он прошел меж всех опорожнять ее в мусоропровод, никого не видя — он был без очков.

— Тебя нет. Тебя уже нету,— спокойно сказал незнакомый.— Я хочу, чтобы ты это подтвердил.

И выдвинул вперед лакированную чистую обувь:

— На. Лижи.

Симбирцев все никак не справлялся с урной — видно, газета на дне подмокла и прилипла — он стучал урной о мусоропровод, как шахтер кайлом, опасливо озирая действующих лиц.

Грачев ожил. Поставил ладони на прожженный окурками линолеум и потянулся губами вниз. Зажмурив плотней глаза. Как напиться, вниз. Но там уже ничего не было.

Четверо вышли и удалялись, пересмеиваясь. Они медленно удалялись и громко смеялись.

Симбирцев плюнул на противность и запустил руку в урну, вырвал зловонную газету, как язык, и плавно окунул ее в мусоропровод, словно пакетик заварки в чай. И ушел. Ушел.

Темнота седела, бледнела, расступалась. Кошка молчала напротив зримого и светлого куска коридора.

Невидимый, лопотал, общаясь, нéгритянский кружок у лифта, будто пел и плясал. Из дальней комнаты в коридор перекатили вопящую коляску, утешали, качали, и она, поскрипывая сочленениями и надрываясь беззубым ртом, поехала: туда и сюда, туда и сюда, туда.

Кошка ватно стала на все четыре и подкралась к двери — прислушалась и принюхивалась у порога, и хвост ее дергался, как щеколда на двери, в которую ломятся.

Кошка вернулась к стене и присела. У нее была маленькая плешивая головка. Теперь кошка стала урчать. В коридоре были еще гитарные мучения и смех, всегда долгий и противный женский смех, не устающий, волнами.

Больше ничего не было.

Вернулся Симбирцев, уже в очках, и включил свет, обнажив заплеванное, голое, грязное, отечное, рваное. Лысая, пострадавшая от оспы лампочка трудилась с пенсионерским усердием.

Кошка и Грачев страдальчески жмурились и отводили лица в сторону от света — больно.

Симбирцев убрал свет и вернул покой.

— Симбирцев,— внятно произнес Грачев,— принеси мне сапоги. И пиджак. Пожалуйста,— он прижал к себе мягко кошку и вытащил из кармана свисток. И свист струился в спину Симбирцева еще долго, слышно, прерывистыми, тонкими выдохами.

Туда и обратно Симбирцев прошелся неспешно. Пиджак уложил на Грачева, сапоги поставил у ног, предварительно разобравшись: правый — левый?

— Что происходит там? — осведомился Грачев.

— Там гости,— сообщил Симбирцев,— бабы. Про тебя спрашивали, где.

— Гости,— повторил со старческой основательностью Грачев, разглядывая, как сел на ногу сапог, притопнул.— И веселье.

— Это у Шелковникова,— уточнил Симбирцев.

— И у меня. То же самое.

Грачев снова сунул в губы свисток из дерева лозы и пронзительно засвистал.

Кошке это не нравилось. Кошка подползла низко к дырище под плинтусом и воинственно напряглась, ерзая задними лапами и скаля нетерпелнво пасть.

— Действует,— слабым голосом заключил Грачев и похвалился перед Симбирцевым свистком.— Видал? — а потом упрятал его в карман.

— А ты ужинал, братец? — вежливо спросил Симбирцев.

В столовой волнистым зимним дымом из фабричной трубы терпела очередь, раздавшаяся к вечеру доевшими домашние припасы заочниками, белохалатой «скорой помощью» и сиреневой милицией, и постоянно подпитывалась подползающими друзьями, согруппниками, сокурсниками, однофакультетниками. Замыкающий — очкастый первокурсник в тоще обвисших спортивках — устроился уже на стуле и конспектировал книжку метрах в ста от раздачи.

Грачев посмотрел, как в пропасть, на его нежную шею с младенческим пушком и спросил:

— Ну как книжка? Про разведчиков?

Первокурсник убрал его одним вопросом:

— А вы будете стоять?

И Грачев немедленно тронулся с места, пошел в сторону и приземлился за стол к близняшкам-баскетболисткам с биологического факультета. Баскетболистки клевали из своих тарелок, как две долговязые цапли, с выражением лиц, ясно свидетельствующим, что столичный вуз нисколько не поколебал фундамент развития, заложенный подготовительной группой детского сада.

— Сиди здесь,— махнул ему Симбирцев и пошел, как четки, перебирать очередь в надежде на знакомое лицо.

Грачев сначала, задрав голову, смотрел в рот одной баскетболистке, потом из справедливости — другой. Баскетболистки испуганно примолкли, вцепившись глазами в тарелки, и принялись скорее дожевывать свою капусту, украдкой, вслепую отщипывая хлеб и утирая повлажневшие лбы.

Потом Грачев смотрел на балкон, где было кафе и ужинал с компанией Хруль, улыбался ему и откусывал лакированные сосиски.

— И-ых! Аг-х!!! — подавилась баскетболистка и забилась в гавкающем кашле, стонуще вдыхая в себя и жалко вминая в широкое ровное пространство меж плечами тонюсенький пальчик.

Теперь Грачев даже не знал, на кого вперед смотреть. Столько событий.

Баскетболнстка вдруг скрепилась, перехватив себя накрест костлявыми руками, вздохнула неприметной грудью, и ее разодрал заключительный разрывной кашель, отправивший Грачеву на рукав задержавшийся в горле осколок капусты.

Грачев впился глазами в этот нежданный подарок, немедленно встал, как вырос, вровень с обомлевшими баскетболистками, уничтожил салфеткой оскорбление полученное, скомкал салфетку дрожащей рукой и сухо отчеканил:

— Ну... Знаете ли... Сему быть неприлично!

Баскетболистки убежали, бросив все.

Грачев равнодушно очистил стол.

Симбирцев притащил поднос, доложил:

— Тебе повезло. И запеканки хватило. И сметаны. Наешься. Там только капуста еще... Да ты что, братец?!

Грачев схватил его за шею и нагнул ближе к себе, к лицу, рядом, у него стал морщиться подбородок и прыгать уголки рта, он вспомнил и увидел, что очки у Симбирцева были все те же, с первого курса, оттуда, и он узнал их, как забытого медвежонка в дальней кладовке — с полуоторванным ухом, с бахромой серых ниток и запахом уже незнакомым, он не мог даже глядеть прямо и говорить, слова терялись, обижали, предавали — он виновато и жалко улыбнулся и ослабил руку.

— А вот, братец... Я уж думал, ты... А вот, — бодро начал Симбирцев, сам смешавшись, высвобождая шею. — Вот наша спасительница. Давай, двигайся...

Аспирантка Нина Эдуардовна разложила на столе свои тарелочки, тщательно протерла салфеткой все вилки, хлеб у каждого переместила с подносов на тарелочки и добавила:

— Можно кушать.

— Это моя невеста, Грачев, — надрывно сказал Симбирцев. — Нина.

Нина Эдуардовна быстро опустила глаза.

Грачев колупнул вилкой угол запеканки, стукнул вилкой по краю тарелки, еще зачем-то раз и поздравил жующим ртом:

— Я поздравляю.

Они ели — откусывали и глотали, запивали, жевали, глядя в разные стороны.

— Братец, слушай меня. Друг, — жарко сказал Симбирцев, — я ничего не знаю — ты молчишь. Скажи: чем мы можем тебе помочь? Но прежде всего. Я думаю, надо обязательно обратиться в милицию.

Грачев стал есть побыстрее.

— Ты, как обычно, накрутил себе чего-то вокруг. Для тебя в обращении в милицию столько всего... Трудного, значительного. Я уверен, что ты называешь это доносом и готов себя презирать за одну такую мысль. Ты такой. Но, умоляю тебя, брось всю эту чепуху, это надо сделать обязательно, несомненно. Кого тут предавать? Скажи мне: что тут предавать? Нет тут ничего такого... Просто порядочность. Отделить себя от грязи. Защититься. Сохраниться: не бояться, если виноват! Надо быть просто порядочным, не вдаваясь в глупые мелочи. Свободно порядочным! Это же так легко! Понял? Что вообще-то случилось? Кто они?

Нина Эдуардовна вежливо приостановила жевание и поправила прическу. Симбирцев неуклюже установил руку на плечо другу. Грачев выковыривал из стакана сметану.

— Друг, — важно ответил Грачев, — у меня сегодня большой день. И я рад, что вы со мною. Сегодня мне поручили сдать на почту деньги, собранные нашими студентами на помощь пострадавшему от землетрясения народу Таджикистана, — он помолчал и решился, — и видит бог, я сделаю это! Разрази меня гром. И еще раз: спасибо вам, ребята.

— Видимо, я... Ты видишь же..., — в щеки аспирантки плеснуло алым.

— Сиди! — бросил Симбирцев. — Слушай, Грачев. Глупостям приходит конец. Я начинаю тебя ненавидеть всем существом своим. Ты понял, что вот это — самый близкий мне человек... И ты не смей так! Если хочешь общаться со мной. Кому ты нужен? Я только по доброй памяти...

— Ничего нет, друг, — перебил его Грачев. — А козни дьявола рассыплет Христос духом уст своих. Все мечты твои я знаю: хочешь, чтоб озлился я на соблазнившихся в вере и обещавших крестным целованием служить... Чтоб в этом была моя кручина. И чтоб бил с тобой кнутом за разные лживые сказки. И урезал языки за невежливые речи. Но что это за мудрование? Тебе это надо, все остальное выдумываешь, врешь. А ничего только этого нет. Теперь есть только вечное житье. В этом сердце биться должно. А ничего другого нет совсем. Есть еще, правда, подпольные и шуршащие вопросы, об которых ты в курсе. Но черт его знает, может, и они связаны как-то с вечным житьем? Просто шлются нам казни ужасные такие. Мы или хребет им перешибем. Или обвыкнемся. Согласимся на финишную прямую и плиту с двумя датами и глупой фотографией человека, который думал, что на него смотрит весь мир, а на самом деле — он один смотрел в спину мира. Но я еще стою на корне, на основе своей, можно не замечать многого. Но нельзя всего терпеть. Человек терпит всю жизнь: больше, тяжелее, страшнее и дальше, смиряется, все подлизывается к жизни. А жизнь все равно не может его вытерпеть даже в самом размазанном виде. И все эти святые да страстотерпцы — черви земляные. Они уже в земле. Не надо терпеть, нельзя сдаваться. Я, умная и замечательная девушка, я очень не хочу умирать. И даже смешно, но — именно сейчас. Мне это не нравится. И я не собираюсь. Я что-то придумаю. Или напишу роман эпохи. А то, чему вы, мой разлюбезный Симбирцев, случились свидетельствовать, соратник мой и апостол, — это ничего, так. Мелкая провокация, искушение. Главное: не открывать ответный огонь, ни шагу не уйти с основного русла. А остальное... Всего самого доброго. Желаю счастья личной жизни. Поздравляю праздником. Целую Тося. Приветом Юрий.

Грачев заглянул на балкон — там было пусто уже, уборщица переворачивала стулья. Он поднялся и пошел хоть куда-нибудь, но к себе.

— Дурак, — крикнул Симбирцев. — Прощай!

А на этаже все еще заливался визгливый смех, пляшущие негры и орущая коляска уже убрались.

Грачев понял потом на ходу, что смеются в его комнате, у него там весело, задумался и выкрикнул вперед, в коридор:

— Ура-а! Пришла полнейшая свобода!

В обозначившейся краткой тишине из дальней комнаты вылезла беременная пятикурсница и утиной раскачкой понесла на кухню обугленную сковороду.

В его комнате ржали без устали, на дальней половине, у Шелковникова.

Грачев через коридорчик пробрался на свою половину, постоял, послушал у шкафа, принюхался и пройти не смог — задернул с омерзением шторкой стол и окно, и кровать — лишь бы не видеть, он решил прятаться в ванной — там был беспощадный свет, он поправлял волосы, сверяясь с зеркалом, снова принюхивался — чем-то воняло. Нашел — воняла растворитель. Шелковников оставил его утром в граненом стакане на полочке под зеркалом.

Грачев пристроился на краю ванны, бухнул пяткой в ее бок — ванна эхом гудела, но слабо, умирая. Он поводил пальцем по крошащимся бороздкам известки меж кафельных плиток: вниз, углом влево, углом вправо.

Шелковников за стеной надрывался:

— Возьми там карты... На полке! Девочки, по пять копеек? Верно? Я или под деньги, или на раздевание. Как, Ольга? Ты серьезный товарищ — вот какие бока тут у нас. Сколько же ты на себя напялила? Мерзнешь, а? Да ладно! Да я просто потрогал, да ладно тебе. Ой-ей-ей, да чего она, Ир? Ну что за дела, чего ломаться-то, верно?

Оказывается, баб было две. Это просто они смеялись по очереди.

Грачев перебрался тяжело в ванну, отгородился клеенкой и принялся располагаться поудобнее. Можно лежать. А вдруг из крана капнет? Если сидеть — тут верхняя горловина для спуска воды мешается. Лучше сидеть, но повернуться в другую сторону.

Он накрыл ладонью лоб, отнял ладонь и опять, уже лучше приложил. Отвел руку снова и ударил, двинул что есть сил себя по лицу, обжегшись придушенным вздохом, и тихо попросил:

— Не думай. Не думай.

Теперь он лег на бок и постелил под голову носовой платок, для порядка.

Смеяться стали реже и неуверенней, все больше вскрикивали и деланно ойкали.

В Грачева потянулся, потек холод, просачиваясь через платок, от железа, от студеного, голова будто всасывала его и тяжелела, но теряя плоть свою и боль, и он ждал растворения совсем, ухода — и ему мешало только дыхание его: больное, поношенное, как у склонившейся над кроватью матери.

В комнате глухо охали кровати, шептали, пыхтели, прыгнули на пол, простучали, и кто-то забежал в ванну, и следом еще.

— Так. Ну-ка пусти!

— Да что ты, Ирка? Чего ты испугалась? Сколько можно-то...

— Ты не понял, что ли? Я тебе говорю: ну-ка, убрал свои руки, вымой сначала!

— Ну, убрал, успокоилась? Ну чего ты орешь? Зубы у тебя лишние? — это был Шелковников.

— Тебе что, Ольки не хватит?

— Погоди, ты чего сюда пришла? Чай пить? Я о тебе забочусь, дура ты. Как приедут из своей деревни и выламываются... Не первый год ведь ездишь. Чего строить-то из себя? Не пробовала вместе — попробуешь, хоть образуешься немного, верно? Чего ты испугалась?

— Не трогай ты меня!

— Все свои, распробуешь — чего стесняться? Он потом подойдет. Он тоже это дело уважает, и не то...

— Пусти, ну пусти, — и она вдруг рассмеялась. — Ну какой же ты липкий!

— Это ты — слишком сладкая. Ну, правда, что испугалась? Взрослые люди, верно? Все понимаем. Ой, ну зачем так-то?

Она плакала, бормотала устало:

— Так... Ты выйди. Мне просто... тут надо. Я пока здесь. А потом приди, скоро. За мной.

— Все! Все понял. Все нормально, Ирочка, все будет красиво. Как в фильме. Я только Ольке скажу, быстро. Ты раздевайся и мойся. И мы к тебе придем. Сначала я один. Занырну к тебе, верно? Как в фильме, давай, сейчас, ага.

Шелковников убежал нервными скачками. После коротко всхлипывающей паузы дверь ванной выпустила кого-то, и входная дверь сделала то же самое, и по коридору убежали быстрые ноги, без остановки.

Ванная осталась относительно пуста.

Грачев поворочался и пьяно приподнялся, утихомиривая в глазах закружившуюся жаркую муть. Сел на задний бортик и включил воду. Сделал потеплей, переключил на лейку. И принялся смывать в дырку тараканьи трупы и освежать разводы грязи на дне.

— Я! — ввалился в ванную Шелковников. — Скажи мне: давай! Я иду. Ты уже хочешь этого, да? Да?!

Затрещали пуговицы и молнии.

— Олька придет, — рычал Шелковников, путаясь в штанах. — А мы красиво, как в кино, я тут видел. Как шведы и шведки, верно? И что тебе Грачев, он это... по болезни занимается, а я — по любви. А-ах, ах, сейчас. Ждешь, а? Ты меня ждешь уже? Ты! Меня! Ждешь?!

Грачев вяло качнул лейкой вверх и брызги перелетели через клеенку.

— Уй-юй-юй, — подпрыгнул Шелковников за клеенкой. — Я, оох, мых, аа-ах, сейчас я до тебя доберу-усь! Ну, ты только позови меня! Ты только скажи, чтобы я захотел. Нежно так... Чтобы эстетика была, культура, мы — как боги...

Грачев призадумался и сделал воду погорячей — ванную запрудил пар.

— Ты зовешь меня, милая? Дурочка моя! Трусиха! А? Ждешь? Все будет нормально, красиво, у меня тут такие сюрпризы, ты таких никогда и нигде, все четко, ах, все отлично, ага-га-га и где тут наша кисочка, что там она от нас прячет, а-аа? — и он отвел трепетной рукой клеенку с ванны. — ну!

Грачев переключил воду на кран, перекрыл совсем, чтобы было тише, и деловито спросил:

— С чего начнем?

И оценивающе сощурился.

Шелковников уронил руки, он горбился, будто сдувался.

— Как ты меня достал, — простонал он. — Как ты меня достал.

Он синел на холоде и прятал глаза, будто плакал, и крикнул назад, заслышав шлепанье босых ног:

— Не ходи сюда! Эта тварь ушла!

А потом Шелковников полез в зеленые трусы и размеренно, сонно говорил без выражения:

— Иди к себе. Живи там. Не мешай мне. Я тебе не мешаю. Сиди у себя. И делай, что хочешь: хоть с Иркой, хоть с крысами. Кидай камешки. Но только не приходи ко мне. Я больше морду твою не переношу. Падаль. Не заходи ко мне. Не прячься больше у меня. Я не могу морду твою видеть.

— Нет. Я тихо посижу у тебя. Мне нельзя к себе. Так получилось, я не буду смотреть. Последний раз.

— Нет. Не посидишь. Уходи. Страшно тебе? Все равно: иди. Ты меня достал своими психами. Ты все выворачиваешь. После тебя уже ничего не надо. Хоть в коридоре живи. Ко мне нет, я не хочу, живи с крысами. Крыса!

Шелковников скомкал оставшуюся одежду и зашлепал тапками к себе на половину.

И истошно завыл уже оттуда:

— Ну что тебе от меня надо-о?! Что надо-о?! Козел! Скотина! Зайдешь — получишь в морду! Хватит! Падаль! Крыса! Сиди там! Молчи — и не лезь!

Там вздрогнули кровати.

А потом Грачев стал громко двигаться, натягивать куртку и пытался напевать, чтобы не слушать потемки и не знать ничего о своей кровати, углах, норах и стульях, ничего больше у него нет, он все крутился у дверей, то прикрывая глаза, чтобы вслушаться, то напевая, чтобы не слышать, и себя тоже не слышать, глянул в зеркало в ванной и споткнулся о совок, схватил его и веник тоже, веник потрескивал в отчаянно сильной руке: он вертел имн в воздухе и держал, как русский царь — скипетр и державу, и все примеривался: как? смести веником со стула на пол? А уместится ли на совке? Так, чтобы можно не глядя, не видеть. Не коснется ли хвост руки? Куда потом? Потом? Нести по коридору? В мусоропровод? Жечь? Она одна?

Ворвался и размазал его в прах сыпучий свистящий шорох, высушил страхом рот, и он обреченно угнул голову и сжался, сильнее: ну откуда? идет? Началось? Что? Но это было из-за двери. Вкрадчиво шелестело, еще раз. Из-за двери.

И он пинком распахнул дверь, долбанув ею по чьей-то руке, протянутой постучать, и там, за дверью, ахнули, всхлнпом, как ночная, тяжкая вода под низким мосточком, едва.

Грачев, обмирая, вглядывался, уже зная все, и ему хотелось сейчас, сразу, вмиг не быть, отсутствовать, сгореть на глазах, и он отодвигал ногой веник и совок, выпавшие нз рук, отодвигал их с возможного пути, а сам просто перегораживал его, косолапо топтался н наконец сокрушенно всплеснул руками своими:

— Вы... — и выдавил постыдную, горькую детскую жалобу. — но мне даже некуда вас пригласить...

Она прижимала к груди ушибленный кулачок. Плащ ее, смоляной и поблескивающий, как ночная автострада, смоченная дождем, шуршал деревом кленом над сырой лавочкой, когда до снега еще — время телефонных звонков и молчания в трубку, печальных томящих гуляний, маеты, запаха астр и делимости жизни школьными звонками...

Эта девушка, эта девушка, с белокурым бременем волос, тянувшим голову назад до гордого взлета подбородка, его девушка теперь, он не мог даже видеть ее, пришедшую, чтобы как-то быть его, он не смог устоять на таком ветру, его потащило, он звал ветер сам, оживил эту плоть и вызвал к себе, рухнув, переломнвшись, провалившись, как сухая, неверная ветка под невиданной птицей, и свирепел, и смеялся:

— А как же дубленочка? Нет? Так и нет, не нашли? Да-а... Так плащик теперь поберегите.

И тут же свалился на колени от одного детского вздоха ее, и посыпалось из него ревущими рыдающими кусками и стаей:

— Не уходите! Мне очень этого надо, я сейчас уберу, у меня небольшой беспорядок, там. Мне — чуть времени, все приготовлю — посидим, хоть немного, я провожу потом, не бойтесь только, не бойтесь, все так сложно, страшно, я потом скажу, я сейчас уберу — уже не имеет это для меня значения, если вы. Быть может, что вы это... И сами сможете потом понять, что вы... Вы даже начинаете это понимать, раз пришли ко мне, свет мой, пришли. Немного времени? Есть же, правда? Подождите!

Но она, незамечающе, уже вступала в комнату, мимо, мимо него, не коснувшись, но все равно — обдав собой, дурманом, и он дернулся за ее

спиной, но не мог двинуться с места и только размахивал руками и умолял:

— Стойте, не надо туда, я же прошу обождать, мне минуту, не больше. Ну куда вы? Не проходите, там стул, не садиться, просто стул, он... запачкан, я прошу вас, только об этом — не надо туда! Ну зачем вы так сразу! — а она шла дальше, мимо, на дальнюю половину, а там уже взревел бешено до брызга слюны Шелковников:

— Да ты отстанешь от меня сегодня, сволочь поганая?! Я тебе что сказал? С крысами сиди! А? Что? Кто? Какой араб, деточка? Ты мне не моргай. Я тебе не врач-гинеколог. Глаза протирай перед употреблением и храни на ночь в стакане с чистой водой. Это — 422. А 402 — это другой конец, по левой стороне. Уши чистить тоже по утрам — на спичку мотайте ватку и в марганцовку. И катись отсюда скорей, все! Спасу нет!

Она вышла, другая, с переменой, плащ ее скрежетал, уходя, как стрекозиные жесткие крыла, — Грачев стоял подальше от нее, в углу и насовывал на голову шапку.

А из 402, вдали, к ней вышел тот, незнакомый и смуглый, душистый, оказывается, араб, он красивый мужик, он засмеялся, она что-то рассказывала ему громко, а он говорил, отвечал гортанно и все сгибался, нагибался, целовал руку, нагибался, ее приглашая, — проходите, там играла хорошая, бьющая музыка, и она, эта девушка, канула в комнату, пока Грачев шел по коридору на выход, а туда же пришла свита: Хруль, Аслан и кто-то еще из телехолла, там кончился, что ли, фильм, и музыка в комнате стала другой и погромче, сменили, что ли, кассету — намечались танцы, ну что ж, а на улице густой дробью засеял снег, небо поглотило, сожрало дома и доросло до неба родной провинции: небесного поля, скатерти, всего бескрайнего над небольшим земным, — ночь все оседала пластами, кромешней к макушке, она льнула к земле, смешаться, быть вместе.

Впереди торопилась девочка за мамой, она доела мороженое, смяла стаканчик и отправила его в снег — палочка выскочила из него на лету и упала отдельно. И что-то было еще. Вот еще.

Он выстоял очередь, читая плакаты и требования, и ему кричал усатый, но женский рот:

— Нету, кассира нету, больная. Я? Что я? Техработник. А тебе это надо? Лучше рот свой закрой. Сам и иди на такую зарплату. Что? Чтоб я дерьму такому «вы» говорила? а-ха-ха, а-ха-ха... Ага, по тебе видно, что... Да он пьяный! Знаешь что? А вот то. Иди и не воняй, ага. Подождут твои таджики, хватит с них.

Он поднялся на второй этаж, где был переговорный пункт, и час прождал, согнувшись над чистым бланком телеграммы: куда, кому, серия.

— Алло, — сказал он в кабине, — мама!

— Очень плохо слышно, — надтреснуто кричала мама меж бульканий и хруста в мире. — Ты так рано звонишь, в середине месяца, я совсем не ждала. Тебе хватило денег? Ты стипендию получал? Ты себе ничего не покупал? Ой, опять прерывает, да что же это такое, совсем не слышно, алло... алло? Да что ты будешь делать...

— Мама, я хочу приехать, — он потом уже кричал, отвернувшись от ждущего народа. — Может быть, я приеду скоро. Не знаю когда. Может быть, мне приехать?

— У тебя что-то случилось? Что. У. Тебя. Случилось? Я хотела передать тебе картошки, хоть мешок, тебе надолго, никак не договорюсь с Гвоздиками, они мешок хотели дать. Ты говори громче, пожалуйста, да что же за связь... Ты не мерзнешь сейчас? А? Не слышу. В чем ты ходишь на ногах? На ногах! А носки шерстяные? У вас каникулы будут? Когда? Приедешь?

— Нет. Да. Да! Да хорошо все. Слышишь? Все хо-ро-шо! Нормально. Как здоровье твое? Как себя чувствуешь, а? Поняла?

— Как раз завтра сдаю анализы, ана-ли-зы... Сдаю. Да мне тут надо. Надо. Потом скажу. Хорошо, что ты сегодня звонишь, завтра не застал бы. Тебя больше не призывали на сборы? Нельзя говорить? А ты ходишь на занятия?

— Конечно!

— Не пропускай. Трудная сессия? Ой, да что там все время прерывается, ничего же не слышно. А почему ты мне больше ничего не пишешь про эту девочку, беленькую, как она... Наташа?

— Лена.

— Как?

— Ле! На!

— Ты куда-то уплываешь.

— Наташа.

— Да, Наташа, ты привет ей передавай. Может, ты с ней приедешь? Побудете, да?

— Может быть.

— Передавай ей привет.

— Хорошо.

— Что? Алло! Алло! Вот теперь слышишь, да? Теперь хорошо. Похоронили Серегина дядю Толю, ты помнишь его, из десятого дома? Алло!

Мир подвихнул ноги, обрушился, пал и — все. Лишь треск и гудение пчелиное, раздраженное, злое.

Грачев еще звал:

— Алло, алло! Мама! Алло.

Выглянул, утирая теплый, кислый пот, из кабины, на ветерок. Никто не смотрел на него. Телефонистка, как муху в кулаке, слушала наушники, потом перебирала пальцами цифры, превратив диск в карусель, частила притворно тонким голосом далекой дежурной и отсчитала звонко ему недоговоренную мелочь — полтинник, нету связи, нету, нету.

На выходе он разодрал конверт для Таджикистана и искал на стоянке такси нужное, и нашел.

— Но тока шампанское, — было неловко безлицему за полуопущенным стеклом, — давай тока отъедем.

Грачев основательно вытаптывал себе место в глубоком снегу под кустами, может быть, сирени, и хватил прямо из горла, но полезло, потекло, напыжилось, до обидных слез.

— А что, нету стакана? — дед с белой бородой и в галошах на валенках застукал длинным посохом по ветвям, где было когда-то оставлено для желающих: нет, нету, нету.

— Может, в снег сронили, оглоеды. Давай тогда с рук, — и дед соединил руки в ковшик. — Лей. Хвать-хвать-хвать... Эх. Держи ты, плотней, ну... Да-а, вот доживешься так — ничего уже не надо, приходите меня и берите, прошло и не заметил. Ну чего ты? Да брось. Какой молодой, и киснуть. Через чего? Какая ерунда все эти бабы. Все равно — жизнь дерьмо! И все. У меня и хлеб где-то был... Ты не бросай бутылку. Зачем? Давай сюда, так. Спасибо тебе. Счастливый тебе путь — оборота не будь! Да ты глянь, где дорога, — чего кусты ломать?

— Это не вы дипломат оставили? — жалко спросила у него на вахте косая, повернувшись к нему ухом, будто опасаясь удара. — Не оставляли?

— Да наш это, Холопова. Да от него уже и шлейф хороший, называется, вышел на полчаса, ясно зачем по морозу, эх.

— И куда же он делся? Свалился на мою голову, чтоб у него ручки отсохли, и шишка выросла на голове, и язык отсох! Сколько ждать-то?

Он не пил самогон у заочницы Ирки, а час что-то ел и молчал, наедался, густая кровь текла только к голове, копилась и готовилась брызнуть и вырваться — ему тяжело было держать голову прямо.

— Ты представляешь. У нас такое расписание плохое, — щебетала Ирка и выбросила недоеденное за шкаф, и теперь его немедленно потащило в коридор, он коченел там, стоя, она все говорила ему:

— Тебе плохо, Грачев? Выпей чуть-чуть. Я всегда так, и плачу. Милый ты мой, как же ты улыбаешься? Хоть раз? Хоть по-доброму. Пойдем, ты ляжешь, отдохнешь, тебя отпустит все это. Олька вон ушла куда-то давно, — она становилась рядом, тепло прижималась, мягкая, мертвая. — Слушай, а как у тебя с литературой? А с философией? Ты должен со мной заняться. У нас такие контрольные, ты посмотришь.

— Я — географ. Я — открыватель новых земель.

И она хохотала и трепала его по голове поцарапанной рукой.

Он стоял внутри своего тела, сгибаясь под ношей его, ища его горло руками, но тело всегда прыгало на спину, отовсюду, ни ресничной толщины не давая ему оттаять от общей, единой глыбы своей, он играл с ним и подыгрывал, следовал, утешал, наслаждал, но всегда следом, украдкой высчитывал нужную часть и враждебное,— отмерить, отсечь, но оно росло едино, безгранично, не разделяясь, переливаясь, перетекая — он дрался с ним наугад. А тело играло с ним, вынося на неизбежное, хоть он грозил у его лица свистком из дерева лозы, которое вечно мочит космы в реке и никогда — на кладбище, он знал цену прочности пола и досок, плинтусов и линолеума и он мог, чтобы все полезло и поползло, поскакало хвостатыми мячиками, цепкими пружинками вихлястыми, и он рос, он очень хотел и пытался расти, оторваться от до поры сладкой и капризной, но навсегда — мертвой темницы, а тело не пускало его выше головы и на крысиный волос, и все, что осталось у него безбольного — из забытой поры, единой и нераздельной и счастливой, из безумия и незнания времени и судьбы — это руки, которые пеленали его в одеяло.

Для здорового дневного сна на веранде детского сада пеленали в одеяло. И он лежал спокойно, но уже зная это, и начинал кричать, как только первая сила перехлестывала и делала близкими колени, а вторая захлестывала еще и туже стягивала, и он кричал, давясь и задыхаясь, и ему казалось, что каждым своим червячьим усильем он затягивал себя туже сам, и оставался от него только голос и ощущение невыносимости и потери, растирания себя, он орал на мирно спящей веранде и сдавались они — его распутывали, отделяли от прочих, чтоб не мешал, и он ждал всех в группе, один, сказочным и вольным хозяином всех игрушек, в которые уже не хотелось играть, и знал, что потом будет то же самое, и опять эта мука еще пожить, вывернуться, увернуться от предчувствия этой последней, конечной тесноты навсегда — вот эти руки, вот это одеяло, без лица — все, что у него оставалось.

— Не прижимайся ко мне,— и он отпихнул ее.— Мне тесно.

— Ну, как хочешь. Страдать не буду,— с зычным равнодушием сказала Ирка и ушла, но заявились счастливые и румяные Шелковников и Олька — они очень хотели есть, и Шелковников спрашивал, не все ли он пожрал и выпил тут без них, и не терял ли время даром, а потом отвел его подальше и стал хихикать:

— Праздник сегодня в общаге. День открытых дверей. 402-я угощает. Вон тот мужик новый, смугляк, из 402 скосил в «Интуристе» под араба и снял проститутку на валюту, провел ее через вахту, а она спутала, к нам зашла — вот эта, и морда знакомая. Где она сегодня мелькала? Теперь они до утра ее не отпустят. Там столько народа-а, только шорох стоит. Прям конвейер, платный. Аслан приходил звал, и тебя звал. Я, как видишь, уже не у дел, не могу ничего, мне бы до кровати доползти и эту тварь спихнуть, верно? А ты сходи, или тоже уже? Ха-ха... А надо было нам ее тормознуть, цап за шею — она же не пикнет, да кто знал, и у меня нервы были расшатаны... Но какая баба, и для всех, или сходить? Хоть посмотрим.

— Я пойду спать,— и Грачев сдался и пошел за телом своим в читалку, сел за спину тонкошеему очкастому первокурснику, который читал по сорок минут и десять минут ходил у окна, разводя руки в стороны и приседая гусем,— в столе он хранил коржик на ночь, а Грачев тонул в стеклянном отсвете стола, уложив на него гаечными ключами руки, и шел на попятную, сдавался и обыденное думал.

Первокурсник, двигая остренькими лопатками, перевертывал страницы и скудно отщипывал от заветного коржика для подкрепления. В изумившем его юную душу месте он крякнул:

— Но это же неслыханно! — и впервые обнаружил существование Грачева в пространстве.

— Тебе, кажется, лучше пойти в другую читалку, дружок,— решил и сказал в лоб Грачев.— Это будет славно. Ко мне сейчас придет в гости девушка сюда. Нам надо поговорить.

Шея первокурсника из сиреневой стала пунцовой, и перелистываемые страницы зашумели, как гуси-лебеди.

Грачев подошел после печального вздоха и захлопнул его книгу, проговорил, как заученное:

— Извини, сынок. Я жду девушку. Хотя ты мне и очень нравишься. У тебя нет брата?

Тот оскорбленно сгреб свои манатки и уже на выходе задиристо выпалил:

— Ты не думай! У меня — красный пояс по каратэ!

Грачев прочувствованно сказал:

— Я так и знал, что вы благородный юноша. Коржик не забыл?

Потом он убрал утомляющий свет и сел додумывать свое до конца, по-кошачьи оцепенело и бессмысленно уставившись на черную дорогу, на разъезды такси на круглой площади у подъезда.

Дальше он повел себя к администратору. За десять шагов уже витал испуганный голосок:

— И он — ну зачем, господи! — прямо ко мне. Как выбрал! И ведь не задрипанный какой — бородка, усы. Я, как почувствовала, и от него так — бочком, бочком, а он догнал, догнал. Уж не знаю: чем я ему так приглянулась? — размышляла в комнатке администратора косоглазая вахтерша, почесывая с ожесточенным видом щиколотку, скрытую мужским синим носком.— И обращается вежливо: забыл свой пропуск. Не имею морального права без него пройти. Оставляю в залог дипломат и немедленно возвращаюсь. Очень скоро. «Рэ» — не выговаривает. Точно — не русский. Может, еврей? И родинка тут на лбу. Вот тут. И с концами. Мы дипломат, дуры, разобрали — личность определяли. Бутылку водки нашли, а пока разбирались,— ей уже кто-то ноги поприделал. И что я ему, несчастная, скажу? Как объясню? А если и вправду придет? Как начнет судить, так спасу нет... Ох, ну так как теперь мне, Вера?

Вера отдыхала под низким торшером, мягкая и желтая, и тянула, томясь:

— Не знаю, Холопова. Я только в прачечную выходила. Ты сама знаешь, как там: все по счету надо, руками. Видишь, сижу: пошевелиться нету сил, ноги мои не ходят, поняла? Не видела я никого. Один чернозадый только донимал целый день, разве отобьешься — ходит и ходит, изнасиловал меня своим магнитофоном,— ну не брала я его! Ой, Грачев...

Косая упорхнула, чуть не вывихнув шею в попытке поймать взглядом гостя.

— А вот ты,— и она отправила руки свои в него — гладить плечи, грудь, волосы, стесняясь себя и дыша щекотно в его губы, касаясь, врастая.— А вот ты... Не вытерпел. Рано же еще, Грачев.

— Вера, дай мне ключи от читалки.

Она осеклась, по-детски явно, но руки свои унять не смогла, и они все что-то разглаживали и поправляли, трогали и ластились, и улыбка качалась на ее губах, как на коромысле: тяжело, робко, она спрятала губы в ладони, в дряблую кожу, и оттуда шевельнулось неясное:

— Не придешь?

— Приду. Ну при чем здесь это?! Я же сказал сразу,— Грачеву казалось, что он читает стихотворение.— Друг ко мне приехал. Это он дипломат на вахте забыл, выпил...

— И ты с ним.

— И я. Ему отлежаться надо. Я в читалку матрас брошу — он поспит, а то у Шелковникова гости.

Она печально взглянула на него и полезла в стеклянный ящичек за ключом.

— Вер, дай тогда заодно и дубликат от 402-ой, чтобы два раза не ходить. Он там вещи оставил, когда нас ждал, а они в кино пошли, а вещи его у Аслана, я сейчас возьму и принесу, ладно?

Она протянула ему два ключа с картонными бирочками.

— Грачев, что там сегодня в 402-ой за проходной двор? Только и слышу: дверь — хлоп да хлоп! и орут как оглашенные, перепились, что ли? Нового к ним поселили — так и зажили весело. Что там у них, день рождения? Ты не был? Они видео, что ли, купили?

— У них тоже гости. День рождения. Гуляют. Ну пока.

— Пока. В двенадцать. Я тогда буду совсем готова. Сейчас, извини, не товарный вид. Не ждала. Никак косую не могла спихнуть.

— Вот видишь. Хоть какая-то польза от меня. Пока.

Он примостился на полу у лифтов и развернул выуженную из урны газету. В Перу избранное правительство было левоцентристское. Интересно, что там еще...

Лифты катили все веселее, и чаще мелькали проходящие ноги: в одиннадцать в видеосалонах на третьем, восьмом и двенадцатом этажах самый смачный, последний сеанс.

Они опять прибыли стайкой: Аслан, Хруль, их смуглый начальник и еще пара смазанных лиц.

Хруль покинул кампанию, объявив:

— Я лучше в теннис.

И убежал вниз, не увидев Грачева.

Остальные угрюмо и величаво ждали.

Грачев прервал изучение предвыборной речи сенатора из Вологды на первой полосе и затолкал газету обратно в урну, поглубже.

— Эй, Асланчик, — сказал он так, чтобы услышали все.

Обернулся только Аслан и в вопросительном презрении поднял брови:

— Тут у вас есть баба общего пользования. Я тоже хочу.

Аслан сронил изо рта пенистый плевок подальше и развел руками:

— Это деньги большие стоит, Грачев. У тебя нету таких денег за прокат. Это очень хороший товар, это о-очень дорогое удовольствие.

Смугленький цепко посмотрел на Грачева и разжал красивый рот:

— Можно. Этому можно. — Иди — попользуйся. Только быстро! Быстрей, быстрей...

Грачев, не торопясь, обогнул этих людей и выдавил:

— Большое спасибо.

— Беги, — толкнул его в плечо Аслан и грозно указал глазами на смуглого. — А то ведь Ваня передумает, а ну бегом, ну!

Все сдержанно посмеялись Грачеву в спину.

Дверь 402-ой на стук отпер мигом какой-то мальчик с их курса в беленькой футболочке, синих спортивках и пушистых шерстяных носках.

— Грачев? И ты решил? Кого угодно ждал, ну тебе зачем это? А? Ты что? Вот это да?! Глазам не верю! Ваня сказал, что клюнут прежде всего мальчики да малоопытные. Это ведь такая гуманитарная помощь — для малоимущих. И ты?

— Мне даже бесплатно, — вполголоса сказал Грачев, взглянув на прикрытый вход на дальнюю половину.

— Да? Ванечка сказал? Ну давай. Я тут вроде — конвой, торчу, а куда она денется? Раз попалась — так терпи. Читаю, видишь, да ты посмотри, что ты головой вертишь, видишь, что читаю — «Клима Самгина»! Ты читал, нет? Вот паскуда какой — третий том грызу! Затылок уже ломит! Вот наворочал! А на экзамене, говорят, любят это спрашивать, ты не слышал? Уж и забыл, что в начале было, про что... А волна первая схлынула, и никто что-то больше не идет. Я Ванечке скажу: если и дальше так — так пусть ее лучше на биофак отдать, во второй корпус — чего зря будет простаивать? А народ они голодный, могут на неделю ее взять, круглосуточно и посменно. Хотя, если честно, я вот лично — не стал. Знаешь — мне, Грачев, мне вот как-то противно! Не принимает моя душа.

— Ванечка — это кто? Смуглый такой?

— Рабфаковец, сибиряк, ты знаешь какой четкий парень! Я как на него смотрю — я все тебя вспоминаю: это какая смена идет! Теперь можем уйти спокойно — жизнь веселая без нас не кончится. Мы погудели как следует, и они погудят! Если бы ты видел: ведь он с ней по-английски, ручку целовал, чаем поил, а потом ка-ак сунул по морде — бац! И на пол швырнул — нате, пользуйтесь! В нем точно твой размах!

Грачев нервно поигрывал наружным шпингалетом на двери в ванную. Из ванной вышел свежеумытый, вяло ухмыляющийся товарищ.

— Ну хоть теперь-то все?! — воскликнул с шутливым ужасом мальчик-конвоир.

— Все! А жаль.

И товарищ ушел. Мальчик запер дверь, предварительно попросив отработавшего свое в коридоре:

— Ты там скажи: кто еще хочет — пусть идут.

И обратился к Грачеву:

— А то — скучно, а так хоть, как видео, только без изображения. Хотя некоторые просят смотреть. Но все равно — мне противно как-то, не могу. Грязь! Как захожу — тошнит. Ну ладно, ты давай, не буду портить тебе аппетит. Музыку включить?

— Чуть-чуть, — показал размер музыки пальцами Грачев, щелкнул по синей книге в руке мальчика в беленькой футболке и ступил на дальнюю половину.

— С музыкой все как-то веселее, — рассудил он, навалившись плечом на дверь за собой.

Настольная лампа со свернутой шеей плескала в шторы для большего уюта тусклые и пыльные пригоршни света, шторы, волнистые, как стиральная доска, плотные и тяжелые, тянулись сорваться с крючков, проломить пол, землю, и первым делом он развел в стороны шторы, освободив их от страшной тяжести ночи, — развел влево и вправо, порознь.

И он нагнулся смотреть над снежной рекой, половодьем, но ничего не увидел — не было отзвука привычного, течение подхватило его, и он видел теперь только поток — нет берега, нету. Он уже не останется здесь.

Грачев откупорил форточку:

— Душновато... у вас. Надышали.

Он отодрал от крышки стола лакированную щепочку и стал возить ею по столу, скрести, потом разломил и тут огорченно сунул палец в рот: вытаскивать, выкусывать засевшую занозу.

На низкой кровати с чуть смятым покрывалом синего цвета, украшенным скромным русским узором, сожженным, обугленным пнем торчало длинное, гнутое тело, все пряча под себя: руки, ноги, кожу лица — все смятое, больное, разбитое, чуть скомканное, подобранное в кучу, узлом.

— Вы думали: высококвалифицированно поработаю на экспорт. Парам-пам-пам. Прам-пам... А получился как бы — коммунистический субботник. Да, — Грачев прислушался к перемещениям за дверью и длинным усилием потушил лампу. — Я даже поверил сейчас, что дубленка, правда, стоила тыщ так... Много. Еще больше! Да. Да. Господи, ну какой же надо обладать нравственной силой, чтобы несмотря на не-вы-но-си-мую! утрату — встать в тот же самый день к станку! Выйти на смену. Не подвести товарищей. Не сдаться, наперекор трудностям. Да. Я всегда боялся величия русских женщин. Вообще — это именно то, на чем я свернул себе шею: ожидать от женщины какого-то пути, избавленья, да еще такого, какого не всякий может быть достоин, и надо еще стать кем-то... Ах, как жаль. Бывает, да. Я думаю, хватит сидеть. Одевайтесь, обувайтесь. Ничего чтобы не забывать, внимательней.

Он заново прислушался у двери. Мальчик, наконец, выбрал в записях музыку, чем-то дорогую ему, и завел что-то бесполое, тягучее и постанывающее, юное.

— Ну, все? — оглянулся Грачев. — Так, а где плащик, душа моя?

Она уткнулась безмолвно в свои колени, обтянутые черным, непрозрачным, на плечах было что-то кожаное, с плечами, туфельки поблескивали.

— Плащик — это наше слабое место, сударыня, — подытожил Грачев. — Я сейчас вернуся.

— Ты все? — встрепенулся ему навстречу мальчик, взволнованно косясь ему за спину. — Или противно стало? Не смог? Тошнит, да?

На плаще мальчик сидел и даже укрывался — и тепло, красиво, у плаща хорошая подкладка.

— Сделай чуть-чуть погромче, — попросил Грачев.

— Ну, Грачев! Ну воображала, вот сволочь! — развеселился мальчик и напутствовал его революционно сжатым кулаком. — Ну! С музыкой вперед!

— Ага, спасибо! — бодро откликнулся Грачев и возвратился на исходную позицию.

— План боевых действий, — начал Грачев. — Милая, боевые действия мы будем вести следующим образом, — он подтащил ее грубо к себе, поставил рядом и смахнул прохладной рукой волосы с ее глаз, он захотел увидеть два синих цвета, два влажных проблеска над светлым и чистым дыханьем, она выпрямилась в стройную, как в дерево, и он вдруг дернул за ближнюю долгую прядь, чтоб увидеть безобразную гримасу и криво рас-

ползшийся рот, но она просто коротко всхлипнула и покачнулась, как от ледяного ветра.

— Чуть пошустрей, — пояснил он, — чтоб шевелиться. Я, — и он ткнул в себя пальцем, — выхожу. Дверь, вот эта, остается открытой. Потом я громко говорю: иди сюда! — он повторил, — иди сюда. И ты, — он указал, не коснувшись, на нее, — очень быстро идешь на выход. Дверь там тоже уже открыта. Дальнейшие ваши действия — в коридор, сразу направо. Направо, вот эта правая рука, да? Дальше — за стеклянные двери, заметили, когда шли? Или летели на крыльях любви и не замечали, нет? Там есть, есть стеклянные двери — за них, и там уже слева табличка — «Читальный зал». Читать все таблички не надо, я не сомневаюсь в вашей грамотности. Просто запомнить: первая дверь налево за стеклянными дверьми. Там ждать меня. У тебя, милая, две задачи: быстро через комнату, и быстро по коридору до читалки. Если трудно это на каблучках — снять, тогда уж босичком. В коридоре бежать, если только окликнут, а так — спокойно, уверенно, по своим делам. Если боитесь со мной или не хочется — бога ради. Ждать осталось недолго. До утра. Скучно не будет. Скоро кончится сеанс у видео, и товарищи прибегут толпой с новыми силами закреплять полученные навыки в самых отчаянных вариантах, вы же понимаете наш народ — вы покажите, как надо, а уж до совершенства мы сами доведем, лучше всех. Махните теперь своей растрепанной головой, что все поняли и сделаете быстро все, как сказал, ну!

Она чуть кивнула, прижимая ладонь к щеке и нагнулась к туфлям расстегнуть пряжку, мягко опершись на него — Грачев швырнул от себя эту руку, и она рухнула на пол, испуганно сжавшись.

— Это я так. Отвлекся на несущественные детали, — разъяснил Грачев. — От полноты душевной. Сняли туфельки? Ага. Готово? В правом кармане у меня ключ от комнаты, в левом — от читалки, все хорошо, плывем дальше. Команды готовятся на выход. Всего доброго, мы начинаем.

— Ну что? — замаслились глазки у мальчика. — Быстро ты... Насладился? Аж грохот стоял. Я думал: пойти, что ли, поглядеть? Еще будешь?

— Пусть в ванную сходит, — кисло сказал Грачев. — Не могу я так.

— И я говорю, — горячо подхватил мальчик. — Противно! Я ведь тоже пробовал, а не могу — сразу противно! Не смог от этого, сколько пробовал, заходил — не могу, падаль же! Продажная женщина ведь. Не могу отвлечься от этой мысли, и не получается поэтому. Сил просто нет.

— Пойду приготовлю ванну, — сочувственно помигав, сказал Грачев, заслонил себя ванной дверью и отпер наружную дверь, торчащим в замке ключом, ключ зажал в кулаке, сильно.

Мальчик грустно читал дальше, выставив в стороны тонкие малиновые уши.

— Даже видеть теперь ее противно, да ну ее! — признался мальчик задрожавшими губами. — Просто растоптал бы!

Грачев вздыхал.

Тут Грачеву в спину пахнуло холодным, нездешним. Это просто настежь открылась входная дверь, кто-то открыл. Или это сквозняк.

Это был Аслан.

— Фильм из-за вас не посмотрел, какой фильм! Какие там бабы! Эй, ты чего не закрываешься, а? — крикнул он мальчику. — Граче-ов! Мне Ванечка сказал, что ты девку уведешь. Прислал посторожить. Сколько мне хлопот из-за тебя, а?

Мальчик, запутанный книгой и музыкой, тосковавшей под ухом, слабо отреагировал и бессмысленно улыбался.

Аслан присел на стул и заправил спичку меж толстых губ:

— Ну, ты успел? Нет? Чо ты телишься тут? Все, так иди, сколько тебя ждать, показать надо, как делать?

— Хочу в ванну ее сводить, — и Грачев поспешил в ванную, пустил воду посильнее, заставлял себя улыбаться, хмуриться, напевать, дергать плечами, разгоняя изматывающую скованность ожидания прыжка, его все тащило дальше, тянуло.

Осторожно, как крышку гроба, он расшатал и вынул из-за унитаза доску, скрывающую водопроводные сочленения, поискал там рукой: горячая — холодная! С натугой завернул холодный вентиль, до упора.

Поместил бесшумно доску на место. Вода, накаляясь, зашипела и закашляла в ванну, вздымая брызги и пар, делая тяжелым дыхание.

Грачев вернулся к Аслану, повстряхивал мокрыми руками, сея брызги на пол, и раздраженно спросил:

— Что у вас с водой? Нет холодной, что ли?

— Ты что? — раскрыл рот Аслан. — Я же стирать сегодня собирался. Бабки тараканов сегодня травили — была холодная. Эти твари кран, что ли, сорвали. Мало им девки — им и помыться еще здесь, — он выплюнул спичку и бодро отправился в ванную.

Грачев тронулся следом, как привязанный, неотвратимо прикованный к круглому, большому затылку, будто покрытому вороньим крылом.

Аслан рывками раскручивал синий кран и матерился, обжигаясь, пряча лицо от воды, блестя зубами.

Грачев, не глядя, за спиной, отворил входную дверь и украдкой выглянул: только у телефонов кто-то курил, а так — простор, зеленая улица.

— Иди сюда! — позвал Грачев в комнату и упруго шагнул в ванную, освобождая сразу правое плечо, и толкнул Аслана, тот удержался, обернувшись, закинув назад черный подбородок, уже понимающе оскалившись, и Грачев, танцующе крутанувшись, тяжелым змеиным языком выпустил из себя правый кулак, добавив ему длины и силы поворотом всего тела туда, в теплое, в тупую короткую боль, до ожога, до ощущения — свалил, сломал и отпрыгнул назад, чтоб не цепляться зазря, и живо защелкнул шпингалет снаружи, столкнувшись с ней, — она несла туфли в руках, как пару котят, толкнул ее в коридор:

— Иди!

Метнулся в комнату.

У мальчика был ошарашенный вид.

— Быстро встать! — крикнул Грачев.

И мальчик вскочил.

Грачев выдернул на себя плащ и вылетел в коридор, на два оборота запер дверь за собой, слыша уже, как отлетает с мясом шпингалет, державший ванную дверь, после первого же удара плечом, но он спешил уже по коридору и ему крикнули вслед непонятно кто:

— Куда ты ее, Грачев?

Он захлопнул за собой стеклянные двери и зарычал ей, метавшейся меж мусоропроводом и читалкой:

— Сюда!

И впихнул ее внутрь, в читалку, закрыл на замок дверь и теперь уже остановился, сник, опустился на груды бумаг, не разобранных утром Симбирцевым, и шепнул легонько:

— Садитесь. Теперь мы сидим тихо-тихо. Как мыши.

Уже обрушилась ночь.

Напротив, через одноэтажную столовую, как панель солнечной батареи космического корабля, выгибался чешуйчатым парусом на ветру второй корпус общаги. Комнаты светились пестро, каждая — в свою силу и цвет, и только кухни, лестницы да читальные залы протыкали белый корпус казенно одинаковым мерцанием.

Если быть терпеливым и всматриваться, то вот — головы тихих, читающих над столами у окон, вот синевато пылает жар на шторах от телевизоров, вот мигает цветомузыка для танцев или прихотливой любви, а вот сидят рядком люди и пьют чай и кто-то лезет взять сало в сумке за окном, а кто-то курит у открытой форточки и окурок выстреливает наружу, а вот там — спят, или просто — стало больно от света, стекают тени по лестницам вниз, на кухнях спорят и машут руками, решают, а вон там вдруг зажглось окно и кто-то стал посреди, уперся во что-то и ни с места, тяжело ему, а вон в той читалке одинокий мужик подпрыгивает и бьет ногой стену, постоит, подпрыгнет и вдарит опять, и на него лучше не смотреть, не ждать, что будет, когда он пробьет и все погаснет или все загорится, а дом, кажется, тащится дальше, а зима протягивает вокруг него снега и земли, уползая в свое родное кочевье, а дом оттесняя на последний краешек, на обламывающийся под добравшимся до него человеком краешек света.

Слева за стеной шипела и звякала сковородами кухня, справа — разновысоко кашлял мусоропровод и клекотал длинным горлом, проглатывая свою жратву, и смешно, скоро перестукивали консервные банки — и там, там, там и — все. В коридоре вспыхивали голоса и путались шаги, дернулись в читалку, плечом налегли на запертую дверь и шипели друг другу слова, потом постучались и шушукались опять, будто ветер гнал и переворачивал на пыльной дороге иссохшие листья — коричневые, завернувшиеся и ребристые, как остовы умерших кораблей.

Дом тащил за собой, а зима и ночь — это то, что теперь покидало, и нельзя остановиться, нащупать привычное, корневое, и катило, и переворачивало, и поддувало и гнало, и шуршало, сыпалось, он поднял глаза на немо выгнутую спину:

— Вы можете сесть посвободней, даже ложитесь, тихо. Они могут поджидать еще за дверью, а могут просто бегать и искать. Лучше побыть здесь часов до пяти. Можно до четырех, можно. Они тогда уже махнут рукой и полягут спать, все, до одного. Это самое лучшее время. Самое нестрашное. Самое. Здесь мы спокойно переждем, вот только...

Он пополз на четвереньках и потрогал острые края дыр под плинтусом, заглядывал в дыры.

— Вот только крысы, крысы... Вы, вы не слышите, нет? А я вот всегда почему-то слышал. Они обязательно здесь. Нет, не бойтесь... Просто теперь что-то случилось с моим слухом — не слышу, я не слышу. Но вы поможете мне, да? Скажете... Что за черт... Не слышу совсем их... А? Или нет? Вот странно, — он бросил ворошить бумаги. — Ни одной дохлой. Мне бы хотелось сейчас найти одну, а не видно... Нигде. Там? Нет. Не видать. Ладно.

Он прилег к ней близко, чуть коснувшись, соединившись, и отодрал обложку от попавшейся под локоть книжки.

— Вот вам. Будет надо — надергаем еще. Если они придут, полезут из нор, и вы испугаетесь — бросите, раз! Они спрячутся, быстренько. Сейчас лежать, ждать, да, так, а это что тут у нас за ерунда? — он выворотил из-под головы деревянную раму. — Портретик попался, а чей? Ого-го. И как несвоевременно, просто беда. И к стене теперь не могу отвернуть, сердце мое заболит, если уж и я так... Как ребенка обидеть. Я лучше — здесь поставлю. Пусть посмотрит на нас. Зарегистрирует наши отношения, хоть какие-то. Пусть у него на прощанье останется это в глазах, отцу на прощанье от сына на краткую память. А странно, что он один. У вас там не околачиваются в поле зрения еще двое? Нету? Беда. Мне еще больней видеть его одного. Втроем они не такие сироты. Нет, мне надо меньше на него смотреть, а то я обязательно не выдержу. И мой разговор с вами перейдет в разговор с ним, а при вас это будет довольно странно, учитывая вашу профессию... И еще я обязательно расплачусь. Я последнее время, когда темно и относительно одиноко, довольно гм-м... слезлив. И кажется, это уже начали замечать товарищи невидимые мои, подчиненные, ждущие меня... Хотя — ерунда. И если начну слезы лить, чтоб не теснило внутри — вытеку весь, и вы сядете в лужу из меня, и растаете — я буду горячая лужа, лучшая в стране, из лучшего в стране человека... Отвернусь-ка я от греха. Но тогда мне тебя не очень будет видно. Пожалуйста, милая, спуститесь чуть-чуть, ко мне, мне так будет удобней. — Он притянул ее за плечо, и голова ее легла к нему на грудь, как еще одно сердце, пальцы его робкими корнями вползли в эти волосы, как в снег, и замерли, примерзли там. — Когда ты так — ты как будто ко мне пришла... Ведь так и есть на самом деле. Ну за исключением некоторых деталей... Эх, не надо мне было пробовать. Раз пробуешь — значит, не уверен, а жизнь — это не слишком просторное место для опытов. Время, время не позволит, вся его паскудная и паршивая суть, что оно всегда против. Я только раз единственный дернулся, а оно уже подстерегло, сломался, поплыл, встал в строй, подравнялся в затылочек впередипомирающего товарища... Но я... Я, я ведь действительно очень захотел, чтобы ты пришла, хоть когда-нибудь... Так непривычно это говорить. Сказал — а так непривычно. Я давно стесняюсь чего-то искренне хотеть. Вот не хотеть — другое, другое совсем дело, и то — в относительном одиночестве и темноте, в слезливом настроении — вот тогда: не хотеть. И вот если бы ты пришла, если бы ты, милая моя птица, пришла... Я бы бросился рассказывать тебе,

тебе, этому сердечному слову — тебе, как уходит жизнь, как тихо, будто боится, что ее заметят. Как проходит лето, не оставляя вкуса вишен на губах, и все труднее забываться едой, всем, что я называю — едой. Когда ты забываешься и с телом заодно. Как умирают заживо, не замечая того, но плача, родители, и как хрустят кости, когда растут, когда проживают свое. Когда ты не веришь, что все это так, но торчишь у школы, надеясь, что разомкнутся школьные стены и возьмут тебя обратно... И как обязательно сбывается то, чего хотел, но только тогда, когда всего этого — уже не надо. И как трусливо хочется ухватить эту жизнь, как есть, за скользкий хвост и побежать уже дальше легко, пробежать, пролететь, не касаясь пола, в подполье, там пробежать, — он гладил и целовал ее душистые, как постель новобрачных, волосы, а свободной рукой бросил книгу к стене, в тень. — Не бойся их. А — вообще ладно. Пусть уж. Нам они не мешают. А я даже не знаю, сколько они живут и сколько рождается за один раз. Боялся знать... Ну вот. И я завидовал деревьям, а потом и это перестало устраивать. Жить как дерево, расти — это признать пределы человеческого понимания, и все бессильно разводят руками, и ты разведешь — что поделать, а ничего не поделать. Мне этого не надо. Я не могу на это согласиться, не мог. Ты же понимаешь меня, любимая, птица — ты залетела ко мне в комнатку, ты должна это чувствовать, женщины этого не боятся, они ближе к деревьям. Если понял я этот лист, его планы и обряды... И я хочу на другую страницу. Мне не надо того, что будет обязательно! Это не бунт. Просто здесь я ничего делать не буду, сложу руки и просижу. Мне всегда казалось, что все, что есть — это не все. Это еще не все! А где-то прячется полет и праздник мой, и путь туда не мозолью, и не мозгами, и не службой, не вилянием хвоста... Надо просто понять, поверить, понять и сбежать туда, даже если в самозваное...

Она поджала ноги под себя и прижалась к нему крепче всем пьяным телом своим — он приподнялся и бросил снова что-то к стене, не глянув: пропало там или нет, и легко, воздушно сказал:

— Ты не бойся, любимая, они не осмелятся теперь. Теперь они боятся меня, нас. Хотя в этом... Мне даже тяжело объяснить тебе, что в этом... Тогда ты точно испугаешься. Насмерть. А тебе уже не надо ничего бояться. Мы посидим и выйдем, когда будет нестрашное время. Вот еще, ведь мне теперь не придется писать свой роман — я им болел все последние времена, это был, как плотик. Я думал: напишу, отрублю канат, пусть плывет без меня, а я на заветном берегу, уже насовсем и — вперед! К уничтожению вечности! Но раз теперь — мордой в свободу, так и писать ничего не надо. А это была такая... воспевающая и довольно грустная штука. Книжка про разведчиков. Я расскажу коротко. Как анекдот. Это и есть что-то типа анекдота. Всегда хочется придумать какое-то другое оправдание замкнувшейся судьбе, — и он швырнул забившую в полете страницами книгу, мимо портрета, в беспокойную сторону. — Я — только сюжет. Да там больше ничего и нет, без единой мысли. Послушай, ты сразу все поймешь, мне кажется...

В год Московской Олимпиады чекисты погружают в собственную страну секретную сеть, «алмазную цепочку». «Цепочка» — самые проверенные, самые преданные делу партии и народа, юные, сильные, умные офицеры. Главное, что это действительно — соль нации. Бескорыстные, честные, искренние, светлые, которые любят революцию и Ленина, как лицо своей матери, как дыхание любимой, как голос ребенка своего. Их долго-долго отбирали, со школы, воспитывали, обучали, их отбирали из гор — крохи, песчинки. Может быть, их всего сто, сотня. «Алмазная цепочка» должна раствориться, врасти в жизнь, жить обычными гражданами, получать профессии, работать, любить, растить детей, петь песни, копить деньги, стариться и даже во сне не вспоминать, что они — «цепочка». И так многие-многие годы. И может быть даже — всю жизнь. Но только если потухнет пламя нашего святого дела, если падет рубиновая звезда со Спасской башни и черная толпа потащит ленинское тело из Мавзолея, если опять время вернется вспять и победит нажива и жирные руки, а не великая идея справедливости и равенства — тогда они получат весть и оживут, поднимутся. И «алмазная цепочка» неугасимым жаром запылает под исполинской грудой уставшего верить пепла, и пусть их — сто, крохи, но эти крохи — алмазные, и они начнут все снова. Они помогут несдавшимся.

вернут веру усомнившимся, уничтожат пришельцев и предателей и сделают все, о чем скажет им весть. «Алмазная цепочка» — это страховка и завещание. Тогда, в то время, дорогой читатель, очень любили писать потомкам прочувствованные послания, подписывать их со светлыми надеждами и замуровывать их в стены новых клубов, тело громадных плотин, основания величественных памятников — такое было это время. Но так вышло, что потомки из коммунистического будущего оказались мертвыми даже раньше отправителей. А сила несбывшихся мечтаний — это самая добрая сила. Она убивает только тех, кто мечтал. «Алмазная цепочка» — это воскрешение мечты, это спасение душ чистых детей-мечтателей, так мне казалось. «Цепочка» делится на звенья по пять человек. Один из пятерых — старший. Только он знает своих соратников. Больше никто не знает никого. Весть о воскрешении должны получить старшие. Старший одного звена и есть герой романа.

И вот проходит так лет двадцать, и сбывается все плохое, и даже хуже и дальше, и новая жизнь уже давным-давно укрепилась, и другая держава на этой земле, все позабыто и на все старье — плевать. Да и все в общем-то довольны, не воют, жизнь вся на другой бок. Она не лучше, жизнь эта, но просто — другая, на другой бок. Кто-то, конечно, попереживал, старики особенно, обижались, но обвыклись и померли. Дураки, которые метались, тоже успокоились. А молодежь весело себе живет и не нарадуется. А вести никакой что-то нету... И герой уже устает ждать, уж очень тяжеловато. Живет-то он неплохо, но не может иногда среди ночи понять, кто же он? И боится вообще забыть о том, кто же он на самом деле. Ему определиться надо, твердое под ноги, а то годы идут, случится что — так и помрешь в чужом гробу, оплаканный чужой женой и чужими детьми и провожаемый чужими товарищами по работе и перечислением чужих заслуг. Он уже так измаялся ходить раз в полгода на улицу бывшего Шверника и осматривать рисунок на боку ларька «Пиво». А потом и ларек снесли! А телеграммы из Селятина о нормах отпуска бельевых веревок на душу населения что-то никто не шлет, когда ж весть-то будет? Чего ждать, пора говорить... И отчаивается этот мужик, мучается год, и ломается что-то внутри, переступает он священную клятву и, страдая жутко от этого, начинает искать отцов-командиров, чтоб задать единственный вопрос: вы что, уснули? Одним себя оправдывает: за общее же дело страдает, не за себя, поэтому и рвение, а внутри все равно его грызет: а так ли?

Через еще не померших пенсионеров-отставников, через десятые руки он вылавливает на приемном пункте стеклотары сменившего три имени выпивоху-деда. Деду наливают за то, что он суровой ниткой достает провалившиеся в бутылку пробки, а был дед председателем КГБ. И герой представляется по форме, кается, что нарушил уговор, готов понести кару страшную, но все-таки: чего ждем? За что боролись? Дед плачет, сморкает сопли в кулак, клянется, что знать ничего про цепочку не знает. Затея эта была глубокой тайной. Руководил ею единолично и обособленно от всех другой генерал, а его еще в одна тысяча девятьсот восемьдесят третьем году задавил насмерть колхозный бугай Утес в сарае деревни Ефросимовка Солнцевского района Курской области. А все документы и планы чекисты пожгли, дотла, в подвальной котельной, когда кулаками стали в двери стучать, все успели, пепел на поля вывозили — хорошо удобряет.

И тут герой мой начинает догадываться, что вести нету только потому, что некому ее отправлять по секретным путям, некому воскрешать ждущих героев-мучеников. Что потеряно невероятное количество драгоценного времени. И что все пойдет прахом на земле и даже во Вселенной (а он не верит во множественность обитаемых миров) — везде все пойдет прахом, если он, именно он, не поднимется в полный рост. И все, что у него есть, — это четыре соратника, которые тоже ждут вести уже двадцать лет. Но вести от него. И что же дальше? Чем кончится его проклятое прозрение? Отнявшее у него силы и сон! А? Верно, ну конечно, — он решается начинать сам. Но вот что его мучит: должен ли он сказать алмазным соратникам все, как есть? Всю отчаянность их положения? Довериться? Они ж не просто люди — бойцы, алмазики... Или не рисковать, не признаваться и помалкивать? И делать вид, что весть послана свыше? Он опять страдает, опять он мучается днем и ночью, изводит себя, что нерешительностью он теряет спасительное время... И, конечно, конечно, — он решается солгать... И вот вроде правильно, мудро он все делает — а ему тяжелей и тяжелей все становится, нет легкости... А это страшно, когда нету легкости. Давит, отрывает от людей еще больше и дальше, ох, как было ему тяжело и как же его ломало... И второе размышленье его донимало: а что же делать? С чего начать? Он двадцать лет жил разглядыванием звезд, он жил человеческой, другой жизнью, и его почему-то страшно не тянет складировать оружие, размножать листовки, занавесив одеялом кухонное окно, чтобы домком не придрался за нарушение режима экономии; как-то не тянет составлять программу и тезисы, максимумы и минимумы, очередность целей и характер событий. Что-то ему не хочется затевать что-то длительное, на всю жизнь протяженное и скрытное, двойное. Он двадцать лет и так скрывался, уже досыта, куда больше-то. Теперь самое лучшее — уж отмучиться разом, да так, что на весь мир! Он боится, что надолго его не хватит — нести тяжесть одиночества среди всей Вселенной, такого одиночества, что никто никогда полной правды и не узнает, не будет светлого единения и прощения... Да и потом: не может он взять ответственность начала, ведь тогда на его совести будущее всего человечества... А вдруг он скажет: пора! А будет еще совершенно рано. Вдруг неверно определит гегемона и не найдет возможного компромисса с потенциальным союзником, и союзника-то этого не углядит? Не проявит гибкости и не дернет за слабое звено, именно за которое и надо-то дернуть? Он ведь не выдающийся ум. Хотя он очень хороший. Соль нации. Одна песчинка соли.

И он придумал такое: пусть его пятерка провернет что-то оглушительное и именно такое, чтобы остальные девяносто пять соратников поняли: ждать нечего, это и есть весть, мы начинаем, дорогие товарищи. Он разрабатывает именно такую операцию, обмысливает ее в деталях, утверждает сам для себя и после этого начинает страшный свой обход. Он набирает заветные телефонные номера и голосом ожившего и все-таки пришедшего кошмара кромешного приказывает: мы начинаем, оживайте, вставайте, я вас зову. Он ждет их вечером, на пустыре, среди разломанных гранитных обломков Мавзолея, они идут к нему, приближаются — каждый со своей стороны света: один полысел, другой — располнел, третий испортил зрение и уже в очках, кто-то стал очень богатым — приехал на машине, кто-то беден и скромно одет — инженер, техник, врач, потравщик колорадского жука, один угрюм, другой зол, третий — равнодушно-холоден, четвертый — очень нервничает, он виноват — у него четверо детей, детей у звеньев цепочки должно быть самое большее двое, не больше.

И они рассматривают друг друга: так вот кого объединила пятерка, пытаются припомнить, были ли знакомы в годы учебы, встречались ли в этой жизни. Но молчат. Это очень печальная сцена. Они пытаются друг друга узнать, но при этом понимают, что это не особенно нужно. И четвертый не выдерживает, он кричит, что все, что он им сейчас скажет, это — безумие, безумие, только безумие, что все они старые люди, другие люди, что народу ничего не надо, ему нравится новая кормушка, что все, во что они верили, — это ложь, обман, мертвые слова, ошибка, наносы грязи пусть и на чистом теле и что не надо, ничего не надо, кому нужны их жизни, надо жить и все тут, надо расходиться, хватит, он ничего не хочет больше слушать, это безумие, безумие, только безумие...

И все молчат и слушают его, слушают и при этом опять понимают, что это тоже ненужно и неинтересно, непонятно, для чего они должны слушать то, что он говорит сам себе и что они давно знают сами, но только еще лучше, потому что знают это про себя. Только герой мой ему вяло так отвечает, просто мямлит, но ведь ты двадцать лет... Двадцать лет! Ты молчал, таился и ждал моего прихода, ждал звонка или забытого дипломата на вахте. Мне очень странно, что ты не рад. Странно. Всем могу сказать только одно: если вы откажетесь — воля ваша, я пойду на дело это один. Мне хочется легкости... Вы можете уходить, о вас никто не знает. Про себя он отметил, что даже хочет этого. Никто только не ушел, стояли все по местам, как и стояли. Ну тогда слушайте, сказал он, поставленную Центром задачу: завтра на рассвете мы нападаем на караул номер шесть охраны мясокомбината города Одинцово и разоружаем его. После чего мы забаррикадируемся в холодильной камере, где собрано мясо для новогодних заказов жителям России и, угрожая размораживанием и взрывом.

требуем прямой эфир на радио и телевидении для обращения к нации. Говорим, что хотим. Все. Больше от нас ничего не требуют. У других пятерок свои задачи, у нашей — эта. Сделаем и можем отдыхать, все. А что будет после? Это спрашивает четвертый. А что будет, если прямой эфир не дадут? Мы разморозим мясо и взорвем холодильник... Что же дальше? Да нас же просто отдадут толпе, нас разорвут на куски голыми руками. Какой смысл в этом диком задании? Нас не так много, чтобы жертвовать сразу пятерыми! Что за нелепая демонстрация. Герой отвечает устало: видимо, так надо. Это наша доля общего долга. Сделаем, и наше задание закончено, и все свободны от дальнейшей борьбы, если, конечно, нет особого желания, хотя мы себя засветим операцией и для Центра будем бесполезны... Не знаю, мне в таком нашем применении, краткосрочном и одноразовом, видится очень много выгод. Давайте расходиться. Сбор через три часа. Не забудьте взять с собой партбилеты, до свиданья. Но все равно — это безумие, говорит четвертый. Герой отвечает: мне кажется, безумие наоборот — кончается этим. И все расходятся.

Дома они долго слушают дыхание спящих детей, пишут странные, жестокие слова на бумаге, спокойно отстраняют рыдающих жен, что есть сил обнимают седых матерей. Их не узнают — они какие-то другие. Они и сами не могут понять, почему им так легко. Горько, жутко, муторно, но есть освобождение и легкость и есть воскресение в пустоту. Будто встают среди ночи на кладбище из могил и сразу ложатся в другие.

Ровно в пять утра, это самое лучшее время для нападения, они молниеносно врываются в помещение караула номер шесть мясокомбината города Одинцово, но караула нет — как выяснилось потом, он пьянствовал в гостях у соседнего фермера. Они крадутся в помещение другого караула, но тут их замечает юрисконсульт комбината — он подъехал к комбинату на машине, чтобы забрать мясную тушу, переброшенную через забор для него. И вдруг он видит чужих людей на ведомственной территории и понимает, что это — воры. Юрисконсульт поднимает на ноги всю охрану, и пятерку блокируют во дворе бронетранспортерами мясокомбината. На них бросают спецназ, пятерка сражается с поразительным ожесточением, хоть и голыми руками, не забыта выучка прошлых лет, есть что показать молодым — они убивают человек шесть, хоть и сами все изранены, а один из них — даже убит. Убит четвертый, который многодетный. В суматохе и скоротечности боя трудно было заметить, каким образом он пал на поле брани.

Их судят в двадцать четыре часа, и присяжные утверждают справедливый приговор — расстрел. А четверо ждут в камере своей смерти, в каменном, сыром склепе, где бегают крысы, много-много крыс, трое очень спокойны и смиренны — ничего особенного для них не произошло, — Грачев приподнялся и подложил ей под голову руку и вгляделся — она не спала, она только мерзла, он укрыл ее пиджаком и прижался теснее, ближе, губы его шептали в губы, — и вот тогда герой и не выдержал — ему слишком страшно умирать так, молча. Да и совесть грызет его благородное сердце, вообще — он устал. И он во всем признается. Что он по своей собственной воле поднял их на ноги. Что никакой вести не было и не будет никогда. Что то, что они сделали, — оказалось бесполезно. Что все напрасно и все зря. Намешалось все, и вышло нехорошо. И ему жутко не хочется умирать так, он искал только легкости, а все выходит наоборот, но вот теперь он им сказал и — счастлив, он сказал это все, и ему стало легче. Теперь же он не один, правда? И он вдруг смеется: громко-громко. А товарищи его воют от ярости, рыдают в тоске, они катаются по каменному сырому полу меж бегающих крыс и ревут от отчаяния, и крысиные хвосты лезут им в рты, а они этого не замечают — им невыносимо умирать так и понять это именно сейчас. А герой счастлив. Даже тогда, когда они убивают его. Он только шепчет напоследок холодеющими губами: четвертого я не убивал. Это, товарищи, кто-то из вас. С коммунистическим приветом — и улыбается еще, на прощанье.

Трое расходятся по углам каменного подземелья и не смотрят друг на друга. И нет сейчас на свете людей ненавистней друг другу, чем они, им кажется, что они сходят с ума, они не могут ни говорить, ни плакать, ни кричать друг при друге, их сдерживает ужасная, точная общность их положения — они не могут даже думать теперь.

На рассвете их выводят во внутренний дворик тюрьмы. Напротив них изготавливается к стрельбе взвод солдат. Сверху на них смотрят телекамеры прямой трансляции и многотысячные трибуны со зрителями. Им зачитывают еще раз приговор и коллективные телеграммы фермеров, бизнесменов и продюсеров. Они стоят в белых рубахах, и офицер командует солдатам стрелять и взмахивает кнутом.

И вдруг первый кричит:

— Да здравствует социализм! Да здравствует Ленин!

И второй кричит:

— Мы победим! Да здравствует коммунистическое Отечество свободных и счастливых людей!

И смеется навстречу пулям.

И третий подхватывает:

— Революция бессмертна! Завтра взойдет наше солнце!

Они стоят рядом, обнявшись, они хохочут, и выстрелы расцветают кровью на их рубахах, они падают, помогают друг другу вставать и падают теперь уже — навечно, умирают, но лица их счастливые, светлые, легкие, летящие...

Грачев смолк, и ладонь его плавно-невесомо скользнула по ее мягкой, дышащей щеке.

— Вот и весь романчик... Что-то такое невыразимо грустное... В духе Грина. Вот вы спросили меня: а что же будет потом. Оживет ли «алмазная цепочка» и закрутит ли революцию? Или нет? Не знаю. Меня это даже не особенно волнует. Это ведь роман эпохи именно потому, что совершенно неважно, что будет потом. Мне просто очень нравится концовка. Хоть очень грустно. Когда я перечитываю ее про себя, кажется, что внутри меня завелось болото, и комары сосут сердце. Нестерпимо, когда думаю про это... Просто не могу. И вот рассказал, и жалко стало. Значит, точно уже не напишу, не судьба, значит. Да? Да. И что тебе еще сказать, любимая моя? Что ты красивая? Что казалась мне в тебе сила, которая манила еще со сказок — понимаешь, стучится уже в двери смерть, ломится, а она говорит тебе: спи спокойно, добрый молодец, утро вечера мудренее... Тут не было возможности и мгновенья без страха прожить, а она сказала — и можешь, оказывается, уснуть. А она всю ночь сидит и прядет, шьет, варит — а утром спасает. Это я потом уже подумал, что если она его спящего убьет, — это тоже спасение, ведь уснул-то он счастливым, да? Да. А мне скоро надо будет уйти, ладно, неслышное мое дыхание? А ты побудешь здесь, ключ в замке. И выйдешь, когда ночь станет нестрашной и пустой, — это и будет часов пять. Старушки только будут под окнами собирать бутылки, и дядя дворник выйдет на работу с лопатой железной. Запомнила, птица моя растрепанная, да? Да. А ты ведь оказалась совсем как я, в конце концов, сделала меня таким же, и зачем ты только пришла... — его губы тонули вниз, навстречу дыханию влажных, набухающих губ, как летучее зерно седого одуванчика на подмокшую душистую обочину, напитанную ночным дождем, кружась, теряясь и тая, утопая, напутствуя руки в плавание, в трясину, в горячее, — а она вдруг извернулась суматошно, вырвалась, перекатилась в сторону, красиво лизнув волосами бумаги и хлам, ударила его с плачем ногой, острым, каблуком, отшвырнула с плеч пиджак и забилась подальше скорей, в самый угол — собралась в ком, выставив колени вперед, тревожно задышав.

Грачев остался сидеть на коленях, прижимая рукой там, где угодил ее удар, он вынес эту руку в сиреневый зимний свет, будто ждал увидеть на ней кровь, и растерянно выдавил:

— Мне надо пойти.

— Грачев, — лениво позвал голос Ванечки из-за двери, — мне кажется, что ты здесь со своей любовью. Ты не хочешь открыть и кое-что мне объяснить?

Грачев на цыпочках подскочил к окну и насунул пиджак. Резанул ключом утепляющую бумагу, окно радушно зевнуло и пустило в читалку зиму и ночь.

Он смахнул на пол комки грязноватой ваты, провисшие с распотрошенной рамы, спугнув шелохнувшееся и запищавшее в углу серое — за

портретом посыпались листы, холст внизу раздувался и шевелился, укрывая протискивающиеся тела; и полез задом за окно, боязливо размещая ноги снаружи, отчетливо бросая в читалку:

— Шалава. Тварь. Грязная подстилка. Паскуда. Животное. Ничтожество, не смей и думать, скотина, о себе как о человеке, и не смей даже думать что-то обо мне, сволочь! Паршивая тварь!

Справа, распахнув жаркие и шумные окна, парилась кухня, и Грачев крохотными, шаткими переступами двинулся вправо, еле умещая ноги на узеньком выступе плиты и крепко перехватывая скрюченными пальцами гибкую жесть подоконника.

На полпути он остановился, успокаивая сердце и кровь, распределив руки между подоконниками читалки и кухни, и цедил, задыхаясь, себе:

— Не думай! Не думай, тварь такая! Не вздумай...

Теперь надо было вниз, нужен был другой этаж. Нижняя кухня светилась тоже, но ей было славно и без сквозняка — окон там не открывали.

Грачев отделил ставшую чугунной ногу от краешка тверди и спустил ее вниз, усердно приседая и косясь наливающимся кровью лицом за спину, — достает до окна, нет?

Когда нога достала до окна, он дал волю лицу передохнуть, посмотреть, что же сверху — сверху была только одинаковая стена и траурная кайма крыши, по сторонам были руки и подрагивающие тяжко подоконники, и теперь он стукнул ногой в светлое нижнее окно: раз, раз, раз и медленно поджал ногу обратно, чтоб не мешать открыться окну и не сорваться от усиленного движения.

Он подождал, развлекая себя суховатым инеем на стене, темнеющим и мелеющим под его дыханием, еще не было холодно, еще было жарко, и снова посмотрел вниз: окно не открывали. Могло никого там и не быть. Или люди орут, веселятся, болтают, гремят посудой, шумит вода...

И он опять погрузил свою ногу вниз и стукнул было уже стекло, как вдруг подтаял и стерся спасительный край под опорной ногой, она съехала, слетела, жестоко дернув все тело вниз, к земле, отдавшись ударом до головы и предательски поползших пальцев, и он повис, гася этот удар, извиваясь, как флаг на ветру, и наперекор непрерывно скользящим пальцам, онемевшим на жести, перехватывая судорожно, с кряхтеньем, по очереди: левую, правую, левую и опять правую и уже заглядывал вниз на мусорные контейнеры и отсутствие сугроба, уже решая в миг паденья качнуться назад, как можно сильней, чтоб хоть на ноги, и это было единственное, что позволило ему визжащее, испаряющееся во влажную смятку тело...

И тут с протяжным стенаньем на нижней кухне отворилось окно, и кучерявая негритянская голова высунулась на свет божий.

— Шалава, — не успокаивался Грачев. — Просто грязная подстилка, — и ступил потихоньку на оконную раму. И она выдержала.

Негр, не обнаружив ничего заслуживающего внимания в окрестностях и пространствах отдаленных, потянул раму на себя для дальнейшего сохранения тепла.

— Мужик, — хрипел Грачев. — Милый!

Глаза негра сверкнули снизу, как два куриных яйца.

— Убрал башку, я сказал. Подставь плечо. Или руку. Руку! — лающе приказывал Грачев.

Негр потрясенно сморгнул и спрятался.

Грачев потерпел, покоряжился, и вторую ногу устроил к первой, боясь лишний раз шмыгнуть носом на придавленно замершей раме, и стал изучать свою опору. На раме пониже верхнего края торчал запирающий окно крюк. На него можно было попробовать наступить.

Грачев погрел движеньем одну ладонь, другую, ладони, спасшие тело, ощупал выступ, предавший ноги. Он еще ждал чего-то, уже злясь на себя: нечего было ждать, и намокшая рубаха теперь выстудилась и ледяно трогала спину, внизу скопилась тройка запоздалых ходоков, наблюдавших за его подвигами и геройствами.

Он разозлился на себя еще сильней, ступил ногой на крюк и начал спускаться: перебросил руку единым движеньем с подоконника на стену, на крохотный выступ плиты, другой перехватился за оконную раму, смертно качнувшись спиной в пустое, скрипнув пальцами на стене, а потом

уже и второй рукой за раму, и качнул ноги, повисшие вперед, и упал на кухонный пол, неуклюже перевернулся на четвереньки, попытался встать, но ничего не получилось.

— Ой-ей-ей, прыг да скок, прыг да скок...

Грачев поднял голову.

Негр возил в кастрюле ложкой и одобрительно покачивал Грачеву ночной своей головой.

— Что ты варишь? А? — сразу спросил Грачев, разминая колени и запястья, возясь по-паучьи на полу.

— Ой-ей-ей, — настаивал негр, похоже просто напевая на свои своеобразные темы.

Грачев поискал и нашел: достал из угла полную урну и, страдальчески ахнув, разогнулся.

— Сейчас посолим.

Негр прекратил песнопения на русские мотивы, и ложка его совершала в кипящей кастрюле погрустневшие круги.

В кухню прошлепала черная девочка, кучерявая, как спираль электроутюга. Она протянула негру в тарелочке соль и сердито посмотрела на Грачева.

Негр ущипнул соль не глядя, почти касаясь носом кастрюли, и потом этой рукой обнял девочку за шею. Она заглядывала в кастрюлю и стукала о плиту смородиновой коленкой, острой, как локоток.

Грачев убрал урну на место, закрыл окно за собой и на цыпочках вышел, подмигнув девчонке.

— Ой, ей, ей, — весело запел на кухне негр.

По лестницам сползали, вздымались и перемешивались потоки зрителей веселых видеосалонов. Грачев поднимался, хоронясь за спинами, чуть не тыкаясь носом в загорелую поясницу, лезущую наружу меж майкой и физкультурными трусами.

Читалка — налево от лифта, он свернул с толпой направо, к администратору, обгоняя медленных, и поймал за локоть заочницу Ирку, слушавшую яростно чем-то увлекшегося и истощенного мудростями первокурсника-каратиста, обосновавшегося теперь с книжками в коридоре.

— Ирина, — внушительно позвал Грачев, — на пару важных слов.

Первокурсник неумело и гневно сплюнул себе на тапок.

Ирка упиралась и подхохатывала, он ласково и гладя подталкивал ее в спинку, первокурсник глядел теперь так, будто у него уводили маму.

— Тебя тут искали-бегали. Как с цепи посрывались, — смеялась Ирка и оборачивалась, наваливаясь на Грачева спиной, чтобы круче выгнуть грудь. — А Шелковников все с этой шлюхой Олькой у нас, пьяный совсем. И Олька хороша — оба! Хоть забери его. А ты когда хоть освободишься? Сколько мне тебя ждать?

— Очень скоро, если не будешь больше пить, — пообещал Грачев, взял ее за плечи и посмотрел сумрачно на сразу отвернувшегося первокурсника. — Ирина, я должен вас предупредить. Будьте осторожны, он — несовершеннолетний.

И завернул к администратору, привычно запер за собой дверь, свет в комнатку сочился откуда-то из-за стеллажей, и он позвал тихо:

— Вера. Вера.

За стеллажами готова была постель — два уложенных на пол матраса, запорошенные слипающимся и жестким после прачечной бельем. Рядом на полу желтела лампа, выжигая на морщинистом паркете золотистую окружность. На столике, на застекленных фотографиях детей горным массивом вспучилась салфетка, скрывая пахнущее консервами и еще чем-то горячим.

Она плакала прямо с краю, у занавески, не бросая сигареты и ломко улыбаясь лилово раскрашенными губами, в черном воздушном до прозрачности платье, не прячущем белья, она плакала, теребя на груди медальон с чем-то религиозным, и стряхивала пепел в выпитый стакан. Увидела его и потянулась вниз — воткнула с сухим целующим звуком чайник в розетку.

— Все воюешь? Тут прибегали, как оглашенные, ключ от 402 спрашивали — запер, что ли, там кого-то? — буднично рассказала она, разглаживая платье на сильных коленях.

Грачев наклонился и остановил ее руки, и она заплакала опять, уже уткнувшись в него.

— Сама не знаю... Прямо сама не знаю. Сижу, как дура, и плачу — все в голову лезет. Вот тебя жду. Жду и жду. Шаги слушаю. А ну и что? Дальше что будет? Потом?

— Вера.

— Да что Вера?! Что ты, мальчишка, мне можешь сказать? Вера Александровна сама все знает, сама все сделала, как захотела.. Чего ж теперь голосить: получила — ни конца ни краю не видно, жду и жду. Тут еще у Кольки нашего лысого жена в больнице померла.

— Я не смогу сегодня, Вера. Правда, я очень хотел. Но все не складывается.

Она бросила сигарету и мужским голосом, не прервавшись, продолжала:

— Да ну тебя совсем. Так другой сможет, да ты вообще хоть не приходи никогда. Ну разве я об этом? Вот скажи мне, ты кто у нас будешь?

— Географ, открыватель земель.

— Пусть. Ну и за каким ты меня открыл? Что ты ко мне прицепился тогда? Любопытно было со старухой? Только? И ладно бы просто взял, а говорил со мной зачем? Ты все мозги мне забил своей смертью, время уходит, уходит... Ты разве мужик? Да ты не мужик! Что ты мне дал? Ничего. Только взял. Я думать после тебя перестала: ни вчера, ни завтра. Все порхаю, гуляю — лишь бы не думать. А я — мать, Грачев. Ты понял? Я — жена, в конце концов. Я бабкой скоро буду, вот о чем мне думать надо! Вот чем жить! Зачем ты это сделал со мной? Да убери ты свои руки... Ты ничего не понял. Ты о своем. Ты все во что-то играешь, тебе никто не нужен всерьез, тебе все нравятся — лишь бы мимо проходили. Ладно, уходи, не майся. Там в коридоре уже ждет с первого курса. Нежный такой мальчишка. Я люблю теперь таких... в очках. А тебе, милый мой, уже пора дипломчик писать, заканчивать, да? Ну что тебе еще? Чего ты хочешь?

— Вера, если кто-то постучит, дверь открой. И сразу садись за стол.

Вера Александровна насмешливо цыкнула, повела головой в сторону и, потянувшись, вытряхнула пепел из стакана в урну.

В дверь вежливо стукнули два раза.

Грачев беззвучно укрылся занавеской.

Вера Александровна подняла брови и тяжело поднялась, оправила сзади платье, будто отцепляя репьи, и пошла враскачку открывать. Сразу вернулась за стол и достала свежую сигарету.

— Добрый вечер, Вера Александровна, — накатисто начал свеженький и смуглый Ванечка. — Вы так сегодня обалденно выглядите. Не обижайтесь, бога ради, но так хочется застрять у вас на целую ночь.

— Застревай, пожалуйста, — хладнокровно оторвала губы от сигареты администратор. — Ну чего надо, Ваня?

— Ключики от читалки — на четвертом, пятом и шестом. Где-то учебник мой посеяли, брали, затаскали и вспомнить не могут, а тут зачет завтра, сессия на носу. Что делать... Буду искать по всем читалкам, прочесывать.

— Ваня, читалки работают только до двенадцати. И у меня после двенадцати отдых, я день отработала, ты понял? У меня, может, ноги не ходят, знаешь, как сегодня в прачечной с бельем? И Салих ваш с магнитофоном. А из-за тебя я должна еще сидеть и дожидаться тебя, в свое время для отдыха. Для тебе не хватило! — свирепо бубнила Вера. — Достали уже все совсем, у одного магнитофон, к другому друг приехал, той белья не досталось, ты теперь... На! Но чтоб десять минут, и тут был. А то я сама посмотрю, что там за учебник ты ищешь. И с кем, — и она сунула ему три ключа, зевнула утомленно и покосилась за спину.

Грачев выступил из-за занавески и согнул чуть руки, горячие от бега крови.

Ваня повернулся. Он разглядывал ключи — те ему дали или не те. И вдруг он почуял, что в темноте перед ним кто-то есть, он прищурился, и Грачев рванулся вперед, отбил руки с прозвеневшими ключами в сторону, придвинулся плотнее еще, и коротко, резко саданул поддых, в мягкое, вздрогнувшее, мясное, сквозь одежду.

Ваня вскрикнул, нелепо, истошно, мотнулся назад, ослепнув от боли, раскрывшись, и Грачев ступил за ним, впритирку и без перерыва: левой в лицо, а потом, вслед посильней и весомей — правой, уже по падающему, вдогон.

Ваня рухнул подкошенным, сбив раскинутыми руками карандашницу и календарь со стола, и здорово приложился затылком.

Администратор печально смотрела, как отражается в синей, застекленной ночи багровая муха ее сигареты.

Грачев подождал, пока Ваня решит открыть глаза, и сунул к его лицу поближе свой сапог.

Вера Александровна, недовольно покряхтывая, нагнулась подбирать с пола рассыпанные карандаши.

Ваня повозился на полу, выдохнул пару раз, простонал что-то невнятное и уставшее, и сел, и трогал не своей будто рукой морщившееся лицо, здесь и там, и затылок, там, где болело.

— Мразь, — сказал ему Грачев. — Я отпустил ее давно. Но для тебя этим не кончится. Еще не все.

Ваня увидел его с трудом, его изнурял свет и боль, и несмело, презрительно он говорил:

— Ну... Ну вот зачем ты себе портишь жизнь? Совсем ведь испортил. Ну зачем, а? — и махнул рукой, оскалившись, — а, ладно... Иди теперь. Еще посмотришь, увидишь. Посмотрим. Беги теперь.

Вера Александровна перегнулась через стол и протянула вниз руку:

— А ну-ка, дай ты мне эти ключи. А то ищи потом, ходи.

В коридоре, как мумия, застыл первокурсник. Грачев, проходя мимо него вдруг поинтересовался:

— А вот вы, кстати говоря, не знаете: правду говорят, что сифилис лечится в две недели?

Первокурсник закрыл за очками глаза.

Внизу у столовой гудели лампы и влажно дрожали отражением на каменном полу, вытертом шваброй уборщицы; долготерпеливые товарищи ждали очередь на междугородный телефон-автомат, пересыпая чешуйки мелочи на ладони, уборщица перетаскивала ведро дальше и опять начинала тереть, спрятав в карман потерянный теннисный шарик, теннисный стол стоял пустой, но сетка еще натянута и лежали ракетки: розовая и синяя, и Грачев подошел поближе.

Хруль сидел на скамеечке с тихонькой маленькой девушкой, ждущей телефон, и, ероша лапой прическу, живо болтал, постукивая кроссовкой о пол: та-да-дах, та-да-дах...

— Кот, нет, вы, девушка, не поверите, а я — честное слово! Кот был, урчал вот так: ур-ррр, хах-ха, так. И бока, такие вот, толстые бока, они вот так вот ходили, вот так вот — бочонок, правда! Но лени-ивый, лежень, и побродяга! Ночью не усидит. Тыкаю мордой в дыру: крысы, Кузя, крысы нас заедят! Не-а, только ночь, к дверям подходит и орет: Мяв! Мя-а-ав! Мяа-а-ав! — Хруль быстро посмотрел, как Грачев берет ракетку со стола и шлепает ею по ладони. — Я его с вот такого вот выкормил, как мама. Соску из тряпки делал. Ведь ночей не спал, грудью почти что кормил, ха-ха, — Хруль оперся поудобней на скамеечку и запечалился, — и бросили с шестнадцатого этажа. Рука поднялась у кого-то, эх. Похоронили. Как кошки теперь без него... У него же потомства... Толпы! Давал, короче, шороху, котяра. А теперь — конец, все, отгулялся. Вот Грачев его помнит. Чего тебе, Грачев? Сыграть хочешь? А мы тут шарик куда-то закатили.

Тихонькая девушка возвела на Грачева чистые, погрустневшие глазки, свежо разомкнув малиновый рот. Грачев посмотрел на ее подбородок с припудренными прыщиками, почесал ракеткой за ухом и, опуская ее, врезал рукоятью Хрулю в лицо.

Потом он поспешил в сторону выхода. Он поглядывал на свою тень, телесную, уверенную, на стеклянных стенах столовой.

У девушки рот расползся пошире. Она, откинувшись к стене, смотрела, как Хруль сидит на полу, поднимает ладони к лицу, и навстречу ладоням капает безводная, темная кровь длинными каплями, и Хруль вытирает где-то там, на лице, где он прячет, сгибаясь к полу, а на ладони остается размашистый мазок красного, жирного, и кровь роняется еще, а Хруль вытирает ее, трогает что-то на себе и мычит, когда под пальцами — хруст, и сразу капает сильнее и вытирает накопившееся на руках об пол, оберегая сверкающий красиво костюм, спортивный костюм.

Девушка вскрикнула, будто разорвалось, рвануло что-то живое, и уборщица грохнула ведром, и побежали люди от оглохшей телефонной очереди, а Грачев, выйдя на стужу и ночь, глядя в снег, побежал на трамвай, мягко толкая дорогу ногами и скользя, и заглатывая смертельно уверенную ледяную ночь, и она поджигала там внутри все, и все там горело ровным, обманчиво невысоким пламенем и немело.

Черные рельсы, вцепившись в снег, сияли сталью, за мостом у «Вино — водка» менялся светофор, и были огоньки.

Грачеву приспичило, и он нашел за ларьком «Пиво» круглые дыры в промерзлой, незанесенной снегом земле и направил в дыры облегчающую струю, довольный.

Из дыры в тень ног выбралась скачком сначала голова, потом продолговатый комок и вытащился хвост, скользнув между ног. Грачев смело улыбался и наводил порядок в штанах, а крыса дотекла до кустов, присела, потом перебралась, смешно раскачиваясь на ходу, подальше, мелко семеня, даже остановившись, как от холода.

Грачев выбил из сугроба ногой затвердевшую глыбу и, вцепившись в нее припустил что есть духу за крысой, пробиваясь сквозь ветер с отчаянным радостным посвистом.

Крыса постелилась к дому, в укрытие, толкнулась в глухой угол у крайнего подъезда, и он накрыл с широкого размаха этот угол ледяной глыбой и вдруг, передернувшись, полетел обратно, подбил на скользком одну ногу другой, свалился на бок, вскочил скорей и понесся дальше, высоко поднимая ноги, словно чувствуя на штанах цепкий, шевелящийся, мелкий вес, шарахаясь от теней человеческих следов на снегу, и в трамвае, уже когда ехал, все смотрел в окно на высвеченные обочины, наблюдал — но за ним никто не гнался.

И трамвай, теплый, подрагивающий, вез его дальше вместе с похожим на монаха железнодорожником в форме, и Грачев растопыривал на коленях пальцы, поднося их ближе, оглядывал ногти, тут же обкусывая неровности и лишнее. Если подносить ладони ближе — они темнеют, если дальше — они собирают свет и копят его в сальных бороздах и сгибах — они меньше согревались, они хотели под рубашку, к горячему — но там уже было не то, и ладони были жалки так, что Грачев отвернулся, покусывая губы, тер плаксивые глаза и стылые, холодные и грязные бока, и волосатые ноги с единственным изгибом под черепастым коленом.

Трамвай повторял плавные, карусельные, ласковые повороты и ехал на гору с присвистом, считая остановки взмаргиванием дверей, и Грачев считал остановки тоже, и вышел на пятой, сразу побежав к синеватой табличке «89-е отделение милиции», мимо машин с зарешеченными задними пассажирскими окнами, по белому снегу, за тяжелую дверь с толстым и круглым стеклянным глазком. В коричневом коридоре пахнуло предбанником в конце дня и паршивым, подобранным с пола куревом, там дальше шумно дышала, как мученик астматик, рация, за окошком спал дежурный затылок, и рыжеусый милиционер, сграбастанный черным полушубком, крутил на пальце гибкую дубинку, как черт свой хвост.

В камере беседовали две головы:

— Так я там скотник.

— Скот-ник? А ты хоть знаешь, сколько у коровы сисек?

В камере что-то стали складывать на пальцах. Чмокнули сверху часы, и рыжеусый милиционер тронул дубинкой плечо Грачева:

— Кого ты ищешь? Друг, что ль, его? — и показал дубинкой в камеру. — Не запарился в пиджаке?

В камере продолжали общаться:

— Так что потянуло-то?

— Что потянуло? А вам на что это? Я ж признал, подписал...

— Ну мне для интереса.

— Психологии тебе хочется? Так ты налей мне бокал пива, я тебе всю психологию точно представлю.

— Ты знаешь, что, — тронул Грачева рыжеусый милиционер, — ты подойди к тому, кто в камере допрашивает, он справа, и скажи: товарищ генерал...

— Не надо! Не надо, Зускин. Не трогай, парня, — устало сказал из-за окошка дежурный с красными пятнами на щеках, — ну что там?

— У нас в общежитии украли магнитофон у араба из 411-й комнаты, — выговорил ровно Грачев и откинулся на острые ключицы батареи, до боли, к теплу.

— А тебя раздели? — спросил рыжеусый.

— Это он, чтоб побыстрей. Бежал, — раздумчиво зевнул дежурный и крикнул в камеру: — Вылезай, Бескровный.

Из камеры появился лобастый из-за ранних залысин парень в сером костюме и покрутил круглой головой:

— Что? Что такое?

— В общаге магнитофон дернули, — поведал ему рыжеусый Зускин. — У араба. Вот этот пришел рассказать.

— А араб? — тонко спросил лобастый Бескровный, выпучив голубые круглые глаза с крохотными, острыми ресницами.

— Араб боится, — объяснил Грачев, помолчал, отчужденно уставившись на Бескровного, подтолкнул себя и тяжело досказал все, что хотел:

— Я знаю, кто украл. Я их видел. Я покажу.

— Ваши? С общаги? Сколько их? Где живут, знаешь? — пищал Бескровный. — Во сколько?

— Наши, двое... Нет, трое. Я все знаю, покажу. Утром, в часов одиннадцать.

— Чего ж ты столько ждал? — весело спросил Зускин. — Давно бы взяли. А что за магнитофон?

Одинокий постоялец камеры протиснул нос и губы меж железных прутов:

— Хлопец, у тебя курить нема?

— А? А-а, — вскрикивал в захрипевший телефон дежурный. — Так они выехали уже! Я говорю: вы-е-ха-ли! Уже-е! Что? А? А я откуда знаю? Ну давай.

— Погоди, слышишь ты, — нагнулся к окошку Бескровный, и из-под его пиджака вылезла кобура. — Я протокол вот на этого запер в сейфе на втором. Да ты понял, что на втором? А? Вот там, ага. Ты чай пил? Есть у нас кто из ребят? И Хиснутдинов ушел?

Зускин звонко шлепнул дубинкой по его заду и моментально отвернулся к плакату с разборкой пистолета Макарова.

Личность в камере старчески отстраненно улыбалась и сминала покучней пальто, изготовляясь для сна.

Бескровный хватанул грозно кобуру и погнался за Зускиным по коричневому коридору, тот отпрыгивал и отбивался шапкой.

— Бескровный, — монотонной сиреной канючил дежурный. — Ну поехай с парнем. Давай. Араб напишет, посмотришь, и ребята подъедут как раз. Давай, ехай с парнем.

— Небось, бабу хочешь в общаге снять, — тыкал Зускин дубинкой в бок закидывающего на шею шарф Бескровного. — Кудрявый ты наш.

— Я тебя убью! — грозился и прижимал подбородком шарф, влезая в пальто, Бескровный и говорил стиснуто дежурному. — Чай без нас не пей. Пожевать оставь.

— А что жевать? — уныло спросил дежурный, оглаживая припухшее лицо. — Мыши все печенье съели.

Зускин простучал дубинкой батареи и, скрипя сапогами, отправился к машине, крикнув на выходе:

— Ну где ты там, герой?!

— Иду! Иду! — откликнулся Бескровный, заправляя безволосые руки в теплые перчатки.

— Да не ты, коряга. Герой!

Грачев поднял себя и выставил из-за угла:

— Это я. Иду.

— Ни кола, ни двора... Ни хрена, — жаловался в потолок обитатель камеры. — Поехали. По ровненькой дороженьке. Товарищ дежурный, а чо, вправду мыши, что ли, есть?

Машина, размазавшая Грачева в совсем чужого, ехала быстрее, чем он ждал, и все, что было, это — белые цифры и стрелки под рулем, ныряющие тропинки света от фар, елочные игрушки, качающиеся в такт над головой, пружинящее сиденье, запахи жаркого машинного чрева и не отдохнувшей обуви, голоса.

— Ну так что у тебя со Светкой? — поглядел на Бескровного Зускин.

— Да ничего. Ничего я в ней пока такого не нахожу. Да ты сам знаешь. Жениться для меня — это проблема.

— Так погоди. Тебе тесть ключи от машины показывал? Да? Дачу он строит? Построил почти? Сколько там соток?

— Двадцать.

— Во! Двадцать соток! Ну и чего ты думаешь? Женись — это любовь! В гости зовет?

— Вчера ходил.

— Папашка еще в захват шеяку не брал? Маманя продолжительно не целует? Со Светкой внезапно не запирают? Или ты садишься спиной к дверям и не снимаешь верхней одежды? Шапку в руках держишь?

— Иди ты...

— А по мне: Светка — стильная девка. Я бы на ней женился. Кормить будет, стирать, спину на ночь почесывать. Не надо будет по общагам ночью ездить баб искать — одни плюсы...

— Ты рули лучше, советчик. Тебя послушаешь — вообще все мрачно, и ни черта не хочется, все вывернешь!

Зускин напел что-то и доложил:

— Хочу к вам в угрозыск. У вас хоть швабода. Первый корпус?

— Да, — подтвердил Грачев и взялся за железный клюв дверцы, которую надо будет открывать, когда все начнет кончаться и надо будет потечь дальше, расти, не отмечая уже границ, прямо в потолок, во тьму. Грачеву хотелось подушки, одеяла, жалующихся, запыхавшихся вздохов ветра в окно, мерной раскачки бельевой веревки и забвения в тепле, и пока его тащило, он пытался даже подремывать на ходу, прежде чем это будет потом и тогда, когда вынесет и на что-то поставит, а Бескровный сошел с сиденья на пустые ступени общаги и велел величавой рукой рыжеусому Зускину ждать, а потом уже, если что... А вахта спала и пробуждалась тяжко после многих и частых ударов и глядела сквозь стекла, закрываясь руками от света, отодвинув от глаз пушистые, пыльные шали, а косая в вязаной шапочке ковыряла ключом незажившую ранку замка, отпирая...

— Этаж? — и лобастый Бескровный показывал удостоверение и не видел Грачева, а этаж был четвертый и весь спал под солдатскими одеялами с тремя белыми лычками в сторону ног, на подушках впалогрудых и хилых, отправляясь на сонных лыжах поскользить вдоль краешка последнего, откуда когда-то придется лететь, — никто не слышал, как шли их ноги, никто не видел, как важно ходит лобастый человек с коричневой папкой в руке и Грачев, и никого не разбудил равнодушный, дежурный стук в дверь.

Потом они застучали по очереди, Грачев помогал, торопя, ускоряя, ища глубины и странно забывая, зачем это все затеяно, а внутри шаркали, окликали друг друга, просили вставать, рядились, кому вперед, и тот, кому вперед, сидел очумело на краешке сна, как сушился, и его звало назад и трудно отпускало — он спотыкался на обуви и шарил ладонью по белесой, вытертой вокруг выключателя стене, гася сон.

— А кто там? — донеслось.

— Он что? Не знает? — жарившийся в пальто лобастый вглядывался уточняюще в Грачева и заорал, — это из милиции!

— Салих дома? — выжал из себя Грачев, и его гнул к земле собственный голос, двигал к стене, мял и душил невыносимым стыдом.

Открыл длинный негр в тельняшке и чесал ушастую голову и мямлил:

— Здраста-ти.

— Салих, — четко сказал лобастый с коричневой папкой, сверяя правильность нужного имени по Грачеву. — Тоже, что ль, спит?

— Салих! — и забулькал негр в комнату, уставше согнув колено и покачивая дверью, закончил чем-то вопросительным в конце — в ответ ему кричали птичьи и горячо, прерывисто, недовольно.

— Ни можит идти. Спит. Устал очень сильно.

Негр с намеком пошевелил дверью.

— Это что за ерунда? — запищал лобастый, уже взмокнув. — Хищение у этого Салиха было?

Негр опять обратился в глубины комнаты, но запнулся на переводе «хищение» и пошел сам в сонную тьму.

— А при каких обстоятельствах случилось? — затараторил лобастый, озлобляясь. — Отсюда брали? Из комнаты? Ты точно видел? А как сам оказался тут?

Грачев смел с лица неотвязное, липкое, мутное и словно провалился в комнату, отстранив негра, с громыханьем отталкивая с пути занавески, вскрикивающие женские плечи, стулья, коробки, нащупал лампу, засветил всему миру — и какой-то старик араб испуганно взметнулся на кровати, моргая редко, как счетчик в такси.

— Салих. Са-лих, — твердил Грачев в это старое лицо. — Салих!

— Вон там, вон там, пожа-ста.

За шкафом уже был свет, и худощавый Салих гордо ожидал гостей, опираясь плечами на стену, увешанную цветными картами, палестинскими флагами, небритыми черными портретами с червячками арабской вязи, крепкими руками, сжимающими автоматы, и написанными на разный манер ручкой и красками словами «Абу Нидаль».

Лобастый значительно опустился на стул и с облегчением расстегнул пальто.

— Салих, — закончил Грачев путь, — у тебя украли сегодня магнитофон. Я знаю этих людей, кто взял.

Лобастый одобрительно улыбнулся Салиху, вытащил из папки нетронутый белоснежный лист бумаги и испытал ручку — она писала исправно.

Грачев гладил рукой по плакатам, лицам, флагам, автоматам, словам, стене.

— Это я думал, что украли, так, — живо воскликнул Салих, подняв обе руки. — Но ребята просто послушать брали. У нас комната просто открыта была. Тараканов травили. Наверно, не закрыли. И я подумал: украли. А они вот сейчас почти принесли. Это наши ребята, у них день рождения, музыку слушали. Я сначала думал: украли. Но я никого искать не просил. Завтра думал. Да это и не страшно. Еще куплю, я не просил ничего. Зачем? А потом принесли. Это с нашего этажа. Наши ребята. Они послушать брали. Зачем тут милиция? Смешно, я не звал.

— Да ясно, ясно, ладно, — поглядел тускло в сторону лобастый и засунул бумагу в коричневую папку, щелкнул тугой кнопкой, застегнул. — Спите! Это вот просто чересчур бдительный товарищ суматоху поднял. Проявить себя захотелось. Отличиться, — в глазах лобастого наметились дымящийся чай и кожаный лежак у батареи, и он быстро покидал комнату. — Спите, спокойно тут вам... Извините, разбудили.

— Спасибо! — выкрикнул на всякий случай араб в спину властям. — но только я не просил никого, зачем мне это надо, магнитофон там какой-то...

Ну вот, ну вот, темно-белесыми клавишами на полу через одну, так падает на пол свет, ноги в тени, ноги на свету, когда идут и смотришь на них; засохшим, раздавленным после питья крови комаром висят на стенах тушители огня, и ветерок, который зимой везде, теребит на плетеной веревочке гвоздик — раз-раз, раз-раз, на черном ошейнике огнетушителя, этим гвоздиком надо проткнуть засохшую дырочку, откуда хлынет пена, если

будет дымить, чадить, и пылать, и побежать тогда на аварийную лестницу, если ты не в пожарном расчете и не должен крутить телефон по самым коротким номерам и кричать о себе и о том, что...

— Машину сгоняли — раз. А бензин денег стоит — два. Но за спрос денег не берут — три. Ты разберись сначала сам. Ты во всем разберись сначала сам. А потом иди к людям. Ну давай, все. Спи теперь, высыпайся.

Ну вот, ну вот. Сон сперва ставит колени на грудь, колени, как свежие метлы, густые, упругие, сон — дворник, он не душит, ему так удобней мести — он метет: начиная с груди — к подбородку и выше, к глазам, выметая из них жизнь и биение дня, а потом доходит до лба и всего, что с ним, разметая теснение и вечную боль, перетряхнув всего прощальным движеньем — жив еще? Проверяя крепость узлов на плоту и укладку привычной поклажи, и сон начинается сгущением места, смирением шага, настойчиво-мягко, и всюду мягко, куда ни толкнись — не больно, а мягко и тепловато, но глухо насовсем — никуда, никогда, и теснит, как и день, теснит, кутает, обездвиживает...

А когда лобастый достиг машины, он уже злой, ему в тепло надо и спать скорей, он сегодня сутки, а потом — домой, ну что еще...

— Что еще?

— Это они просто узнали, что я пошел... Догадались и отдали... Они крали... Вам надо знать их фамилии... Они, наверняка, не первый раз... Ведь есть что-то еще у нас по кражам...

Рыжеусый милиционер Зускин ждет лобастого, курит. Его угостил сигаретой Аслан — никому не спится. В их глазах постельное тепло и податливость бабушкиных перин, а ночи сломали хребет на сегодня, и земля хоть немножко вздохнет, приподнимет чуть-чуть эту тьму от себя, теперь нестрашное время...

— Знаешь, герой... Ну ты зайди тогда ко мне, мы потолкуем, что и как. Знаешь, давай прямо завтра. Так, но завтра я отсыпной. Ну тогда послезавтра в десять. Сразу после развода или лучше тогда после двенадцати, если я не уеду сразу. Ты вообще дежурному в любом случае сначала звони, предварительно. Или сразу тогда с начала следующей недели. Тогда точно. Чтоб я до отпуска успел. А если не сможешь, тогда прямо сразу после... Ты звони предварительно в любом случае! Зускин!

Ну вот, а рыжеусый прощально жмет руку Аслану, и они вместе улыбаются ему, и он один улыбается им, и машина заводится радостно, будто стояла и едва терпела: когда же заведут? чтобы поехать сразу в гараж, где все есть. Все, что надо, там есть.

Чеченец комкает заросшей ладонью зевок и душит, как птицу, толкает ботинком сосульку, и хлопает дверь, он ушел по делам.

А рыжеусый кричит:

— Спокойной ночи, герой! Хвалю за службу.

Когда уезжает машина от тебя, то лучше смотреть на ее огоньки. И кажется, что будто она и не уезжает, а просто ветер ухватил искры из костра, распотрошив головешку, и несет их дальше, пока не загасит их угол, глотая машину, и не надо смотреть на нее: вот, вот, еще можно крикнуть! вот, еще можно догнать и стукнуть в кабину рукой — ну что же?!! Вот, еще можно взметнуть руку, и могут заметить, что ты... А вот.

Ну вот, опять хлопает дверь и очень понятно, чьи каблуки простучат по тебе, как кровь, отдаваясь в нарывающем месте, там, где все силы телесные — любимые камни на шее, встают на дыбы, чтобы пожить и поесть; женщины пахнут травами, не смертью, тем, чего не будет и неправда, что могло бы; они уходят, когда ночь становится нестрашной, и спины их прямы, им не за что благодарить на прощанье. Когда уходит женщина, тебе остаются плечи и волосы, она не оборачивается, и остается еще рыжая родинка на шее, которой не коснуться губами тебе, хоть сейчас — рядом, достать можно, и словно ее не было, словно у тебя взяли все, женщина уходит, становясь из женщины тенью, фигурой, дальним стуком каблуков на черной недоброй дороге, там ловят такси, где дремотный задний диван и колыбельное качание до дома, где утру можно перегородить путь шторами и все еще можно успеть.

— Ну ты пойдешь спать? Или я закрываю, — вопрошает косая вахтерша, и ее тоже зовет ласковый диван и угрожает медицински неумоли-

мый будильник. — Не поймали воров, нет? А? А я даже тебя и не помню: ты наш или не наш? А?

Когда дом ждет тебя за спиной — это как пасть. Он дышит в спину часто.

— Я пойду.

Ну что же, ну вот, какие у нас остались еще упражнения на дом, для долгого и доброго здоровья надо ходить по ступенькам ногами, пешком, напрягая колени, не склоняясь под незримым мешком на горбу, передыхая на вершине и придумывая себе смысл куда-то идти, еще шевелиться под тем, что свалилось, телесным, победным, и опуститься на пол у крутых упругих человеческих ног, у теплого мячика живота, спрятав голову на этом дурманящем троне.

— Я пьяная. Мне так легко, — шептала заочница, припадая губами, касаясь податливой грудью. — Мы так весело загуляли у нас. Так здорово получилось. Ребята такие хорошие пришли. Я так смеялась, у меня даже живот заболел, вышла посидеть, отдохнуть, не могу смеяться. Ты не можешь понять. Я ведь живу только здесь. Совсем мало, так мало. Пробежит — и полгода опять ждешь. Живешь только тем, что вспомнишь. Ну молчи. Я все про тебя знаю. Ты думаешь, что я... молчи, я знаю. Нет, я не это. Я просто хочу пожить. Мне ведь так мало надо. И потом еще полгода ждать. Живешь тем, что вспомнишь. Молчи. Мне так мало надо, что даже ничего ни у кого не надо отбирать для меня. Мне хватит вот так, вот того, на что другие и не позарятся. Ну почему я этого не могу? Так мало радости. Не говори мне ничего, а то я буду плакать, ты не должен мне ничего сейчас говорить. Я сама знаю, что ты хочешь сказать. А я не хочу это слышать. Я себя жалею, а ты меня — нет. Ты и себя не жалеешь. Тебе в монахи надо. Не смей мне что-то говорить. Ты поспи вот здесь, у меня, отдохни, ты намаялся, я на тебя посмотрю, пока меня не позвали. Что ты там увидел, а?

— Во мне один сон... Давно уже. Еще маленьким совсем был. Когда болел и в школу не ходил, тогда и снился. Сейчас не болею почти — не снится. Редко так... почувствуется внутри, даст понять, что есть, стукнется затылком об лед. Тихонько — стук! У меня еще, ляжешь спать, нога болела, не сильно, под коленом, ложишься — начинает болеть, я сразу: мама! Мама мне завязывала коленку шалью — щекотная такая, горячая, без одеяла можно спать, нога согревается, сон идет, засыпаешь сразу быстро, не болит, утром шаль сбилась, ищешь под одеялом, на полу. Утром. А сон был — ничего точного нет, та-ак, ветер, что-то просторное такое, не тесное, в общем, ряд каких-то залов, туда, туда, туда, двери распахиваются, распахиваются, а там, в самой нутри, дальше совсем: живое идет, приближается, как бы женское платье, руки тут впереди сложены, на животе, идет, стоит, стоячее, наверное, все-таки, но приближается... Или ты приближаешься, втягивает. И вроде так все нормально, видишь все это, все нормально, а сам вдруг очень точно понимаешь, что это не так. Или так, но тогда все, что видишь, это и подтверждает, что есть что-то страшное, страшнее уже ничего и быть не может, то, что выдержать нельзя, такое невыносимое и уже неотвратимое, что будет обязательно, это ты прозрел и увидел, и больше не сможешь видеть эти залы, не помня, что на самом деле, на самом-то... И тут — раз! И вместо всего! На миг! Уже все чавкающее, ворочающееся, тошнотворное, склизкое, низкое — то, что ты и думал, подозревал, понял, и твое оно навсегда, на! А потом — раз. Не дало тебе уплыть — и опять залы, двери, и ты вроде не помнишь и не знаешь, но уже видишь какую-то дрожь во всем и уже предчувствуешь: сейчас опять будет то, извиваешься, и это то — наступает! И так повторяется, каруселью, раз за разом. Раз за разом, раз... Теперь не снится. Только лба рукой коснется, подует, когда угодно, без всего этого, но так, что понимаешь — именно это... Раз за разом.

— Молчи, молчи. А? Да что?! Да здесь я, Оль! А? Зачем? Прямо сейчас? Умрете, что ли, без меня? Иду... Да сейчас! Мне надо пойти сходить. Что-то там Олька. Она там одна. Я через десять минут уже вернусь. Ты меня здесь сиди и жди. Ты мне еще расскажешь, сиди только!

Ну вот, что же тебе осталось рассказать, а все и так, а ты иди, а вот далее? Дальше можно, хоть закрыв глаза, без ощупи, просто расслабясь,

и потянет, унесет в нору свою, в свою темень и шорох и запах чужого помета, а потом призовут наконец, а пока еще стены, дверь и скрежет замочный, и спиной можно дверь подпереть, хоть на миг.

Он прошел до кровати, отодрал шелухой одеяло, как с поспевшего плода, расчистив до белого, снежного. Серая крыса свисала со стула и мешала садиться и посмотреть, когда уже уйдет ночь. Когда уходит ночь, не надо этого видеть, лучше спать в нестрашное время, а то можно поверить, что это надолго.

В дверь просились стуком твердо, сильно, не скрываясь, им нечего было ждать.

Он заправил к чему-то кровать, постоял над ней, как над могилой, понуро, и отпер.

— Сколько можно! Всю ночь тебя жду,— раздраженно бросал очкастый соратник. — Не спи тут из-за тебя. Таскай на себе гантели, качай руки. Ну что ты вылупился, братец? Пришел я! Как договаривались, как просил! Выкуривать и бить гантелей по бошкам. Вот перчатки даже медицинские, Нинка дала. Чтоб гигиена. Черт с тобой, братец. Хочешь — так получишь. Ну что ты стал, как баран? У тебя все готово?

— Не надо. Уйди отсюда. Все потом.

Замок щелкнул весело, и ночь незаметно оказалась жиже, просветившись над крышами серой полоской, ну что-то вот было еще, что еще, что-то такое, он держал и вертел будильник: на сколько же ставить? на когда, скажите, я не опоздаю, не опоздал? А хвост растет, как будто не из крысы, а из-под, а у смерти особый оскал до десен, и он ушел уже в ванную, где свет, как южное солнце, где стакан с растворителем, отравой под зеркалом, где никого нет, так, что на будильнике, кого же будить, он не вытерпел, ожил, выхватил швабру и, слепо тыкая, сбил серую плоть со стула на пол и затолкал в глубину, под кровать, куда уже никогда не заглянет, и выронил швабру, пораженный через дерево в руку холодеющей округлой упругостью мертвечины и тления, в дверь поскреблись, хитро, спрятавшись, обманчиво: откройте нам, откройте...

Он закрылся в ванной, включил воду, подвел руки под нее и не слышал, уговаривал, помнил еще себя, не слышал.

Приоткрыл дверь, нет, не ушли, ох, скребутся: откройте, пустите, ну ладно, чего уж вам?

Он долго стоял и подслушивал, нет, не уходили, все скреблись: ну что же, ну как же.

Он взялся за холодное ушко ключа и там замолчали, чутко услышав. Он распахнул дверь.

— Ну куда же ты ушел? — обнимала сама себя женщина.— Я же сказала: сиди. Пошли скорей. Олька с ними ушла, я одна теперь. Ну пошли. Ну пойдем, пойдем.

— Нет. Я потом. Я приду, сейчас, чуть попозже, уйди, пожалуйста, ладно?.. Уйди.

Он запер дверь серьезно, на два уверенных поворота, потолкал — надежно, крепко. Это можно потом. Вообще можно много еще успеть. Было б время. Так, что нам нужно? Черный целлофановый кулек — это раз. Черный? Черный. Чтоб не видно насквозь, чтоб не видеть. Швабра есть. На полу. Ее подобрать. И еще совок. Тоже есть. Жалко, что короткая ручка, надо будет осторожней. Так все, что надо, есть же! Хорошо! Пока все спят, можно ко всем незаметно присоединиться. Он стал шарить шваброй под кроватью: бумажки, пыль мышиными валиками. Вообще пусто. Забилось, наверно, у стены. Туда, ага, зацепило что-то. Поближе, поближе-е. Нагнулся, вгляделся: кажется, то. Теперь совок поставить у самого края, под кровать. И заводим шваброй. Смотреть можно в сторону. На совок надо точно попасть, не промахнуться, не разойтись. Заведем, разогнемся, возьмем этот кулек, в него пересыпем, не дай бог коснуться, и туда, за окно. Там попадет на лед, уберут, найдут. Дядя-дворник. Пробуем шваброй, поближе, попал? Нет... Что? Что?

А это просто стучатся. А кровь предательски грохочет в ответ. Тело кричит, что здесь, здесь. Вот надо бы унять. Упрятать. Черт, ведь осталось всего ничего. Это бывает, что так не везет. Ну вот теперь еще совок шмякнулся из рук — это, как назло. Теперь точно знают — здесь. Дернулся

он, шевельнулся. Пугливо. В норке. Так, мы оставим пока швабру. Что ж они так эту дверь. Хоть не надо бы ногами. Просто очень спешат. Не прячутся — они догоняют. Незаметно спешат — когда уходят.

Он пробрался к дверям — там клевала пол штукатурка и оседала пыль, так били эту бедную дверь женского рода и терпения. Так, он коснулся шкафа — за него? Там можно переждать. Присесть. Накрыться бумагами, коробками, да и кто будет искать? Торопятся же. Он поместил ногу на мягкое, поддающееся, прожимая до дна. А что-то прошуршало и умелось под пол, под доски, но не очень глубоко. Ненадолго. Он отошел, слушал еще — не ошибка? Мешал стук, уж очень редкие паузы — что тут можно услышать, не один ведь колотит человек, уж очень часто.

Его звало в стороны, как пьяного, глотал слова, растекалось лицо, надо держать. Вот куда? Они бросили стучать, не ушли, рвут со стены огнетушитель, спешат. И теперь, без стука, слышно: дышит за шкафом, дышит, живет, в этом пыльном, невидном, ворочается. Нет, ничего такого не слышно... Но вот дыхание есть, присутствие тел, спешат, тоже потораплываются.

Вот ударили в дверь — сразу тяжело и весомо, огнетушителем. Дверь вскрикнула хрустом, передернулась трещиной, так, время, вот еще можно в ванную. Там очень яркий, южный свет. Он тихо задвинул шпингалет, на потом. Пустил воду. Пусть течет. Сделал теплую, чтоб не совсем уж жара, разулся и полез в ванну, задернулся клеенкой, ах, стеснительно, в одежде, носки липнут, брюки тоже, начинается, тепло, тесновато, теснит. Кругом железо и еще вода. В общем, это очень безопасно. Сильно бьют, но теперь пореже. Еще недолго совсем. Крохи. Вот он я. Вот мои руки, черные, обгорелые, незрячие, вот он я, это я, а что в кармане? В кармане твердое, как пуля, смешно, а что это? А это свисток из лозняка, на нем морщинистая кора, в нем запах тины, реки и скрежет камышей на ветру, он теплый для губ, он быстро становится чем-то твоим, продолженьем.

Он засвистел сначала коротко: вот-вот-вот. Потом стал дольше, на все дыхание, сквозь рокотанье воды и обессиленное горячим тело: во-во-во-о-от, во-во-о-от... Ревела вода, а он свистел, дверь умирала, ее били поддых и держали руками, тряслись ее губы с номером комнаты, сжатые туго, а за стеной сыпуче полезло, как ветер, неслось по бумагам, паркету, песчано скрежетало, растекалось по углам, искало зов, перевернуло и покатило к стенке порожнюю банку, там когда-то было варенье, но очень давно, не осталось и запаха для него, для них — осталось, началось шевеленье и бег, перебежки, визги, все ближе к дверям, не держась уже, громче пища, требовательно царапаясь и мешая друг другу, копясь, собираясь, подтягиваясь, ошалело отрываясь от массы и носясь широкими кругами от пьянящей свободы, ломясь в дверь беспокойным, некормленым стадом, стаей, потоком к потоку, на свист, били в дверь, царапали, визжали, кусались, друг на дружку вспрыгивали, слоями, ему стало жарко и душно, он устал, потянулся за граненым стаканом под зеркальцем и глотнул, смочил пересохшее горло, сколько мог,— дверь закричала с виноватой мукой, падая назад, раскинув перебитые железом руки и выбросив смертно искусанный язык замка.

Свисток упал в воду и закачался у белой стенки, намокая потихоньку от брызг.

У медсестры Арины Семеновой молодого человека звали Юра. Он был постарше ее лет на шесть. Юра встречал ее после дежурства по средам на месте, где давно уже не было Сухаревой башни.

Арина переодевалась, загородившись дверцей шкафа, на которую дежурные врачи наклеили развратные календари и, путаясь в джинсах, — косилась тревожно на грудастых и томных красоток.

— Семенова, там не помочь? — крикнул дежурный врач на ходу. — Не хочешь пообщаться? Теплый лежак в дежурке к вашим услугам.

— Ага,— сказала Семенова.— разбежалась. В белых ботах по буфету.

— Давай, пиши бирочки. Еще один врезал.

— Так Машка уже пришла.— Арина сорвала с головы колпак и вытащила из сумки красную расческу.

Маша зашла, шаркая тапками, села и навалилась полной грудью на стол:

— Девки говорят, ты сегодня с негром воевала?

— Это не смена, а... И негр. С проституткой выпил — у нас очнулся. Ни проститутки, ни брильянтовых запонок, ни тыщи долларов, и руки к лежаку привязаны. По-русски — ноль. До обеда дотерпел и устроил переворот, руки вырвал, капельницу схватил, двумя помирашками отгородился и долдонит: вызывайте посла. Я ему, как попугай, со словарем: вы в реанимации. Он рукой на решетки показывает: почему? Еле уложили. Задергали все, это не смена, а...

К сестрам заглянул голый мосластый дед, держа ладошки на паху.

— Это что еще за... — вяло спросила Маша. — Ищешь, дед, где женское отделение?

— Дочки, мне бы курнуть бы.

— А ну немедленно ложитесь! Вчера он травился — сегодня курить! — заорала Маша. — Жить захотелось! А что завтра попросишь? Бабку? Ложитесь немедленно! Арин, сколько сегодня ушло?

— Четверо. Дежурный достал — пиши бирочки, да пиши бирочки. С утра начали, — как искусственное дыхание вырубилось. Мне что: аппарат шумит да шумит. А он и не качает. Дергались, дергались, стала обед разносить, а уже — все, первый врезал. А потом весь коридор заставили. Еще если кто, и ставить будет негде.

— Не приставал Феклистов? — тихонько спросила Маша.

— Да ну его. Ты ж знаешь. Он просто так пройти не может. Там снег идет? Тепло? Зря я дубленку...

— Ты с Юриком?

— Ага.

— Ну как?

— Да так же. Что: как? Вот хотела пораньше уйти — девку-самоубийцу привезли, орет, никак не успокоим. Дурдом: один доллары предлагает, другой как заныл: жить хочу, жить хочу, а потом все про алмазную цепочку хочет предупредить, кто про что... почитать взяла, да разве почитаешь, другой орет: выпить ему. Сейчас! Не присела за день, загоняли. И чего я, дура, дубленку... Теперь — только что: опять бирочки пиши. Это я тебе оставила, разберешься. Ну, давай.

— Аришка, — загадочно пропела Маша и подперла голову рукой, — ну-ка, глянь, подруга, на меня. А ты часом не беременная?

— Да ладно тебе, Маш! — покраснела Арина. — От святого духа? Он знаешь какой? Случайно за руку взяла: сто потов сошло. Он с мамой живет, знаешь какой. Побежала. Давай.

— Пишите бирочки, — крикнул из палаты дежурный.

— А кому, Валентин Борисыч? — откликнулась Маша.

Арина помахала девчонкам из приемного и побежала на улицу, перебежала, успела на зеленый, дорогу и дальше уже пошла, следя за походкой. Пришла она первой. И стала похаживать, поглядывая на остановку.

Обычно он приезжал троллейбусом «Б».

Вот всегда он опаздывал!

Анна Тимирёва

КТО СО МНОЮ, НЕЗРИМЫЙ, РЯДОМ...

Имя Анны Васильевны Тимирёвой словно незримыми нитями связано с Александром Васильевичем Колчаком. Прекрасная женщина, существо редкостного обаяния и одаренности, героиня этого трагического романа родилась 18 июля 1893 года в Кисловодске в многодетной и счастливой семье известного музыкального деятеля Василия Ильича Сафонова. В 1911 году Анна Васильевна вышла замуж за морского офицера, участника русско-японской войны, героя Порт-Артура Сергея Николаевича Тимирёва, в 1914 году у нее родился сын Володя, а еще через год на Балтике она познакомилась с Колчаком. Любовь соединила их накрепко, осветив последние, полные драматизма годы жизни Колчака и всю последующую судьбу Анны Васильевны... Сразу же после расстрела любимого человека она попадает под неусыпное внимание Чека. Аресты, высылки, тюрьмы — вот что стало ее жизнью, некогда ослепительно счастливой.

Восемь лет Карагандинских лагерей, расстрел сына, о котором ей ничего не известно. Освобождение в 1946 году, жизнь по чужим углам в нужде и тяжком труде, все это будто бы застабилизировалось в Рыбинске, а в 1949-м — новый арест, тюрьма и высылка — теперь в Енисейск. В 1954 году освобождение — и вновь Рыбинск... Только в 1960 году было получено разрешение на возвращение в Москву и право на пенсию.

Чем только не занималась Анна Васильевна в долгие периоды своего заточения! Была чертежницей, вышивальщицей, чабаном, художником по росписи игрушек, маляром, театральным бутафором... И никогда, даже в самых тяжких обстоятельствах, не производила она впечатления человека несчастного, загнанного и обездоленного — Бог весть откуда черпала уверенность в себе, своей правоте и непобедимости, в то же время сохраняя мягкость, приветливость, счастливое свойство вечно юной души — жадный и радостный интерес к миру...

Скончалась Анна Васильевна 31 января 1975 года и похоронена в Москве, на Ваганьковском кладбище, рядом с четырьмя из десяти детей семьи Сафоновых.

Илья САФОНОВ

* * *

Солнце, жаворонки и степь.
Дальних гор голубая цепь.
Дорога в прибитой пыли.
Летят, кричат журавли...
Лицо и руки сожгло,
Ветер — режущее стекло,
И восемь возов курая́ —
На сегодня работа моя...

И пока я их навожу,
Под работу стихи сложу
О том, что дик этот край,
Что колок сухой курай,
И что поступь семи годов
Будто медленный ход быков,
И что еле идут быки,
И что мне навек далеки
Все, кого так горько люблю —
И стихов никому не пошлю.

1939 г.

* * *

Как Иаков за дочь Лавана
Семь годов пас его стада,
Так и я степям Казахстана
Чабаном отдана на года.

История отношений А. В. Тимирёвой-Книпер с Колчаком, отрывки из дневников Анны Васильевны приводятся в романе В. Максимова «Заглянуть в бездну», опубликованном в «Знамени», 1990, №№ 9—10. — Ред.

Воздух резкий и ветер острый,
Битый камень, ковыль, полынь...
И над степью с отарой пестрой
Веет дух библейских пустынь.
И сюда занесенные люди,
Как в какой-то тысячный год,
Сны толкуют и верят в чудо,
Ждут Мессии близкий приход.
Всю их жизнь разнесли и смыли,
Но они не верят в конец...
Только мне — для какой Рахили
Семь годов здесь пасти овец?

1939 г.

* * *

Над Бурмою дым кизяка
И туман от сырой земли.
Ватой лежат облака
На хмурых сопках вдали.
Меж камней сухая трава,
Наклонившись у самой воды,
Боязливые шепчет слова,
Будто ждет какой-то беды.
И зима, как беда, идет...
Из семи это первый год.

1939 г.

* * *

Всё холоднее дни короткие,
Шаги дорогою звенят.
Торчит из снега жесткой щеткою
Незанесенная стерня...
. . . .
И степь кругом, и сопки синие,
И снеговые облака...
Барак, затерянный в пустыне, и
Блатные песни и тоска.
А ночь темна, как глубь бездонная,
И в сердце острие копья...
Лежат на нарах люди сонные
Под грудой грязного тряпья.
И что им снится, что им бредится
В тяжелом, беспокойном сне?
Повисла низкая Медведица
В морозом тронутом окне.
А тишина необычайная,
И лампа теплится едва.
...Чтоб это выразить отчаянье —
Какие мне найти слова?

1939 г.

* * *

Тяжело бывает вставать
В зимних сумерках поутру...
Из-под шапки седая прядь
На холодном бьется ветру.

Так печален зимний рассвет
И насыпь в снежной пыли.
Перламутровый слабый цвет
Лежит на сопках вдали.
На плотину ползут быки
И мерзлую землю везут...
Как печально звучат стихи
Про наш подневольный труд!

1940 г.

* * *

Облака раскинули крылья
По тихому небу ночному.
По дороге, покрытой пылью,
Мы медленно едем к дому.
Мы охвачены сонной ленью
(Далеко еще до ночлега),
Жеребенок бархатной тенью
Шагает рядом с телегой.
И плывут далекие горы
И поля волнистого хлеба,
И дождем летят метеоры
По августовскому небу.
И возница сонный не знает,
Кто со мною, незримый, рядом
За пылающими стрелами
Очарованным смотрит взглядом.

1941 г.

* * *

Каждый день я думаю о гибели,
Что меня за сопкой стережет.
Первый снег плотину ярко выбелил,
И мороз огнем холодным жжет.
Меж камней колосья в хрупком инее,
Нежные, как белая сирень,
Небо цвета горла голубиного,
Желтой степи жесткая постель...
Я была всегда такой любимою,
Я была жена, сестра и мать —
Это все давно промчалось мимо, и
Надо молча смерть свою принять.

1942 г.

* * *

Как будто степью, солнцем спáленной
Замкнулась тесная земля —
Лишь сопки в розовых подпалинах
Да волнованье ковыля;
Да утром — звезды предрассветные,
Да днем — палящая жара,
И жалит тучами несметными
Лицо и руки мошкара.
А дни текут, в труде проведены,
И, наклоняясь вновь и вновь,
Мы вытираем с глаз разъеденных
Запачканной ладонью кровь.

Нам никогда не быть свободными,
По милым не ходить местам,
И это поле огородное
Как братская могила нам.
И нет за этими пределами
Теченья грозного войны.
И будто вовсе нету дела нам,
Что мы на смерть осуждены.
И всё что милого и нежного
Дарила жизнь когда-то мне —
Всё горестней и безнадежнее
Отходит, как в забытом сне.

1942 г.

Бык

Здесь пустынны длинные дороги —
Мы с быком в степи всегда одни.
Спутник молчаливый и двурогий
Долгие со мною делит дни...
Поезда вдали кричат протяжно,
Ветер треплет паровозный дым:
Бычье сердце медленно и важно
Рядом с сердцем стукает моим.
Мерно, в такт медлительной походке, —
Не поскачешь вихрем на быке —
Он меня качает, будто в лодке,
На широкой солнечной реке...
И часами, лежа на телеге,
Вижу я — синеет высота,
И маячит на горячем небе
Очертанье рыжего хребта.
И мираж, струясь чертой узорной,
Превращает сопки в острова —
И в стихи, тяжелые, как зерна,
Медленно слагаются слова.

1943 г.

* * *

Хорошо бывает уснуть
На холодной жесткой земле
После долгой и тяжкой работы
Рядом с сонным и теплым быком
Под шатром сияющих звезд...
Как же будет отраден сон
Глубоко под доброй землей
После длинной и трудной жизни...

1940 г.

* * *

Зима-зверюга крадется без шума,
Вниз к океану сплошь идет шуга;
И Енисей, зеленый и угрюмый,
Суровые сдвигает берега...

Сомкнется — и захлопнется капкан.
Отрезаны, отрезаны до лета!
Тончайшей нитью с далью милых стран
Едва-едва нас свяжут самолеты.
На крыши снег навалит слой на слой —
Считай по ним, как в книге, снегопады!
И небо над застывшею землей
Надвинется тяжелою громадой.
А жизнь едва затеплится в домах
За ставнями, заборами, замками,
Мы позабудем мысли и слова,
И время остановится над нами...

1951 г.

* * *

Удушливая желтая заря
Над пыльными и низкими домами,
Зубчатая стена монастыря,
Да черный кедр, истерзанный ветрами.
И в бликах угасающего света
Чужой реки неласковая ширь...
Нет, я не верю, что Россия это,
Не признаю своей страной Сибирь!

1952 г.

* * *

Ох, вспомним мы тебя, унылый город,
На северном печальном берегу,
Где ссыльное безвыходное горе
На каждом повстречается шагу...
А может быть, припомнится иное?
Твоих берез морозных кружева,
Прохладный вечер летом, после зноя,
На улицах росистая трава...
И, может быть, еще такая малость —
Единственное в городе кино,
Где и для нас порой приоткрывалось
В широкий мир ведущее окно.
Росла, росла из глубины экрана
Сверкающая гранями звезда,
Шли корабли под пеленой тумана,
На нас в упор летели поезда...
И крепкими прикованы цепями
К чужой и неприветливой земле,
Смотрели мы, как жизнь скользит пред нами,
Сидящими в печальной полумгле.

1953 г.

* * *

Весна, холодная, как рыба,
Как все последние года...
Лежат нетронутые глыбы
В тени нетающего льда,
А ветер ледяной и резкий —
Остроотточенный клинок —
Из-за угла на перекрестке
С размаху ударяет в бок!

Но девочка под капор зимний —
Она-то знает, верит, ждет —
Ручонкою, от ветра синей,
Травинку первую сует.

* * *

Весны стремительный разбег
Все ярче, все светлей.
Летит и вьется теплый снег
С высоких тополей.
Бульвар над узкою рекой,
Трава, как хризолит,
И гул, и щебет городской,
И белый пух летит.

Вздыхает влажная земля,
И розовый закат
Преображает тополя
В черемуховый сад.

* * *

Если б я могла в стихи вложить
Этот мартовский черный вечер,
Эти лужи на талом снегу,
Фонари и пронзительный ветер!
Заключить эту смертную боль
В непреложную точность строк —
Может быть, и стала б она
Навсегда пережитой болью
Или даже лишь песнью о ней...
Но четвертый год — не могу:
Не послушны мысли слова,
Ускользают звонкие рифмы,
И когда начинаю думать
О всех этих страшных вещах,
Я скорей беру папиросу,
Чтоб опять не сойти с ума...

1942 г.

* * *

В сером небе не видно звезд —
И ты покинул меня...
Я стою и гляжу окрест
В угасаньи осеннего дня.
Ветер жесток и мир жесток,
И уже не по силам груз,
И гордости тяжкий замок
Никому не доверит грусть.

1956 г.

* * *

Ты ласковым стал мне сниться,
Веселым, как в лучшие дни.
Любви золотые страницы
Листают легкие сны...

Конца ли это виденья?
Или ты зовешь? — Не пойму...
Спасибо, что ты хоть тенью
Приходишь ко мне в тюрьму.

1939 г.

Прощание

В гробу, как на дне колодца,
А будто не плохо тебе —
Не надо ни с чем бороться,
Не надо перечить судьбе...
А жизнь тебя торопила:
Скорее! Скорей! Скорей!..
И денег не густо было,
И всё не хватало вещей.
Эх, жизнь ты наша лихая,
И как ты мимо прошла...
И я была не такая,
И ты не такая была.
Прощай, не попомни зла.

1966 г.

* * *

И каждый год Седьмого февраля
Одна с упорной памятью моей
Твою опять встречаю годовщину.
А тех, кто знал тебя — давно уж нет,
А те, кто живы — все давно забыли.
И этот, для меня тягчайший день, —
Для них такой же точно, как и все, —
Оторванный листок календаря.

7 февраля 1969 г.

* * *

Полвека не могу принять —
Ничем нельзя помочь —
И все уходишь ты опять
В ту роковую ночь.
А я осуждена идти
Пока не минет срок,
И перепутаны пути
Исхоженных дорог...
Но если я еще жива
Наперекор судьбе,
То только как любовь твоя
И память о тебе.

30 января 1970 г.

Публикация Ильи Сафонова

ПАЛЕРМО — НЬЮ-ЙОРК

(ПОПЫТКА ПОДНЯТЬ НАСТРОЕНИЕ СЕБЕ И ДРУГИМ)

Тоскливые газетные статьи, тоскливые рассказы в свежих журналах, а настроение и без них неважное. Хочется работать, но с таким настроением можно только прибавить ко всеобщей тоске еще одну, свою. Но для чего? Этого и так много, это не нужно ни мне, ни другим.

Я встал из-за машинки, походил по комнате, зачем-то зашел в кухню. Никого. Горит маленький огонек газовой конфорки. Целый день горит, потому что нет спичек. Вернее, экономия последних спичек. Посреди Москвы экономим каждую спичину, как заблудившиеся в тайге.

Я смотрю на огонек конфорки и вдруг вспоминаю нечто похожее, но в сущности совсем другое. Я вспоминаю, как в родном Чегеме каждую ночь гасили огонь в очаге, но пурпурные, пульсирующие жизнью угольки загребали в золу. Огонь спал до утра.

А утром эти угольки снова выгребали из золы и, подкладывая хворост, раздували огонь очага. В детстве мне всегда казалось необъяснимым, радостным чудом — как это может быть, чтобы вот эти дотлевающие угольки могли сохранить свой жар до утра? Греют они друг друга и потому не упускают жар, думал я, или главное — это зола, которая спасает их от холода, как одеяло?

Я и сейчас не знаю, по какому закону природы держались эти угольки до утра, но я точно знаю, что они держались. И еще я точно знаю, хотя никогда не проверял на опыте, что если бы угольки утром не разгребли и не раздули, они до следующего утра не дотянули бы.

Почему-то ясность этого знания прояснила и мое настроение. Значит, держаться можно долгую, но нормальную ночь, не переходящую в полярную. Как держатся люди в полярную ночь, расскажут вам полярники. А я вам расскажу об одной поездке времен начала перестройки. Чувствую, что не только в голове, но и в груди яснеет. Вот что значит вспомнить Чегем!

Итак, знаешь ли край, где цветут апельсины? На этот далекий, из школьного учебника, вопрос Гете я, наконец, могу положительно ответить.

Меня пригласили на всемирный конгресс, посвященный нашей перестройке, в город Палермо, Сицилия. Почти одновременно пригласили в Америку (не было ни гроша — да вдруг алтын), куда я должен был ехать с делегацией наших писателей.

Я выразил начальству желание прямо ехать в Америку, но мне сказали, что вопрос уже решен: надо заехать в Палермо, а оттуда самостоятельно добираться до Америки.

Возможно, в планы начальства входило проверить меня на сицилийской мафии, а там, если уцелею, уже закаленного, отправить в Америку. Но как раз к нашему приезду часть мафии выловили и судили,

возможно, именно ту, на которой меня хотели испытать, потому что ни одного мафиози я не встретил на улицах Палермо.

Зато посреди этого прекрасного города меня чуть не задушили выхлопные газы. В Палермо слишком много машин, а рельеф города, по-видимому, не выдерживает такой загазованности. Я еле унес ноги из центра, тем более что наша гостиница была расположена на берегу моря и климат вокруг нее был средиземнорайский.

...И вот мы с генералом, членом нашей делегации, прогуливаемся по косогору гостиничного двора, обрывом спускающемуся к морю. Весь косогор в апельсиновых деревьях, обильно усеянных светящимися плодами.

Несколько дней я остерегался рвать апельсины, потому что в саду похаживали карабинеры. В конце концов один из них, видимо, утомившись от моих взглядов, направленных на деревья, кивнул головой: можно. Я сорвал первую пару апельсинов и вдруг догадался: карабинеры охраняют не апельсины, а нас, участников конгресса. Он проходил в здании рядом с гостиницей.

Когда ты приезжаешь из страны, где люди не так высоко ценятся, как апельсины, возможны такие ошибки. Гуляя с генералом, человеком во всех отношениях приятным, я допустил еще одну ошибку, которая, в свою очередь, оказалась не последней.

Дело в том, что в Москве я его видел в военной форме, а здесь он оказался в штатском костюме, который, правда, сидел на нем красиво и плотно, как военная форма. Мне подумалось, что такое переодевание довольно опасное занятие, а генерал, как ни в чем не бывало, гулял себе в штатском.

Некоторым образом чувствуя свою бестактность, но, оправдывая себя тем, что я озабочен исключительно судьбой генерала, я не выдержал и спросил у него:

— А они знают, что вы генерал?

— Конечно,— рассмеялся генерал.

Я тут же успокоился. Главное, чтобы все было законно. Гуляя с генералом по косогору апельсинового сада, я обратил внимание на одинокую фигуру официанта нашего ресторана, который, стоя над обрывом, ловил рыбу на спиннинг. Рыба плохо клевала, вид у официанта-рыбака был столь одинокий и многозначительный, что я в конце концов мысленно взял его под мышки и вместе со спиннингом переместил в один из рассказов Хемингуэя. Так будет лучше, решил я, каждый должен стоять на своем месте.

Генерал стал рассказывать о ядерных ракетах, которые мы уничтожали в согласии с Америкой. Между делом он сообщил, что в каждой ракете по десять килограммов золота. Я понял, что дядя Сандро никогда мне не простит, если я хотя бы не попытаюсь узнать, где именно взорваны эти ракеты. Шутка ли — в каждой по десять килограммов золота! Даже если после взрыва уцелеет пять килограммов — неслыханная добыча.

— Далеко от Москвы взрывают ракеты?— спросил я с оттенком экологической тревоги за судьбу москвичей.

— Далеко,— успокоил он меня, но не стал уточнять места.

Я прикинул в уме, где бы это происходило, и решил, что наиболее вероятное место — Урал или Казахстан.

— Интересно, в горной местности взорвали ракеты? — спросил я, как бы озабоченный судьбой окружающих хребтов.

— Нет,— сказал он, пытаясь вернуться к своему рассказу. Но я не дал.

— Значит, степь. Самая большая и самая многострадальная степь в Советском Союзе? — заметил я, некоторым образом впадая в сенти-

ментальность, якобы навеваемую большими незащищенными пространствами.

— Может, и степь,— сухо сказал он,— а зачем вам?

— Хочется знать, как это все происходило. Хочется представить конкретную местность.

— Так по телевизору показывали,— признался он.

— А я пропустил,— вздохнул я,— значит, местность не засекречена?

— А зачем она вам? — вдруг насторожился генерал.

— Знаете,— сказал я, раздуваясь пафосом пацифиста,— приятно взглянуть в яму, куда сбросили войну.

— Обычно такие места охраняются,— сказал он, как бы одобряя мой пафос, но вынужденный его смягчить.

Я решил больше не настаивать на уточнении места взрыва ракет, а дяде Сандро вообще не рассказывать об этом.

Я вдруг подумал, что современные золотые прииски, быть может, только следы исчезнувших цивилизаций, которые тоже взрывали свои ракеты, а потом сгинули сами, а через многие тысячи лет новые цивилизации открывали золотоносные жилы, чтобы в конце концов использовать их в новейших ракетах, а потом взорвать их, слава Богу, еще не над головой людей.

Я рассказал генералу историю, которую слышал в Чернобыле от одного журналиста. Мы там были через полгода после катастрофы.

Будучи в армии простым солдатом, он вместе с одним капитаном перевозил в поезде атомные боеголовки. На какой-то станции вблизи города с миллионным населением (он не назвал город, видимо, из соображений военной тайны) их вагон спустили с «горки».

В нужном месте железнодорожник должен был подставить тормозные «башмаки» под колеса бегущего вагона, чтобы тот сбавил ход. Однако железнодорожник оказался пьян и ничего не сделал. На огромной скорости вагон с размаху врезался в состав. В одной из атомных боеголовок началась реакция. Через минуту или две город со всеми людьми взлетит в воздух и испарится. Капитан спрыгнул с вагона, чтобы перед всеобщей гибелью казнить железнодорожника, который недалеко от вагона валялся пьяный. Капитан его пристрелил.

А солдат не растерялся. Он стал жидким графитом гасить в боеголовке реакцию. Видимо предусматривалось, что в каких-то случаях может начаться реакция. И ему действительно удалось погасить ее.

После этого он несколько месяцев пролежал в госпитале. Ему трижды делали переливание крови, и он выжил. По его словам, хотя он получил очень сильную дозу облучения, но она длилась недолго, и это его спасло. Оказывается, лучше схватить большую дозу радиации сразу, чем малые дозы в течение долгого времени. Так что, если вам предстоит выбирать, выбирайте большую дозу и бегите в больницу.

Когда он выздоровел, его пригласили к начальству. Поблагодарив за умелые и бесстрашные действия, ему сказали, что готовы были представить его к награде, но, увы, капитан убил железнодорожника, и это несколько искажает героическую картину.

— С тех пор прошло более пятнадцати лет,— весело закончил свой рассказ бывший солдат,— я женат. У меня двое детей. Облучение не оставило никаких следов.

Генерал благожелательно выслушал меня, но сказал, что этого не могло быть, потому что в таких условиях не перевозят атомные боеголовки. Я почему-то сразу же поверил рассказу журналиста, а генерал не поверил, хотя уже и случился Чернобыль.

Возможно, по своему высокому положению он должен был знать об этом случае, но ему не доложили. Возможно, он знал, но это все еще считалось военной тайной. Впрочем, пусть каждый судит в меру понимания предмета. Я точно рассказал то, что я слышал.

Тут во двор из ресторана стали выходить участники нашего конгресса. Они мирно прогуливались под апельсиновыми деревьями. И что удивительно, ни один из них не наклонил ветку и не сорвал апельсин. Может быть, они все еще ошибочно думают, что карабинеры охраняют апельсины, а не нас?

С тех пор как я узнал, что карабинеры охраняют не апельсины, а нас, я каждый день рвал несколько плодов и съедал их, терпя оскомину. Конгресс назначили явно дней на десять раньше, чем следовало бы.

Я в последний раз оглянулся на море, на косогор, усеянный участниками конгресса и апельсиновыми деревьями, как бы являя собой тихую символику мира, где люди и апельсиновые деревья вполне взаимозаменимы. И если добрые идеи первых навевали некоторую сонливость своей тавтологией, то плоды апельсинов, хотя и набивали оскомину, зато взбадривали своей животворной кислотой. Другое дело, если бы конгресс был назначен дней на десять позже. И доклады были бы не такими скороспелками, и апельсины дозрели бы. Но так уж устроен мир. Когда конгресс назначается в стране, где не слишком ценят апельсины, устроителям и в голову не приходит, как было бы патриотично и символично приурочить конгресс к полному вызреванию этих могучих плодов.

Я пошел в гостиницу собирать чемодан. Мне предстояло лететь в Америку. Я слегка волновался, потому что впервые летел в Америку, да еще один, да еще без денег, да еще без знания языка. Правда, переводчик нашей группы заверил меня, что он уже звонил в Москву и там подтвердили, что они уже связались с Нью-Йорком и меня обязательно встретят.

Я еще в Москве прихватил свой самоучитель английского языка, чтобы в долгой дороге через океан изучать английский язык. Не то, чтобы я совсем не знал английский, немного знал.

Лет десять тому назад, когда у нас стало совсем плохо, я купил самоучитель и начал тайно изучать английский язык на случай, если вдруг будут выгонять из страны. Месяца через три за столиком писательского ресторана я услышал своими ушами случайный разговор, из которого явно следовало, что в Союзе писателей знают о моих занятиях английским. Нет, сказал я себе, не будем подталкивать руку, намечающую насильственный маршрут нашей будущей жизни, и перестал изучать английский язык. Не исключаю, что мою бдительность, в свою очередь, подталкивала моя лень.

А еще через два месяца я узнал от одного писателя-шустряка, вечно околачивавшегося в коридорах Союза писателей, что я перестал изучать английский и перешел на турецкий. Тут уж я ничего не мог поделать. Турецкий язык я не изучал. Я только вспомнил, что на одном большом банкете в честь прекрасного турецкого писателя-юмориста, подблеснул турецкой фразой, которую я неоднократно слышал в детстве на абхазо-греческих полях:

— Ещекькиби чалищиор, ама пара ёк. (Работаю как ишак, а денег нет.)

Такова история моего изучения английского языка. Когда самолет поднялся, я вынул самоучитель, надел очки и не спеша занялся английским. Часа полтора я усердно занимался, но тут меня подтолкнул сосед-итальянец и показал на бутылку виски. Я решил принять угощение и одновременно поупражняться в английском языке с этим итальянцем, который, как я понял, не очень далеко ушел от меня.

Люди, хорошо знающие язык, в разговоре с человеком, плохо знающим язык, почему-то всегда бестактны. Нет, чтобы упростить свой язык до уровня неподготовленного собеседника, они шпарят и шпа-

рят, как хотят. Мало ли что собеседник аккуратно кивает головой, ты сам пойми, что он ни черта не понимает. Зато как деликатен человек, плохо знающий язык. Почти каждое слово подтверждается жестами, понятными без слов.

Итальянец, вернее, сицилиец, дважды предложил мне выпить, и я, каждый раз мгновенно схватывая смысл его слов, выполнял его желание. Он объяснил мне, что уже пять лет живет в Нью-Йорке, работает таксистом, хорошо зарабатывает.

Сейчас он гостил в родной сицилийской деревне и возвращается домой. Он меланхолично заметил, что Италия эксплуатирует Сицилию. Но если это не кончится, добавил он, Сицилия отделится от Италии и присоединится к Соединенным Штатам Америки. Это прозвучало так: не хотелось бы, но придется наказать Италию. Я попытался было пошутить на тему: какими средствами они отбуксируют остров Сицилию к берегам Америки в случае присоединения, но потом понял, что сам не смогу отбуксировать эту тяжеловесную остроту на английский язык.

Кстати, я такие угрозы уже слышал в Сицилии. Я спросил у него: «В чем заключается эксплуатация?» Он подумал, подумал и сказал: «В Сицилии бензин дороже, чем в Италии».

В Палермо я одному итальянцу рассказал о жалобах и угрозах сицилийцев. Тот рассмеялся: — Они наши иждивенцы, как и весь юг. Никуда они не уйдут.

Покончив с родной Сицилией, мой попутчик спросил у меня относительно перестройки. С большим трудом подбирая слова, я рассказал ему о том, что у нас делается. Он внимательно выслушал меня, а потом спросил:

— Вот если я русский крестьянин, могу я продать свою землю и переехать куда-нибудь?

— Пока нет,— сказал я, чувствуя, что моя лекция проваливается.

— Э-э-э,— протянул бывший крестьянин и махнул рукой. Да, как бывший крестьянин он хотел выяснить главное — свободен ли крестьянин. И выяснил.

Тут к нам подошла очаровательная девушка в модно продырявленных джинсах и, к моему изумлению, села таксисту на колени. Сицилиец поощрительно улыбнулся, заглядывая девушке в лицо, а потом во избежание кривотолков сказал: — Дочь.

Все-таки для бывших сицилийцев это было слишком смело. Дочь попросила выпить, и отец налил ей виски, правда, чуть-чуть. Мы выпили втроем, а потом закурили. Я спросил у нее, чем она занимается. Сверкнув глазами по-сицилийски, она затараторила на хорошем английском языке, который я очень плохо понимал. Я только понял, что она собирается поступать в университет, чтобы изучать политику, а в будущем хочет заниматься революцией.

— В Соединенных Штатах? — спросил я у нее, не слишком уверенный, что я ее правильно понял. Оказывается, правильно понял.

— Нет,— сказала она,— там нет пролетариата.

— В Италии? — спросил я.

— Нет,— сказала она,— в Италии тоже нет пролетариата.

— Может, на Кубе? — спросил я.

Она ослепительно улыбнулась и ласково притронулась к моему затылку.

— Юмор,— сказала она.

— Так где же вы будете делать революцию?

— В Южной Америке,— пояснила она,— но надо спешить. Я боюсь, что к моему окончанию университета там не останется пролетариата.

— Еще будет,— заверил я ее, как пожилой социолог с немалым опытом.

Вскоре пустили кино, и девушка пошла и села на свое место. В картине действовали два непримиримых космонавта. Очень злой и беспощадный наш космонавт, и очень добрый и храбрый американский космонавт. От их встреч молнии разбрызгивались по вселенной. Рушились небольшие, уютные планеты.

Иногда, в горячке сражения, они залетали и на нашу планету. И если добрый космонавт на минуту выпускал из виду нашего злого космонавта, наш с демоническим хохотом успевал взорвать какой-нибудь цветущий поселок. Но полностью взорвать его он не успевал, потому что тут настигал его добрый американский космонавт и после короткой борьбы со страшной силой извергал его в космическое пространство.

Уцелевшие жители поселка, замирая от волнения следившие за этой схваткой, от всей души аплодировали космонавту-спасителю. Аплодисменты жителей поселка горячо поддерживались пассажирами самолета. Смотреть на их лица было забавно. Они внимательно следили за сюжетом. Радовались и печалились вместе со своим любимым героем. Ни одной иронической улыбки я не заметил. Все ловили кайф.

Многое дает демократия человеку, но она, к сожалению, не дает человеку ума. Демократия дает человеку возможность расти в любую сторону, но свободный человек в большинстве случаев предпочитает расти в сторону глупости, потому что так ему жить легче.

Когда люди в массе своей едят лучше нас, живут в более благоустроенных квартирах, зарабатывают больше нас, то нам, по все еще живучей схеме прогресса, кажется, что они должны пользоваться и более высоким искусством. Разумеется, в их мире есть и прекрасное искусство, но огромное большинство пользуется таким.

У нас глупое искусство навязывалось идеологией, а здесь глупое искусство навязывается рынком, как ходкий товар. Однако, надо сказать, всегда была существенна разница в отношении к человеческому уму. Свободный ум, свободно оценивающий окружающую жизнь, при буржуазной демократии может и не поощряться, но и не преследуется. В идеологическом государстве свободный ум — враг. Он всегда преследуется.

После кино пообедали. Мой сосед уснул, и не будем будить его до самого Нью-Йорка. Я снова взялся за самоучитель и часа два зубрил английские слова. Надоело. В самолете время явно растягивается. Время в поезде или в автомобиле — это не то, что время в самолете. По-видимому, нашей природе вредны высокие самолетные скорости, и она, растягивая ощущение времени, сама для себя создает иллюзию более долгого преодоления расстояния.

Кстати, я давно заметил: чем динамичней, чем целенаправленней наш образ жизни, тем относительнее делается наша нравственная полноценность. Чем быстрее человек идет по дороге, тем неохотнее он останавливается, чтобы дать прикурить другому человеку. И уж совсем чаплинской сценой выглядело бы, если бы мы вдруг попросили прикурить у человека с сигаретой в зубах, мчащегося навстречу нам в открытой машине. Он был бы возмущен, он, может быть, даже притормозил бы, чтобы выразить свое возмущение.

Скорость движения к цели сама становится аргументом правильности цели. Представьте себе такую картину. Сидит веселая компания и выпивает. Я беру наши российские условия. У нас, как известно, выпивают не до определенного состояния, а пока есть что выпить. Но вот кончилась водка, а людям хочется пить. Когда это было возможно, хозяин в таких случаях должен был пойти и купить еще выпивки.

Представим, что у хозяина сомнения: стоит ли еще покупать, не будет ли новая выпивка перебором? Если он пешком идет к винному магазину, то эти сомнения его продолжают беспокоить. Если он боится при этом, что магазин вот-вот закроют, он ускоряет шаги и сомнения его ослабевают. Но если же он сел в машину и поехал за водкой, сомнения его исчезают. Скорость движения к цели сама становится аргументом ее правильности.

Человек, конечно, может ускорить свою жизнь, но до определенного предела. Скорость, вероятно, нормальна, пока не смазываются лица людей, пока мы видим отдельного человека с его неповторимыми чертами, пока мы можем про него сказать: этот.

На слишком быстрых скоростях жизни человеку некогда быть человеком. Тогда зачем скорость? Не в этом ли тайна вырождения слишком целенаправленных натур или слишком целеустремленного общества? Природа мстит погонялам за нарушение естественных ритмов.

Истинная вина фанатика не в том, что он раздавил или отбросил человека, живя на большой скорости. Это, пожалуй, его беда, потому что он действительно уже не видел человека и не мог остановиться. Его истинная вина состоит в том, что он позволил себе эту скорость.

Если бы он был нравственно полноценным человеком, ему бы сразу разонравилась скорость движения к цели, как только он перестал бы различать человеческие лица. И он потерял бы вкус к цели: нет механизма ее человеческого достижения.

Преступность фанатика в том, что в нем была слишком снижена потребность в антропологической теплоте, потребность в прикосновении к живой душе, что позволило ему дать волю азарту цели. Природа любви ветвиста.

Все это в высшей степени относится и к искусству. С какой бы скоростью и куда бы ни катился мир, искусство не должно спешить, как хороший врач или священник. Поэтому мне противны всякие новаторские кривляния, как бы поспешающие за ритмами века. Они упускают главное.

А главное в искусстве, так я думаю, о чем бы ни говорило искусство, это подробности Нежелания Расставаться. И чем значительней то, о чем рассказывает искусство, тем точнее сокрыта в нем эта вечная страсть любящей души — Нежелание Расставаться. Сама значительность содержания есть следствие, есть тайное красноречие Нежелания Расставаться. И мы, читая хорошую книгу, чувствуем это, как обаяние стиля, чувствуем, хотя и не всегда, и не сразу осознаем, что это Нежелание Расставаться имеет отношение и к нам. Да ведь мы не так уж плохи, наконец, благодарно догадываемся мы, раз автор медлит с нами расставаться. И в самом деле, не так уж плохи.

...Нью-Йорк. Самолет стал. Пассажиры поаплодировали пилотам или собственному благополучному приземлению, но, как я заметил, несколько вяло. Когда мы из Москвы прилетели в Италию, раздался такой шквал рукоплесканий, которого я никогда не слышал. Я тогда решил, что это — свойство итальянского жизнелюбия.

Но вот те же итальянцы после гораздо более длительного перелета аплодируют кое-как. Значит, тогда они радовались прибытию на родину? А может, дело в том, что наш перелет был слишком длительным и у людей мало осталось сил для благодарности?

Условия успеха в жизни, увы, напоминают условия успеха эстрадного номера: он должен быть коротким и выразительным. Кто жаждет аплодисментов, ничего не должен затягивать. Он не должен затягивать даже героические усилия, даже благородное дело, даже время написания хорошей книги. Особенно последнее. Но если ты действительно не жаждешь аплодисментов, можешь затягивать и время героических усилий, и время благородного дела, и время написания ненаглядной книги.

Я попрощался со своим сицилийским американцем и его милой дочкой в надежде (да что в надежде! в полной уверенности), что ее перехватит на пути к революции какой-нибудь пылкий поклонник, а там, глядишь, и южноамериканский пролетариат рассосется.

— Есть деньги более пяти тысяч долларов? — спросил у меня таможенник.

— Ни цента! — ответил я, стараясь обрадовать его полной невозможностью подорвать американский бизнес. Но он остался равнодушным.

В самом деле, у меня не было ни цента. Правда, у меня еще оставалось некоторое количество итальянских лир. В багажном отделении я поймал свой уползающий по конвейеру чемодан, даже, вернее сказать, прервал его неуклюжую попытку скрыться от меня. Мне показалось, что я понял его чувство, как чувство любого советского чемодана, оказавшегося в буржуазном мире. Вероятно, такое чувство испытывал бы дряхлый удав, которому вместо кролика пытались бы затолкать в пасть небольшого быка. И в конце концов затолкали бы.

Взяв чемодан, я влился в толпу, идущую к выходу, и оказался в странном помещении, где увидел много людей, увешанных плакатами. Я сначала решил, что это политическая демонстрация, но, прочитав несколько плакатов, понял, что на них имена тех, кого встречают. Я лихорадочно читал плакаты, ища свое имя, но так и не нашел. И в лицо меня явно никто не собирался узнавать, хотя, глядя на встречающих, я проявлял сильную и даже навязчивую попытку быть узнанным. Однако склонностью узнать никто не ответил. Вернее, один из встречающих на мгновенье оживился, встретив мой провоцирующий взгляд, но потом опомнился и долго не мог мне простить свое краткое затмение. Что же делать?

От волнения я закурил и несколькими затяжками выкурил сигарету. Увидев нечто вроде цилиндрической урны, я хотел туда забросить окурок, но кто-то вдруг вцепился в мою руку. Лицо человека выражало ужас, как если бы эта урна могла взорваться.

— А куда же? — в отчаянье спросил я по-русски.

Он бросил выразительный взгляд на пол и растер ногой невидимый окурок. Тут только я заметил, что пол усеян окурками. Я поблагодарил этого человека и воспользовался его советом, удивляясь простоте местных нравов.

Прошло около часу, но меня так никто и не встретил. За это время ко мне подошел какой-то сердобольный негр и спросил, нет ли у меня долларов. Я сказал, что долларов нет, но есть лиры. Негр кивнул и растворился в толпе.

Что делать? Я вынул записную книжку с адресом и телефоном, куда должен был сегодня явиться. Ищу очки и не нахожу. Вывернул все — нет очков. Явно сунул в кармашек самолетного сиденья, когда захлопнул самоучитель, да так и забыл там. Теперь и адреса не могу прочесть. А что толку — прочесть адрес, если нет монетки позвонить?

Перечисляю свои бедствия, чтобы оправдать то отчаянье, в которое я впал: полуглухонемой из-за незнания языка, полуслепой из-за потери очков и просто-напросто нищий из-за отсутствия долларов.

Что делать? Надо искать помощь у американцев, встречающих гостей. Я хищно окинул глазом встречающих, стараясь выбрать среди них человека подобрей. Я остановил взгляд на одном высоком юном американце с добродушным, как мне показалось, лицом. Я подошел к нему, протягивая бумажку с адресом с видом малограмотного провинциала.

— Очки разбил в самолете,— сказал я сокрушенно,— позвонить.

Почему я сказал, что очки разбил, а не забыл в самолете? Только сейчас догадываюсь, что это был подсознательный намек на сложность моего бедствия. Вероятно, намек на небольшую катастрофу, в результате которой я разбил очки и, как в дальнейшем выяснится, рассыпал все свои монеты. Он взял у меня бумажку с телефоном и пошел к телефонному аппарату. Я потащился со своим чемоданом за ним. Он подошел к телефону и обернулся на меня, вернее на мою руку, чтобы принять из нее монету. Внимание! Тут самое главное.

— Ай хев нот мани,— сказал я с оттенком классовой обиды и кивнул куда-то в пространство, то ли в сторону своей катастрофы, то ли в сторону Уолл-стрита.

Он помедлил секунду и улыбнулся:

— О'кэй!

Вынул монету из кошелька, всунул ее в щелочку аппарата, накрутил номер и вручил мне трубку, как победительный приз.

Голос женщины. Я рванулся навстречу доброму голосу. С обеих сторон судорожные объяснения в любви. Последовали сведенья о беспрерывных звонках в Москву и в Палермо, упорнейшие хотя и безуспешные попытки выяснить, где я, в воздухе, на земле или в океане. С тем большей жизнестойкостью отвечал ей мой рвущийся к очному общению голос. Кроме голоса женщины, из трубки выбулькивал звон бокалов и шум веселящейся компании.

— Ждите, за вами приедет девушка, говорящая по-русски!

Так сказал голос на чистейшем русском языке. Я положил трубку, и сразу же помещение озарилось светом надежды и веселья. Мой спаситель скромно удалялся. Я не успел его поблагодарить. Хотелось догнать его, повиснуть на его руке и проволочиться, как в детстве.

Тут ко мне подошел негр, с которым мы до этого смутно объяснялись. Оказывается, он нашел разменную кассу и теперь предлагал мне пойти туда. Хотя после телефонного разговора я мог обойтись без долларов, но состояние мое было столь возвышенным, что я почувствовал себя обязанным разменять лиры и вознаградить комиссионными за старания этого доброго человека.

Я бодро потащился со своим чемоданом за ним. Но вот толпа встречающих осталась позади, мы идем и идем каким-то сумеречным коридором, где ни одного живого человека, и намеренья этого негра мне начинают казаться зловещими. А он, между прочим, все убыстряет и убыстряет шаги, чтобы подальше завлечь меня. При этом он совершенно фальшиво несколько раз вскидывает руку, чтобы посмотреть на часы. Коварство и любовь!

Дорого, дорого решил я продать свою жизнь, а может быть, и честь российского писателя. Не отступать, решил я, а продумать метод активной защиты, и я его продумал. Значит, в случае чего, нож там или газовый пистолет, я неожиданно вскидываю чемодан, подхватываю его обеими руками и обрушиваю на голову негодяя. Чтобы прием оказался особенно неожиданным (он иногда оглядывался), я делаю вид, что еле-еле волочу свой чемодан. Хотя чемодан мой и так не слишком тяжел, сейчас от волнения он мне кажется совсем легким.

Вдруг мой провожатый остановился и, кивнув на стену, уныло произнес:

— Опоздал.

Я сделал несколько шагов и заметил окошечко закрытой кассы. Тут я понял, что бедняга — всего лишь неудачник, вроде меня. Мы пошли назад. Чемодан сразу отяжелел. Сквозь шум приближающейся толпы мне показалось, что я по радио услышал свою фамилию. Слуховые галлюцинации? Мания величия? Нет! Нет! Я не ошибся! Америка знает обо мне!

Забыв о своем спутнике, я ринулся туда, где шумела толпа. Не знаю, сколько времени прошло. Я все забыл. Вдруг из толпы вырывается девушка и кричит:

— Где вы были? Я уже по радио объявляла о вас!

Я что-то лепетал, а грустный негр, наконец догнавший меня, почему-то стоял рядом и чего-то ждал. Девушка вынула из сумочки пятидолларовую, как я позже узнал, бумажку и сунула ему. Она вывела меня из помещения, а негр почему-то не отставал, и в глазах у него застыло выражение тысячелетней печали.

Мы уже сели в машину, а он все не отставал и теперь стоял рядом с машиной и ожидал чего-то. Но чего? Может, он считал, что я должен передать ему свои лиры, которые все равно теперь не понадобятся мне?

— Что ему надо? — спросил я у девушки.

— Это подпольный таксист,— сказала она, и мы поехали.

Ночной Нью-Йорк мелькал, как в кино. Девушка пыталась обратить мое внимание на выдающиеся здания, но я всегда к этому был равнодушен. Зато позже, увидев очаровательные пригороды и маленькие города Америки, я навсегда в них влюбился. Вот где уют, вот где здоровье нации!

— Вы прекрасно говорите по-русски,— благодарно сказал я девушке, чтобы смягчить свое равнодушие к небоскребам. Для американки она очень хорошо говорила по-русски. Легкий акцент только украшал ее язык.

— А я русская,— улыбнулась она.

Машина остановилась возле какого-то дома. Мы вышли из нее и вошли в подъезд. Поднялись на лифте. Звонок в дверь, и мы оказались в огромной комнате. В разных концах комнаты стояли маленькие низкие столики. За некоторыми из них сидели наши писатели, иногда знакомые не только по речам, но и по книгам. Громкие голоса и взрывы смеха говорили о том, что компания на хорошем взводе. Меня посадили за столик, где уже сидели двое мужчин и одна женщина.

Девушка куда-то исчезла, зато появилась стройная женщина, с лицом слегка стареющей гимназистки, и вручила мне большую тарелку, на которой дымились кругляки картошки и лежал огромный, как черепаха, кусок мяса: нешуточная награда за мои страдания. Неужели все это может съесть один человек, подумал я и, взяв в руки вилку и нож, приступил к честному эксперименту.

Вдруг один из мужчин, сидевший за моим столиком, которого я по его огромности принял за американца, протянул руку и, взяв дымящийся кругляк картофелины из моей тарелки, отправил ее в свой пещерный рот. Я понял, что он наш. Это был знак братства.

— Вы давно уже здесь?— спросил я.

— Порядочно,— сказал он, шумным вдохом остужая картошину во рту и с трудом проглатывая ее. Я сделал жест в сторону своей тарелки в том смысле, что процедуру можно повторить, но он отрицательно мотнул головой, что лишний раз подтверждало символический характер его действа.

Сочное мясо, запиваемое джином с тоником, легко елось, и я вдруг убедился, что вполне могу справиться со своей непомерной порцией. Разговор постепенно принимал общий, охватывающий все столики характер. Говорили о судьбе перестройки. Американцы проявляли осторожное и не слишком осторожное недоверие и принимали наш достаточно критичный оптимизм за попытку перехитрить их новой пропагандой. Но никакой пропаганды не было, это была действительно наша последняя надежда.

МЫ: Смотрите, сколько запретных книг опубликовано.

ОНИ: Подумаешь, украденное у народа вернули народу.

МЫ: Украли одни, а возвращают другие.
ОНИ: Демократия — это многопартийность. Где она у вас?
МЫ: Не все сразу. Будет и многопартийность.
ОНИ: Ваша гласность не закреплена законом о печати и о частной собственности. Такую свободу можно прикрыть за одну ночь.
МЫ: Такие законы готовятся.
ОНИ: Не даст аппарат. Обманет.

Недоверчивость американцев хотя, конечно, имела основания, но была неприятна. Это было похоже, как если бы люди, живя в своих удобных квартирах, следили оттуда за окнами тюрьмы, где заключенные, пусть даже крышками от унитазов, пытаются разбить решетки на окнах. А те, что следят из окон комфортабельных квартир, машут руками: «Ничего не получится! Зря стараетесь!»

Иногда, от обиды и от выпитого, хотелось встать и, вежливо заплатив за угощение, уйти неизвестно куда. Но тут я вспоминал, что долларов у меня еще нет, а втягивать в этот конфликт нейтральные итальянские лиры было как-то неловко. Да и не было уверенности, что их хватит. Искусственно погасив благородный порыв, я с яростным отчаяньем налегал на еду и питье: пропадать так с музыкой! Мясо было удивительно нежным, и вскоре то, что было огромной черепахой, превратилось в лягушонка, которого я, однако, не собирался щадить.

Американка, сидевшая рядом со мной, протянула бокал, мы чокнулись и выпили. После этого она у меня спросила:

— Как вы относитесь к движению феминисток?

Я посмотрел на своего огромного застольца. Я уже успел убедиться, что он одинаково хорошо говорит и по-русски, и по-английски. Он кивнул головой, мол, буду переводить.

— У нас совсем другая задача,— сказал я.— Будь моя воля, я бы всех работающих женщин отправил домой к детям. Но, к сожалению, мы сегодня этого не можем сделать. Бедность.

По мере перевода лицо моей соседки леденело. Больше она со мной не чокалась и не смотрела в мою сторону. Оказывается, здесь с феминистками не принято говорить шутливым тоном. А я тогда этого еще не знал. Эта маленькая дамская идеология, как и всякая идеология, не терпит юмора.

Обиженная соседка недолго меня расстраивала. Джин с тоником продолжали подавать. Многие грехи западной цивилизации можно простить за изобретение этого чудесного напитка. Я сказал многие, а не все. Не ловите меня на слове.

Вдруг за разными столиками раздалось: «Джаз! Джаз! Джаз!» Некоторые вскочили с мест. Все решили ехать слушать джаз. Мне подумалось: вот так в добрые старые времена в России после ужина, возлияния и политических разговоров кто-нибудь говорил: «Поехали к цыганам!» — и все ехали.

Мы, вместе с хозяевами, гурьбой вышли из дому, разместились по машинам и поехали. В такие минуты всегда кажется, что именно этого не хватало для полноты счастья.

Мы приехали в какой-то клуб, расселись и вскоре услышали джаз. Он был громким. Он был очень громким. Он был неимоверно громким. И тем более удивительно, что, когда я в этом грохоте пару раз что-то сравнительно тихо (учитывая грохот) спрашивал у соседа, все на меня укоризненно оглядывались, как если б я на концерте Баха громко заговорил. Как они меня могли услышать — до сих пор для меня остается тайной.

Утром я проснулся в номере американской гостиницы и сразу же удивился ясности своей головы. Вот что значит чистый напиток! Я долго удивлялся ясности своей головы и только гораздо позже понял, что преувеличивал ясность своей головы по причине ее неполной ясности.

Я вскочил с постели и пошел умываться в ванную. Обливая лицо свое водой, я почувствовал, что мои босые ноги мокнут. Моя вера в американскую технику была столь велика, что я, продолжая умываться, принял ощущение мокнущих ног за похмельное явление, связанное с новым напитком, и несколько снизил свою оценку джина с тоником.

Однако, неторопливо умывшись и уже утираясь полотенцем, я вдруг заметил, что ванна залита водой и мои босые ноги в самом деле мокнут. Я пустил в умывальнике воду и, нагнувшись, заглянул под раковину: труба протекала. Совсем как у нас! О, родная Америка, проявляй маленькие слабости, так ты нам ближе!

Но недолго длилась моя радость. Я закрыл кран и вспомнил кошмарные сцены, связанные с собственной ванной. То засор, то вот так труба вдруг начинает протекать, то собственная небрежность.

Вспомнив об этом, я быстро оделся, взял с собой ключ и, не закрывая номера (полное неверие в технику), стал искать горничную. Вскоре нашел ее. Это была пожилая, полная негритянка. Показав на то, что случилось в ванне, я ткнул пальцем в пол в сторону администратора, сидевшего на первом этаже:

— Позвоните. Ремонт!

— Позвоните вы! — ткнула она пальцем в меня.

— Нет, позвоните вы! — ткнул я пальцем в нее.

Так мы некоторое время тыкали друг в друга пальцем, и в конце концов она куда-то ушла. Я решил, что переспорил ее и она сама сейчас пошла за слесарем. Вскоре она вернулась, но вместо слесаря привела южноамериканскую горничную, которая еще издали заговорила со мной по-испански. Видимо, первая горничная решила, что я испанец и только поэтому не могу найти с ней общий язык. Тут уж я ничего не понимал и перевел разговор на несколько более присущий мне английский язык.

— Позвоните вниз! Ремонт! — сказал я по-английски.

— Позвоните вы! — гневно ответила она мне по-английски и что-то обидчиво добавила по-испански, видимо, задетая в национальном чувстве за то, что я не хочу с ней говорить по-испански.

Так мы препирались некоторое время, когда раздался стук в дверь и в комнату вошел мой давний знакомый, известный одесский писатель. Когда-то мы с ним сотрудничали в «Неделе» и вместе поднимали ее тираж. Сейчас он живет в Нью-Йорке. Узнав, что делегация советских писателей приехала сюда, он решил повидаться со мной. Мы обнялись, и я ему поведал о своих маленьких ванных горестях. Мгновенно оценив обстановку, он, совершенно на американский лад выпятив нижнюю губу, сказал им несколько резких и точных слов. Обе горничные мирно притихли.

— Сами справятся,— сказал он и повел меня вниз.

— Как это ты так хорошо наловчился говорить по-английски? — спросил я.

— Позанимался бы, как я, по четырнадцать часов в сутки, говорил бы не хуже,— просто ответил он.

О, могучее, вдохновенное упорство сынов Израиля! Когда же мы научимся этому? Или когда они нас научат? Мы же научили их пить.

Оказывается, он десять лет назад, обложенный со всех сторон в родной Одессе, рванул в Америку. Здесь он невероятно бедствовал, но упрямо продолжал заниматься литературой. И его, наконец, признали. На это ушло десять лет. Но и признали хорошо. Сейчас он заключил несколько договоров на несколько книг.

В ближайшей аптеке он заказал мне очки, а потом повез обедать в китайский ресторан, где мы обо всем поговорили, как дети одного Черного моря и другого у нас явно не будет.

Уже после обеда, примеряя в аптеке новые очки, придававшие Америке четкую честность, я сказал:

— Как жаль, что мы уже пообедали в китайском ресторане. В этих очках я сумел бы рассмотреть все особенности затейливых китайских блюд.

— Не хочешь ли ты сказать, что мы должны и поужинать в китайском ресторане? — спросил он.

— Ты сказал,— пошутил я, намекая на его одесские бедствия, начавшиеся дерзким по тем временам откровенным увлечением библией.

— Никаких проблем,— согласился он и, посадив меня в свою машину, повез показывать Нью-Йорк. По дороге он время от времени крыл многоэтажным матом всех неловких или небрежных водителей.

С такой же молодой беспощадностью написаны его американские рассказы, где досталось всем — от жестких чиновников до еврейских богачей, скудных на помощь и щедрых на советы. Я их не видел, так пишет он.

О дальнейшем моем пребывании в Америке я расскажу в другой раз. А вы ждите, старайтесь создать для этого спокойную обстановку и помните, что слова о Нежелании Расставаться остаются в силе.

...Я отстучал на машинке последнюю фразу и попытался закурить, но, оказывается, в моей зажигалке кончился бензин. Его хватило как раз на этот рассказ, чтобы я, прерывая его, не бегал на кухню. В сущности, повезло. Я восстановил настроение. Прикурить можно и на кухне.

Уподобляясь неведомым богачам, даю совет. Если у вас плохое настроение, возьмитесь за какое-нибудь дело и обязательно сделайте его. В крайнем случае напишите рассказ или ловите рыбу, как тот официант, над которым я напрасно иронизировал. Ведь я не видел, каким он возвращался с рыбалки. А это главное.

Я пошел на кухню и прикурил от конфорки газовой плиты, как от головешки чегемского очага. Радио передавало «Персидскую песню» в исполнении Шаляпина. И это был подарок мне.

И я вспомнил дедушкин дом, вспомнил, как дядя Кязым прикуривал от очага. То сунет руку с цигаркой в самый жар, а чаще вытащит дымящуюся головешку, распрямится, большой, красивый, сумрачный, длинной затяжкой вытянет огонь в цигарку и небрежно забросит головешку в пыхнувший, вызвездивший искры огонь очага.

И угадывались в этом жесте то спокойная точность хозяина-сеятеля, то вдруг усталое презрение ко всему, что подтачивало и хозяйство, и дом, и всех его обитателей. А Шаляпин поет «Персидскую песню». И кажется, все живы, потому что жили, шумели, смеялись, плакали вокруг этого очага... О, если б навеки так было... А почему бы нет, почему бы?

Анатолий Генатулин

УЗБЕК

РАССКАЗ

Война началась и — не кончалась, как надеялись, скорой и веселой победой, а, разгораясь и ужесточаясь, призвала на свои кровавые поля всех работящих мужиков из деревни и выгребла весь хлеб подчистую, вошла в людскую жизнь бессонной тревогой и горем. В деревню вползал голод, уже пробавлялись состряпанными бог знает из каких отходов, черными, как земля, несытыми лепешками. Держались на молоке и картошке. По весне бросились на луга, поля, леса рвать дикий лук, кислицу и еще какие-то съедобные коренья и травы. Но никто еще не мог предвидеть, что через год-два, забив отощавшую скотину и съев семенную картошку, люди начнут пухнуть от голода.

Я, пятнадцатилетний подросток, прочитал книжку «Ташкент — город хлебный» и понял, что в этом самом Ташкенте хлеба — ешь не хочу. И решил, как тот Мишка Додонов, смотаться в Среднюю Азию. Засунув за пазуху лепешку и прихватив из бабушкиного курятника два яйца, я вышел из дерёвни и босой зашагал в ту сторону, где, в моем представлении, в голубом мареве среди яблоневых и хурмовых садов белел веселыми домами теплый и хлебный Ташкент.

Я не боялся чужбины. Наверное, не только потому, что по мальчишескому недомыслию не представлял себе мытарства дальних дорог и превратности бездомной жизни среди чужих, но и по своей сиротской отчаянности и неприкаянности считал, что терять мне нечего — не оставлял в деревне ни мать, ни отца, ни добра нажитого. А бабушка, не любившая меня, неслуха, лентяя и чокнутого книгочея, вряд ли долго будет по мне кручиниться.

Дорога привела меня на Марганцевый рудник в семи верстах от деревни. Из рудника возили в Магнитогорск марганцевую руду. Заплатив двумя яйцами из бабушкиного курятника молчаливому шоферу, я забрался вечером в кабину грузовика и под утро был высажен на железнодорожном вокзале города Магнитогорска.

Лепешку свою я в тот же день съел. Денег у меня, ясное дело, не было. В моем тощем теле напрягся и стервенел голод. Околачиваясь возле вокзала, я углядел в ближних окрестностях огороды. Меж грядок на скошенной меже темнел стожок. Решив, что лучшего места для ночлега не найти, я подкопал в сене норку и угнездился в ней. Стог этот, согревший меня душистым теплом, был, пожалуй, самым приютным и почти по-деревенски родным местом в холодной ночной пустыне. Тихо восходила луна, в отдалении вздыхал город.

Утром встал с мыслью о том, что надо бы скорее узнать, какой поезд отправляется в Ташкент, и уехать, уцепившись как-нибудь за вагон.

Голод сделал меня зорким и чутким ко всяким запахам. Мучительный запах еды источала открытая веранда то ли буфета, то ли ресторана. Там за круглыми столиками по-городскому чисто одетые люди поедали из тарелок незнакомую мне пищу. Встав в сторонке, как голодный волк за овечьим стадом, я глаз не спускал с их тарелок и кусочков черного хлеба. И заметил, что некоторые, не доев, оставляют в тарелках несколько ложек супа, еще какой-то еды и хлебные объедки. Веранду от привокзальной площади отделяла лишь невысокая деревянная оградка, за которую мне, голодному оборванцу, бессмысленно было соваться без гроша в кармане. Но ведь еда

оставалась, и официантка уносила куда-то тарелки с остатками пищи, сложив их вместе. Я перемахнул оградку и, слив из двух тарелок остатки супа, быстро проглотил через край, затем, сунув в карман куски хлеба, сиганул обратно. Кажется, никто не заметил или попросту не обратил внимания. Но теперь я еще больше захотел есть, жрать. И снова стал наблюдать, не оставит ли кто-нибудь еще чего. И тут подошел ко мне какой-то паренек. Белобрысый, с большими водянисто-голубыми глазами и белыми, как у теленка, ресницами. Малорослый, тщедушный — соплей перешибешь, но годами, видно, старше меня. Лицо его, костистое от худобы и в рыжих конопушках, с толстыми потрескавшимися губами и облупленным носом, было броско некрасиво. Я насторожился, но не углядел на этом лице ни злобы, ни угрозы, ни неприязни.

— На воле живешь? — спросил он сиплым голосом, показав рыжие от табака зубы.

— Да, — ответил я, догадавшись о смысле впервые услышанного слова «воля». Русскую речь я понимал и даже мог говорить с горем пополам, или, как у нас говорят, — «на хлеб-соль». — Я из деревни приехал.

— А, колхозный малайка. Воровать умеешь?

— Нет.

— Как же ты живешь на воле, если не умеешь воровать? Кусочничаешь, поди.

Я понял, хотя и это слово слышал впервые — я ведь только что кусочничал.

— Жрать хочешь? — спросил он. — Идем, не робей, меня тут знают.

Мы прошли на веранду, присели к свободному столику. Официантка, которую паренек назвал тетей Машей, принесла супу, а когда поели, мой благодетель вынул из кармана пухлый кожаный кошелек, достал червонец и отдал официантке.

— Пошамали, теперь махнем на майдан, — сказал он. — Как тебя звать?

— Талгат.

— А я Вася. Ну, я тебя Толиком буду звать.

Майдан по-нашему, на языке моей деревни — это сабантуй или, вернее, место, где происходит сабантуй. И я спросил, куда, на какой майдан, он хочет меня вести.

— На базар. Воровать будем, — ответил он, — притыривать мне будешь.

Нельзя сказать, что до этого я никогда ничего не крал. Таскал же я из бабушкиного курятника яички и менял в сельмаге на рыболовные крючки или лазил в чужие огороды за огурцами, но здесь, в городе, я боялся воровать, не знал, чтó здесь можно украсть и что такое притыривать. Но не мог я не ухватиться за человека, как бы посланного мне судьбой в трудную минуту, когда от голода я начал позорно кусочничать.

— А если поймают?

— Поймают — колония. А мне не привыкать. Я только что оттуда, в Златоусте срок отбывал. Я боюсь, только когда меня бьют. Я ведь дохленький, меня можно запросто забить насмерть. А ты не боись. Если что, я крикну «атанде» и ты давай дёру. Да за притырку тебе ничего не будет. Ты держись за меня. Сыт будешь. А то я один не могу. У меня куриная слепота. Как вечер, ни хрена не вижу.

— Ну я же в Ташкент хочу ехать. Давай поедем вместе.

— Поедем. Только ближе к осени. А пока здесь поживем. Здесь народ не битый, ворья нет.

Мы пошли к трамвайной остановке. Я еще ни разу не видел трамвая. Там, на остановке, угрюмясь, толпился народ. Вася, одетый лучше меня — в старенькой, великоватом и обвисшем на его костлявом тельце пиджачке, брюках без заплаток и ботинках, особенно не отличался от честных трудящихся.

— Вот идет трамвай, — сказал мне Вася. — Мы на этом не поедем, не старайся влезть. — Он вынул из кармана кошелек и отдал мне, — если попутают, все равно отберут, держи при себе.

Нет, у меня не было низкого желания, чтобы его схватили, я просто подумал, допускал мысль, что его впрямь могут схватить, тогда кошелек с деньгами останется у меня, и я укачу в Ташкент.

Подошел трамвай, длинный желтый вагон, в окнах которого застыли плотно стиснутые и равнодушные к наружной жизни тусклые люди. Народ, стоявший на остановке, ринулся к дверям, скучился, затолкался, закупоривая телами дверные проемы, и стал судорожно вжиматься в трамвайную утробу, и без того битком набитую. Вася, нырнув в эту толчею, подхваченный ею, крутился, дергался в тесноте, но как будто его выталкивало, выкручивало оттуда или как будто он передумал садиться и выбирался назад и при этом, я заметил, как бы нечаянно просовывал руки между телами и незаметно ощупывал карманы нечутких в толкотне к посторонним прикосновениям людей. Наконец Вася выбрался, толпа втиснулась в трамвай, зависла в дверях и уехала. Вася достал из кармана потертый кожаный кошелек и сказал, оскалив табачные зубы:

— Видал, какой лопатник насунул.

Вынул деньги, а кошелек с какими-то бумагами бросил тут же на трамвайной остановке.

На следующем трамвае мы поехали на базар.

Хотя и шла война, базары Южного Урала еще не оскудели окончательно. Шумел базар Магнитогорска многолюдьем, ходил народ, присматривался, приценивался, но покупалось мало — все было дорого. И хлеб был очень дорог. Его продавали небольшими кусками, редко целой буханкой. Покупали, не торгуясь, рвали из рук, особенно смуглые люди в четырехгранных пегих тюбетейках, вышитых по черному вельвету белым шелком. Вася объяснил, что это узбеки, трудармейцы.

Мы купили хлеба, я выдул литр молока и, повеселев, понял, что, оказывается, и на воле жить можно, если умеешь воровать. Вася же молока не стал пить, пожевал только хлебца, сказал, что у него хронический понос, что бы он ни ел, все без проку идет насквозь. То и дело он бегал в уборную или, если очень приспичит, садился за дощатыми лавками, тужился, пучился, стонал и при этом у него из зада вылезало и повисало что-то розовое. Вася объяснил, что это у него прямая кишка выпадает, что это от тюряги.

Потом мы воровали. Я притыривал, то есть толкался, мешал, как учил Вася, как будто покупать чего-то собирался, приценивался — этот нехитрый воровской прием я освоил быстро. А Вася в это время рыскал по чужим карманам, по дамским ридикюлям, ловко и нагло. Его худенькие, пронырливые руки искали добычу, а у меня поджилки тряслись. В этот день ему удалось лишь насунуть у одного хорошо одетого мужика, которого он назвал фраером, портсигар, полный папирос, и он радовался как ребенок, табак ему был слаще любой пищи.

Наступил еще один вечер моей вольной жизни. Я был сыт, но к ночи озаботился ночлегом. Я спросил у Васи, где он ночует. Вася ответил, что где придется, где застанут его сумерки, потому как в сумерках он слепнет, часто ночует тут же на базаре, устраивается в лавчонках.

— Лучше давай поедем на вокзал, — сказал я.

— Не, на вокзал я прихожу только пожрать. Спать нет. Легавый гоняет.

— Там на огороде стог. Будем спать под стогом. Там тепло.

И вот мы едем на вокзал. Пока доехали, засмеркалось. Вася беспомощно моргал белыми ресницами, смотрел в пустоту. Куда подевались его дневное проворство и хищная нацеленность к чужому добру; и без того тщедушный, теперь он казался вовсе жалким и больным, даже говорил как-то похныкивая. Я вел его за руку. Спросил, есть ли у него родители. Родителей у него не было, беспризорник, детдомовец, четыре года колонии отбухал.

— Ты бы не воровал, а работать пошел, — сказал я.

— Какая с меня работа. Я же доходяга. Видно, не жилец я на этом свете. Хорошо бы сдохнуть на воле.

Перелезли изгородь. Под стогом в сене я выкопал нору. Мы легли на сухое, хорошо пахнущее жарким летом и сладкой травяной прелью сено и зарылись в него. Вася еще немного похныкал и заснул. Я долго лежал с открытыми глазами, жгуче переживая свое теперешнее положение. Два дня как я из деревни, следы моих босых ног еще не затоптаны на деревенской улице, а как будто уже отделяют меня от прежней жизни прожитые и полузабытые годы. На окраине большого города, о котором только позав-

чера еще я знать не знал, лежу на чужом огороде под стогом рядом с карманным вором и тюрягой, который раньше не мог присниться мне даже в кошмарном сне. Восходила луна, красновато-оранжевая, огромная. Она казалась мне зорким оком судьбы, печально следящим, как деревенский мальчишка, оторвавшись от теплого берега детства, уплывает по холодной реке жизни в неведомые дали. Луна, наверное, глядит сейчас и на мою деревню, на бабушкину избу, куда я никогда не вернусь. Где-то далеко на западе громыхает война, которая все равно кончится, пока я повзрослею. Я еще не мог знать, что скоро, прибавив себе два года, я получу паспорт, через год буду шагать в солдатском строю, а семнадцатилетним поднимусь в первую атаку.

Так я остался жить с карманным вором Васей в городе Магнитогорске, где народ еще был «не битый», потому как не было ворья.

Денежки у нас водились, я был сыт. Кошелек с деньгами держал при себе. Вася никогда не пересчитывал добытые деньги, а я, хитрый деревенский паренек, из каждой добычи несколько червонцев припрятывал впрок, прорезал бритвой поясок на брюках и, свернув деньги в трубочку, просовывал в прореху.

Постепенно я освоился с воровским ремеслом, хотя, правда, был всего лишь подсобником у Васи, притыривал или отвлекал какого-нибудь ротозея, но уже без страха, даже наглея. Знал уже много слов из воровского жаргона, как, к примеру, лопатник насунуть, прахаря, шкаряты, угол отвернуть и так далее.

Но с некоторого времени меня стало тяготить, что я у Васи только подсобник или как бы даже у него на иждивении. Хотелось и самому добывать деньги, да ведь Васю могут схватить, тогда я останусь один и, не имея Васиной ловкости и дерзости, что буду делать? Голодать, кусочничать? К тому же, насунув лопатник с червонцами, хотелось похвастаться перед Васей, дескать, гляди, я тоже парень не промах.

И вот однажды я увидел, как возле мужика, продающего буханку белого хлеба, затолкался народ. Мужик этот едва успел вынуть хлеб из сумки, как несколько человек отчаянно рванулись к нему. Тесня друг друга, тянули руки с деньгами, и то ли торговались, то ли мужик не знал, кому продать буханку, но с минуту шла бестолковая толкотня. Среди толкающихся я углядел узбека — трудармейца, который очень уж усердно пробивался к хлебу. И вдруг заметил торчащий из нагрудного кармана его рабочей куртки рыжий дерматиновый бумажник. И тут же, не мешкая, сунулся в толпу. Пер левым боком, как это делал Вася, выставив локоть, а из-под него другой рукой почти дотянулся до бумажника. Вот он рядом, вожделенный, набитый деньгами, карман не глубок, и бумажник торчит почти наполовину. Узбек что-то лопотал, сердце у меня трепыхалось, наконец, ухватив бумажник двумя пальцами, легко вытащил, спрятал под рубашку, болтающуюся навыпуск, и — прочь от толпы.

— Я лопатник насунул,— сообщил я, подойдя к Васе.

— Молодец!

Я был горд, я был очень горд, что вытащил бумажник и угодил Васе. Мы отошли за торговые ряды. В бумажнике были деньги, много денег, и еще какая-то напечатанная бумажка.

— Хлебная карточка,— сказал Вася.— Загоним.

Потом мы пошли по базару и оказались на том же месте, где я давеча вытащил деньги у узбека. Там кучка людей сторонне и молча глазела на кого-то кричащего. Подойдя поближе, я увидел того самого трудармейца в тюбетейке. С искаженным от горя и плача лицом, вглядываясь в окруживших его людей, затравленно и с безнадежной мольбой, то разводя руки в стороны, то поднося к тюбетейке, он выкрикивал непонятные слова, из которых я понял только «карточка, карточка». У него была небольшая бородка с проседью, смуглое лицо, сильно загорелая шея в морщинах и большие темные руки много работавшего человека. «Карточка, карточка!» — рыдал он.

Когда мы отошли, Вася сказал:

— Хана теперь узбеку, новую карточку ему до конца месяца не выдадут, денег нет, ложись и помирай.

— Давай вернем ему бумажник,— сказал я, осознав вдруг погибельную участь узбека.

— Х...! — выругался Вася, показав рукой ниже пупка.

— Жалко человека,— сказал я.

— Первый раз насунул лопатник и уже пожалел,— говорил Вася.— А нас с тобой кто-нибудь жалеет? Ты думаешь, он тебе спасибо скажет? Он тебя изобьет и к легавому поволокет.

— Вася, давай вернем ему бумажник,— настаивал я.

— Иди ты!..— снова выругался Вася, его лицо доходяги сделалось свирепым, синие глаза блеснули холодным металлом, передо мной стоял урка, вор, не ведающий совести, безжалостный к своим жертвам.— Уйди, падла, от меня, если ты такой жалостливый, возвращайся в свой колхоз, деревня!

И ушел.

Я стоял как побитый, с нестерпимой обидой и тоской в душе, побрел куда-то, лег ничком на траву, прохладную, пахнущую родной деревней, недавним детством, и заплакал. Припав щекой к траве, всхлипывал, жалея узбека, оставшегося из-за моей подлости без крошки хлеба в чужом краю, на тяжелой работе. Вот стоит он у меня перед глазами в этой своей тюбетейке и плачет, молит безответную базарную толпу, которая ничем уже помочь ему не может, и проклинает того, кто лишил его денег и хлебной карточки. Плакал, жалея себя, сироту, затерявшегося в каменном городе, где нет ни одной родной души. Плакал, думая, что теперь я человек пропащий, конченый, потому что связался с вором, остервеневшим от тюрьмы и звериной жизни на воле, и сам стал вором. Уеду в Ташкент, думал я, завтра же уеду, там честным трудом буду зарабатывать свой хлеб. Или, может, вернуться в деревню, начинал я колебаться, вспоминая пусть и голодную, но единственную, породившую и вскормившую меня ржаным хлебом, дедовскую землю.

Кто-то мягко ткнул меня в плечо, и я услышал над ухом сиплый голос Васи:

— Ну ладно. Будет тебе переживать из-за ерунды. Пойдем лучше пожрем.

Я понял, что он вернулся, потому что ему, слепнувшему в сумерках доходяге, не обойтись без меня; к тому же, наверное, он по-своему привязался ко мне. Голос его звучал ласково, дружески. И я сдался. Я даже обрадовался, что он подошел ко мне сам — я ведь хотел этого, ждал, потому что я ведь тоже был зависим от него и боялся остаться в чужом городе в одиночестве.

Больше я ни разу не тянулся к чужим кошелькам. Но, само собой, ел ворованное. Пусть не мной, но все же добытое неправедно за счет чужого несчастья и проклятое. Понимая все это, пытался не углубляться в свои переживания и даже оправдывал себя тем, что я сирота, не умирать же мне от голода под забором в пыльных лопухах, что, вот как только доберусь до Ташкента, начну честную жизнь. И иждивенцем Васи больше не считал себя, потому что Вася нуждался во мне, а раз так — пускай кормит. Так моя когда-то простая, чистая деревенская душа стала черстветь, глохнуть к воплям и стонам окружающей людской жизни. Но рыдающий узбек еще долго стоял перед глазами.

Я еще не знал, что это, может, один из самых тяжких моих грехов за всю жизнь, что не искуплю вину перед узбеком ни тяжелой судьбой и страданиями, ни потным трудом, ни даже пролитой на войне кровью...

В августе, когда южноуральские ночи сделались темными, стылыми, стали перепадать холодные дожди, мы подались в теплые края, в Ташкент. Ехали как придется, то на крыше, то на подножках, иногда удавалось пробраться в вагон, ехали, пока проводник, заметив нас, не вышвыривал на остановке. Сошли в Соль-Илецке, несколько дней околачивались на базаре. Базар был хотя и небольшой, но богаче магнитогорского. Здесь я впервые в жизни отведал арбуза. Вася опять насунул лопатник и деньги отдал мне, а я несколько червонцев припрятал в прорехе брючного пояса. Потом Васю схватили, его бил толстомордый усатый мужик, повалил на землю и стал убивать ногами в сапогах. Тощенький и легкий Вася от каждого удара подскакивал и перекатывался по базарной пыли, как тряпичная кукла. Я стоял в толпе, кровожадно сочувствующей тому мужику, видел, как Васю убивают, даже поймал его затравленный, то ли прощающийся со мной, то ли молящий о помощи взгляд, но ничем не мог помочь ему. Тут

появился легавый и куда-то повел, вернее, поволок окровавленного, еле державшегося на ногах Васю, наверное, в тюрьму. Я еще два дня ждал его в Соль-Илецке, и, не дождавшись, подался дальше на юг. Васю было жалко — очень уж он был дохлый и хворый, наверное, впрямь не жилец на свете. Но в низкой глубине души притаилась мелкая радость — оторвался от него наконец, а то ведь когда-нибудь вот так и меня. Да и деньги остались у меня. Хватит доехать до Ташкента, а там я не пропаду.

Долго ехал на товарняке, желтая безбрежная степь с белесыми солончаками, таинственными курганами, кружась, уплывала назад; впереди на горизонте мерцало большое озеро, а когда поезд приближался, оно то отступало дальше к горизонту, то исчезало, словно испарившись. Это в знойной казахской степи играли, перекатывались дивные миражи.

Потом на каком-то полустанке перебрался на пассажирский. Ночью поезд шел без огней. И вагоны, тот, в котором я ехал, и соседние, были пустые. Странный это был поезд. Гулко громыхая, он мчался, слившись со степной тьмой, почти без людей и, казалось, пущенный по откосу земли, скатывается в черную пропасть. Кроме меня, в пустом вагоне ехала только старая, и, видно, больная женщина. Ехала с какими-то узлами, кастрюлями, чугунками. Полулежа на узлах, она постанывала. Я подошел к ней и в слабом оконном свете разглядел очень худое лицо и встретился с большими черными провалами глаз, в которых было столько боли, тоски, затравленности, что я, опешив, отошел на свое место. По темным вагонам рыскали, сбившись в стаю, как бездомные голодные псы, беспризорные, одичавшие подростки. Рослый, в надвинутой на глаза кепке, парень зажег спички и осветил женщину.

— Ага, жидовка, в Ташкент бежит,— сказал он взрослым баском («жидовку» я понял как неизвестное мне ругательство).— А ну, шакалы, займитесь мадамой.

Шакалы налетели на женщину, кто-то выдирал из-под нее узел, кто-то гремел кастрюлями. Женщина закричала дурным голосом и стала гортанно ругаться, мешая русские и нерусские слова, и намертво вцепившись в свое добро.

— Уйди, хулиган, бандит! У меня ничего нет, кроме вшей!

— Ребята, не трожьте ее, она больная,— подал голос я.

— А ты кто таков? Тоже в Ташкент бежишь? — пошел на меня рослый. Я вблизи разглядел его тяжелую морду.

— Я уральский вор,— тут же придумал я, наверное, для того, чтобы они меня зауважали.

— Уральский вор?! — парень хохотнул.— Шакалы, вы видали когда-нибудь уральского вора? Глядите, вот он. Пшел, падла, а то сейчас в лоб закатаю!

Я отошел. Обшарив узлы под крики и стоны женщины, раскидав вещи, шакалы удалились в другие вагоны.

Поезд грохотал дальше, колеса выстукивали: «Ташкент, Ташкент». Ташкент был городом зеленым и теплым, но как во всех городах, охваченных невзгодой военной поры, хлеба там было не вдоволь. Хотя здесь и глубокий тыл, во всем чувствовались судороги, тревоги и надсада войны, война лежала серой тенью на морщинах людей, темнела в их настороженных глазах, как бы прислушивающихся к далекому кровавому гулу.

Червонцы мои быстро истаяли. Я ведь впервые видел виноград, хурму и орехи. Все хотелось попробовать, все это было дорого.

Потом на Алайском базаре я угодил в облаву, и нас, несколько базарных шакалов, повели куда-то легавые. Я решил, что ведут за колючую проволоку и пустился наутек в узкий боковой переулок.

Я слышал от базарных огольцов, что в Самарканде базар лучше, узбеки не битые, меньше урок и легавых почти нет. И на товарняке покатил в Самарканд, но, проехав какое-то расстояние, сошел на узловой станции Урсатьевск, просто из любопытства — что за городок, да еще надеясь раздобыть еду. Не мог же я предвидеть, что этот небольшой районный городок войдет в мою судьбу, его название будет выведено в моем первом паспорте, потом на всю жизнь останется в военном билете: призван Райвоенкоматом города Урсатьевска Каукменского района.

Это был тихий городок с двумя-тремя кирпичными одноэтажными или двухэтажными домами в центре, по окраинам же тесно лепились низкие и плоские саманные домики с яблоневыми садиками, виноградниками за рыжими дувалами, а вокруг лежала выжженная желтая степь с верблюжьими колючками и летучими призраками перекати-поля. На юге громоздились миражи гор со снежными макушками, до которых сквозь прозрачный воздух, казалось, километров семь, а на самом деле было все семьдесят. Урсатьевск мне понравился, и я решил там задержаться на какое-то время. Обосновался на базаре. Дни проводил в толчее, праздно шатаясь меж лавчонок и прилавков, прицениваясь от нечего делать к разной дорогой снеди: «Ничпуль, ничпуль?» А для ночлега облюбовал на путях в тупике пустые вагоны.

В Урсатьевске проел наконец все свои деньги. Купил у узбечки на последние рубли лепешку, съел и снова остался наедине с голодом. Надо было добыть еду, любым способом, или свалиться у дувала на жухлую траву и покорно подыхать. Увидел на базаре горы арбузов, арбузы лежали просто на земле, один на одном, их было очень много, а рядом вроде никого. И вот я, подхлестнутый голодом или, может, теряющий рассудок, второй раз в жизни решился на воровство. Проходя мимо арбузной груды, я взял арбуз и как ни в чем не бывало зашагал дальше. Сначала услышал за собой торопливый топот, затем — увесистый удар по спине. Арбуз выпал, разбился, я упал и увидел над собой темное гневное лицо и горевшие черным огнем глаза. Он еще раз ударил меня, лежащего, мягким сапогом, а когда я вскочил на ноги, схватил крепко за шиворот и, ругаясь, поволок. Я понял: в милицию. Попался-таки, теперь не миновать мне кутузки. Тут я вдруг вспомнил, что ведь я башкир, значит, одной веры с этим узбеком. Вспомнил и взмолился, мешая башкирские и узбекские слова:

— Ака, отпусти меня! Я мусульман, мусульман!

Он остановился и взглянул на меня попристальней, то ли удивленно, то ли сомневаясь.

— Если мусульман, зачем воруешь? — сказал он.— Лучше проси, если голоден. Дадут. Иди, больше не воруй.

И отпустил.

Голод погнал меня на окраину города, где были яблоневые сады. Если сорву несколько яблок, не такое уж это воровство. В голубом зное желтые саманные дома без окон на узкую улицу казались вымершими. Южные островерхие и картинно округлые деревья в жесткой глянцевитой листве стояли, не шелохнувшись, отбрасывая на стены, на дувалы, на рыжую уличную пыль четкие прохладные тени. Звенело в ушах, откуда-то из глубины пропеченных солнцем саманных гнезд доносилось верещание детей, их стеклянные голоса вызывали во мне ощущение, похожее на оскомину. Дремотно пожуркивал вдоль улицы арык.

Из-за дувала я заглядывал во дворы. Яблони были обобраны. Наконец в одном дворе увидел дерево со спелыми плодами. Открыл шаткую калитку и проскользнул во двор. Казалось, ни души — все попрятались от зноя в саманных щелях. Яблоня с плодами стояла в глубине двора. Добрался до яблони и только протянул руку к вожделенному краснобокому плоду, как вдруг кто-то рядом крякнул. Я замер и, прежде чем дать тягу, заметил человека, сидящего на терраске. Пожилой узбек, сложив ноги, сидел на кошме и спокойно глядел на меня. Перед ним стоял заварочный чайник с розовым цветком на боку, пиала и лежало несколько лепешек. У него была небольшая бородка с проседью, а на голове тюбетейка с белой вышивкой. На какое-то мгновение мне почудилось, что это тот самый узбек-трудармеец, у которого я в Магнитогорске украл хлебную карточку.

Надо было смываться, но тут я вспомнил узбека, который поколотил меня и в назидание сказал: «Лучше проси, дадут», и подошел к терраске. Я не просил, не протягивал руку, а просто смотрел на узбека. Что может быть выразительней и понятней взгляда голодного человека. Старик прихлебывал из пиалы чай и искоса поглядывал на меня всепонимающими глазами. Потом вдруг встал, шагнул в глубину дома и вышел оттуда с ведром. Сунул мне ведро и, показав рукой на яму посреди двора, на дне которой от жары потрескалась глина, сказал:

— Арык вода таскай.

Я понял и стал носить в яму воду из арыка. Яма была глубиной чуть больше полуметра, а шириной примерно два на один. Сколько же ведер воды надо было натаскать, чтобы заполнить ее до краев! Я таскал. Ведер я

не считал. Мне казалось, что я ношу эту воду целую вечность, а яма не заполнилась еще и до половины. Темнело в глазах, звенело в ушах. Только надежда, что после окончания работы старик разрешит мне сорвать несколько яблок, держала меня на ногах. Бросить, уйти, поискать где-нибудь другой сад? А если там тоже на терраске сидит хозяин? И вот когда до краев ямы осталось с вершок, старик поманил меня рукой на терраску и показал жестом, чтобы я сел на кошму. Когда я сел, поставил передо мной пиалу с чаем и положил одну лепешку.

Ох уж эти узбекские лепешки! Округлые, тонкие, с пузырящейся нежной мякотью посредине, а по краям прокаленной хрустящей корочкой, с запахами печного жара и пшеничной муки. Кажется, никогда я не ел ничего вкуснее этих лепешек.

Когда я съел лепешку и выпил чаю (конечно, не наелся, мало того, жрать захотелось еще больше), старик сорвал несколько яблок и протянул мне. Поблагодарив его («рахмат»), я пошел со двора, но далеко не удалился, лег в тени дувала на теплую землю, съел яблоко и тут же заснул.

На другой день голод снова погнал меня на ту же улицу. Я думал, что у узбека, наверное, снова найдется какая-нибудь работенка. Он сидел на терраске и пил чай. Я подошел, поздоровался по-русски, потому что еще не знал, как по-узбекски «здравствуйте». Он, конечно, узнал меня, понял, зачем я опять препожаловал, но как будто остался безучастным. Я стоял, смотрел на него, а он, не глядя на меня, что-то озабоченно соображал. Потом встал, вынес мне уже знакомое ведро и сказал:

— Выливай вода арык.

Только на миг у меня мелькнуло, какой же смысл в этом — вчера натаскал полную яму, а сегодня выливай обратно? Но я был голоден, не до рассуждений мне было.

Когда дочерпал воду до глинистого дна, узбек, как и вчера, пригласил меня на кошму, налил чаю, дал лепешку и сорвал несколько яблок.

Назавтра я, голодный, снова подумывал об узбеке и его лепешке. Но вдруг понял, что не могу больше идти к нему, что он снова скажет: «Арык вода таскай». Не потому решил не ходить, что два дня делал работу, угнетающую меня своей бессмысленностью, а потому, что своим еще незорким умом все же постиг смысл этой бессмысленности.

Потом, проходя мимо белого одноэтажного дома, увидел вывеску: ФЗО. Моего соседа Гарифа, мальчика старше меня, забрали весной в ФЗО, через месяц он сбежал в деревню. Когда за ним из района приходил милиционер, Гариф прятался в бурьяне за огородами. От него я узнал, что в ФЗО кормят и учат работать. И вот теперь, решив, что ФЗО для меня самое подходящее место, я вошел в дверь и, спросив у парнишки, одетого в черную форму, где начальник, очутился перед немолодым человеком в железнодорожном кителе.

— Весь Советский Союз небось исколесил, — сказал он, угрюмо поглядев на мои босые ноги. — Сколько лет тебе?

— Семнадцать, — соврал я, прибавив два года.

Начальник оглядел меня недоверчиво, помолчал, сомневаясь.

— Паспорт есть?

У меня, деревенского мальчишки, да еще пятнадцати лет от роду, конечно, не было и не могло быть паспорта.

— Нет.

Начальник озабоченно подумал и сказал:

— Ладно, я тебя приму, но обмундирования пока не дам. А то, понимаешь, получишь новые ботинки и смоешься. У меня уже были такие.

— Не смоюсь, — ответил я.

В этих ботинках через полгода смылся я на войну.

Александр Зорин

БЛАГОВЕСТ

Весть

Стеной отгородитесь вы,
броней... избежите едва ли
психических волн, аномалий
флюидного поля Москвы.

В клубке оголенных проблем
любой — намагниченно-взвинчен.
Стал до осязанья привычен
шуршащий, свистящий Мальстрем.

Но есть же преграда ему!
Мир светлому дому сему...
Чуть брезжит окошко в тумане.
Уж за полночь. Христиане
расходятся по одному.

Как слушал апостола Рим,
теснившийся в инсулах, чтобы
спастись. Как святой Серафим
Российские плавил сугробы
и Спасу цветами кадил, —
так верную весть Гавриил
приносит в высотки, в хрущобы.

Приносит и через порог,
и с музыкой сквозь потолок,
и с грохотом по водостокам.
Толкает чудесный челнок —
хитон еще новый не соткан.
Тот самый, что небо и землю
покроет сияющей сенью.

И хоть сатана побежден,
а все же в агонии страшен.
Не сдаст без сражения он
своих циклопических башен.

Здесь мирного не было дня.
Здесь гибнет и гибнет живое.
Здесь самое жало огня.
Здесь самое месиво боя.

Но весть, как стрела с тетивы,
слетает под блочные своды.
Чтоб встали сквозь камни, сквозь годы,
сквозь темное поле Москвы
ее оперенные всходы.

1981

Благовест

Это убогая Марфа звонит.
Малые колокола навзрыд
заходятся. Главный колокол строго
сдерживает их.
Будто подает совет.
Это скованные уста наконец отворяет рассвет.
Руку ее узнаю издалёка
единственную —
правой у Марфы нет.
Самая бойкая среди старух расторопных.
По храму летает, как ангел с подбитым крылом.
А давно ли врачи, искромсав ее и заштопав
грамотно, — списали в утиль, в инвалидный дом.
Однако вот прижилась.
Точнее сказать, воскресла.
Подвизается алтарницей из последних оставшихся жил.
Оглашает округу Христова невеста,
благо, райисполком разрешил.
Тянутся к ранней жакеты, платки и косынки.
Молодость — искалечила,
старость — превозмогла.
Может быть, и по ним,
упавшим над пропастью,
как по качающейся жердинке,
вера к нам перешла.

И. Бунину

«Да и сам народ будет впоследствии валить всё на другого — на соседа и на еврея: «Что ж я? Что Илья, то и я. Это нас жиды на всё это дело подбили».

Бунин. «Окаянные дни»

Выстроились окаянные дни
сплошь — в окаянные годы.
Мы ли не выкормыши искони
этой свирепой свободы!

Смрадом которой и вас обожгло...
Грибоподобною тенью
облако вспухло... А в гены вошло
в нашем уже поколенье.

Можем ли мы, в коммунальных углах
скопом взращенные, сбродом,
без колебаний отринувши страх
Божий, — считаться народом?..

Нет. Но останется горстка, щепоть
верных — над огненным краем...
Что о России замыслил Господь,
мы лишь тогда и узнаем.

1982

* * *

В пустынной скифии, в облупленном Загорске
гремит оркестр на празднике Труда.
Раскосый лик красуется в киоске.
И пауком на фресковой известке
приляпана пузатая звезда.

В ворота Лавры, на музей похожей,
течет колонна за колонной. Сквер
пылит, как плац. Поскрипывая кожей,
стоит патруль, лубочно-красиорожий.
И рядом рыжий милиционер.

На солнышке мужик нетерпеливый
открыто содит из горлá кагор.
Былого гула долгие наплывы
уносят в небо Троицкий собор.

Он там струится в святости и силе...
А здесь, к нему отыскивая путь,
Советчина, Татарщина, Россия
пересеклись острей, чем где-нибудь.

1983

Смена фамилий

Махнули железной метлой,
копнули могильной лопатой,
культурный разрушили слой,
насыпав повыше — горой, —
слой глинистый, комковатый.

Обрубок корней или злак,
который комком придавило,
глубокий изведали мрак...
Но нечего сетовать — так,
видать, Провидению было
угодно. Горлаинить горазд,
лег сверху, подмяв без усилий
все прочие — низменный пласт.

Не выдумает и фантаст
таких троглодитских фамилий,
себя оправдавших не раз.

Начальник стройтреста Каюк.
Майор опергруппы Огузков.
Поскребышев, Хват, Кровопусков,
Тупицын, Балдин, Саранюк.

О, Господи! Несть им числа...
И вот, из гнилого угла
на выгодный пост свой, на выпас,
еще один Выползов выполз.

Примета времени

Могильщик честно послужить готов.
Сложил умело толстый сноп цветов,
Прицелился, не разгибая спину,
И заступом отсек наполовину.
И запихнул в рассевшуюся глину
Коротыши,
Принмяв ее с боков.
— Целее будут, — молвил простодушно.
И принял налитый стакан послушно.

Премьера

Театр ассамблеей блещет.
Вся в ожидании трепещет
Европа. Старый, Новый Свет —
глядят в бинокль и в лорнет.

Ждут. Шепот. Ропот бесполезный
ползет по бархату. Видна
лишь кумачовая стена —
недвижный занавес железный.

Но стук, но бряк, но крик сквозь плот-
ный занавес — идей оплот —
свидетельствуют несомненно
почтенной публике, что сцена
предстать готовится вот-вот.

А там — давно вовсю идет
невиданного размаха
трагедия. Топор и плаха —
не реквизит. Ум вопиет.
И страхом перекошен рот.

А публика всё ждет и ждет...

Театр тонет в гуле, в гаме...
Оскорблена, стучит ногами
галерка — справедливость где ж!..
Вдруг свет померк...
О, свет в бедламе...

Разодралась завеса в храме
искусств. Образовалась брешь,
В которую пахнул широко
крутой раскосый ветр с востока.

Бинокли повскакали с мест,
настроены на катастрофу,
и видят, — роковой разрез, —
кто телеграфный столб, кто крест
и холм, похожий на Голгофу.

1977

Франц Кафка

ПИСЬМА МИЛЕНЕ

ОТ ПЕРЕВОДЧИКА

После краткого знакомства в начале 60-х годов и долгого вынужденного перерыва к нам возвращается Франц Кафка не только как автор книг, которые потрясли литературный мир XX столетия, но и как человек, их писавший. Теперь нашим читателям впервые на русском языке предлагаются письма Кафки — еще одна заповедная зона этой, конечно же, далеко не обычной, странной души.

Письма адресованы Милене Есенской — чешской журналистке, жившей в Вене, автору первых переводов Кафки на иностранный (чешский) язык — рассказов «Кочегар» (будущей первой главы романа «Америка»), «Приговор», «Превращение», и новеллистического цикла «Созерцание». Перевод «Кочегара» и послужил поводом для начала переписки (до этого они мельком встречались в Праге в кругу общих знакомых). Милене 24 года (Кафка на 13 лет ее старше), она замужем за венским банковским чиновником, вхожим в литературные круги. Современники единодушно говорят о ней как о человеке незаурядного таланта, сильной и отзывчивой души, характера независимого и импульсивного. Она переживет Кафку на двадцать лет и погибнет в 1944 году в гитлеровском концлагере в Равенсбрюке.

В начале же 20-х годов переписка автора и переводчика перерастает в любовь — бурную и трудную, отягощенную и внешними обстоятельствами (замужество Милены, болезнь Милены и Кафки), и внутренними сомнениями. Поскольку ответных писем Милены не сохранилось, перед нами только нескончаемый монолог Кафки — драма предстает лиротрагической поэмой. Но читателю легко понять, что более сильной, активной стороной в этой драме была именно Милена. Кафка же полон мучительных колебаний, терзаем чувствами страха и вины — не только личных, но и экзистенциальных, — и на двух коротких рандеву, сужденных этой любви, ни страх, ни вина не рассеялись, а лишь усугубились.

Итак, адресат этих писем — женщина, которую Кафка полюбил, но любовь которой оказалась ему не под силу. Конечно, он тяжело болен — уже диагностирован и прогрессирует туберкулез легких, первые письма пишутся из санатория в Южном Тироле, и «санаторная» тема — предчувствие скорого конца — сквозной щемящей нотой проходит через все письма. Ему осталось жить каких-нибудь четыре-три года. Но, как уже говорилось, ощущение трагизма у Кафки много глубже и шире. И тут, чтобы сохранить чистоту документального принципа, сошлемся в заключение снова на свидетельство другого участника драмы — самой Милены. Из ее письма к другу Кафки, писателю Максу Броду:

«Вы спрашиваете, почему Франк так боится любви. Я думаю, дело не в этом. Для него жизнь вообще — нечто решительно иное, чем для других людей, и прежде всего: деньги, биржа, валютный банк, пишущая машинка для него совершенно мистические вещи... Для него служба — в том числе и его собственная — нечто столь же загадочное и удивительное, как локомотив для ребенка...

...Конечно, мы-то все как будто приспособлены к жизни, но это лишь потому, что нам однажды удалось найти спасение во лжи, в слепоте, в воодушевлении, в оптимизме, в непоколебимости убеждения, в пессимизме — в чем угодно. А он никогда не искал спасительного убежища, ни в чем. Он абсолютно неспособен солгать, как неспособен напиться. У него нигде нет прибежища и приюта. Он как голый среди одетых... И его аскетизм нисколько не героичен — но тем-то он возвышенней и прекрасней. Всякий «героизм» — это ложь и трусость. А он не тот человек, чтобы сделать аскетизм средством для достижения какой-либо цели; он человек, которого вынудили к аскезе его ужасающий дар ясновидения, его чистота и неспособность к компромиссу...

Удивительны его книги. Сам он еще удивительней».

[апрель 1920 г.]

Меран-Унтермайс, пансион Оттобург.

Дорогая госпожа Милена,
только что прекратился дождь, ливший почти двое суток днем и ночью; может быть, это и ненадолго, но все же такое событие надо отпраздновать — вот я и пишу Вам. Впрочем, дождь я перенес легко, это оттого, что вокруг меня чужбина, она, правда, невелика, но сердцу от нее отрадно. Вы ведь тоже, если я верно почувствовал (недолгое единственное полунемое свидание явно невозможно исчерпать в памяти), рады были венской чужбине; потом-то, возможно, обстоятельства все омрачили, но Вы тоже радуетесь чужбине как таковой? (Впрочем, это, наверное, дурной знак, и лучше бы ей не радоваться).

Я живу здесь вполне сносно, более тщательного попечения бренное тело едва ли бы и выдержало, балкон моей комнаты утопает в зелени, обвит, захлестнут цветущими кустами (странная тут растительность — в такую-то погоду, при которой в Праге уж и лужи замерзли бы, перед моим

---

* Печатается в сокращении.

балконом медленно раскрываются чашечки цветов), и при этом он весь открыт солнцу (или, что вернее, нависшему облачному небу, вот уже почти неделю). Ящерицы и птицы, несуразные знакомцы, навещают меня; о, я бы так хотел подарить Вам Меран. Вы недавно написали, что «задыхаетесь», образ тут вполне соответствует смыслу, а эти края, может быть, хоть немного все облегчили бы.

С сердечным приветом
Ваш Ф. Кафка.

[апрель 1920 г.]

Меран-Унтермайс, пансион Оттобург.

Дорогая госпожа Милена,
я послал Вам несколько строчек из Праги, а потом из Мерана. Ответа не последовало. Впрочем, строчки мои, конечно же, не нуждались в сколько-нибудь спешном ответе, и если Ваше молчание есть всего лишь признак относительного благополучия, каковое, мы знаем, часто выражается в нерасположенности к писанию писем, то я вполне доволен. Но ведь возможно также, — и потому я пишу снова, — что в тех строчках своих я Вас чем-то обидел (какая у меня тогда против воли грубая рука, коли это так) или, что было бы много хуже, та минутная передышка, о которой Вы писали, вновь миновала и для Вас вновь наступили тяжелые дни. Относительно первого предположения мне нечего сказать, настолько чуждо мне подобное намерение, а все остальное несколько ближе; относительно же второго не решаюсь гадать — да и как я могу гадать? — хочу только спросить: отчего бы Вам не уехать хоть ненадолго из Вены? Вы же не бесприютны, как иные. Может быть, прогулка в Богемию придала бы Вам сил? А если по каким-либо причинам, мне неведомым, Вы не хотите в Богемию, то куда-нибудь еще — может быть, неплохо даже и в Меран? Вы бывали в Меране?

Итак, я ожидаю одного из двух. Либо дальнейшее молчание, это означает: «Не беспокойтесь, у меня все в порядке»; либо же хоть несколько строк.

Сердечно Ваш Кафка.

Я вдруг понял, что, собственно говоря, не могу вспомнить в каких-либо подробностях Вашего лица. Вижу только, как Вы тогда проходили между столиками в кафе, направляясь к выходу. Вашу фигуру, Ваше платье — это все еще вижу.

[Меран, апрель 1920 г.]

Стало быть, легкие. Целый день я ворочал эту мысль в голове и так и этак, ни о чем другом думать не мог. Не то чтобы болезнь особенно меня пугала; наверное (я на это надеюсь, и Ваши намеки это, кажется, подтверждают), она коснулась Вас лишь мягко, но даже и серьезное заболевание легких (более или менее поврежденные легкие сейчас у половины Западной Европы), знакомое мне самому вот уже три года, принесло мне больше блага, чем зла. Года три назад это началось у меня посреди ночи — пошла горлом кровь. Я встал с постели (и это вместо того чтобы остаться лежать, как я узнал позже из предписаний), случившееся меня взбудоражило, как все новое, но, конечно, немного и перепугало; я подошел к окну, высунулся наружу, потом прошел к умывальнику, походил по комнате, сел на кровать — кровь не переставала. Но при этом я вовсе не был несчастен — ибо через некоторое время я почему-то ясно вдруг осознал, что после трех, да нет, четырех лет бессонницы я впервые — если, конечно, перестанет идти кровь — смогу заснуть. Вскоре все прекратилось (и с тех пор не возвращалось), так что остаток ночи я спал спокойно. Правда, утром пришла горничная (я снимал тогда квартиру в Пале Шёнборн), добрая, чуть ли не самоотверженная, но в высшей степени деловая девушка, и, увидев кровь, сказала: «Pane doktore, s Vámi to dlouho nepotrvá» [2]. Но я чувствовал себя лучше обычного, пошел на работу и лишь после обеда отправился к врачу. Продолжение этой истории тут уже неинтересно. Что я хотел сказать: меня напугала не Ваша болезнь (тем более что я, без конца перебивая сам себя и перебирая свои воспоминания, распознаю за

всей Вашей хрупкостью почти по-крестьянски бодрую, крепкую натуру и прихожу к выводу: нет, Вы не больны, это лишь предостережение, а не заболевание легких), — так вот, не это меня напугало, а мысль о том, что должно было предшествовать такому срыву. Тут я для начала исключаю остальное, о чем Вы пишете: ни гроша в кармане, только чай да яблоки, ежедневно с двух до восьми, — это все вещи, которых я не понимаю, и они явно нуждаются в устных разъяснениях. От этого я, стало быть, сейчас отвлекаюсь (но только в письме — ибо забыть такое невозможно) и думаю лишь об объяснении, которое я тогда выстроил для заболевания в моем случае и которое ко многим случаям подходит. Мой мозг тогда просто не мог больше переносить возложенные на него заботы и мучения. Он сказал: «Я сдаюсь; а если кому-то все-таки важно по возможности сохранить целое, пусть облегчит мне ношу, и тогда мы еще какое-то время продержимся». Тут-то и подали голос легкие — им, видно, нечего было терять. Эти переговоры между мозгом и легкими — без моего ведома — были, наверное, ужасны.

И что же Вы теперь намереваетесь делать? Насколько я понимаю, немножко оберегать Вас — это сущий пустяк, это ничего не стоит. А то, что Вас надо немножко оберегать, должно быть видно всякому, кто Вас любит, тут все остальные соображения должны умолкнуть. Стало быть, избавление найдено? Я ведь уже сказал — но нет, не буду шутить, у меня вовсе не весело на душе и не будет весело, пока Вы не напишете мне, удалось ли Вам наладить новый и более здоровый образ жизни. Почему вы не уедете на некоторое время из Вены, — об этом я уже не спрашиваю после Вашего последнего письма, я все понял, но ведь и поблизости от Вены есть чудесные места, где бы Вас могли окружить заботой. Я не пишу сегодня ни о чем другом, ничего более важного у меня нет за душой. Все остальное — на завтра, в том числе и благодарность за журнал [3], я был растроган и устыжен, опечален и обрадован. Нет, еще только об одном сегодня: если Вы пожертвуете хоть минутой Вашего сна ради перевода, это будет все равно что навек проклясть меня. Ибо когда однажды дело дойдет до суда, не понадобится никакого особого следствия, будет просто установлено: он лишил ее сна. Тем самым я буду осужден — и по праву. Стало быть, я борюсь и за себя, когда прошу Вас больше этого не делать.

Ваш Франц К.

[Меран, конец апреля 1920 г.]

Дорогая госпожа Милена,
сегодня я хочу писать о другом, но — не пишется. Не то чтобы я все принимал уж слишком всерьез; будь это так, я писал бы по-другому, но ведь должна же где-то стоять для Вас качалка в саду, в полузатененном уголке, и чашек десять молока под рукой, чтоб сразу дотянуться. Пускай это даже будет в Вене, ну и что, тем более летом, только б не голодать и не тревожиться. Неужели нет никого, кто бы в этом помог? А что говорит врач?

Когда я вынул журнал из большого конверта, я был почти разочарован. Я хотел услышать что-нибудь о Вас, а не этот уж слишком знакомый голос из старой могилы. Зачем он встрял между нами? А потом я понял, что он же нас и свел. Но, между прочим, для меня непостижимо, как Вы решились взять на себя этот тяжкий труд, и я глубоко тронут тем, с какой верностью Вы его исполнили, словечко за словечком; что такая верность и та великолепная естественная уверенность, с какой Вы ее сохраняете, возможны в чешском языке, я и не предполагал. Неужели немецкий и чешский так близки? Но как бы то ни было, сам рассказ, говоря по чести, отменно плох; мне было бы легче легкого, дорогая госпожа Милена, доказать Вам это строка за строкой, и разве что мое отвращение пересилило бы необходимость доказательства. То, что рассказ Вам понравился, естественно, придает ему ценность, но и немного омрачает для меня картину мира. Довольно об этом. «Сельского врача» Вы получите от Вольфа [4], я ему написал.

Разумеется, я понимаю по-чешски. Мне уже не раз хотелось спросить Вас, почему Вы не напишете мне как-нибудь по-чешски. Это вовсе не оттого, что Вы не владеете немецким языком. Вы, как правило, владеете им

изумительно, а если где-то вдруг обнаружится, что Вы им не владеете, он добровольно склоняется перед Вами, и тогда это особенно прекрасно; вот немец этого от своего языка никак не ожидает, так лично он не отваживается писать. Но я бы хотел почитать Вас по-чешски, это ведь Ваш язык, ведь только там, в нем вся Милена (перевод это подтверждает), а здесь разве что Милена венская или собирающаяся в Вену. Итак, по-чешски, пожалуйста. И пришлите свои фельетоны, о которых Вы пишете[5]. Пускай они «ничтожны», что за беда. Вы же пробрались сквозь мою ничтожную повестушку — докуда? Не знаю. Но вдруг и я смогу, а уж если не смогу, что ж — так и останусь пребывать в наилучшем предубеждении из всех возможных.

Вы спрашиваете о моей помолвке. Я был помолвлен дважды (если угодно, даже трижды — потому что дважды с одной и той же девушкой); итак, трижды я был в каких-нибудь нескольких днях от брака[6]. Первая история целиком позади (там уже новое супружество и, как я слыхал, появился малыш), вторая еще жива, но без всяких видов на брак, т. е., собственно, уже и не жива — либо, точнее говоря, живет теперь самостоятельной жизнью за счет людей. Вообще я в этом случае — да и в иных тоже — пришел к выводу, что мужчины, возможно, больше страдают или, если взглянуть на дело иначе, обнаруживают меньшую сопротивляемость, а вот женщины всегда страдают безвинно, и это не потому, что они тут «бессильны что-либо поделать», а в самом изначальном, прямом смысле, хотя он, наверное, в конечном счете оказывается все тем же «бессилием». Впрочем, что толку ломать над этим голову? Ты будто силишься разбить один-единственный котел в аду; во-первых, это не удается, а во-вторых, если и удастся, ты сам хоть и сгоришь в хлынувшей из него огненной лаве, но ад все равно останется во всем своем великолепии. Надо действовать иначе.

Но сначала, во всяком случае, надо улечься в саду и постараться извлечь из болезни, особенно если это не взаправдашняя болезнь, всю сладость, какая только возможна. А в ней много сладости.

Ваш Франц К.

[Меран, апрель — май 1920 г.]

Дорогая госпожа Милена,
скажу сразу — а то Вы, чего доброго, против моей воли вычитаете это из моего письма: вот уже примерно две недели меня все сильнее донимает бессонница, вообще-то я не делаю из этого трагедии, такие периоды приходят и уходят, и для них всегда есть даже больше причин, чем нужно (это смешно, но, по Бедекеру, одна из них — меранский воздух), — хоть эти причины иной раз почти и не видны; как бы то ни было, от всего этого делаешься тупым, как чурбан, и беспокойным, как лесной зверь.

Но хоть одна радость у меня есть. Вы спали спокойно — пусть и «странным образом», пускай еще вчера Вы были «вне себя», — но спали спокойно. Если ночью, стало быть, сон будет бежать от меня, я теперь знаю его дорогу — и не возропщу. Да и глупо было бы роптать: ведь из всех существ сон — самое невинное, а человек, не знающий сна, — самое виновное.

И вот этого человека, лишенного сна, Вы благодарите в своем последнем письме. Если бы кто-то со стороны прочел его, он бы, наверное, подумал: «Что за человек! Похоже, он сумел сдвинуть горы». А между тем человек ничего не сделал, пальцем не пошевельнул (разве что пером), питается молоком и чем Бог пошлет (не всегда — хоть и часто — имея под рукой «чай да яблоки»), а в остальном предоставляет вещам идти своим ходом и горам оставаться на своих местах. Вы знаете историю первого успеха Достоевского? Эта история многое в себя вобрала, и я привожу ее лишь удобства ради, из-за прославленного имени, потому что любая история, случившаяся по соседству, а то и еще ближе, имела бы тот же смысл. Кстати, я уже и помню-то ее лишь приблизительно — тем более имена. Достоевский писал в это время свой первый роман «Бедные люди», а жил вместе со своим другом, литератором Григорьевым[7]. Тот хоть и видел в течение многих месяцев груду исписанных листов на столе, но манускрипт получил в руки, лишь когда роман был готов. Он его прочел, пришел в восторг и, ни слова не сказав Достоевскому, отнес его знаменитому тогда критику Некрасову. В три часа ночи к Достоевскому звонят в дверь. Врываются Григорьев с Некрасовым, бросаются к Д. с объятьями и поцелуями, Некрасов, прежде его не знавший, называет его надеждой России, они беседуют час, два, главным образом о романе, и расстаются лишь под утро. Достоевский, назвавший потом эту ночь счастливейшей в своей жизни, подходит к окну, смотрит им вслед, не может прийти в себя и разражается слезами. Охватившее его чувство — он сам его потом описал, не помню где, — было примерно таково: «Что за великолепные люди! Как добры, как благородны! И как низок я сам. Если б они могли заглянуть ко мне в душу... А ведь скажи я им — не поверят». То, что Достоевский потом еще и решил им во всем следовать, — это уже арабеска, это последнее слово, которое оставляет за собой непобедимая юность, к рассказанной истории это уже не имеет отношения, она, стало быть, закончилась. Понимаете ли Вы, дорогая госпожа Милена, тайный смысл этой истории, непроницаемый для рассудка? По-моему, он вот в чем: Григорьев и Некрасов, если говорить вообще, были, конечно же, не благороднее Достоевского, но Вы отрешитесь сейчас от общего взгляда (Достоевскому он ведь тоже не нужен был в ту ночь, да и что толку от него в каждом единичном случае?), Вы слушайте только Достоевского, и Вы проникнетесь тогда убеждением, что Гр. и Н. в самом деле были великолепны, а Д. грязен, бесконечно низок, что он, конечно же, никогда даже и отдаленно не достигнет этих высот и уж тем более речи быть не может о том, чтобы отплатить Гр. и Н. за их неслыханное, незаслуженное благодеяние. Я буквально вижу их из окна — как они удаляются и тем самым подтверждают свою недосягаемость. — К сожалению, истинный смысл этой истории размывается великим именем Достоевского.

Куда меня завела моя бессонница? Во всяком случае, я и там остаюсь лишь с самыми добрыми побуждениями и пожеланиями.

Ваш Франц К.

[Меран, май 1920 г.]

Дорогая госпожа Милена
(да, обращение это уже надоело, но в нашем ненадежном мире оно один из тех поручней, за которые могут ухватиться больные, и если хвататься за поручень надоело, это все равно еще не признак выздоровления) — я никогда не жил среди немецкого народа, немецкий язык мне родной по матери[8] и потому для меня естественен, но чешский мне много милее, потому-то Ваше письмо будто разрывает туманные завесы, я вижу Вас яснее, движения стана, рук, такие быстрые, такие решительные, это почти встреча, — правда, когда я потом хочу поднять глаза, чтобы увидеть Ваше лицо, то письмо мое — что за притча! — вспыхивает пламенем, и я ничего не вижу, только пламя.

Этак можно поддаться соблазну и поверить в выведенный Вами закон Вашего существования. То, что Вы не хотите, чтобы Вас жалели из-за этого якобы тяготеющего над Вами закона, вполне понятно, ибо выведение закона есть не что иное, как дерзновение и гордыня (já jsem ten který platí)[9]; правда, примеры проявления этого закона, Вами приводимые, обсуждению не подлежат, тут остается только молча поцеловать Вам руку. Что до меня, я, конечно, верю в этот Ваш закон, я не верю только, что он так уж обнаженно жестоко и навек осенил Вашу жизнь; хоть он и откровение, но откровение в пути, а путь бесконечен.

Однако независимо от этого для человеческого земного ограниченного ума ужасно представлять Вас в той раскаленной печи, в какой Вы живете. Я попробую говорить только о себе. Если рассматривать все как некое подобие школьной задачки, то у Вас по отношению ко мне были три возможности. Вы могли бы, например, ничего не рассказывать мне о себе, но тогда Вы лишили бы меня счастья знать Вас и — что еще важнее счастья — проверять на всем этом себя самого. Стало быть, Вам нельзя было замыкаться передо мной. Вы могли бы, далее, о многом умолчать, многое приукрасить — и сейчас еще можете, — но я бы при нынешнем положении дел это почувствовал, хоть и ничего не сказал бы, и мне было бы лишь вдвойне больно. Значит, и этого Вам нельзя делать. Остается только третья возможность: стараться по возможности спасти самое себя. И робкая

надежда на такую возможность проскальзывает все-таки в Ваших письмах. Я нередко теперь читаю в них о спокойствии и твердости, нередко, правда, приходится все еще читать и о другом — а то даже и о «reelní hrůza» [10].

Того, что Вы сообщаете о своем здоровье (у меня оно хорошее, только сплю я в этом горном воздухе плохо), мне недостаточно. Диагноз врача я не нахожу очень уж благоприятным, — точнее говоря, он ни то ни се, и лишь от Вашего поведения зависит, как его истолковать. Конечно, все врачи болваны; впрочем, они, наверное, и не глупее других людей, но их амбиции смешны; как бы то ни было, надо принимать в расчет, что стоит нам только с ними связаться, как они становятся все глупее; но то, что врач от Вас пока требует, не назовешь ни очень глупым, ни невозможным. Невозможно лишь, чтобы Вы всерьез заболели, и так оно и должно остаться невозможным. В чем изменилась Ваша жизнь после разговора с врачом — вот самый главный вопрос.

А теперь несколько второстепенных вопросов — Вы позволите? Почему и с каких пор Вы сидите без денег? Почему Вы раньше, как Вы пишете, общались в Вене со многими людьми, а теперь ни с кем?

Своих фельетонов Вы не хотите мне прислать; стало быть, не верите, что я смогу правильно и уместно вписать эти фельетоны в тот образ, который я себе о Вас составил. Хорошо, тогда я буду в этом отношении на Вас сердит, что, впрочем, не беда, ведь для сохранения равновесия даже лучше, если в одном уголке моего сердца для Вас будет уготовано немного сердитости.

Ваш Франц К.

[Меран, 30 мая 1920 г.]

Как обстоят дела с Вашим знанием людей, Милена? Иногда я уже начинаю в нем сомневаться — например, когда Вы пишете о Верфеле [11]; в Ваших строчках звучит и любовь (и, может быть, только любовь), но любовь недопонимающая; если, однако, отвлечься от всего, чем является Верфель как человек, и судить его только как толстяка (кстати, и этот упрек представляется мне незаслуженным — по-моему, Верфель год от года становится все красивее и милее, правда, мы видимся лишь мельком), разве не известно Вам, что только толстяки и заслуживают доверия? Только в этих толстостенных сосудах все доваривается до готовности, только эти капиталисты воздушного пространства ограждены от забот и безумия, насколько это вообще возможно для человека, они могут спокойно заниматься своим делом, и лишь от них одних, как кто-то однажды сказал, есть прок на земле как от ее подлинных граждан, ибо на севере они согревают, а на юге дают тень. (Можно, конечно, сказать и наоборот, но тогда это будет неправда).

Теперь о еврействе. Вы спрашиваете меня, не еврей ли я; может, это просто шутка, а может, Вы хотите лишь узнать, не из тех ли я запуганных евреев; но Вы все-таки пражанка и потому не можете быть в этом отношении столь же наивной как, скажем, Матильда, жена Гейне. — Кстати, знаете ли Вы эту историю? Вообще-то у меня нашлось бы что поважнее Вам рассказать, да еще я наверняка себе же как-то и наврежу — не самой историей, а тем, что ее рассказываю; но ведь Вам интересно будет услышать от меня для разнообразия что-нибудь забавное. Майснер, немецкий поэт из Богемии [12], не еврей, рассказывает эту историю в своих воспоминаниях. Матильда всегда раздражала его своими выпадами против немцев: и ехидны-то они, и язвительны, и самонадеянны, и мелочны, и навязчивы — короче говоря, несносный народ! Майснер однажды не выдержал и сказал: «Но вы же совсем не знаете немцев! Генрих общается только с немецкими журналистами, а они тут в Париже все евреи». — «Ах, — говорит Матильда, — все-то вы преувеличиваете. Один-другой среди них, может, и найдется, например, Зейферт...» — «Нет, — говорит Майснер, — он тут единственный не еврей». — «То есть как? — удивляется Матильда. — Вот Ейтелес — он что, еврей?» (А это был могучий белокурый верзила). — «Еще какой!» — отвечает Майснер. «Но Бамбергер?» — «Он тоже». — «А Аринштейн?» — «И он». Так они перебрали всех знакомых. В конце концов Матильда разозлилась и сказала: «Вы просто смеетесь надо мной. Вы еще скажете, что Кон тоже еврейская фамилия, но ведь Кон зять Генриха, а Генрих лютеранин». На это уж Майснеру было нечего возразить. — Как бы то ни было, Вы, похоже, не боитесь евреев. Применительно к нынешнему или предшествовавшему поколениям евреев в наших городах это почти геройство, и — шутки далеко в сторону! — если чистое юное создание говорит своим родителям: «Пустите меня!» — и уходит к еврею, это куда более значительное событие, чем уход Орлеанской девы из своей деревни.

В таком случае Вы, конечно, вправе упрекать евреев в излишней запуганности, хотя такой упрек свидетельствует больше о теоретическом, нежели о практическом знании людей; теоретическом — потому что, во-первых, этот упрек, судя по Вашему же прежнему описанию, нисколько не затрагивает Вашего мужа; во-вторых, он, судя по моему опыту, не затрагивает и большинство евреев; в-третьих, он затрагивает лишь отдельные экземпляры, но уж их-то весьма сильно, — например, меня. Самое тут удивительное — что упрек несправедлив по отношению к большинству. Казалось бы, общее чувство неуверенности у евреев (тут и неуверенность внутренняя, и неуверенность в окружении, среди людей) должно делать более чем понятной их привычку считать своим лишь то, что ухвачено руками или зубами: только прочная хватка дает им право на жизнь, ведь упусти они однажды что-то, оно к ним уже никогда не вернется, а тихо-мирно уплывет от них. С самых неожиданных сторон евреям грозят опасности — или, чтоб быть точнее, оставим опасности и скажем: «им грозят угрозы». За примерами ходить далеко не надо — вот один, касающийся Вас. Правда, я, кажется, обещал в свое время молчать (тогда я еще едва был знаком с Вами), но без всяких угрызений совести расскажу Вам об этом, ибо ничего нового Вы не узнаете, зато оцените любовь своих родных, а имен и деталей я приводить не буду, я их уже и не помню. Моя младшая сестра собиралась замуж за чеха, христианина, он однажды обмолвился одной Вашей родственнице о своем намерении жениться на еврейке, а та сказала: «Боже упаси! Связываться с евреями? Вот послушайте: наша Милена...» и т. д.

Куда я намеревался Вас со всем этим вывести? Я немножко заблудился, но это ничего, потому что, надеюсь, Вы шли со мной и мы заблудились вместе. Кстати, что самое прекрасное в Вашем переводе — это его верность (браните меня за эту «верность» сколько угодно, Вы все можете, но браниться, наверное, идет Вам лучше всего, я хотел бы быть Вашим учеником и все время делать ошибки, только чтобы Вы все время меня бранили; сидишь за партой, едва решаешься поднять глаза, а Вы наклонились над тетрадкой, и все время мелькает Ваш палец, тычущий в ошибки, — так ведь, да?) — стало быть, перевод «верен», и у меня такое чувство, что я вел Вас за руку по мрачным, низким, страшным подземным ходам и переходам своей истории, почти бесконечным (потому и предложения бесконечны, разве Вы это не поняли?), почти бесконечно (Вы сказали, только два месяца?), а потом по выходе, при свете дня, как я надеюсь, нашел в себе достаточно здравого разумения, чтобы исчезнуть без следа.

Это мне знак кончить на сегодня, отпустить на сегодня благословенную руку. Завтра я напишу снова и объясню, почему я — насколько я могу за себя ручаться — не приеду в Вену, и я не успокоюсь, пока Вы не скажете: он прав.

Ваш Ф. <...>

[Меран, 31 мая 1920 г.]

Понедельник.

Итак, обещанное вчера объяснение:

Я не хочу (Милена, помогите мне! Постарайтесь понять больше, чем я говорю!), не хочу (но не подумайте тут, что я заикаюсь), не хочу приезжать в Вену, потому что мой слабый дух не выдержал бы такого напряжения. Я болен духом, а заболевание легких лишь следствие того, что духовная болезнь вышла из берегов. Я болен так вот уже в течение четырех-пяти лет, со времени моих двух помолвок. (Все никак не мог объяснить себе беззаботно-веселый тон Вашего последнего письма, только потом понял: я постоянно забываю, что Вы еще так молоды, Вам, наверное, и двадцати пяти еще нет, а то и года двадцать три всего. Мне тридцать семь, почти тридцать восемь, я почти на целое подрастающее поколение старше Вас, почти сед от стариковских ночей и мигреней). Не буду разворачивать пе-

ред Вами всю эту долгую историю с ее поистине дремучими дебрями подробностей, которых я и сейчас страшусь как ребенок, только без ребяческого дара забвения. Общим для всех трех помолвок было то, что кругом был виноват я, виноват бесспорно, обеих девушек я сделал несчастными, а именно (тут я говорю только о первой, о второй не могу говорить, она очень впечатлительна, каждое слово, даже самое доброе, нанесло бы ей ужаснейшую обиду, и я ее понимаю) — а именно лишь потому, что я вопреки всем ее стараниям (а она, стоило мне пожелать, принесла бы, наверное, себя в жертву) не мог быть все время веселым, спокойным, решительным, в общем, готовым к супружеству, хотя я снова и снова, и по собственному побуждению, обещал ей это, хотя я подчас отчаянно бывал влюблен в нее, хотя ничего не было для меня желаннее, чем супружество как таковое. Почти пять лет я непрерывно обрушивал на нее (или, если угодно, на себя) удар за ударом; к счастью, она оказалась несокрушимой — смесь пруссачества и еврейства, смесь сильная, победоносная. Я не был столь крепок; правда, ей приходилось только страдать, а я о д н о в р е м е н н о и наносил удары и страдал. <...>

Ваш Ф.

[Меран, 2 июня 1920 г.]

Среда.

Сегодня в обед пришли сразу два письма от Вас; их бы не читать, а разложить на столе, спрятать в них лицо и потерять рассудок. Но тут-то и выясняется, как это хорошо, что ты его уже почти потерял, потому что за остаток потом цепляешься как можно дольше. И потому мои тридцать восемь еврейских лет говорят перед лицом Ваших двадцати четырех христианских:

Да как же это так? Куда смотрели мировые законы и вся небесная полиция? Тебе тридцать восемь лет, и ты так устал, как, наверное, от возраста вообще не устают. Вернее сказать, ты вовсе не устал, а стал беспокойным, ты лишнего шагу боишься ступить на этой ощетинившейся ловушками земле, и потому у тебя фактически все время обе ноги в воздухе; ты не устал, а только боишься страшной усталости, которая последует за этим страшным беспокойством и которую (ты ведь еврей и знаешь, что такое страх) можно представить себе — в лучшем случае — как животное прозябание, с тупым идиотским взглядом, в садике сумасшедшего дома позади Карлс-плац.

Хорошо, вот ты таков. Не в одно сражение умудрился ты ввязаться, сделал при этом несчастным и друга и врага (а ведь вокруг-то были даже сплошь друзья, милые, добрые люди, не враги), стал при этом уже инвалидом, из тех, кого бросает в дрожь один вид игрушечного пистолета, и вот вдруг, вдруг ты будто оказываешься призванным к великой битве во избавление мира. Не странно ли все это?

Вспомни также, что, наверное, лучшей порой твоей жизни, о которой ты, собственно, никому еще по-настоящему не рассказывал, были те восемь месяцев в деревне два года тому назад[13], когда ты, полагая, что уже подвел всему итог, сосредоточился только на самом в тебе несомненном и ощущал себя свободным — без писем, без этой затяжной пятилетней переписки с Берлином[14], под крылом твоей болезни — и при этом тебе вовсе немного надо было в себе менять, просто более твердой чертой обвести прежние тонкие контуры твоего существа (ведь лицо твое под седыми волосами почти не изменилось с тех пор, как тебе было шесть лет).

Что это был не конец, ты, к сожалению, понял за последние полтора года, и тут-то уж ты пал так, что ниже почти некуда (я не считаю последней осени, когда я честно вел борьбу за брак), и потянул за собой другого человека, милую и добрую девушку, образец жертвенного самоотречения, — о, ниже пасть некуда, никакого выхода, и в бездне тоже.

Хорошо, и вот тебя зовет Милена, и голос ее с равной силой проникает в разум и сердце. Милена, конечно, тебя не знает, несколько твоих рассказов и писем ослепили ее; она как море — в ней та же сила, что и в море с его водной громадой, но в неведении своем эта стихия обрушивается на тебя всей своей мощью, повинуясь воле мертвой, а главное, далекой луны. Она тебя не знает, но, возможно, предчувствует истину, когда зовет тебя. Ведь в том, что твое реальное присутствие уже не ослепит ее,

ты можешь быть уверен. Не потому ли, трепетная душа, ты не хочешь прийти на зов, что именно этого и боишься?

Но если даже признать, что у тебя есть сотня других внутренних причин для отказа (а они в самом деле есть) и, помимо того, одна внешняя: ты ведь не сможешь говорить с мужем Милены, не сможешь даже видеть его и в равной мере не сможешь говорить с Миленой или видеть ее, когда мужа при этом не будет, — даже если признать все это, остаются еще два соображения:

Во-первых, стоит тебе пообещать приехать, как Милене, возможно, уже и расхочется, чтобы ты приезжал, — причина тут будет не в нерешительности, нет, а в естественной усталости, — и она с удовольствием и облегчением отпустит тебя на все четыре стороны.

А во-вторых — ну что ж, поезжай в Вену! Милена ведь думает только о том, как откроется дверь. Она, конечно, откроется, а дальше что? В дверях воздвигнется тощий верзила с приветливой улыбкой на лице (улыбаться он будет беспрестанно, это у него от его старой тетушки, она тоже беспрестанно улыбалась, и в обоих случаях это не намеренно, а просто от смущения) — и сядет потом, куда укажут. Тут-то, собственно, и будет конец всей торжественности и праздничности, ибо говорить он едва ли сможет, для этого в нем слишком мало жизненных сил (мой здешний новый сосед по столу сказал вчера по поводу вегетарианской диеты своего немого собрата: «По-моему, для умственной работы мясная пища просто необходима») — и он даже счастлив не будет, у него и для этого слишком мало жизненных сил.

Видите, Милена, я говорю откровенно. Но Вы умны, Вы сразу заметили, что хоть я и говорю правду (всю — безусловно и как на духу), но говорю слишком откровенно. Я ведь мог бы приехать без этих предуведомлений и в два счета вас разочаровать. Если я так не поступил, то это лишнее доказательство моей правдивости — моей слабости.

Я останусь тут еще на две недели — главным образом потому, что стыжусь и страшусь вернуться с такими скудными результатами лечения. Дома и, что самое досадное, на службе[15] от этого моего лечебного отпуска ожидают чуть ли не выздоровления. Мучительны эти вопросы: «Ну, сколько ты прибавил?» (А ты все худеешь и худеешь). «Не экономь на еде!» (Это намек на мою скупость — а я плачу за пансион, но есть не могу). И другие шутки в этом же роде.

Есть еще много чего сказать, но тогда письмо не кончится вообще. Да, вот только еще что: если к концу этих двух недель Вы все так же твердо, как в пятницу, будете желать моего приезда — я приеду.

Ваш Ф.

[Меран, 3 июня 1920 г.]

Четверг.

Видите, Милена: утро, я лежу в качалке, раздетый, наполовину на солнце, наполовину в тени, после почти бессонной ночи; мог ли я заснуть, если я, слишком легкий для сна, все время кружил над Вами, если я в самом деле, точь-в-точь как Вы пишете, был в ужасе от того, что «плывет ко мне в руки», в таком же ужасе, какой, по рассказам, овладел пророками, которые были слабыми детьми (уже или еще, в данном случае неважно) и вдруг услыхали голос, их призывавший, и ужаснулись, и не хотели, и упирались ногами в землю, охваченные раздирающим мозг страхом, — а ведь они и раньше слыхали голоса, но тут не могли понять, почему именно этот голос звучит так ужасно, слух ли их слишком слаб или голос слишком могуч, — и не понимали также, будучи детьми, что голос уже одержал победу и расположился в них именно благодаря этому предпосланному вещему страху, ими испытанному, — хотя само по себе это еще ничего не говорит об их пророческом призвании, ибо голос слышат многие, а вот достойны ли они его, это, если смотреть непредубежденно, еще вопрос, и безопасности ради лучше сразу ответить на него строгим и решительным «нет», — в общем, вот так я лежал, когда пришли оба Ваших письма.

Одно свойство, кажется, у нас общее, Милена: мы так робки и запуганы, каждое письмо уже иное, почти каждое страшится предшествовавшего, а еще более — ответного. Вы-то по природе не таковы, это сразу видно, а я — может быть, даже и я по природе не таков, но это почти ста-

ло природой и проходит лишь в приливе отчаяния, разве что еще в гневе и — не забыть — в страхе.

Иногда у меня такое впечатление, что у нас с Вами общая комната с двумя дверьми, расположенными друг против друга, каждый держится за ручку, и чуть у одного дрогнут ресницы, как другой уже выскальзывает в дверь, а стоит первому сказать еще хоть слово, другой наверняка в следующую секунду захлопнет за собой дверь, и только его и видели. Он, конечно же, откроет дверь снова, ибо эту их комнату, наверное, и покинуть-то невозможно. Не будь первый двойником второго, он был бы спокойнее, он делал бы вид, что и не смотрит в ту сторону, не спеша прибирался бы в комнате, как будто она ничем не отличается от всех других, — но куда там, он делает то же самое у своей двери, а иной раз они даже оба оказываются за дверями, и вот прекрасная комната пуста.

Из этого проистекают мучительные недоразумения. Вы жалуетесь, Милена, что из некоторых моих писем, как их ни верти, ничего не вытрясешь, а ведь это все, если я не ошибаюсь, как раз те самые письма, в которых я был так близок к Вам, так укрощал свою кровь (и Вашу тоже), и такая была в них лесная глубь, такое успокоение в покое, когда и впрямь неохота говорить ничего другого кроме того лишь, что сквозь верхушки деревьев видно небо, и это все, а через час повторяешь то же самое, — хотя, Вы правы, в этом «ani jediné slovo které by nebylo velmi dobře uváženo»[16]. Такое блаженство и длится недолго, разве что миг, — и снова трубит в свои трубы бессонная ночь.

Подумайте также о том, Милена, как я пришел к Вам, какое проделал тридцативосьмилетнее странствие (а поскольку я еврей, то оно длилось еще дольше), и когда я на будто бы случайном повороте дороги вдруг вижу Вас, ту, кого никогда и не мечтал увидеть, а уж тем более теперь, с таким запозданием, — тогда, Милена, не могу я кричать, ничто не кричит во мне, и тысячу глупостей не могу говорить, их нет во мне (если отвлечься сейчас от другой глупости, коей во мне предостаточно), и о том, что я упал на колени, я узнаю, наверное, лишь по тому, что вдруг вижу прямо перед глазами Ваши ноги и благоговейно касаюсь их.

И не требуйте от меня искренности, Милена. Никто не может требовать ее от меня настойчивей, чем я сам, однако многое, многое от меня ускользает, может быть, даже все. Но и все попытки ободрить меня на этой охоте бесполезны, они меня не ободряют, напротив, тогда уж я вообще не могу сделать ни шага, все вдруг становится ложью, и преследуемая дичь душит ловца. Я на таком опасном пути, Милена! Вы твердо стоите у древесного ствола, молодая, красивая, и сияние Ваших глаз лучами своими подавляет мирскую скорбь. Тут играют в «škatule škatule hejbejte se»[17] — я крадусь в тени от одного дерева к другому, я уже на полпути, Вы окликаете меня, предупреждаете об опасностях, хотите меня подбодрить, ужасаетесь тому, как неверен мой шаг, напоминаете мне (мне!), что игра идет всерьез, — а я не могу, я падаю, я уже повержен ниц. Я не могу слушаться одновременно ужасных голосов моей души — и Вас, но я могу слушать те и доверять их речи Вам — только Вам и никому другому на свете.

Ваш Ф.

[Меран, 6 июня 1920 г.]

Воскресенье.

Эта речь на двух страницах Вашего письма, Милена, идет из глубины сердца, раненого сердца («to — mně rozbolelo»[18] — стоит там, и это сделал я, я — Вам!), но звучит так чисто и гордо, словно удар поразил не сердце, а сталь; и требуете Вы лишь естественного, но в то же время неверно меня понимаете, ибо эти мои «смешные» люди на самом деле и Ваши тоже, а потом: разве в Вашей с мужем истории я встаю на чью-либо сторону? Где Вы это увидели? В каком моем предложении вычитали эту безумную мысль? Да и как я могу тут судить, когда во всяком реальном смысле — коснись дело супружества, работы, жертвенности, мужества, чистоты, свободы, самостоятельности, правдивости, — я стою настолько ниже вас обоих, что даже и говорить-то об этом мне претит. А где я осмелился предложить действенную помощь, да если б даже и осмелился, каким образом я мог бы ее оказать? Но довольно вопросов: они крепко спали в

подземной ночи; зачем вызывать их на свет дня? Они печальны и серы — и делают человека таким же. О, не говорите, что два часа жизни дают несравнимо больше, чем две страницы письма, — письмо бедней, но и ясней, и чище), — итак, Вы неверно меня поняли, но все равно: речь обращена ко мне, а я отнюдь не безвинен и, как это ни странно, главным образом именно потому, что на все вышеназванные вопросы могу отвечать лишь одним «нет» и «никогда».

А потом пришла Ваша милая, милая телеграмма, успокоительное средство против ночи, этой давней врагини (если оно плохо действует, то Вы тут воистину ни при чем, виновата ночь; эти короткие земные ночи способны вселить в человека ужас перед вечным сном); правда, и в письме Вашем так много утешения, и утешения чудесного, но письмо все-таки единое целое, в котором бушует ураган тех двух страниц, а телеграмма сама по себе и ничего об этом не ведает. Но вот что я могу ответить этой телеграмме, Милена: если бы я, отвлекаясь сейчас от всего остального, приехал в Вену и Вы эту речь (как я уже сказал, она вовсе не прошла для меня бесследно, она меня затронула, и по праву затронула — хоть и не в полную меру, но все-таки сильно) произнесли бы мне в лицо (а она так или иначе непременно была бы высказана — не в словах, так в мыслях, во взгляде, в дрожании ресниц — либо, по крайней мере, подразумевалась бы), — тогда бы я, будто сраженный одним ударом, просто рухнул и растянулся бы во всю длину, и никакая сиделка, призови Вы ее на помощь, не смогла бы снова поставить меня на ноги. А не произойди это так, было бы, чего доброго, и еще хуже. Вот видите, Милена.

Ваш Ф.

[Меран, 12 июня 1920 г.]

Снова суббота.

Милена, наши письма обгоняют друг друга, эту чехарду надо прекратить, она сведет нас с ума, тут уж и сам не знаешь, что ты написал, на что тебе отвечают, и дрожишь в любом случае. Твой чешский я прекрасно понимаю, и смех твой слышу, но, погружаясь в твои письма, я лихорадочно роюсь и в слове, и в смехе и в конце концов слышу только слово; да ведь и основа моего существа — страх.

По-прежнему ли ты хочешь меня видеть после моих последних писем, я не могу судить; свое отношение к тебе я знаю (**ты — моя**, даже если я тебя никогда не увижу) <...>[19] я знаю его в той мере, в какой оно не поглощается необозримыми пространствами страха, а вот твоего отношения ко мне, повторяю, я совсем не знаю, Милена.

Для меня ужасно то, что происходит: мой мир рушится, мой мир снова встает из руин, вот и смотри, как тебе тут удержаться. Я не жалуюсь на то, что он рушится, он давно уже шатался, я жалуюсь на то, что он встает снова, на то, что я родился на свет, — и на свет солнца жалуюсь тоже. <...>

[Меран, 13 июня 1920 г.]

Воскресенье.

Сегодня, пожалуй, кое-что для тебя прояснится. Милена (какое царственно-тяжелое имя, такая в нем полнота, что его уже почти и не поднять, а ведь поначалу не очень мне нравилось, думалось — какой-то грек или римлянин, заблудившийся в Богемии, насильно превращенный в чеха, с искалеченным ударением[20], и однако по цвету, по очерку — о чудо! — женщина, которую на руках надо унести из этого мира, из огня, уж не знаю из чего, и она доверчиво и покорно льнет к тебе, вот только сильное ударение на «и» сбивает с толку: а вдруг это имя снова ускользнет от тебя? Или это всего лишь спасительный прыжок наудачу, который ты делаешь сам со своей драгоценной ношей?):

Ты пишешь письма двоякого рода, я не имею в виду: пером и карандашом, — хотя и карандаш сам по себе о чем-то говорит и уже заставляет насторожиться, но это различие не главное: например, последнее письмо с планом квартиры написано карандашом, и все же оно меня осчастливило; ведь осчастливить меня (ты пойми, Милена: мои годы, мои немощи и, главное, мой страх — и, пойми: твоя молодость, твоя чистота, твое муже-

ство; а ведь мой страх все растет, ибо он означает отступление перед натиском мира, а отсюда — усиление этого натиска и, опять-таки, усиление страха, твое же мужество означает наступление, отсюда — ослабление натиска и рост мужества) — осчастливить меня могут только тихие письма; я бы так и сидел у их ног, счастливый без меры, это как дождь на пылающую голову. Но когда приходят те, другие письма — пускай даже они, по сути, приносят больше счастья, чем первые (только я по слабости своей лишь много дней спустя осознаю это счастье), — эти письма, начинающиеся восклицаниями (а ведь я так далеко!) и кончающиеся уж не знаю какими ужасами, — тогда, Милена, я в самом деле начинаю дрожать, будто при звуках штормового колокола, я не могу это читать и все же, конечно, читаю, как пьет воду измученный жаждой зверь, а страх все растет, что делать, я ищу, под какой стол или шкаф заползти, забиваюсь в угол и молюсь, весь дрожа и теряя голову, молюсь, чтобы ты, бурей ворвавшаяся ко мне с этим письмом, снова улетела через распахнутое окно, ведь не могу же я держать в комнате бурю; мне мнится, в таких письмах у тебя блистательная голова Медузы, змеи ужаса извиваются вокруг нее — а вокруг моей, понятно, еще исступленней вьются змеи страха. <...>

Ф.

[Меран, 23 июня 1920 г.]

Среда.

Трудно говорить правду, ибо хоть она и одна, но живая, и потому у нее, как у всего живого, переменчивое лицо («Krásná vůbec nikdy, vážně ne, snad někdy hezká»)[21]. Если б я отвечал тебе в ночь с понедельника на вторник, это было бы ужасно, я лежал в кровати как под пыткой, всю ночь я отвечал тебе, жаловался тебе, придумывал, как тебя отпугнуть от себя, проклинал себя. (Это все еще потому, что твое письмо пришло поздно вечером, а перед наступлением ночи я был особенно возбужден и восприимчив к серьезным речам). Рано утром я поехал в Боцен[22], оттуда электричкой до Клобенштейна, и там, на высоте 1200 м, дышал — правда, так и не придя в себя, — чистым, почти ледяным воздухом вблизи первых отрогов доломитовых скал, а потом, на обратном пути, написал тебе следующее (сейчас я это переписываю, но даже и эти рассуждения нахожу — по крайней мере, сегодня, — слишком резкими; так меняются дни!):

Наконец-то я один, возвращаюсь в Меран, инженер остался в Боцене. Я отнюдь не сильно страдал от того, что инженер и пейзажи встряли между мной и тобой, потому что я и сам был не в себе. Вчера до половины первого ночи я был с тобой — писал тебе и еще больше думал о тебе, — потом до шести утра проворочался в постели со своей бессонницей, потом все-таки встряхнулся и вытряхнулся, как вытряхивает чужой человек другого чужого человека из постели, и это было хорошо, потому что, останься я в Меране, день бы все равно был пропащий — я бы только клевал носом да писал. Неважно, что эту прогулку я, собственно говоря, не совсем даже осознал и она останется в моей памяти лишь как не очень внятный сон. А ночь была такой мучительной оттого, что ты своим письмом (у тебя пронзительный взгляд, это было бы еще ничего, на улицах полно людей, и они отвлекут взгляд на себя, но вот бесстрашие этого взгляда и особенно то, что у тебя есть силы заглянуть еще дальше него, — вот что главное, и ты это знаешь) — своим письмом ты вновь пробудила моих старых знакомцев, всех тех дьяволов, что одним глазом спят, а другим настороженно выжидают своего часа; это, конечно, ужасно, сразу пот прошибает от страха (но страх этот, клянусь тебе, ни перед чем другим, лишь пред ними, пред непостижимыми силами), но это и хорошо, это только здоровью на пользу: принимаешь их парад и знаешь, что они есть. Но все-таки ты не совсем верно толкуешь мои слова: «Уезжай из Вены!» Я не так уж бездумно их написал, и никаких осязаемых затруднений я не боялся (хоть зарабатываю я и немного, но, думаю, на нас двоих вполне бы хватило, — конечно, если не припутается болезнь), а потом, я совершенно искренен и в мыслях своих и в их выражении (я и раньше был таким, но одна ты это смогла увидеть, и твой взгляд мне такая подмога!). Чего я страшусь — страшусь с раскрытыми от ужаса глазами, в обморочном беспамятстве страха (если б я мог спать так глубоко, как погружаюсь в страх, я бы уже не жил), — чего я страшусь, так это тайного сговора против меня (ты его лучше поймешь, прочтя мое письмо к отцу, но все равно не со-

сем поймешь, потому что письмо слишком целенаправленно выстроено), — сговора, основанного примерно на том, что я — я, на грандиозной шахматной доске всего лишь пешка пешки, да и того меньше, — вдруг вопреки твердым правилам игры, всю ее путая, собираюсь занять место королевы, — я, пешка пешки, фигура, стало быть, попросту не существующая, не участвующая в игре, — а то, глядишь, еще и место самого короля, а то и всю доску! — и что, пожелай я этого на самом деле, все должно свершиться совсем иным, много более бесчеловечным образом.

Потому то, что я тебе предлагаю, для меня имеет гораздо большее значение, чем для тебя. В настоящую минуту это самое несомненное, не тронутое ни малейшим налетом болезненности, — то, что дарит безусловное счастье.

Ф.

Так было вчера, сегодня же я, например, мог бы сказать, что наверняка приеду в Вену, но поскольку сегодня — это сегодня, а завтра — это завтра, я оставляю для себя свободу действий. Врасплох я тебя ни в коем случае не застану и сразу после четверга тоже не появлюсь. Если я поеду в Вену, то предупрежу тебя по пневматической почте (никого кроме тебя я не смог бы видеть, это уж точно) — но раньше вторника этого наверняка не случится. Я бы приехал на Южный вокзал — с какого буду уезжать, еще не знаю, так что и в гостинице остановлюсь у Южного вокзала; жаль, что я не знаю, где ты в том квартале даешь уроки, тогда я мог бы ожидать там тебя часов в пять. (По-моему, эту фразу я уже читал в одной сказке — где-то поблизости от другой фразы: «А если они не умерли, то и сейчас еще живут-поживают»). Изучал сегодня план Вены, на секунду мне представилось непостижимым, для чего возвели такой огромный город, — ведь тебе всего-то и нужна одна комната.

Ф.

Возможно, я и письма до востребования адресовал на фамилию «Поллак». <...>

[Меран, 25 июня 1920 г.]

Пятница, вечером.

Написал сегодня утром всякие глупости, и вот пришли оба твоих письма, такие переполненные, такие милые. Отвечу я на них устно: во вторник, если не случится ничего неожиданного во мне или вовне, я буду в Вене. Было бы, конечно, весьма разумно, если б я (на вторник, по-моему, приходится праздник, и возможно, что почта, с которой я собираюсь тебе в Вене телеграфировать или послать письмо, будет закрыта) уже сегодня тебе сказал, где я буду ждать тебя, но я бы до того времени попросту задохнулся, если б сейчас назвал тебе какое-то место и потом в течение трех дней и ночей видел бы его перед собой — пустующим и ждущим того момента, когда я во вторник в такой-то и такой-то час туда приду. О Милена, есть ли вообще в мире столько терпения, сколько надобно на такого, как я? Скажешь мне об этом во вторник.

Ф.

[Вена, 29 июня 1920 г.]

Вторник, 10 часов утра.

До 12 часов это письмо, видимо, не придет, наверняка даже не придет, сейчас уже 10. Тогда все откладывается на завтра; может быть, это и хорошо, потому что хоть я и в Вене, сижу в кафе у Южного вокзала (что тут за какао, что за печенье, и этим ты живешь?), но я еще как бы не совсем здесь, две ночи подряд не спал, впрочем, неизвестно, засну ли и в третью, в этой гостинице «Рива» у Южного вокзала, рядом с гаражом. В общем, ничего лучшего не могу придумать, кроме вот этого: ожидаю тебя в среду перед гостиницей, начиная с десяти утра. Прошу тебя, Милена, не пугай меня — не появляйся неожиданно сбоку или сзади, и я тоже не буду.

Сегодня, может быть, займусь осмотром достопримечательностей: Лерхенфельдерштрассе[23], почта[24], по окружному поясу от Южного вокзала до Лерхенфельдерштрассе, лавка торговки углем и пр., — постараюсь бродить по возможности незаметно.

Твой

[Прага, 4 июля 1920 г.] [25]

Воскресенье.

Сегодня, Милена Милена Милена — ничего другого писать сегодня не могу! Нет, все-таки. Итак, сегодня, Милена, пишу лишь в спешке, усталости и неприсутствии (последнее, впрочем, наверняка сохранится и завтра). Да и как не быть усталым? Больному был обещан отпуск на целых три месяца, а дали четыре дня, причем от вторника и воскресенья лишь по обрывку, да к тому же отрезали от каждого дня вечер и утро. Разве я не прав, что не совсем выздоровел? Разве не прав? Милена! (Это тебе на ухо, на левое, а ты лежишь на бедной постели, спишь глубоким сном самого праведного происхождения и медленно, еще ничего не осознавая, поворачиваешься с правого бока на левый — к моим губам)...

Как я доехал? Сначала все было очень просто, на перроне не оказалось газет. Лишний повод выбежать на площадь, но тебя уже там не было, — все как надо. Я зашел в купе, поезд тронулся, я раскрыл газету, начал читать — все как надо; через несколько минут отложил газету — и вдруг понял, что *тебя уже нет со мной*, вернее, ты была со мной, я это чувствовал всем своим существом, но теперь это твое бытие-со-мной было совсем иным, чем в минувшие четыре дня, и я должен был еще к этому привыкнуть. Начал опять читать, но дневник Бара [26] начинался описанием курорта Кройцена у Грайна на Дунае. Я отложил газету, но когда выглянул в окно, мимо как раз проезжал поезд, и на вагоне была надпись: Грайн. Я отвел взгляд и стал смотреть перед собой. Господин напротив читал «Народны листы» от прошлого воскресенья, там я увидел фельетон Ружены Есенской [27], попросил почитать; начинаю читать — толку никакого, снова бросаю — и вот сижу, а прямо передо мной твое лицо, каким оно было при прощании на перроне. То было явление природы, какого я еще никогда не видел: солнечный свет, меркнущий не от туч, а изнутри.

Ну что мне еще сказать? Горло отказывает, рука отказывает.

Твой

Завтра продолжу описание этого удивительного путешествия.

[Прага, 4 июля 1920 г.]

Воскресенье, чуть позже.

Посыльный передаст тебе вложенное письмо [28] (пожалуйста, порви его, и письмо Макса [29] тоже), на него требовался немедленный ответ, я написал, что буду у нее в 9 утра. Что́ я должен сказать, совершенно ясно, как я это скажу — не знаю. Благие небеса, только представить себе: я женат, возвращаюсь домой и нахожу не посыльного, а постель, чтобы зарыться в нее, наглухо укрыться от всех — без всякого подземного хода в Вену! Я это говорю себе, чтобы осознать самому, как легка та тягостная миссия, что мне предстоит.

Твой

Я посылаю тебе ее письмо, будто надеясь добиться, чтобы ты была совсем рядом со мной, когда я буду ходить взад и вперед перед ее домом.

Воскресенье, 11.30.

<...> Результата никакого, хотя ведь все ясно, и так же ясно мною было все сказано. Подробности пересказывать не буду — разве только то, что она ие сказала ни о тебе, ни обо мне ни одного хоть сколько-нибудь худого слова. От сплошной ясности я даже не почувствовал никакого сострадания. Я мог лишь сказать — и это совершеннейшая истина, — что в наших с нею отношениях ничего не изменилось и едва ли когда-либо изменится, вот только — нет, не могу больше, это отвратительно, это ремесло палача, не мое ремесло. Лишь одно, Милена: если она тяжело заболеет (выглядит она очень плохо, отчаяние ее безмерно, завтра после обеда я к ней опять пойду) — в общем, если она заболеет или еще что-то с ней случится, я уже буду над этим не властен, я ведь могу только снова и снова говорить правду, а эта правда не просто правда, а нечто большее, я весь поглощен тобой, когда иду с ней рядом, — если, стало быть, что-то случится, тогда приезжай, Милена!

Ф.

Я написал глупость, не можешь ты приехать — *по той же самой причине*.

Завтра пошлю тебе на домашний адрес свое письмо к отцу, пожалуйста, сохрани его — вдруг я его однажды все-таки отдам ему. Постарайся, чтоб оно никому не попалось на глаза. А когда сама будешь читать его, постарайся понять все адвокатские закавыки — это ведь адвокатское письмо. И не забывай при этом о твоем столь весомом «И все-таки!»

Понедельник, утром.

Посылаю тебе сегодня «Бедного шпильмана» [30] — не потому, что он имеет для меня большое значение, он имел его однажды, много лет назад. Я посылаю его потому, что его автор такой венский и такой немузыкальный, просто хоть плачь, — и еще потому, что он смотрел на нас сверху в Народном саду [31] (на нас! ты шла рядом со мной, Милена, подумай, ты шла рядом со мной!), и потому что он такой насквозь бюрократический, и потому что он любил деловую девушку.

[Прага, 5 июля 1920 г.]

Понедельник.

Сегодня утром пришло твое письмо, написанное в пятницу, а позже — ночное письмо того же дня. Первое такое печальное, с печальным перронным лицом, печальное не из-за своего содержания, а потому что оно устарело, потому что все уже в прошлом, наш общий лес, наши общие предместья, наша общая дорога. А она ведь не кончается, не уходит в небытие, эта прямая, как стрела, общая дорога, вверх по каменистому переулку, назад по аллее к вечернему солнцу, она не кончится, и все же это глупая шутка — говорить, что она не кончится. Вокруг, куда ни глянь, бумаги и документы, несколько писем, я их только что прочел, рукопожатия у директора (я не уволен) и еще в двух-трех комнатах, и ко всему этому в ушах звенит маленький колокольчик: «Она уже не с тобой»; правда, есть еще где-то в небесах исполинский колокол, и он звонит: «Она не оставит тебя», — но маленький-то колокольчик совсем близко, в ушах! А потом это ночное письмо — непостижимо, как его можно читать, непостижимо, как может в достаточной мере расширяться и сжиматься грудь, дыша этим воздухом, непостижимо, как можно быть вдали от тебя.

И однако я не жалуюсь, это все не жалоба, и ты мне дала слово. <...>

[Прага, 7 июля 1920 г.]

Среда, вечер.

Пишу впопыхах, лишь несколько слов в честь моего новоселья, — впопыхах, потому что в 10 часов прибывают родители из Франценсбада, в 12 часов — дядя из Парижа, и все хотят, чтоб я их встретил; новоселья — потому что я, освобождая дяде место, переехал в пустую квартиру сестры, которая сейчас в Мариенбаде. Пустая большая квартира, это прекрасно; правда, улица более шумная, но в целом обмен отнюдь не плохой. А написать я тебе должен был непременно, потому что из моих последних жалобных писем (самое ужасное я сегодня утром от стыда порвал; подумай: у меня еще нет никаких известий от тебя, но жаловаться по почте глупо, что мне почта) ты могла заключить, что я в тебе не уверен, что я боюсь тебя потерять; нет, ничего подобного. Разве смогла бы ты стать для меня тем, что ты есть, если б я был в тебе не уверен? Такое впечатление создается оттого, что мне дано было пережить краткую телесную близость и потом внезапную телесную разлуку (почему именно в воскресенье? почему именно в 7 утра? почему вообще?) — от всего этого, конечно, голова может пойти кругом. Прости! А теперь, на сон грядущий, на спокойную ночь, прими единым потоком всего меня и все мое — все, что радо покоиться в тебе.

[Прага, 8 июля 1920 г.]

Четверг, утро.

Улица шумная, к тому же наискосок что-то строят, перед окном не русская церковь [32], жилища, набитые людьми, — и все-таки: быть одному в комнате — это, наверное, условие жизни, быть одному в квартире — условие (если говорить совсем точно: временное) счастья (и — *одно* из условий, ибо что проку было бы в квартире, если б я не жил, если б у меня не было родины, дарующей мне успокоение, — к примеру, пары ясных и

синих, непостижимой милостью вышней зажженных глаз); стало быть, квартира эта — одна из составляющих счастья, все так тихо, душевая, кухня, прихожая, три остальные комнаты, не то что эти общие квартиры с их гвалтом, с их содомом, с кровосмесительным разгулом давно уже неуправляемых, разнузданных мыслей, желаний и тел, когда во всех закоулках, между всеми кроватями и шкафами плодятся недозволенные связи, несообразные, случайные вещи, незаконные дети, — где неизменно все происходит не так как в твоих тихих пустынных предместьях в воскресный день, а как в оглушительно-суматошных многолюдных предместьях в беспрерывный субботний вечер.

Пришла сестра — проделала долгий путь, чтобы принести мне завтрак (в чем решительно не было нужды, я сам собирался домой), да еще и несколько минут звонила в дверь, пока я не пробудился от этого письма и от своего отрешения.

Ф.

Но квартира мне не принадлежит, сестрин муж тоже намеревается часто наезжать сюда летом.

[Прага, 13 июля 1920 г.]

Вторник, пополудни.

Какая ты усталая в субботнем письме! Много чего я мог бы сказать на это письмо, но усталой ничего сегодня не буду говорить, я и сам устал — пожалуй, впервые после возвращения из Вены, — совершенно не выспался, голова раскалывается. Ничего тебе не скажу, просто усажу тебя в кресло (ты говоришь, что недостаточно была добра ко мне, но разве это не высшая доброта, и любовь, и почесть — позволить мне присесть там у тебя, и самой сесть напротив и быть со мной) — итак, я усаживаю тебя в кресло — и теряюсь, и не знаю, как выразить словами, глазами, руками, бедным сердцем это счастье — счастье оттого, что ты со мной, что ты все-таки и моя тоже. И ведь люблю я при этом вовсе не тебя, а нечто больше — мое дарованное тобой бытие. <...>

[Прага, 14 июля 1920 г.]

Среда.

Ты пишешь: «Ano máš pravdu, mám ho ráda. Ale F., i tebe mám ráda»[33]. Я читаю эту фразу очень внимательно, слово за словом, особенно на «и» задерживаюсь, все верно, ты не была бы Миленой, если б было неверно (а чем был бы я, если б не было тебя?) — и лучше даже, что ты пишешь это в Вене, чем если б ты сказала это в Праге, я все прекрасно понимаю, даже, может быть, лучше тебя; и все-таки в силу какой-то слабости я не могу справиться с этой фразой, чтение затягивается до бесконечности, и, в конце концов, я еще раз переписал ее, чтобы ты тоже ее увидела и мы читали ее вместе, висок к виску. (Твои волосы у моего виска)...

Это было написано до того, как пришли два твоих карандашных письма. Неужели ты думаешь, что я не знал, что они придут? Но я это знал только в глубине, а там человек не живет постоянно, он, увы, предпочитает жить в наижалчайшем образе на земле. Не знаю, почему ты все время боишься каких-то моих самочинных действий. Разве я не достаточно ясно об этом написал? А телеграмму г-же Колер[34] я ведь послал только потому, что целых три дня — и ужасных дня — не имел от тебя никаких известий, ни даже телеграмм, и чуть было не подумал, что ты заболела.

Вчера был у своего врача, он нашел, что мое состояние почти такое же, как и до Мерана, три месяца прошли для легких почти безрезультатно, в левом легком болезнь сидит так же здоровехонька, как и прежде. Он считает подобный успех совершенно неутешительным, я — вполне сносным: ведь как бы я выглядел, если бы то же самое время провел в Праге? Он считает также, что я нисколько не прибавил в весе, но по моим расчетам все-таки килограмма на три потолстел. Осенью он хочет попробовать впрыскивания, но я не думаю, что это стерплю.

Когда я сравниваю эти результаты с тем, как ты прожигаешь свое здоровье (по сугубой необходимости, разумеется; я полагаю, тут мне и оговариваться нечего), мне кажется иногда, что мы, вместо того чтобы

жить вместе, просто тихо-мирно уляжемся вместе, чтобы умереть. Но что бы ни случилось — все будет рядом с тобой. <...>

[Прага, 16 июля 1920 г.]

Пятница.

Я хотел отличиться перед тобой, показать силу воли, повременить с письмом к тебе, закончить сначала один документ, но комната так пуста, никому я не нужен, — будто кто-то сказал: «Оставьте его, разве вы не видите, как он поглощен своими заботами, у него словно кулак во рту». Так что я сумел написать только полстраницы и снова вернулся к тебе, лежу над этим письмом, как лежал рядом с тобой тогда в лесу.

Письма сегодня не было, но я не боюсь, пожалуйста, пойми меня правильно, Милена, я никогда за тебя не боюсь; если иной раз и создается такое впечатление — а оно часто создается, — то это лишь слабость, это прихоть сердца, которое, тем не менее, твердо знает, во имя чего оно бьется; у великанов тоже бывают минуты слабости, даже Геракл, по-моему, падал однажды в обморок. Но со стиснутыми зубами, глядя в твои глаза, которые я вижу в самый ясный день, я могу вынести все: разлуку, тревогу, заботу, твое молчание.

...Какой я счастливый, каким ты делаешь меня счастливым! Приходил тут клиент (подумай только: и у меня есть клиенты!), оторвал меня от письма, я разозлился, но у него было круглое, розовое, добродушное, при этом имперски-германски-корректное лицо, и он был настолько любезен, что даже шутки принимал за деловые ответы; но как бы то ни было, он мне помешал, я не мог ему этого простить, к тому же мне пришлось подняться из-за стола, чтобы пройти с ним в другие отделы, — и вот это было для тебя, о добрая моя, уже чересчур, потому что именно в тот момент, когда я встал, вошел служитель и принес твое письмо, я распечатал его прямо на лестнице, и — о небо! — там фотография, то есть нечто совершенно, совершенно неисчерпаемое, такие письма приходят раз в год, раз в вечность, и фотография такая хорошая, лучше не бывает, — бедная маленькая фотография, на нее и смотреть-то дозволительно лишь сквозь слезы, с бьющимся сердцем, не иначе.

...И опять у меня какой-то чужой человек сидит передо мной.

...В продолжение начатого: все я могу вынести — с тобою в сердце: и если я однажды написал, что дни без твоих писем были ужасны, то это неверно, они были лишь ужасно тяжелы — лодка была тяжела, погруженная в волны ужасно глубоко, до краев, но плыла она все-таки на твоих волнах, в твоем потоке. Лишь одного я не смогу вынести без твоей решительной подмоги, Милена: того самого «страха», — тут я слишком слаб, эту громаду ужаса я не могу даже окинуть взором, она захлестывает и уносит меня. <...>

Снова меня прервали; писать в бюро становится уже невозможно.

Обещанное длинное письмо могло бы снова нагнать на меня страху, не будь сегодняшнее письмо таким утешительным. А что будет в том?

Напиши мне сразу, дошли ли деньги. Если они затерялись, я пошлю еще, а если и те затеряются, снова пошлю — и так далее до тех пор, пока у нас вообще ничего не останется, и тогда наконец-то все будет в порядке.

Ф.

А цветка я не получил — похоже, в последнюю минуту ты его все-таки для меня пожалела.

[Прага, 17 июля 1920 г.]

Суббота.

Я ведь знал, что будет в этом письме, все это стояло почти за всеми твоими письмами, было в твоих глазах — могло ли что-то остаться нераспознанным в их ясных глубинах? — было в складках на твоем лбу, все это я ведь знал; так человек, что весь день провел за закрытыми ставнями, погруженный то ли в сон, то ли в грезу, то ли в страх, вечером распахивает окно и, понятное дело, нисколько не удивляется — ибо все уже знал, — что снаружи царит тьма, чудесная глубокая тьма. И я вижу, как ты терзаешься, и корчишься в тисках, и пытаешься вырваться, и — уж бросим факел в бочку с порохом! — никогда не вырвешься, я это вижу. — и все же

не могу сказать: «Оставайся там, где ты есть». Но я не могу сказать и обратного, я стою перед тобой, смотрю в твои милые бедные глаза (все-таки какая жалкая эта карточка, что ты мне прислала, одна мука смотреть на нее, мука, которой я подвергаю себя по сто раз на день, — и в то же время, увы, она достояние, которое я готов защищать против целой дюжины силачей) — и чувствую себя в самом деле сильным, ты права, некая сила во мне есть: если обозначить ее коротко и неясно, то это моя немузыкальность. Однако она, опять-таки, не настолько велика, чтобы я — по крайней мере сейчас, в эту минуту — мог продолжать письмо. Какой-то вал любви и муки подхватывает меня и уносит прочь от стола.

Ф.

[Прага, 18 июля 1920 г.]

Воскресенье.

Еще ко вчерашнему: твое письмо побудило меня посмотреть на все с другой стороны, с какой я до сих пор смотреть остерегался. И тогда все выглядит иначе и весьма необычно.

Я ведь не борюсь с твоим мужем за тебя — борьба совершается только в тебе; если б решение зависело от борьбы между твоим мужем и мной, все было бы давно решено. При этом я вовсе не переоцениваю твоего мужа, с очень даже возможно, что я его недооцениваю, но одно я знаю: если он меня любит, то это любовь богача к бедности (кое-что от этого есть и в твоем отношении ко мне). В твоей совместной жизни с ним я на самом-то деле всего лишь мышка в «большом доме», которой в лучшем случае раз в год дозволяется открыто перебежать по ковру.

Так обстоят дела, и это нисколько не странно, меня это не удивляет. Но что меня удивляет — и что, наверное, вообще невозможно понять, — это то, что ты живешь в этом «большом доме», всем своим существом ему принадлежишь, черпаешь в нем всю силу жизни, царишь в нем королевой и все-таки — это я знаю точно — имеешь возможность (но именно лишь потому, что ты все можешь: já se přece nezastavím ani před — ani před — ani před —)[35] не только любить меня, но и быть всецело моей, перебежать по своему собственному ковру.

Но самое удивительное не в этом. Оно в том, что, пожелай ты уйти ко мне, то есть — если судить «по-музыкальному», — пожертвуй ты всем миром, чтобы снизойти ко мне, на такое дно, где, если смотреть с твоих высот, не только мало что, но вообще ничего не видно, — тебе для этого (вот что самое-самое странное!) пришлось бы не спуститься, а неким сверхчеловеческим усилием вознестись н а д собой, вырваться за свой предел — и так высоко, что все, наверное, кончилось бы неминуемым обрывом, низвержением, исчезновением (для меня, разумеется, тоже). И все это ради того, чтобы попасть ко мне, в то место, куда ничто не манит, где я сижу с пустыми руками, без малейшего достояния за душой, будь то счастье или несчастье, заслуга или вина, — просто сижу там, куда меня посадили. В табели рангов человеческих я что-то вроде мелкого довоенного бакалейщика в твоих предместьях (даже не шарманщик, куда там!); и если б я даже отвоевал себе это место в жестокой борьбе, — но я его не отвоевывал, — все равно это не было б заслугой. <...>

[Прага, 19 июля 1920 г.]

Понедельник.

Относительно многого ты заблуждаешься, Милена:

Во-первых, я вовсе не так серьезно болен, и стоит мне немного поспать, я чувствую себя так хорошо, как едва ли когда-либо чувствовал себя в Меране. Ведь легочные болезни по большей части самые сговорчивые, особенно жарким летом. Как я справлюсь с поздней осенью — этим вопросом и зададимся позднее. Сейчас же лишь кое-какие мелочи заставляют меня страдать — например, то, что я решительно ничего не могу делать в своем бюро. Если я не пишу к тебе, я лежу в кресле и глазею в окно. Из него много чего видно, потому что дом на противоположной стороне — одноэтажный. Не хочу сказать, чтоб мне от глазения было уж особенно грустно, вовсе нет, только вот оторваться не могу.

Во-вторых, я вовсе не испытываю нужды в деньгах, у меня их предостаточно, а некоторые избытки — например, деньги на твой отпуск — меня прямо-таки угнетают, поскольку все еще лежат тут у меня.

В-третьих, ты уже сделала — раз и навсегда — самое решающее для моего выздоровления и к тому же делаешь это снова и снова, каждую секунду — тем, что добра ко мне и думаешь обо мне. (И вообще не беспокойся насчет меня: в последний день я буду ждать так же, как и в первый).

В-четвертых, все, что ты с легкой опаской говоришь о поездке в Прагу, совершенно верно. «Верно» — так я написал и в телеграмме, но там это относилось к разговору с твоим мужем, и уж это-то было единственно верным. Сегодня утром, например, я вдруг отчетливо осознал, что б о ю с ь — с любовью, с дрожью в сердце б о ю с ь того, что ты внезапно, введенная в заблуждение какой-нибудь случайной мелочью, появишься в Праге. Но способна ли и в самом деле какая-либо мелочь повлиять на тебя — на тебя, живущую истинно полной жизнью вплоть до самых ее глубин? И даже венские наши дни не должны вводить тебя в заблуждение. Ведь даже там мы, возможно, многим были обязаны твоей бессознательной надежде на то, что вечером ты сможешь снова его увидеть. Или вот это еще: из твоего последнего письма я узнал две новости — о гейдельбергском плане, во-первых, и о парижском плане, тоже связанном с уходом из банка, во-вторых[36]; судя по первому плану, я все-таки каким-то образом числюсь в ряду «спасителей», причем насильственных. Но я ведь в то же время и не нахожусь ни в каком ряду. А из второго плана мне стало ясно, что и там есть будущая жизнь, прожекты, возможности, виды — и твои виды тоже.

В-пятых, изрядная доля мучительных твоих самоистязаний (е д и н с т в е н н а я боль, которую ты мне причиняешь) происходит от того, что ты пишешь мне каждый день. Пиши реже, а я и впредь буду, если хочешь, писать тебе каждый день по письму. И у тебя будет больше покоя, чтоб заниматься работой, которая доставляет тебе столько радости. <...>

[Прага, 21 июля 1920 г.]

Среда.

Все-таки мужество дает свои результаты.

Прежде всего: Гросс[37], наверное, во многом прав, если я верно его понимаю; в пользу его теории говорит по крайней мере то, что я еще жив, — а ведь вообще-то, если учитывать мой внутренний баланс сил, я давно уже не жилец на этом свете.

Далее: как оно будет потом — об этом речь сейчас не идет, ясно только, что в д а л и о т т е б я я н е м о г у ж и т ь и н а ч е, к р о м е к а к в с е ц е л о в в е р я я с ь с т р а х у, д о в е р я я с ь е м у б о л ь ш е, ч е м о н т о г о х о ч е т, и я д е л а ю э т о б е з в с я к о г о у с и л и я, с в о с т о р г о м, я к а к б ы и з л и в а ю с ь в н е г о.

Ты права, когда памятуя об этом страхе, упрекаешь меня за мое поведение в Вене, но страх этот в самом деле странен, внутренних его законов я не знаю, знаю только его хватку на своем горле, и это поистине с а м о е у ж а с н о е, ч т о я к о г д а - л и б о и с п ы т ы в а л и л и м о г б ы и с п ы т а т ь.

Тогда, наверное, получается, что каждый из нас живет в супружестве — ты в Вене, я со своим страхом в Праге, и мы оба — не только ты, но и я — тщетно пытаемся порвать эти узы. Ведь смотри, Милена: если б тогда в Вене ты была п о л н о с т ь ю в о м н е у б е ж д е н а (согласна со мной вплоть до походки, которая тебя не убедила), ты бы сейчас уже не была вопреки всему в Вене — точнее говоря, уже не существовало бы никакого «вопреки», а ты просто была бы в Праге, и все, чем ты утешаешь себя в последнем письме, — оно и есть утешение, не больше. Ты не согласна?

Ведь если б ты сразу приехала в Прагу или, по крайней мере, сразу бы приняла такое решение, это не было бы для меня доказательством в твою пользу — относительно тебя я не нуждаюсь ни в каких доказательствах, ты для меня превыше всего, ты сама ясность и надежность, — но это было бы великим доказательством в м о ю п о л ь з у, а в нем-то я и нуждаюсь. Тут страх мой тоже находит дополнительную пищу.

А может быть, все обстоит еще хуже, и именно я, «спаситель», удерживаю тебя в Вене, как никто прежде. <...>

Я вздрагиваю — телефон! Вызывают к директору! Впервые с тех пор,

как я вернулся в Прагу, меня вызывают к начальству по служебным делам! Вот сейчас-то и раскроется все мое жульничество! Восемнадцать дней только и делал, что писал письма, читал письма, а главное — таращился в окно: повертишь письмо в руке, отложишь, возьмешь снова; еще беседовал с посетителями — и больше ничего!

Но стоило мне только спуститься к нему и переступить порог, как меня встретила приветливая улыбка, что-то он мне рассказывал деловое (я ничего не понял), потом стал прощаться со мной — он уезжает в отпуск; непостижимо добрый человек! (Правда, я промямлил что-то невразумительное насчет того, что у меня все готово и с завтрашнего дня я уже начинаю диктовать). И вот я спешу вкратце доложить об этом тебе, мой добрый дух. Странным образом на столе у него все еще лежит мое венское письмо, поверх него другое письмо из Вены, поначалу я чуть было не подумал, что речь пойдет о тебе.

[Прага, 22 июля 1920 г.]

Четверг.

Милена, прилежная моя Милена, твоя комната меняется в моем воспоминании, письменный стол и вся обстановка поначалу, собственно, отнюдь не производили впечатления, что там кипит работа, а сейчас работы так много, я ее чувствую, она меня убеждает, я отчетливо ощущаю, какая в этой комнате царит великолепная атмосфера горячки, прохлады и радости. Только шкаф по-прежнему неуклюж, да замок иногда заедает — ничего не отдает, судорожно упирается, а особенно не хочет выдавать платье, которое было на тебе «в воскресенье». Это никудышный шкаф; если тебе доведется обживать новую квартиру, мы его вышвырнем.

О многом, что я написал в последнее время, я жалею, не сердись на меня. И, пожалуйста, не терзайся все время мыслью, что это лишь твоя вина (и вообще твоя вина), если ты не можешь вырваться. В гораздо большей степени это моя вина; как-нибудь я об этом напишу.

[Прага, 23 июля 1920 г.]

Пятница.

Нет, стало быть, на самом-то деле все обстоит не так уж и плохо. А потом — как душе иначе освободиться от бремени, если не посредством невинного зубоскальства? И кроме того, я и сегодня считаю верным почти все, что написал. Кое-что ты неверно истолковала — например, насчет «единственной боли»; ведь это именно твое самоистязательство мне ее причиняет, а не твои письма, они-то каждое утро дают мне силы перенести день — и так хорошо перенести, что я не хотел бы лишиться ни одного из них (этих писем, что само собой разумеется, — ни единого из них! — но и этих дней тоже). И письма, лежащие на столике в моей прихожей, вовсе меня не опровергают — уже сама возможность написать их и положить туда значила для меня немало. И я вовсе не ревную, уверяю тебя; но вот то, что ревновать вообще ни к чему, — это мне трудно понять. Не ревновать — это мне удается всегда; осознать ненадобность ревности — гораздо реже. Да, еще по поводу «спасителей». Самое в них странное (и знаешь, так им и надо, я стою в сторонке и радуюсь — радуюсь не каждому отдельному случаю, а этому мировому закону) — то, что они, желая что-то вытащить, лишь со звериным упорством это заколачивают еще глубже.

Теперь мне, стало быть, есть что сообщить Максу: твое — хоть и весьма краткое — суждение о его пространном опусе[38]. Он ведь все время о тебе спрашивает, как у тебя дела, что нового — все-то его заботит до глубины души. Но я почти всегда мало что могу ему сказать — к счастью, уже сам язык не поворачивается. Не могу же я рассказывать как ни в чем не бывало о какой-то там Милене из Вены — мол, вот «она» то-то и то-то говорит, делает, имеет в виду. Ты ведь никакая не «Милена» и не «она», это все чистый абсурд, потому и сказать мне нечего. Это настолько очевидно, что я и сожалений никаких не испытываю.

А вот говорить о тебе с чужими людьми — это я могу, и это даже совершенно утонченное удовольствие. Если б я еще позволял себе при этом немного ломать комедию — а соблазн велик, — удовольствие было б еще полней. Недавно я встретил Рудольфа Фукса[39]. Я к нему очень располо-

жен, но сама по себе радость встречи, конечно же, не была бы для меня так велика, и руку ему я не жал бы с таким мужицким усердием. При этом я ведь понимал, что толк будет невелик, но пускай хоть самый малый, думал я. Разговор сразу перешел на Вену и на общество, в котором он там вращался. Я проявил живейший интерес к именам, он начал перечислять, но нет, я не то имел в виду, мне женщин называй. «Ну, там была и эта Милена Поллак, Вы ведь ее знаете». — «Да, Милена», — повторил я и вперил взор в Фердинандштрассе — что он на это скажет. Потом посыпались другие имена, меня опять охватил приступ моего вечного кашля, и разговор сник. Как его взбодрить? «Вы не помните, в каком году во время войны я был в Вене?» — «В семнадцатом». — «А Эрнста Поллака тогда еще не было в Вене? Я его не видел. Он был еще не женат?» — «Нет». Конец. Я бы, конечно, мог его заставить еще немного поговорить о тебе, но сил на это уже не хватило. <...>

[Прага, 26 июля 1920 г.]

Понедельник.

Телеграмма не была ответом, а вот письмо, отосланное в четверг вечером, — это ответ. Не зря я, стало быть, мучился бессонницей, не зря сегодня с утра меня давила эта ужасная тоска — все верно. А муж твой знает о кровохарканье? Я понимаю, что не стоит все это преувеличивать, может, тут и нет ничего особенного, бывает, что иной раз идет кровь, но все-таки это кровь, и забыть об этом невозможно. А вот ты живешь себе, не задумываясь, живешь своей героически-беспечальной жизнью, живешь так, будто уговариваешь кровь: «Ну иди же, иди». И она идет. А что тут будет со мной — это тебя ничуть не тревожит, хотя ты, конечно, отнюдь не nemluvně[40] и прекрасно знаешь, что делаешь, но именно этого ты и хочешь — чтобы я стоял тут на пражском берегу, а ты тонула на моих глазах, погружалась в волны венского моря, всецело по своей воле. И если тебе нечего есть, это, значит, вовсе не потребность pro sebe[41]? Или ты полагаешь, что это скорее моя потребность, чем твоя? Что ж, значит, ты права. И денег тебе, к сожалению, я не смогу больше прислать, потому что в обед я пойду домой и швырну ненужные бумажки в печку.

Выходит, мы совсем отдалились друг от друга, Милена, и лишь одно, но могучее желание нас объединяет; чтобы ты была здесь, чтоб лицо твое было рядом со мной, как можно ближе. И, конечно, еще желание смерти — нас объединяет желание «легкой» смерти, но оно ведь уже и совершенно детское желание; вот так же на уроке математики, когда учитель на кафедре листал свой кондуит и, возможно, искал мою фамилию, я следил за ним и, сравнивая с этим воплощением силы, ужаса и реальности свое непостижимое ничтожество и невежество, охваченный полусонным оцепенением страха, желал одного: подняться бы сейчас невидимкой, пробежать невидимкой между партами, пролететь мимо учителя на невесомых, как мои математические познания, крыльях, как-нибудь преодолеть дверь и, очутившись снаружи, прийти в себя и вдохнуть свободно на чудесном вольном воздухе, зная, что нигде в подлунном мире он не будет так накален, как в оставленной мною комнате. Да, так было бы «легче». Но так не бывало. Меня вызывали к доске, диктовали задачку, для решения нужна была таблица логарифмов, у меня ее не было (забыл дома), но я врал, что она осталась в парте (надеясь, что учитель даст мне свою), он посылал меня за таблицей, я — с отнюдь даже не наигранным ужасом (ужас в школе мне никогда не приходилось наигрывать) обнаруживал, что ее там нет, и учитель (позавчера я его встретил) говорил мне: «Ох и крокодил!» Я сразу получал «неудовлетворительно», и это было даже хорошо, потому что я ведь получал эту отметку, собственно говоря, лишь формально, да еще и несправедливо (я хоть и соврал, но никто не мог этого доказать — тогда ведь это несправедливо?), а главное — мне не пришлось обнаруживать свое постыдное невежество. Значит, в целом-то даже и это еще было вполне «легко»: выходило, что при благоприятных условиях можно было «исчезнуть» даже и в самой комнате, возможности тут безграничны, и «умереть» можно и в самой жизни.

(Так я болтаю только потому, что мне с тобой хорошо, несмотря ни на что).

Только одной возможности не существует — и что бы я ни болтал, это ясно,— возможности того, что ты сейчас войдешь и будешь здесь, и мы основательно побеседуем о твоем выздоровлении; а ведь именно эта возможность — самая настоятельная!

О многом я хотел тебе сегодня сказать, прежде чем прочел письма, но что можно сказать, когда — пошла кровь? Пожалуйста, сразу напиши мне, что сказал врач и что он за человек?

Сцену на вокзале ты описала неверно, я не колебался ни секунды, все было так бесконечно печально и прекрасно, и мы были совсем одни, и было что-то непостижимо комическое в том, что люди — которых там не было! — вдруг взбунтовались и потребовали открыть ворота на перрон.

А вот перед гостиницей все было так, как ты говоришь. Ты была там такой красивой! А может, то была вовсе не ты. Ведь это очень странно — то, что ты так рано встала. Но если это была не ты, откуда же ты так точно все знаешь?

Хорошо, что тебе тоже нужны марки, я все эти два дня корю себя за свою просьбу о марках, уже когда я писал, я себя корил.

[Прага, 27 июля 1920 г.]

Вторник.

Где же врач? Я обрыскал все письмо, не читая его, только чтобы найти врача. Где он?

Я совсем не сплю; это не значит, что я из-за этого не сплю, немузыкального человека настоящие заботы усыпляют скорее, чем что-либо другое, но все-таки я не сплю. Отчего? Слишком много времени прошло с тех пор, как я ездил в Вену? Или я переусердствовал, славословя свое счастье? Молока, масла и салата мне уже мало и нужна иная пища — твое присутствие? Вполне возможно, что причины тут совсем другие, но дни мои нелегки. К тому же вот уже три дня я лишен такого счастья, как пустая квартира, я живу у своих (потому и телеграмму сразу получил). Может быть, на меня так благотворно действует вовсе не пустынность квартиры — или не исключительно она,— а сама возможность располагать двумя квартирами: одной для жизни днем, а другой, на отдалении, для вечеров и ночей. Тебе это понятно? Мне — нет, но это так.

Да, насчет шкафа. Похоже, что он будет причиной нашей первой и последней размолвки. Я скажу: «Мы его вышвырнем». Ты скажешь «Нет, оставим». Я: «Или он, или я. Выбирай». Ты: «Сейчас. Шкаф, Кафка — тут есть созвучие. Выбираю шкаф».— «Хорошо»,— скажу я, медленно спущусь по лестнице (по которой?) и — если не найду сразу Дунайского канала, буду жить и посейчас. <...>

[Прага, 28 июля 1920 г.]

Среда.

Ты знаешь историю бегства Казановы из венецианской тюрьмы? Знаешь, конечно. Там мимоходом описывается самый ужасный вид заключения — в подземелье, в кромешном мраке, в сырости, на уровне лагун, человек скорчился на узкой доске, вода доходит почти до ступней, а с приливом и в самом деле поднимается выше колен; но самое ужасное — это осатанелые водяные крысы, их писк ночью, скрежет, грызня (кажется, ему приходилось сражаться с ними за корку хлеба), и страшнее всего — то, что они все время ждут, когда человек обессилеет и свалится с доски. Знаешь, вот с таким же ощущением я читал твое письмо. Все так ужасно, непостижимо, а главное — так близко и так далеко, как собственное прошлое. И вот сидишь, скорчившись, наверху, осанке это не на пользу, ноги сводит судорогой, и ты трясешься от страха, а у тебя и дела-то всего, что смотреть на огромных черных крыс, а они тебя слепят в ночной тьме, и в конце концов ты уже не соображаешь, сидишь ли ты еще наверху или уже находишься среди них и пищишь, скаля узкую морду с острыми зубками. Ах, не пересказывай больше таких историй, приезжай ко мне, ну что ты в самом деле, приезжай. А этих «зверюшек» я тебе дарю, но с условием, что ты их тут же прогонишь из дому.

А о враче уже и вообще речи нет? Ты же клятвенно заверяла, что пойдешь к врачу, а слово свое ты всегда держала. Раз не видишь больше крови, то и не идешь? Я не хочу говорить о себе, ты несравненно меня здоровее, я всегда буду только господином, которому надо поднести чемодан (что само по себе еще не указывает на место в табели о рангах, ибо тут сначала идет господин, подзывающий носильщика, потом сам носильщик, а потом уже господин, просящий поднести ему чемодан, потому что иначе он рухнет; когда я недавно — недавно! — шел с вокзала домой, служитель, несший мой чемодан, вдруг по собственному почину — я, кажется, и слова на эту тему не сказал,— принялся меня утешать: я, мол, наверняка зато разбираюсь в вещах, которые ему недоступны, а таскать чемоданы — вот это его дело, он к этому привычный и т. д.; лишь тогда мне пришли в голову мысли, на которые его речь была ответом — надо сказать, далеко не убедительным,— но внятно я их не высказывал),— так вот, я себя тут вовсе с тобой не сравниваю, но поневоле приходится думать и о своем состоянии, а чем больше думаешь, тем больше тревожишься, и ты должна пойти к врачу. Это было года три назад, никогда я не жаловался на легкие, никогда не уставал, ходить мог без конца и до пределов своих сил никогда при этом не доходил (чего не скажешь о моих мыслях — тут я на пределы натыкался постоянно), и вдруг где-то в августе — во всяком случае, была жара, прекрасная погода, и все было в порядке, кроме моей головы,— я на занятиях плаванием откашлялся и выплюнул что-то алое. Это было странно и даже интересно, правда? Я на секунду вперился в это пятно и тут же о нем позабыл. А потом это стало случаться все чаще, и вообще, стоило мне захотеть сплюнуть, как появлялось алое пятно — словно по заказу. Уже стало даже не интересно, а скучно, и я снова об этом позабыл. Пойди я тогда сразу к врачу — что ж, возможно, все осталось бы точно в таком же положении, как и без врача, но тогда никто не знал о том, что у меня идет кровь, и никто не тревожился. А теперь кто-то тревожится, так что, пожалуйста, сходи к врачу.

Странно, что твой муж собирается написать мне то-то и то-то. Может, еще и побить меня, и задушить? Право, я этого не понимаю. Я тебе, разумеется, всецело верю, но для меня настолько невозможно себе это представить, что я совершенно ничего при этом не чувствую, как будто это какая-то совершенно отдаленная и чужая история. Это как если бы ты была сейчас со мной и вдруг сказала: «Вот в эту минуту я нахожусь в Вене, там страшный скандал и все такое». И мы бы оба посмотрели из окна в сторону Вены, и, разумеется, это ни в малейшей степени нас бы не задело.

Но вот еще что: говоря о будущем, не забываешь ли ты иногда, что я еврей — jasné, nezapletené? [42]. О еврейство — опасная штука, даже и у ног твоих.

[Прага, 29 июля 1920 г.]

Четверг.

<...>

Странное дело с этими историями, что ты мне рассказала. Они угнетают меня не потому, что они «про евреев» и что всякому еврею, уж коль скоро общий котел поставлен на стол, приходится хлебать свою долю этого отвратительного, ядовитого, но и древнего и, в общем-то, вечного пойла,— совсем не оттого они меня угнетают. Ах, не протянешь ли ты мне сейчас поверх них руку, чтоб я долго, долго держал ее в своей?

Вчера я разыскал наконец могилу [43]. Когда ищешь ее робко, то ее и в самом деле невозможно найти, я ведь не знал, что это могила твоих родственников по материнской линии, да и прочесть надписи можно, только если внимательно к ним наклониться,— золото почти совсем осыпалось. Я долго стоял там, могила очень красивая, такая несокрушимо-каменная, правда, совсем без цветов, но к чему это обилие цветов на могилах, я никогда этого не мог взять в толк. Несколько разноцветных гвоздик я положил на самый краешек края. На кладбище мне было много лучше, чем в городе, и ощущение это долго сохранялось, по городу я шел, как по кладбищу.

Еничек — это твой младший брат?

Вправду ли ты здорова? На карточке из Ной-Вальдегга ты выглядишь явно больной, там это, конечно, преувеличено, но все-таки лишь преувеличено. Настоящей твоей фотографии я так и не имею. На одной стоит аристократически-утонченная, хрупкая, опрятная девочка, которую уже совсем скоро, через год-два, заберут из монастырского пансиона (уголки губ, правда, слегка поникли, но это лишь от утонченности и набожной кротости), а вторую фотографию хоть сейчас на пропагандистский плакат: «Вот так нынче живут в Вене». Между прочим, на этой второй фотографии ты опять ужасно напоминаешь мне моего загадочного первого друга; когда-нибудь я тебе о нем расскажу.

...А в Вену я не приеду, нет; внешне для этого понадобились бы либо откровенная ложь (сказаться на службе больным), либо два выходных дня подряд. Но это еще только внешние препятствия, дружище (это я сам с собой говорю).

Стася так часто бывала у тебя в Велеславине?

Писал я все это время ежедневно, так что ты еще получишь, надеюсь, эти письма.

...Телеграмма! Спасибо, спасибо, беру все упреки назад; да то были и не упреки вовсе — та же ласка, только гладил я на этот раз не ладонью, а тыльной стороной, потому что она давно уже вся изнзавидовалась. — Ко мне опять заходил тот молодой поэт и график (но главным образом он музыкант) [44], он заходит постоянно, сегодня он принес две гравюры (на одной Троцкий, на другой Благовещение — как видишь, его мир не узок); чтобы сделать приятное ему и себе, я быстро перекинул ниточку к тебе, сказав, что я пошлю их своему другу в Вену; правда, непредвиденным следствием было то, что я вместо одного получил по два экземпляра каждой гравюры (твои я сохраню здесь — или ты хочешь получить их сразу?). Ну, а потом пришла телеграмма; пока я ее читал и читал и не мог начитаться, переполненный радостью и благодарностью, он продолжал болтать как ни в чем не бывало (при этом он вовсе не намерен мешать, о нет; скажи я, что у меня есть дела, и скажи я это громко, чтобы он очнулся, он оборвет себя на полуслове и убежит, нисколько не обижаясь). Само по себе известие очень важно, но подробности должны быть еще важнее. И прежде всего: как это ты должна «себя щадить», это же невозможно; по мне, большей бессмыслицы врач и сказать не мог. Ах, плохо все это; но, во всяком случае, — спасибо тебе, спасибо.

[Прага, 29 июля 1920 г.]

Четверг, чуть позже.

Итак, чтоб не оставалось никаких сомнений, Милена:

Возможно, нынешнее мое состояние и не таково, что лучше не бывает; возможно, я вынес бы и еще больше счастья, и защищенности, и полноты — хотя вовсе в этом не уверен, тем более здесь, в Праге, — но, как бы то ни было, в целом мне хорошо, и радостно, и вольно — совершенно незаслуженно хорошо, так хорошо, что даже страшно становится, — и если такие условия хоть немного продержатся без особых срывов, если я ежедневно буду получать от тебя хоть слово и чувствовать по нему, что ты не вконец замучена, то, может быть, уже этого будет достаточно, чтобы сделать меня почти здоровым. Так что, пожалуйста, Милена, не мучь себя больше; а физику я никогда не понимал (разве что про «столб пламени» мне понятно — это ведь физика, да?) и váha světa [45] я тоже не понимаю, а они меня наверняка и того меньше (да и что делать таким неимоверно огромным весам с моими 55 килограммами в голом виде, они их попросту не заметят и потому наверняка даже не шелохнутся), и я тут точно такой же, каким был в Вене, и твоя рука покоится в моей, пока ты ее не отнимешь. <...>

[Прага, 30 июля 1920 г.]

Пятница.

Тебе непременно надо знать, Милена, люблю ли я тебя, ты снова и снова задаешь мне этот трудный вопрос, но как на него ответить в письме (будь это даже и последнее воскресное письмо)? Вот когда мы вскоре увидимся, я тебе наверняка это скажу (если не откажет голос).

Только не пиши больше о поездке в Вену; я не приеду, но каждым упоминанием об этом ты словно подносишь язычок пламени к моей оголенной коже, пламя уже превратилось в маленький костер, он не затухает, а горит ровно, да нет, даже разгорается. Не может быть, чтоб ты этого хотела. <...>

Этих цветов, что ты получила, мне очень жаль. От жалости я даже не смог разобрать, что это за цветы. Они, стало быть, стоят в твоей комнате. Будь я в самом деле шкафом, я бы средь бела дня взял и выдвинулся прочь из комнаты. Так и стоял бы в прихожей — по крайней мере, до тех пор, пока они не завянут. Нет, это нехорошо. И все так далеко — хотя ручка твоей двери так же близко у меня перед глазами, как вот эта чернильница.

Конечно, у меня есть твоя вчерашняя, нет, позавчерашняя телеграмма, но цветы и тогда еще стояли живые. А почему ты им рада? Если это твои «самые любимые», тогда ты должна радоваться всем вообще подобным цветам на земле — почему же именно этим? Но, может быть, это тоже слишком трудный вопрос, и ответить на него можно только устно. Да, но где ты? В Вене? А где это — Вена?

Не могу отвязаться от этих цветов. Кертнерштрассе — ах, это уже что-то призрачное, сон, мечта, пригрезившаяся ночным днем, — а цветы реальны, они заполнили всю вазу (ты говоришь: náruč [46] — и прижимаешь их к груди), дотронуться до них нельзя, ведь это твои «самые любимые». Ну подождите, вот выйдет Милена из комнаты, я вас схвачу и вышвырну во двор.

Отчего ты печальна? Что-нибудь случилось? И ты мне ничего не говоришь? Нет, это невозможно!

Отчего же ты печальна?

...Ты спрашиваешь о Максе, но он же давно тебе ответил, я, правда, не знаю, что, но в воскресенье он при мне опустил письмо. А мое-то воскресное письмо ты получила?

Вчера был крайне беспокойный день, не мучительно беспокойный, а просто беспокойный, — может быть, в следующий раз я об этом расскажу. Главное — что у меня в кармане была твоя телеграмма; ходить с ней — это совершенно особое чувство. Существует особая человеческая доброта, о которой люди не подозревают. Например, идешь по направлению к Чешскому мосту, вытаскиваешь по дороге телеграмму и читаешь (слова ее всегда внове; прочтешь их, впитаешь в себя — бумага пуста; но как только сунешь ее в карман, она опять быстро-быстро заполняется словами). Тут ты оглядываешься и ожидаешь увидеть сердитые мины, в них не зависть, нет, но все-таки на этих лицах написано: «Как? Именно тебе пришла эта телеграмма? Об этом надо срочно сообщить наверх. Пусть хотя бы незамедлительно будут посланы в Вену цветы (охапка). Во всяком случае, мы это дело с телеграммой так не оставим». Но ничего подобного, куда ни глянь, все спокойно, удильщики продолжают удить рыбу, зеваки продолжают таращить на них глаза, дети играют в футбол, нищий у входа на мост собирает крейцеры. Конечно, если приглядеться внимательней, во всем этом есть какая-то нервозность, люди принуждают себя продолжать свои занятия, чтобы не выдать своих мыслей. Но именно то, что они себя принуждают, очень трогательно с их стороны, — будто отовсюду слышится голос: «Все верно, телеграмма принадлежит тебе, мы согласны, мы не собираемся выяснять, имел ли ты право ее получить, мы закрываем на это глаза, можешь себе ее оставить». И когда я минуту спустя вытаскиваю ее снова, сначала возникает опасение, что они все-таки рассердятся, — мол, чего это я хотя бы не стушевался и не спрятался, — но нет, они не сердятся, как были, так и есть...

— Но отчего ты печальна?

...Вечером я снова беседовал с одним палестинским евреем, объяснить это в письме невозможно (я имею в виду важность этого разговора для меня) — маленький, почти крошечный, щуплый, бородатый, одноглазый человечек. Но он обошелся мне в добрых полночи — все вспоминался. В следующий раз расскажу подробней.

Стало быть, паспорта у тебя нет и возможности получить его — тоже?

[Прага, 31 июля 1920 г.]

Суббота.

Я огорчен и расстроен — потерял твою телеграмму; она, конечно, не могла совсем потеряться, но уже одно то, что приходится ее искать, выбивает меня из колеи. Между прочим, это все ты виновата: не будь она такой прекрасной, я бы не вертел ее без конца в руках.

Лишь одно меня утешает — то, что ты написала про врача. Стало быть, кровотечение ничего не значило; что ж, я ведь так и предполагал — в медицине я травленый волк. А что он говорит о повреждении в легких? Голодовки и таскания чемоданов он наверняка тебе не прописал. А с тем, чтобы ты и впредь была добра ко мне, он согласился? Или обо мне вообще не было речи? Да, но как я могу тогда всем этим удовлетвориться, если врач не обнаружил ни малейшего моего следа? Или обнаруженное им повреждение в легких — это мой дефект?

Так в самом деле нет ничего серьезного? И единственное, что ему пришло в голову, — это отослать тебя на месяц в деревню? Не так уж и много.

Но против самой поездки в деревню я ничего не имею — во всяком случае, не намного больше, чем против жизни в Вене. Поезжай, пожалуйста, поезжай. Ты как-то писала о надеждах, которые возлагаешь на такую поездку; для меня этого достаточно, чтобы желать ее.

Теперь — еще раз — о моем приезде в Вену. Когда ты пишешь об этом всерьез, это хуже всего — тогда почва здесь в самом деле начинает колебаться, и я с трепетом жду, когда она меня вышвырнет. Не вышвыривает. О внешнем препятствии (о внутренних не говорю: хоть они и сильнее, они бы меня не удержали, не потому что я сам силен, а потому что слишком слаб, чтобы позволить им удержать себя) я уже писал, для этой поездки мне пришлось бы прибегнуть ко лжи, а лжи я боюсь, не как честный человек, а как ученик. Кроме того, есть у меня такое чувство — или, по крайней мере, предчувствие, — что однажды мне, ради ли себя самого, ради ли тебя, непременно, неизбежно придется ехать в Вену, а во второй раз я не смогу солгать даже и как шалопай-ученик. Эта возможность будущей лжи — мой резерв, им я живу, равно как и твоим обещанием при необходимости сразу же приехать. Потому-то я и не приеду сейчас; вместо реальности этих двух дней (пожалуйста, не живописуй их, Милена, это почти пытка для меня — еще не нужда, но беспредельная жажда) — вместо реальности этих двух дней я располагаю их постоянно длящейся возможностью.

А цветы? Они, конечно, уже завяли? С тобой случалось когда-нибудь, чтобы цветы попадали «не в то горло», как мне эти? Ужасно неприятное ощущение.

В твой спор с Максом я не вмешиваюсь. Стою в стороне, признаю за каждым его правоту и чувствую себя будто в укрытии. Ты, бесспорно, права во всех своих рассуждениях, но теперь попробуй встать на его место. У тебя есть родина, и ты вольна ею пренебречь (возможно, это и самое лучшее, что с нею можно сделать, — особенно если учесть, что тем, что в ней непренебрежимо, пренебречь все равно невозможно). А у него родины нет и потому нечем пренебрегать, и он все время должен думать о том, как бы ее найти и построить, — все время: снимает ли он шляпу с гвоздя, лежит ли на солнце в бассейне или пишет книгу, которую ты будешь переводить (тут он, наверное, еще менее всего взвинчен — но ты-то, бедная, любимая моя, какую работу ты взвалила на себя из чувства вины, я вижу тебя склоненной над этой работой, шея приоткрылась, я стою за тобой, а ты и не подозреваешь, — пожалуйста, не пугайся, если почувствуешь прикосновение моих губ, то не поцелуй, то лишь беспомощная моя любовь) — ах да, Макс, все время он должен об этом думать, даже когда пишет тебе.

И вот что странно: в целом справедливо против него обороняясь, ты в частностях ему поддаешься. Он явно писал тебе о моей жизни с родителями и о Давосе[47]. Все это не так. Конечно, жить вместе с родителями — это очень плохо, причем плохо тут не только проживание бок о бок, но и вся жизнь, само погружение в этот круг доброты и любви (ах да, ты не знаешь моего письма к отцу), трепыханием мухи на липучке, — но, между прочим, в этом есть и свои очевидные преимущества, один сражается под Марафоном, другой за обеденным столом, бог войны и богиня победы царят повсюду. К тому же просто так, механически взять и переселиться — какой в этом смысл, особенно если продолжать обедать дома, что сейчас для меня, конечно же, самое лучшее. А о Давосе поговорим в следующий раз. Если что мне и нужно от Давоса, так это возможность получить поцелуй при отъезде.

(А «Тоску» [48], пожалуйста, пришли мне, я сам хотел тебя об этом попросить. Разыскивать ее в «Трибуне» мне как-то не хочется).

[Прага, 31 июля 1920 г.]

Суббота, чуть позже.

Как ни верти твое сегодняшнее письмо, такое милое, такое преданное, принесшее мне столько радости и счастья, — оно все-таки «письмо спасателя». Милена среди спасателей! (Находись и я среди них, была бы она тогда уже со мной? Нет, как раз тогда-то наверняка нет). Милена среди спасателей — она, знающая по себе, убеждающаяся снова и снова, что спасти другого человека можно только самим фактом своего бытия и ничем иным. И вот она, спасшая меня уже одним тем, что она есть, пытается теперь задним числом сделать то же самое другими, бесконечно более жалкими средствами. Когда человек спасает тонущего, это, конечно, подвиг, но когда он потом дарит спасенному еще и абонемент на уроки плавания — это зачем? Зачем спасателю облегчать себе задачу, зачем он отказывается и впредь спасать другого только самим фактом своего бытия, своей постоянной готовности спасти, зачем он перекладывает эту обязанность на плечи тренеров и давосских хозяев отелей? А помимо всего прочего, я вешу целых пятьдесят пять килограммов и сорок граммов! И куда я улечу, если мы друг с другом держимся за руки? А если мы оба улетим, тогда зачем все это? И кроме того — вот, собственно говоря, суть всех моих предшествовавших разглагольствований, — я никогда больше не уеду от тебя в такую даль. Я ведь только что выбрался из подземелий меранской тюрьмы.

Суббота, вечером.

Все это было написано, я хотел сегодня еще что-то написать, но теперь это не имеет значения. Я вернулся домой, увидел в темноте нежданное письмо на столе, пробежал его глазами, меня несколько раз звали ужинать, я что-то ел, что, к сожалению, не хотело исчезать с тарелки никаким иным путем — глотай его, и все тут, — потом прочел письмо основательно, медленно, торопливо, исступленно, трепеща от счастья, в какой-то момент удивившись — невозможно поверить во что-то, но оно тут, перед тобой, ты все-таки не веришь, но вдруг сникаешь, смиряешься и понимаешь: вот это и есть вера, — а в конце нахлынуло отчаяние, безысходное, до сердцебиения отчаяние. «Приехать не могу» — это я знал уже с первой строчки и до последней, хотя в промежутке столько раз побывал в Вене — так в долгую ночь, когда сна ни в глазу, человек раз десять видит сны, длящиеся с полминуты каждый. Потом я сходил на почту, послал тебе телеграмму, немного успокоился и вот сижу над этим письмом. Сижу и мучаюсь жалкой обязанностью доказывать тебе, что приехать я не могу. Правда, ты пишешь, что я человек не слабый, так что, возможно, мне это удастся, но важнее, чтобы мне удалось выдержать последующие недели, из которых каждая уже сейчас неотступно и насмешливо глядит на меня, будто спрашивает: «Ты, стало быть, в самом деле не поехал в Вену? Получил такое письмо — и не поехал? Не поехал? Не поехал?» Я не понимаю музыки, но эту музыку, к сожалению, я понимаю лучше, чем все музыканты.

Я не мог поехать, потому что не могу лгать на службе. То есть, я могу лгать и на службе, но только по двум причинам — из страха (это, стало быть, чисто служебное дело, оно из этой сферы, тут я лгу без всякой подготовки, наобум, вдохновенно) или в случае крайней нужды (то есть, когда «Эльза» [49] в самом деле заболеет, — Эльза, Эльза, не ты, Милена, ты не можешь заболеть, вот это была бы уж самая крайняя нужда, о ней я и думать не хочу), — итак, в случае нужды я солгу, глазом не моргнув, тут не надобны никакие телеграммы, над нуждой уже не властно никакое бюро, тут я поеду с разрешения или без него. Но во всех случаях, когда в

числе причин для лжи самой главной будет счастье, нужда в счастье, я не смогу солгать, не смогу — точно так же, как не смогу выжать двадцатикилограммовую гирю. Приди я с телеграммой про Эльзу к директору, она наверняка выпадет у меня из рук, а когда выпадет, я наверняка на нее, на эту ложь, наступлю, а когда наступлю, наверняка тут же выбегу из директорского кабинета, ни о чем не попросив. Ты пойми, Милена,— бюро ведь не просто глупое установление (оно, конечно, и глупо тоже, глупости в нем хоть отбавляй, но не об этом сейчас речь, к тому же оно больше фантастично, чем глупо) — оно еще и вся моя прежняя и нынешняя жизнь, я могу, конечно, с нею порвать, и это, возможно, было бы совсем неплохо, но пока-то это все-таки моя жизнь, я могу распоряжаться ею безалаберно — работать спустя рукава (что я и делаю), без конца отлынивать (что я и делаю), при всем при этом важничать (что я и делаю), спокойно принимать как должное самое благожелательное отношение к себе, какое только возможно в бюро,— но вдруг солгать, для того чтобы сорваться с места и, как свободный человек (это я-то, всего лишь нанятый служащий!), поехать туда, куда меня гонит «всего лишь» элементарное биение сердца,— нет, так лгать я не могу. Но что я хотел тебе написать еще и до получения твоего письма — это вот что: я на этой же неделе выправлю себе новый паспорт или, во всяком случае, приведу все в порядок со старым, чтобы приехать по возможности без промедления, когда будет необходимо.

Перечитал все и понял, что вовсе не то хотел сказать и что, стало быть, никакой я не «сильный», раз не сумел сказать как надо. Добавлю вот еще что: наверное, я способен там солгать еще в меньшей степени, чем смог бы человек, который считает (а таковы большинство чиновников), что все к нему несправедливы, что он надрывается на работе (считай я так о себе, это был бы уже почти скорый поезд на Вену!), что бюро управляется по-дурацки (он бы делал это много лучше), что оно машина, в которой он вследствие этой глупости управления, работает не на своем месте: он-то, по его способностям, обер-обер-колесо, а должен работать унтер-унтер-колесиком и т. д.; а для меня бюро — как это было и со школой, гимназией, университетом, семьей, со всем вообще — живой человек, который, где б я ни был, смотрит на меня невиннейшими глазами, человек, с которым я каким-то непонятным мне образом связан, хотя он мне более чужой, чем те люди, что едут сейчас, я слышу, на автомобилях по Рингу. Чужд он мне до безумия, но как раз потому-то и надо быть особенно к нему внимательным, ведь я почти не скрываю своей чуждости, но разве такая невинность способна ее вообще распознать,— вот я и не могу солгать.

Нет, я не «силен», и писать не могу, и ничего не могу. А ты, Милена, еще и отворачиваешься от меня, не надолго, я знаю, но, видишь ли, долго человек и не выдержит, если сердце не бьется, а как же ему биться, если ты отвернулась?

Если б ты смогла послать мне телеграмму после этого письма! Это лишь восклицание, не просьба. Только если ты можешь сделать это свободно — тогда делай. Только тогда — ты видишь, я даже не подчеркнул этих слов.

Я забыл еще третье условие, которое смогло бы облегчить мне ложь: если б ты была рядом со мной. Но тогда это была бы и самая невинная ложь на свете — ведь тогда в директорской комнате не было бы никого, кроме тебя.

[Прага, 2 августа 1920 г.]

Понедельник, вечером.

Уже поздно, день был несколько сумрачный, несмотря ни на что. Завтра письма от тебя скорее всего не будет: субботнее я уже получил, воскресное дойдет только послезавтра,— стало быть, мне предстоит день, свободный от непосредственного воздействия твоего письма. Странно, как меня ослепляют твои письма, Милена. Ведь я уже целую неделю или того дольше чувствую, что с тобой что-то случилось, что-то внезапное или постепенно назревавшее, что-то серьезное или случайное, ясно или только наполовину осознаваемое; но оно случилось, я знаю. Я это вижу даже не

из деталей твоих писем, хотя такие детали и есть — например, то, что письма полны воспоминаний (и совсем особенных воспоминаний); что хотя ты, как обычно, отвечаешь на все, однако же и не на все; что ты печальна без причины; что ты отсылаешь меня в Давос; что ты вдруг так настаиваешь на этой встрече (а ведь мой совет не приезжать сюда ты приняла сразу; ты заявила, что Вена не подходит для такой встречи; ты сказала, что до твоей поездки лучше нам не встречаться,— и вдруг, в последних двух-трех письмах, такая спешка. Мне бы этому радоваться и радоваться, да вот не могу, потому что чувствую в твоих письмах какой-то потаенный страх, то ли за меня, то ли передо мной — не знаю, но в той внезапности, в той поспешности, с которой ты настаиваешь на встрече, таится страх. Но, во всяком случае, я рад, что нашел возможность, она есть, это уж точно. Если ты не сможешь остаться здесь на ночь, то можно и это устроить — ну, пожертвуем несколькими совместно проведенными часами. Ты выедешь часов в 7 утра воскресным скорым поездом на Гмюнд — как я тогда,— приедешь туда в 10 часов, я буду тебя ждать, а поскольку мой обратный поезд отходит только в полпятого, у нас будут как-никак шесть часов. Ты вернешься вечерним скорым поездом в Вену и будешь там в четверть двенадцатого — небольшая воскресная прогулка).

В общем, все это меня беспокоит, а вернее говоря, не беспокоит — так велика твоя власть надо мной. Вместо того чтоб быть беспокойнее беспокойного — поскольку ты в письмах о чем-то умалчиваешь, или должна умалчивать, или непроизвольно умалчиваешь,— вместо того чтобы обеспокоиться еще больше, я сохраняю спокойствие, так велика моя вера в тебя, независимо от того, как ты выглядишь. Если ты о чем-то умалчиваешь, значит, думаю я, так и надо.

Но я остаюсь спокойным еще и по другой, уж совершенно необыкновенной причине. У тебя есть свойство — я думаю, оно коренится в самых глубинах твоего существа, и если не по отношению ко всем оно проявляется, *это только их вина*,— свойство, которого я ни в ком другом больше не находил и которое я, хоть и нашел его здесь, все-таки с трудом могу вообще себе представить. Оно в том, что ты не можешь заставить человека страдать. И ты вовсе не из сострадания не заставляешь страдать, а просто потому, что не можешь.

Нет, это почти фантастика: чуть ли не целый день я думал об этом, а вот написать не решаюсь,— может быть, все это только более или менее витиеватое извинение за объятие.

А теперь — спать! *Что, интересно, ты сейчас делаешь, в понедельник около 11 вечера?*

[Прага, 6 августа 1920 г.]

Пятница.

Итак, тебе плохо, как никогда еще не было за все то время, что я тебя знаю. И это непреодолимое расстояние меж нами вместе с твоей болезнью вселяет в меня странное чувство, будто я нахожусь в твоей комнате, но ты меня лишь смутно различаешь, а я потерянно брожу от окна к постели и обратно и никому и ничему не верю, никакому врачу, никакому лечению, и не знаю, что делать, и только смотрю на это хмурое небо, что долгие годы будто все шутило и шутило, а теперь впервые открылось мне во всей своей безысходности, такое же потерянное, как я сам. Ты лежишь в постели? А кто приносит тебе еду? Какую? И эти головные боли! Напиши мне про все, когда сможешь. У меня был когда-то друг актер, еврей из Восточной Европы, с ним через каждые три месяца случались жуткие приступы головной боли и продолжались несколько дней; вообще-то он был вполне здоров, но в эти дни, бывало, прислонится к стенке на улице и стоит, и ничем ему не поможешь — только ходишь минут тридцать взад и вперед и ждешь. Больной покинут здоровым, но и здоровый больным — тоже. А боли возвращаются регулярно? И что говорит врач? Когда они начались? Теперь ты, небось, еще и таблетки глотаешь? Ай-яй-яй! — а вот «детка» я уже сказать не могу, не имею права.

Обидно, что твой отъезд снова отсрочился, теперь ты, стало быть, уедешь только через неделю, считая с четверга. А я — я уже не буду иметь счастья видеть, как ты оживаешь там в окружении озер, лесов и

гор. Но сколько же мне еще надо счастья, жадине такому? Обидно, что тебе еще так долго придется мучиться в Вене.

О Давосе мы еще поговорим. Не хочу я туда — слишком далеко, слишком дорого и слишком бесполезно. Если уж уезжать из Праги,— а уезжать, похоже, придется,— то лучше всего куда-нибудь в деревню. Правда, так меня там и ждали. Надо еще все это продумать, но до ноября я ведь все равно не смогу уехать. <...>

Список того, что тебе нужно, конечно же, пришли, чем длиннее, тем лучше, ведь в каждую книгу, в каждую желаемую тобой вещь я заползу, чтобы вместе с нею отправиться в Вену (против такой поездки директор ничего не имеет), так что предоставь мне как можно больше возможностей поехать к тебе. А статьи, уже напечатанные в «Трибуне», можешь прислать мне на время.

Между прочим, я почти рад твоему отпуску — если не считать плохой почтовой связи. Ты ведь мне опишешь кратко, как все там выглядит? Твоя жизнь, твоя комната, твои тропинки, вид из окна, еда — чтобы я тоже немножко пожил с тобою.

[Прага, 7 августа 1920 г.]

Суббота.

Я так мил и терпелив — в самом деле? Не знаю, не знаю; знаю только, что от такой телеграммы легчает как бы во всем теле,— а ведь всего лишь телеграмма, не протянутая рука.

Но и печально звучит она, устало — голос из больной постели. Грустно все это. И письма не пришло, опять целый день без письма; похоже, что тебе все-таки очень плохо. Кто поручится мне, что ты подавала телеграмму сама,— что ты не лежишь целый день в постели, наверху, в той комнате, в которой я живу теперь больше, чем в своей собственной.

Сегодня ночью я из-за тебя совершил убийство — безумный сон, дурная, дурная ночь. Подробности едва ли даже и помню.

...Письмо все-таки пришло. Из него-то уж все ясно. Правда, в других было не меньше ясности, но пробиться к их ясности я не решался. Впрочем, разве ты могла солгать? Этот чистый лоб — он не лжет.

Макса я не виню. Конечно, что бы он там ни писал в своем письме, все было неправильно: ничто и никто, никакой, даже самый лучший человек не должен вставать между нами. Из-за этого-то я и совершил убийство сегодня ночью. Какой-то родственник сказал в разговоре — смысла его я не помню, но примерно речь шла о том, что кто-то чего-то не сумеет сделать,— какой-то родственник, стало быть, сказал в заключение иронически: «Зато уж Милена, конечно, сумеет». За это я его каким-то образом убил, возбужденный вернулся потом домой, мать все время бегала за мной, разговор и тут шел о том же, в конце концов я заорал, клокоча от ярости: «Если кто-нибудь скажет плохо о Милене, например, отец (мой отец), я и его убью — либо его, либо себя». Тут я проснулся — но это не было ни сном, ни пробуждением. <...>

Во всяком случае, это твое письмо — как роздых, ведь под прежними я был погребен заживо и все же старался лежать как можно тише, потому что думал — а вдруг я и вправду мертв.

...Честно-то говоря, все это меня не так уж и поразило, я этого ждал, я, как мог, готовился это вынести, когда оно придет; и вот оно пришло, и, конечно же, я все еще не готов, хотя вконец оно меня и не подкосило. Но то, что ты пишешь о твоем положении вообще и о твоем самочувствии, совершенно ужасно — и много сильнее меня. Ну, об этом мы поговорим, когда ты вернешься из санатория,— а вдруг там и в самом деле свершится чудо, по крайней мере физическое чудо, тобой ожидаемое; я, кстати говоря, настолько полон веры в тебя, что и не желаю никакого чуда,— я тебя, о чудесная, поруганная, недоступная поруганию природа, спокойно вверяю лесу, озеру и диете; вот только б не было остального.

Когда я снова и снова возвращаюсь мыслями к твоему письму — пока всего только раз прочитав его,— когда думаю о том, что ты пишешь о своем настоящем и будущем, о своем отце, обо мне, то в конечном счете все сводится именно к тому, что я уже сказал тебе однажды с великолепной ясностью: истинное твое несчастье — я, я и никто другой (причем — оговорюсь — лишь внешнее несчастье); ведь не будь меня, ты бы, возможно, уже месяца три назад уехала из Вены, а если не три месяца назад, то уж сейчас наверняка. Ты не хочешь уезжать из Вены, я знаю, ты и без меня не хотела бы, но именно поэтому — глядя уже как бы совсем с птичьего полета,— можно усмотреть мое значение для мира твоих чувств в том, что я облегчаю тебе возможность оставаться в Вене.

Но к чему заходить так далеко и вдаваться в столь сложные тонкости — достаточно ограничиться одним очевидным рассуждением: ты уже оставляла однажды своего мужа и тем легче могла бы оставить его сейчас, когда обстоятельства давят много сильней,— но, конечно, ты оставила бы его только ради того, чтобы оставить, а не ради какого-то еще другого человека.

Но все эти рассуждения ни к чему не ведут — разве что к большей открытости. <...>

[Прага, 8 августа 1920 г.]

Воскресенье вечером.

Одно сбивает меня с толку в твоей аргументации, в последнем письме это особенно ясно, тут несомненная логическая ошибка, можешь себя на ней проверить. Скажи ты мне, что ты слишком любишь своего мужа (а это чистая правда) и потому не можешь его оставить (не можешь уже ради меня самого, я хочу сказать: для меня было бы ужасно, если б ты на это все-таки решилась),— я тебе поверю и с тобой соглашусь. Скажи ты, что ты сама готова была бы его оставить, но он внутренне нуждается в тебе и не может без тебя жить, потому-то ты не можешь его оставить,— я и тут тебе поверю, и тут с тобой соглашусь. Но когда ты говоришь, что он внешне без тебя не справится с жизнью и что ты именно поэтому (как главная причина!) не можешь оставить его, то это говорится либо для сокрытия вышеназванных причин (именно для сокрытия, а не для подкрепления, ибо в подкреплениях такие причины не нуждаются) — либо же это одна из тех злых шуток мозга, о которых ты писала в последнем письме и от которых корчится в судорогах все наше тело и не только тело.

[Прага, 9 августа 1920 г.]

Суббота — нет, что я, понедельник пополудни (ты видишь, в голове у меня только субботы).

Я был бы лжецом, если б не решился сказать еще больше, чем в сегодняшнем утреннем письме,— лжецом особенно перед тобой, с которой я говорю так свободно, как ни с кем другим, потому что никто еще так меня не поддерживал — зная и прощая — как ты, вопреки всему, вопреки всему (и не путай это столь весомое «вопреки всему» с твоим столь весомым «и все-таки!»).

Среди твоих писем всех прекрасней (и этим многое сказано, поскольку они все вообще, чуть ли не в каждой строчке, самое прекрасное из всего, что со мной случалось в моей жизни) — итак, всех прекрасней среди них те, в которых ты оправдываешь мой «страх» и одновременно пытаешься внушить мне, что он неоправдан. Я ведь тоже, хоть, наверное, и произвожу порой впечатление подкупленного адвоката своего страха, в глубине души, кажется, искренне его оправдываю — я ведь целиком из него состою и он, возможно, лучшее, что во мне есть. А поскольку он самое лучшее во мне, то, возможно, его-то единственно ты и любишь. Ведь что уж во мне такого особенного можно любить. А его — можно.

Вот ты спросила недавно, как мог я назвать «чудесной» нашу субботу[50] с этим страхом в сердце; объяснить это нетрудно. Поскольку я люблю тебя (а я тебя люблю, непонятливое ты существо, и как любит море крохотную гальку на своем дне, так и моя любовь затопляет тебя всю,— а для тебя такой галькой да буду я, если дозволят небеса) — поскольку я тебя люблю, я люблю весь мир, а весь мир — это и твое левое плечо — нет, сначала было правое,— и потому целую его, когда мне заблагорассудится (а ты, будь добра, чуть приспусти на нем блузку),— но и левое плечо тоже, и твое лицо над моим

в лесу, и твое лицо под моим в лесу, и забвенье на твоей полуобнаженной груди. И потому ты права, когда говоришь, что мы были тогда одно, и тут мне страх неведом, ведь это мое единственное счастье, моя единственная гордость — и я сейчас имею в виду не один только лес.

Но вот между этим дневным миром и тем «получасом в постели», о котором ты однажды презрительно написала как о «мужской заботе», для меня зияет пропасть, преодолеть которую я не могу — а может быть, и не хочу. Там дело сугубо ночное, во всех смыслах ночное; а здесь целый мир — мой, я им владею, и неужели я должен теперь вдруг перепрыгнуть в ночь, чтобы и ею еще раз овладеть? Да и можно ли чем-то еще раз овладеть? Не значит ли это его потерять? Здесь я владею миром — и вдруг должен перенестись туда, а его оставить — в угоду непостижимому чародейству, ловкому фокусу, камню мудрецов, алхимии, колдовскому кольцу. Прочь, прочь — я ужасно этого боюсь!

Жаждать посредством колдовства ухватить за одну ночь — в спешке, натужно дыша, беспомощно, одержимо — посредством колдовства ухватить то, что каждый день дарит раскрытым глазам! (Наверное, детей иначе не получишь, наверно, дети тоже колдовство, — «наверное». Оставим вопрос открытым). И потому я так благодарен (тебе и всему), и потому, стало быть, samozřejmé[51], что рядом с тобой я так спокоен и так неспокоен, так скован и так свободен — и потому-то я, осознав это, отринул всю остальную жизнь. Посмотри мне в глаза!

Итак, лишь от госпожи Колер я узнаю, что книги перебрались с ночного столика на письменный стол. Следовало бы прежде непременно спросить меня, согласен ли я с этим переселением. Я бы сказал: «Нет!»

А теперь скажи мне спасибо. Я благополучно подавил в себе желание написать в этих последних строчках еще кое-что совершенно безумное (безумно ревнивое).

[Прага, 10 августа 1920 г.]

Вторник.

<...> А знаешь ли ты, что тебя мне подарили к конфирмации (у евреев тоже есть своя конфирмация)?[52] Я родился в 83-м году, стало быть, мне было тринадцать лет, когда ты родилась. Тринадцатый день рождения — особенный праздник, я должен был отчитать в синагоге с трудом выученный текст, а потом произнести дома маленькую (тоже выученную) речь. И подарков я много получил. Но сейчас я себе это представляю так: я был не совсем доволен, какого-то подарка мне не хватало, я попросил его у небес — а они до десятого августа все тянули.

[Прага, 13 августа 1920 г.]

Пятница.

<...>

Снова и снова рассуждая в письмах об этих вещах, неизменно приходишь к выводу, что ты связана со своим мужем (как у меня расшатались нервы, мой корабль, кажется, потерял управление за эти дни) узами какого-то поистине сакраментального нерасторжимого брака, а я такими же узами связан — уж не знаю с кем, но взгляд этой ужасной супруги часто лежит на мне, я это чувствую. И самое удивительное то, что, хотя каждое из этих супружеств нерасторжимо и, стало быть, тут не о чем больше говорить, — что, вопреки всему, нерасторжимость одного брака составляет и нерасторжимость другого — во всяком случае, подкрепляет ее, — и наоборот. Так что приговор, вынесенный тобою, остается в силе; nebude toho nikdy[53], — и давай не будем больше никогда говорить о будущем, только о настоящем.

Эта истина безусловна, неколебима, на ней зиждется мир, но сознаюсь все же, что чувству моему (только чувству — истина же остается, как была, безусловной. Знаешь, когда я решаюсь написать то, что далее последует, то мечи, чьи острия венцом окружают меня, уже приближаются медленно к моему телу, и это самая изощренная пытка; им стоит только царапнуть меня, я уж не говорю — пронзить, только царапнуть, — как мною овладевает такой ужас, что я готов тотчас же, с первым же вскриком выдать и предать все — тебя, себя, все), — вот с этой оговоркой я сознаюсь, что переписка о таких вещах чувству моему (повторяю еще раз, ради самой жизни моей, — только чувству!) представляется какой-то дикостью — будто я, живя где-то в Центральной Африке и прожив там всю свою жизнь, сообщаю в письмах тебе, живущей в Европе, в центре Европы, свои неколебимые мнения о политических преобразованиях. Но это только метофора, глупая, неловкая, ложная, сентиментальная, жалкая, нарочито слепая метафора и ничто другое — а теперь вонзайтесь, мечи!

Ты правильно сделала, что процитировала мне письмо мужа, я, правда, не все до конца понимаю (но посылать мне письмо н е н а д о!), только одно вижу ясно: тут пишет как бы «холостой» мужчина, надумавший «жениться». Но что значит эта его случайная «неверность» — да она вовсе и не является неверностью, ведь вы все равно остаетесь на одном и том же общем пути, только в пределах этого пути он чуть свернул влево, — что значит эта «неверность», к тому же не перестающая изливать в твое глубочайшее горе также и величайшее счастье, — что значит эта «неверность» по сравнению с вечной моей порабощенностью!

Относительно твоего мужа я прекрасно тебя понял. Вся тайна вашего неразрывного союза, эта неисчерпаемо обильная тайна выливается у тебя снова и снова в заботы об его сапогах. Что-то меня в этом мучит, только не знаю что. А в общем-то все очень просто: уйди ты от него — он либо станет жить с другой женщиной, либо определится в пансион, и сапоги у него будут начищены лучше, чем сейчас. Это и глупо и в то же время не глупо — не знаю, что меня во всем этом мучит. Может быть, ты знаешь? <...>

[Прага, 17 августа 1920 г.]

Вторник.

<...>

Бессмысленно просить, если письмо дойдет до тебя лишь через две недели[54], но, может быть, это и не просьба, а всего лишь небольшой довесок к бессмысленности просьбы: пожалуйста, не позволяй себе — насколько это вообще возможно в нашем расшатанном мире (где уж если тебя отрывают, так отрывают навек, и ничем тут не поможешь, — не позволяй себе страшиться меня, даже если я тебя однажды (или тысячу раз, или вот в этот момент, а может быть, он длится постоянно, «этот момент») разочарую. В общем, никакая это не просьба, и адресована она вовсе не тебе, и сам я не знаю, кому она адресована. Это просто сдавленный вздох сдавленной груди.

[Прага, 26—27 августа 1920 г.]

Четверг, вечером.

Сегодня я, по-моему, только и делал, что сидел, сложа руки, время от времени что-то почитывал, но главным образом бездельничал либо вслушивался в то, как усердствует в висках неслышная, совсем тихая боль. Целый день у меня не выходили из головы твои письма, я думал о них с болью, нежностью, тревогой и совершенно неопределенным страхом перед чем-то неопределенным, чья неопределенность состоит главным образом в том, что оно безмерно превышает мои силы. При этом у меня даже нехватило мужества перечитать эти письма по второму разу, а полстраницы в одном из них я и по первому разу не прочел. Почему человек не может примириться с тем, что так оно и надо — жить в этом совершенно особом, неотступном, самоубийственном напряжении (ты однажды обронила мельком что-то подобное, а я тогда попытался тебя высмеять!), — нет, он самонадеянно расшатывает эту клетку, вырывается из нее, как неразумное животное (да еще и, как животное, радуется этому неразумию) — и тем притягивает к себе все потревоженное, разъярившееся электричество, и ток этот пронизывает и почти сжигает его.

Что я, собственно, хочу этим сказать, я не знаю. Мне просто хотелось как-то подхватить те жалобы — не высказанные, а потаенные, — что слышатся в твоем письме, и я это могу, ведь они, по сути, и мои тоже. То, что мы с тобой даже и здесь, во тьме, так заодно, — вот что самое удивительное, и я не каждую секунду готов в это поверить — пожалуй, только через раз.

Пятница.

Ночь я вместо сна провел с твоими письмами (правда, не совсем по доброй воле). Но все-таки состояние мое пока не самое плохое — бывает и хуже. Правда, не было письма от тебя, но и это, в общем-то, ничего. Сейчас это даже много лучше — что мы не пишем друг другу ежедневно; ты это — уж сознайся — раньше меня поняла. Ежедневные письма ослабляют, вместо того чтобы подкреплять; прежде, бывало, выпьешь письмо до дна — и чувствуешь в себе (я говорю о Праге, не о Меране) удесятеренную силу и одновременно удесятеренную жажду. А теперь все приняло такой серьезный оборот — теперь кусаешь себе губы, читая письма, и ни в чем, ни в чем нет уверенности, кроме этой тонкой боли в висках. Но и это пускай — об одном прошу: не болей, Милена, только не болей. Можешь не писать, хорошо (сколько мне нужно дней, чтобы справиться с двумя такими письмами, как вчерашние? Глупый вопрос — разве такое исчисляется днями?) — но пусть только не болезнь будет тому причиной. Я ведь думаю при этом исключительно о себе. Что я тогда буду делать? Скорее всего, то же, что и сейчас, — но как я буду это делать? Нет, даже и думать об этом не хочу. И при этом, когда я думаю о тебе, яснее всего мне представляется вот что: ты лежишь в постели, — примерно так, как лежала тогда в Гмюнде вечером на лугу (я рассказывал тебе о своем друге, а ты почти и не слушала). И представление это вовсе не мучительно, оно даже лучше всего того, о чем я сейчас в состоянии думать, — итак, ты лежишь в постели, а я немножко забочусь о тебе: забегу ненадолго, приложу тебе руку ко лбу, погружусь в твои глаза, глядя на тебя сверху вниз, а потом хлопочу в комнате, постоянно, ежесекундно, с совсем уж необузданной гордостью осознавая, что я живу для тебя, что это мне дозволено, — и снова благодарю тебя за то, что ты однажды остановилась передо мной и протянула мне руку. И болезнь твоя при этом не так уж серьезна, она скоро пройдет и сделает тебя еще здоровее, чем прежде, и ты снова встанешь во всей твоей величавости, а я вскоре после этого в один прекрасный день — и надеюсь, без шума и боли — зароюсь в землю. Так что все это не мучительно — но вот стоит представить себе, что ты там, на чужбине, заболеешь... <...>

[Прага, 28 августа 1920 г.]

Суббота.

Чудо, Милена, чудо, какое чудо! Самое чудесное в твоем письме (от вторника) — покой, вера, ясность, которыми оно рождено.

Еще утром ничего не было; с самим этим фактом я бы легко примирился: что касается получения писем, то тут все переменилось, зато с писанием их все осталось по-прежнему, необходимость писать — эта мука и это счастье — сохранилась; итак, с самим фактом я бы примирился: к чему мне письмо, если, например, весь вчерашний день, и вечер, и половину ночи я провел в беседе с тобой, я был при этом искренен и серьезен, как ребенок, а ты внимательна и серьезна, как мать (в действительности-то мне никогда не приходилось видеть такого ребенка и такой матери); в общем, это бы все сошло, мне только необходимо было знать причину твоего молчания, чтобы не представлять тебя все время больной в постели, в маленькой комнате, там, под осенним дождем, — ты лежишь одна, у тебя лихорадка (ты сама писала), простуда (ты сама писала), пот по ночам, усталость (все это ты писала) — вот только не это, тогда все было бы хорошо и лучшего я не желал бы.

Отвечать на первый абзац твоего письма я не хочу <...>. Не хочу вдаваться во все это потому, что боль притаилась в висках и ждет. Уж не поразила ли стрела любви меня в висок вместо сердца? И о Гмюнде я тоже не буду больше писать, во всяком случае намеренно. Многое мог бы я тут сказать, но так или иначе все сводилось бы к тому, что, даже если б я простился с тобой в тот же вечер, первый день в Вене не стал бы от этого лучше, причем у Вены было еще то преимущество перед Гмюндом, что я вернулся туда в полубеспамятстве от страха и изнеможения, в то время как в Гмюнд я приехал, ничего не подозревая — был настолько глуп, так блистательно самоуверен, будто ничего уже не могло со мной случиться, — приехал, как домовладелец; странно, что при всем беспокойстве, то и дело

меня пронизывающем, у меня так притупился инстинкт владения, — а может быть, это и есть мой главный изъян, и тут, и в других вещах. <...>

Перевод заключительной фразы очень хорош[55]. В этом рассказе каждое предложение, каждое слово, вся его музыка (если мне позволено будет так сказать) связаны со «страхом»; тогда, в одну долгую-долгую ночь, впервые открылась эта рана, и вот эту связь ты в переводе, по-моему, передала очень точно — но ведь на то у тебя и колдовская рука. <...>

[Прага, 29 августа 1920 г.]

Воскресенье.

Вчера я впал в странное заблуждение. Днем я так был обрадован твоим письмом (от вторника), а когда перечитал его вечером, вдруг понял, что оно, в сущности, почти ничем не отличается от других твоих последних писем, что оно много несчастней, чем можно вычитать из слов. Ошибка моя доказывает, насколько глубоко я погружен в самого себя, думаю лишь о себе самом, а из всего твоего удерживаю лишь то, что способен удержать, да и с тем готов убежать куда-нибудь в пустыню, пока не отняли. Я тогда оторвался от диктовки и забежал в свою комнату, а там вдруг увидел на столе твое письмо, я зашелся от радости, жадно пробежал его глазами, и поскольку там, по счастью, не оказалось никакого пропечатанного жирными буквами обвинения против меня, поскольку и в висках стучало на этот раз спокойно, поскольку я, обуянный легкомыслием, представил себе тебя возлежащей тихо-мирно в окружении гор и лесов, на берегу озера, — по всему по этому (и еще по некоторым другим причинам, тоже не имеющим ничего общего с твоим письмом и истинным твоим положением) — по всему по этому твое письмо показалось мне радостным, вот я и написал тебе совершенно безумный ответ.

[Прага, 31 августа 1920 г.]

Вторник.

Пришло письмо, помеченное пятницей; если в четверг ты не писала, то все хорошо; лишь бы ни одно не пропало.

Все, что ты пишешь обо мне, ужасно умно, мне нечего добавить, пусть все так и остается. Только одно, о чем ты тоже написала, я хочу высказать еще откровеннее: несчастье мое в том, что я всех людей — а уж самых дорогих для меня прежде всего — считаю хорошими, и умом и сердцем так считаю (только что входил человек и перепугался — на моем лице, обращенном в пустоту, выразилось это убеждение) — вот только тело мое както не может поверить, что они, когда надо, действительно будут хорошими, оно съеживается от страха и, вместо того чтобы выждать проверку (которая в этом смысле поистине спасла бы мир), медленно заползает на стену.

Снова начал рвать письма — вчера вечером одно порвал. Ты очень несчастна — и это из-за меня (есть, наверное, и другие причины — одно влияет на другое) — можешь говорить об этом все откровеннее. Сразу, правда, не получится, я понимаю.

Вчера был у врача. Вопреки моим ожиданиям, ни он, ни весы не находят, что мое состояние улучшилось — правда, и не ухудшилось. Но уехать куда-нибудь мне надо, так он считает. После южной Швейцарии (когда я его просветил и он сразу понял, что это невозможно) он, не раздумывая, назвал (без всякой моей подсказки) два санатория в Нижней Австрии — говорит, это самые лучшие: санаторий Гримменштайн (доктора Франкфуртера) и санаторий «Венский лес» <...>. Но я не уверен, что поеду туда. Это исключительно легочные санатории, дома, день и ночь сотрясаемые кашлем и лихорадкой, — там надо есть мясо, там бывшие палачи выкручивают тебе руки, если ты сопротивляешься уколам, а врачи-евреи, поглаживая бороды, спокойно на это смотрят, равно суровые и к христианину и к жиду.

В одном из последних писем ты как будто бы написала (я не решаюсь доставать из стола эти письма, может быть, я при беглом чтении чего-то и недопонял, скорее всего так оно и есть, что близок конец. Насколько тут выразилось минутное отчаяние, а насколько — постоянная истина? <...>

[Прага, 14 сентября 1920 г.]

Вторник.

<...> Я едва отваживаюсь читать твои письма; могу их читать лишь с перерывами — не выдерживаю боли при чтении. Милена, — и снова я раздвигаю твои волосы и отвожу их в стороны, — в самом ли деле такой я злой зверь, злой с собой и такой же злой с тобой, или вернее будет назвать злым то, что стоит за мной и травит, терзает меня? Но я даже не отваживаюсь назвать его злым; только когда я пишу тебе, мне так кажется, и я это говорю.

А вообще все так и есть, как я написал. Когда я пишу тебе, о сне и мечтать не приходится — ни до, ни после; когда не пишу, то, по крайней мере, могу заснуть — самым хрупким сном, на час, не больше. Когда я не пишу, я чувствую только усталость, печаль и тяжесть на душе; когда пишу, меня терзают беспокойство и страх. Мы ведь умоляем друг друга о сострадании: я молю тебя позволить мне укрыться, забиться куда-нибудь, а ты — но сама эта возможность безумна, ужасно абсурдна.

Ты спрашиваешь: как же это возможно? Чего я хочу? Что я делаю?

Отвечу примерно так: я, зверь лесной, был тогда едва ли даже и в лесу, лежал где-то в грязной берлоге (грязной только из-за моего присутствия, разумеется) — и вдруг увидел тебя там, на просторе, чудо из всех чудес, виданных мною, и все забыл, себя самого забыл, поднялся, подошел ближе, — еще робея этой новой, но и такой родной свободы, я все же подошел, приблизился вплотную к тебе, а ты была так добра, и я съежился перед тобой в комочек, будто мне это дозволено, уткнулся лицом в твои ладони и был так счастлив, так горд, так свободен, так могуч, будто обрел наконец дом — неотступно эта мысль: обрел дом, — но по сути я оставался зверем, чей дом — лес и только лес, а на этом просторе я жил одной лишь милостью твоей, читал, сам того не осознавая (ведь я все забыл), свою судьбу в твоих глазах. Долго продолжаться это не могло. Даже если ты и гладила меня нежнейшей из нежнейших рукой, ты не могла не углядеть странностей, указывавших на лес, на эту мою колыбель, мою истинную родину, и начались неизбежные, неизбежно повторявшиеся разговоры о «страхе», они терзали мне (и тебе, но тебе незаслуженно) душу, каждый мой обнаженный нерв, и мне становилось все ясней, какой нечистой мукой, какой вездесущей помехой я был для тебя — отсюда пошло недоразумение с Максом, а в Гмюнде все стало уж совершенно ясно. <...> И я вспомнил о том, кто я есть, я читал в твоих глазах, что ты во мне уже не обманываешься, и свой кошмарный сон (о человеке, оказавшемся не на месте, но распоясавшемся так, будто он у себя дома), этот кошмар я переживал в реальности, я чувствовал, что надо мне уползти назад, в мою тьму, я не выносил света солнца, я был в отчаянии, как заблудившийся зверь, и я помчался, что было сил, и эта неотступная мысль: «Взять бы ее с собой!» — и мысль прямо противоположная: «Да разве будет тьма там, где она?»

Ты спрашиваешь, как я живу; вот так и живу. <...>

[Прага, 18 сентября 1920 г.]

Ты и не можешь понять до конца или хотя бы отчасти, Милена, о чем идет речь, я ведь и сам не понимаю, я еще весь дрожу от этого взрыва, извожу себя до безумия, но что это такое и чего оно хочет от меня в будущем, я не знаю. Знаю только, чего оно хочет сейчас: тишины, тьмы, берлоги. Вот это я знаю и должен этому покориться — иначе я не могу.

То был взрыв, он пройдет, отчасти уже прошел — но силы, его вызвавшие, вибрируют во мне непрестанно, гул их я слышал до и слышу после, ведь всю мою жизнь, все мое бытие составляет этот грозный подземный гул, смолкнет он — смолкну и я, это мой способ участия в жизни, кончится этот гул — я кончу и жизнь, ведь это легко и просто — как закрыть глаза. *Разве не слышен он был постоянно, с тех пор как мы знаем друг друга, и разве ты удостоила б меня хоть беглого взгляда, если б не он?*

Конечно же, нельзя все это перевернуть и сказать: теперь все прошло, теперь я утих, я счастлив и полон благодарности за эти новые наши отношения. Так не скажешь, хоть это почти и верно (есть благодарность, лишь в известном смысле есть счастье, но вот тишины — нет), — ведь я всегда

буду внушать ужас людям, а больше всего — себе самому. Ты упомянула о помолвках; конечно, там было все просто — просто не с болью, а с ее действием. Это как если б ты мерзко прожил жизнь и вдруг тебя притянули б к ответу за все твои мерзости — и вот твоя голова уже в тисках, одна гайка приставлена к правому виску, другая к левому, их медленно начинают завинчивать, и тебе надо сказать: «Да, мне мила эта мерзкая жизнь», — либо: «Нет, я отступлюсь от нее». Конечно же, будешь вопить «Нет», пока легкие не лопнут.

Права ты и в том, что ставишь мое нынешнее решение в один ряд с прежними историями, — я ведь остаюсь все тем же и переживаю все то же. Разница лишь в том, что у меня теперь уже есть опыт и я со своим воплем не дожидаюсь, пока приставят тиски, чтоб вырвать у меня признание, а кричу уже тогда, когда их только поднесут, так обострилась моя совесть — впрочем, не так уж сильно и обострилась, далеко не так сильно. Но вот еще что: когда спрашиваешь ты, тебе можно сказать правду, как никому другому, — сказать ее ради себя и ради тебя; да нет — от тебя-то лишь и возможно услышать свою правду.

Но когда ты с горечью говоришь о том, что я так просил тебя не покидать меня, ты не права. В этом я и прежде был таким же, как сейчас. Я жил твоим взглядом (и тут нет никакого особенного обожествления твоей персоны — такой взгляд каждого делает богом), у меня не было реальной почвы под ногами; я так этого страшился, хотя и безотчетно, — я совершенно не представлял себе, как высоко я парю над своей землей. Это было плохо — и для меня, и для тебя. Одного слова истины, неумолимой истины было достаточно, чтобы уже стянуть меня на вершок с моих высот, а потом еще слово — и еще вершок, и наконец исчезли все опоры, и я стремглав падал вниз, хоть мне все и казалось, что падаю слишком медленно. Я намеренно не привожу в пример никаких таких «слов истины», это только сбивает с толку и никогда не будет верным до конца.

Прошу тебя, Милена, придумай какую-нибудь другую возможность, чтоб я мог тебе писать. Лживые открытки посылать глупо; какие я должен тебе послать книжки, я тоже уже не помню; мысль о том, что ты однажды даром проходишь на почту, невыносима; придумай какую-нибудь другую возможность, прошу тебя.

[Прага, сентябрь 1920 г.]

Конечно, Милена, живет в Праге такой человек, он твое достояние, никто его у тебя не оспаривает, разве что ночь, которая борется за него, но она борется за все. Но что это за достояние! Я его не преуменьшаю, что-то оно из себя представляет, оно даже так огромно, что способно затмить и луну — наверху, в твоей комнате. И ты не боишься такой тьмы? Тьма без теплоты тьмы! <...>

Я спрашиваю, не боишься ли ты, потому что человека, о котором ты пишешь, вообще не существует: ни того, что был в Вене, ни того, что был в Гмюнде; впрочем, этот последний, пожалуй, как раз существует, и да будет он проклят. Это важно знать потому, что, сойдись мы снова, опять возникнет тот, что был в Вене, а то еще и тот, что был в Гмюнде, — сама невинность, будто ничего и не произошло, — в то время как снизу, из глубин, будет источать угрозу тот, настоящий, неведомый никому, неведомый самому себе, еще менее существующий, чем другие, но в выражении могущества своего реального всего реального (вот отчего только он не поднимется сам наконец, отчего не покажется?). И он снова разобьет все вдребезги.

[Прага, сентябрь 1920 г.]

<...>

Знал ли я, что это пройдет? Я знал, что это не пройдет.

Еще ребенком, стоило мне сделать что-нибудь очень дурное — ничего дурного (или уж слишком дурного) в людском смысле, но что-то очень дурное в моем собственном, приватном смысле (впрочем, если это и не означало ничего дурного в людском смысле, то не в силу моей какой-то особенной заслуги, а в силу того, что мир был слеп или просто спал), — я очень удивлялся тому, что все идет по-прежнему, своим чередом, что

взрослые, хоть и несколько помрачневшие, но в остальном нисколько не переменившиеся, ходят как ни в чем не бывало, и их губы по-прежнему сжаты (я всегда, с самого раннего детства, глядя на эти губы снизу вверх, восхищался тем, как они спокойны и невозмутимо-естественно сжаты). Из всего этого, понаблюдав за ними некоторое время, я заключал, что я, похоже, и не могу сделать ничего дурного, ни в каком смысле, что мои страхи — это всего лишь ребяческое заблуждение и что я, стало быть, могу начинать все снова — на том самом месте, где я с перепугу прекратил. Со временем такое восприятие мира стало постепенно меняться. Во-первых, я пришел к убеждению, что другие все прекрасно замечают и даже достаточно ясно выражают свое отношение, — просто я сам до сих пор был недостаточно зорок; эту зоркость я весьма скоро приобрел. Во-вторых, эта невозмутимость других людей — если она и в самом деле существовала — хоть и продолжала удивлять меня, но уже не воспринималась как доказательство в мою пользу.

Итак, они ничего не замечали, ни единая частица моего существа не проникала в их мир, я был для них вне подозрений, мой путь пролегал вне их мира; если мое существо было рекой, то по крайней мере один очень крупный рукав ее протекал за пределами их мира. <…>

[Прага, сентябрь 1920 г.]

Милена, зачем ты пишешь о нашем совместном будущем, ведь оно никогда не наступит, — или потому ты о нем и пишешь? Однажды вечером мы в Вене вскользь об этом заговорили — и уже тогда у меня было чувство, что мы ищем кого-то хорошо нам знакомого, без кого мы скучаем, мы зовем его, называем самыми ласковыми именами, а ответа нет; да и как он мог ответить, его ведь не было ни рядом, ни далеко окрест.

Мало есть несомненных истин в мире, но вот эта из их числа: никогда мы не будем жить вместе, в общей квартире, бок о бок, с общим столом — никогда; даже общего города у нас не будет. Я сейчас чуть не сказал, что так же в этом уверен, как и в том, что завтра утром не встану с постели (вставать одному! Я сразу вижу себя под самим собой как под тяжелым крестом, он придавил меня, я распластан, и какая тяжкая предстоит работа, прежде чем я смогу хоть немного прогнуться и приподнять навалившийся на меня труп) и не пойду в бюро. И так оно и есть — я наверняка не встану, но если, для того, чтоб встать, понадобится усилие лишь чуть большее, чем это в человеческих силах, я его, пожалуй, и сделаю — чуть выше сил человеческих я уж как-нибудь поднимусь.

Но ты все эти рассуждения — поднимусь или не поднимусь — не воспринимай буквально, на самом деле не так уж все плохо; в том, что я завтра утром встану, я уверен все-таки больше, чем в самой даже отдаленной возможности нашей совместной жизни. <…>

Тебя страшит мысль о смерти? А я только ужасно боюсь боли. Это дурной признак. Желать смерти, а боли не желать — дурной признак. А в остальном — можно рискнуть на смерть. Тебя выслали в мир, как библейскую голубку, ты не нашел зеленой ветки и снова заползаешь в темный ковчег. <…>

[Прага, сентябрь 1920 г.]

<…>

Получил санаторские проспекты. В «Венском лесу» комната с балконом на южную сторону стоит от 380 крон и выше, в Гриммендштайне самый дорогой номер стоит 360 крон. Разница слишком большая — хотя и в том и в другом случае это гнусный грабеж. Ну что ж — сначала платишь за возможность инъекций, а потом за сами инъекции отдельно. Я бы так хотел поехать куда-нибудь в деревню — а еще лучше остаться в Праге и научиться какому-нибудь ремеслу; в санаторий мне меньше всего хочется. Чего я там не видел? Зажмет тебя главный врач промеж колен — и давись кусками мяса, которые он будет засовывать тебе карболовыми пальцами в рот и потом протискивать их вдоль горла в желудок. <…>

[Прага, середина ноября 1920 г.]

<…>

Все послеобеденные часы провожу теперь на улицах и купаюсь в волнах юдофобства[56]. Сам слышал, как кто-то назвал евреев «prašivé plemeno»[57]. Как тут не понять того, кто уезжает из страны, где его так ненавидят (и для этого вовсе нет нужды ни в каком сионизме или в чувстве народной общности). Геройство, выражающееся в том, что человек все-таки остается, это геройство тараканов, которых тоже никакими силами не вытравишь из ванной.

Только что выглянул в окно: конная полиция, жандармы со штыками наперевес, разбегающаяся орущая толпа — а здесь наверху, у окна, омерзительное чувство стыда за то, что ты живешь под постоянной охраной. <…>

[Прага, ноябрь 1920 г.]

Сегодня пришли два твоих письма. Ты, как всегда, права, Милена, я от стыда за свои письма едва решаюсь распечатывать твои ответные. И это еще при том, что мои письма правдивы или, по крайней мере, находятся на полпути к правде, — а как бы мне было получать твои ответы, если б мои письма были лживы? Ответить на это легко: я бы сошел с ума. Итак, моя правдивость не такая уж большая заслуга, чего уж там, я ведь только силюсь все время сообщить то, что сообщить не получается, объяснить то, что объяснить не удается, рассказать о чем-то, что сидит у меня в печенках и что в этих только печенках и может быть пережито. Наверное, в основе-то своей это все тот же страх, о котором так часто шла у нас речь; но страх, распространяющийся на все, страх перед самым огромным и самым малым, страх, судорожный страх выговорить слово. Правда, возможно, что этот страх есть не только страх, но и тоска по чему-то, что превыше всего устрашающего.

«O mne rozbil»[53] — это чистое безумие. Я один во всем виноват, и вина моя в том, что слишком мало во мне правды, все-таки слишком мало правды, все-таки снова и снова ложь, ложь из страха перед самим собой и перед людьми. Этот кувшин был уже разбит задолго до того, как направился к колодцу. Я теперь помолчу, чтоб хоть немножко подышать правдой. Ложь ужасна — нет духовной муки горше. Поэтому молю тебя: дай мне помолчать, в письмах — сейчас, в словах — когда буду в Вене.

Ты пишешь — o mne rozbil, но я вижу только, как ты себя мучишь; ты пишешь, что покой находишь только на улицах, — а я сижу тут в теплой комнате, в халате и туфлях, сижу спокойно, насколько вообще позволяет моя «часовая пружина» (ведь «показывать время» я все-таки должен). <…>

[Прага, ноябрь 1920 г.]

Сегодня четверг. До вторника я был полон искренней решимости поехать в Гримменштайн. Правда, иной раз, когда я об этом думал, я ощущал некую внутреннюю угрозу, и этим, похоже, отчасти объяснялось то, что я оттягивал поездку; но я полагал, что все это легко преодолеть. Во вторник днем кто-то мне сказал, что необязательно ждать разрешения из Праги, его скорее всего можно получить прямо в Вене. Путь, таким образом, был свободен. Я всю вторую половину дня промучился, ворочаясь на канапе, вечером написал тебе письмо, но не отослал его, все надеясь, что я себя переборю, но всю бессонную ночь я буквально корчился в муках. Во мне боролись эти двое: один хочет ехать, а другой боится — каждый всего лишь часть меня, и оба, наверное, негодяи.

Я не смогу поехать; мысль о том, что я предстану перед тобой, для меня уже сейчас невыносима, невыносима эта тяжесть в висках.

Уже твое письмо — это одно сплошное безудержное разочарование во мне, а теперь еще и это. Ты пишешь, что у тебя нет надежды; но у тебя есть надежда — суметь навсегда уйти от меня.

Я не могу объяснить ни тебе, ни кому-либо другому, что во мне происходит. Да и как я смог бы это сделать, когда я даже себе не могу этого объяснить. Но не это главное; главное вот в чем — и тут все ясно: в пространстве вокруг меня невозможно жить по-человечески. Ты это видишь — и все еще не хочешь этому верить?

[Прага, ноябрь 1920 г.]

Письма в желтом конверте я еще не получил; я отправлю его назад нераспечатанным.

Если это не к лучшему — прекратить нашу переписку,— значит, я ужасно заблуждаюсь. Но я не заблуждаюсь, Милена.

Не буду говорить о тебе — не потому что это не мое дело; дело-то мое, просто не хочу об этом говорить.

Итак, только о себе: того, что ты для меня значишь, Милена, значишь в целом этом мире, в котором мы живем,— ты не найдешь на тех ежедневных клочках бумаги, что я тебе посылал. Эти письма — такие, как они есть,— способны только мучить, а если они не мучат, то это еще хуже. Что они способны дать? Разве что день в Гмюнде — день недоразумений и стыда, почти неизгладимого стыда. Я хочу видеть тебя такой же уверенной и твердой, как при первой встрече на улице, но письма мешают этому больше, чем весь шум на Лерхенфельдерштрассе.

Но не это даже главное; главное — что письма лишь усугубляют мою неспособность выйти за рамки писем, мое бессилие как перед тобой, так и перед собой,— тысяча твоих писем и тысяча моих желаний этого не опровергнут; и что еще главное (возможно, оно следствие этого бессилия, но все причины тут сокрыты во мраке) — это неодолимо властный голос, прямо-таки твой голос, повелевающий мне затихнуть <...>.

Просидел за этим письмом, ничего другого не делая, до полвторого ночи, все смотрел на него и сквозь него — на тебя. Иногда — не во сие — мне видится: твое лицо скрыто волосами, мне удается раздвинуть их, и тогда оно появляется, я провожу рукой по лбу и вискам — и вот держу твое лицо в ладонях.

Понедельник.

Хотел это письмо порвать, не отсылать, и на телеграмму не отвечать, телеграммы так двусмысленны, но вот пришла открытка и письмо — эта открытка, это письмо! Но даже и после них, Милена, и даже если мне придется искусать в кровь мой жаждущий высказаться язык,— как могу я поверить, что ты — сейчас! — нуждаешься в моих письмах, когда единственное, в чем ты нуждаешься, это покой, и ты это сама не раз говорила, пусть и почти бессознательно. А эти письма — одна только мука, они рождены мукой, неизбывной мукой, и причиняют лишь муку, неизбывную муку, и к чему все это — да оно еще может и усилиться — в эту зиму? Затихнуть — вот единственное средство выжить, и здесь и там. Печально, да, ну и что из того? Только сон будет невинней и глубже — как у ребенка. А вот эта мука — этот плуг, бороздящий и сон и день,— вот что невыносимо.— Если я все-таки поеду в санаторий, я, конечно, тебе сообщу.

[Прага, конец марта 1922 г.]

Давно я Вам не писал, госпожа Милена, да и сегодня пишу только по случаю. Но оправдываться за свое молчание мне, собственно, ни к чему — Вы ведь знаете, как я ненавижу писать письма. Все несчастье моей жизни (и это вовсе не жалоба, а обобщающий назидательный вывод) происходит, если угодно, от писем или от возможности их писать. Люди меня едва ли когда обманывали, а письма всегда, причем и тут не чужие, а мои собственные. В моем случае это особое несчастье, о нем я не буду распространяться, но в то же время оно и всеобщее. Я убежден, что уже малейшая возможность писать письма — рассуждая чисто теоретически,— принесла в мир ужасный душевный разброд. Это ведь общение с призраками, причем не только с призраком адресата, но и со своим собственным призраком, который разрастается у тебя под рукой, когда ты пишешь письмо, а уж тем более серию писем, где одно письмо подкрепляет другое и уже ссылается на него как на свидетеля. И кому это пришла в голову мысль, что люди могут общаться друг с другом посредством писем! Можно думать о далеком человеке, можно коснуться близкого человека — все остальное выше сил человеческих. А писать письмо — это значит обнажаться перед призраками, чего они с жадностью и ждут.

Написанные поцелуи не доходят по адресу — их выпивают призраки по дороге. Благодаря этой обильной пище они и размножаются в таком неслыханном количестве. Человечество это чувствует и пытается с этим бороться; чтобы по возможности исключить всякую призрачность меж людьми и достигнуть естественности общения, этого покоя души, оно придумало железную дорогу, автомобили, аэропланы, но ничто уже не помогает, открытия эти явно делались уже в момент крушения, а противник много сильней и уверенней, он вслед за почтой изобрел телеграф, телефон, радио. Призракам голодная смерть не грозит, но мы-то погибнем.

Удивительно, что Вы еще ничего не написали об этом в своих фельетонах,— не затем, чтоб их публикацией что-либо предотвратить или чего-либо достичь, а чтобы по крайней мере дать «им» понять, что их распознали.

Впрочем, «их» можно распознать и по отдельным исключениям — ведь иногда они пропускают какое-то письмо беспрепятственно, и оно прибывает к тебе как протянутая дружеская рука, легко и ласково ложась в твою руку. Но, может быть, и это только видимость, и такие случаи, наверное, самые опасные, их надо остерегаться больше других — но, если это и иллюзия, то уж самая совершенная.

Нечто подобное случилось сегодня и со мной, потому-то, собственно, мне и пришло в голову написать Вам Я получил сегодня письмо от друга, Вам тоже известного; мы давно уже с ним не переписываемся, что в высшей степени разумно. Ведь из вышеизложенного ясно, что письма — самое великолепное средство от сна. В каком виде они приходят! Иссохшие, пустые, они бередят душу — мгновение радости и долгая мука потом. Пока ты их самозабвенно читаешь, та толика сна, что у тебя еще была в глазу, выпархивает, встрепенувшись, в открытое окно и долго не возвращается. Потому-то мы с ним друг другу и не пишем. Но я часто, хоть и мельком, думаю о нем. Я вообще только и думаю, что мельком. Но вчера вечером я думал о нем долго, шли часы, и эти столь драгоценные для меня — драгоценные из-за их враждебности — ночные часы я потратил на то, чтобы в воображаемом письме снова и снова, одними и теми же словами, повторять своему другу некоторые вещи, казавшиеся мне в тот момент чрезвычайно важными. А утром и в самом деле пришло письмо от него, да еще и с замечанием, что моего друга вот уже месяц не оставляет чувство (точнее говоря, оно возникло у него месяц назад), что он должен приехать ко мне,— и это замечание странным образом согласуется с тем, что пережил и я.

История эта дала мне повод написать письмо, а уж раз я его написал, как же было не написать и Вам, госпожа Милена,— ведь Вам-то я пишу охотнее всего (насколько вообще можно охотно писать — но это сказано уже для призраков, в сладострастном ожидании обступивших мой стол).

Уже давно я не находил ничего Вашего в газетах, кроме заметок о моде, которые мне все — за малыми исключениями — показались радостными и безмятежными, особенно последняя из весенних заметок[59]. До этого, правда, я три недели не читал «Трибуны» (но я попытаюсь ее раздобыть), я был в Шпиндельмюле[60].

[Прага, сентябрь 1922 г.]

Дорогая госпожа Милена,
приходится сознаться, что когда-то я очень завидовал одному человеку, потому что он был любим, находился под надежной опекой, опекой разума и силы, и мирно почивал среди цветов. Что-что, а уж завидовать я горазд.

Из «Трибуны», которую я читал не регулярно, но все-таки читал, я, думается, вправе был заключить, что лето Вы провели хорошо. Один номер «Трибуны» я раздобыл в Плане[61] на вокзале, одна дачница беседовала с другой и держала его за спиной, сестра выпросила его для меня. У вас был, если не ошибаюсь, очень смешной фельетон о немецких курортах. А еще где-то Вы писали о том, какое это счастье — провести лето в глуши, вдали от железных дорог, это тоже было очень мило — или это в том же самом фельетоне? Нет, кажется, в другом. <...>

О Плане можно было бы кое-что рассказать, но это уже дело прошлое. Оттла была ко мне очень добра, хотя кроме меня у нее ведь еще ребенок на руках. С легкими моими, по крайней мере там, все обстояло сносно, а тут я за две недели еще не удосужился сходить к врачу. Но не думаю, чтобы дело было так уж плохо, если я там в Плане — о святая суетность! —

часами мог колоть дрова, не уставая, и притом — минутами — испытывал счастье. Со всем остальным — сном и сопутствующей бессонницей — было несколько хуже, иногда. А как Ваши легкие — это гордая, сильная, измученная, несокрушимая чета?

Ваш К.

[Прага, январь — февраль 1923 г.]

<...>

Пришло Ваше письмо. Странное дело у меня с письмами. Уж придется Вам — а когда не приходилось? — набраться терпения. Все эти годы я никому не писал, был в этом отношении все равно что мертвец, никакой потребности общения, я был как не от мира сего, но и ни от какого другого, — как будто я все эти годы лишь машинально выполнял, что от меня требовалось, а на самом деле все время прислушивался, не зовут ли меня, — пока болезнь не позвала из соседней комнаты, и я побежал на зов и теперь все больше и больше ей принадлежу. Но в комнате темно, и не очень-то даже различишь, болезнь ли это.

Во всяком случае, и думать и писать мне становилось все трудней, иной раз при письме рука бежала вхолостую по бумаге, вот и сейчас так, о мысли я уж не говорю (снова и снова я восхищаюсь молниеносностью Вашей мысли: мысли сгущаются, сгущаются — и ударяет молния); во всяком случае, наберитесь терпения, эта почка раскрывается медленно, да и почка она лишь потому, что так называют нечто наглухо закрытое. <...>

Хуже всего в данный момент (даже я этого не ожидал), что я не могу продолжать это письмо — даже такое важное письмо. Злые демоны переписки обступают меня и разрушают мои ночи, которые уже и сами по себе разрушаются, все больше и больше. Я должен прекратить, я больше не могу. Ах, Ваша бессонница не то, что моя. Пожалуйста, не пишите мне больше.

[Открытка со штемпелем: Добрековице, 5 мая 1923 г.]

Госпоже Милене Поллак,
Вена VII,
Лерхенфельдерштрассе 113/5

Большое спасибо за Ваши приветы. Что касается меня: я выехал сюда ненадолго, в Праге становилось все трудней. Но это еще не настоящее путешествие, лишь трепыханье совершенно неприспособленных крыл.

К.

[Открытка со штемпелем: Берлин — Штеглиц, 25 декабря 1923 г.]

Госпоже Милене Поллак
Вена VII
Лерхенфельдерштрассе 113/5

Дорогая Милена, уже давно лежит у меня начатое Вам письмо, но никак не могу его продолжить — старые мои хвори настигли меня и здесь, напали и слегка скрутили, все дается мне теперь с трудом, каждый росчерк пера, все, что я пишу, кажется теперь слишком высокопарным, будто я взялся за что-то непосильное, и если я пишу: «С дружеским приветом» — в самом ли деле у этих моих приветов достаточно сил, чтобы добраться до шумной, суматошной, серой, такой городской Лерхенфельдерштрассе, где я и все мое не смогли бы даже дышать? Лучше уж вообще не писать, подождать лучших или худших времен — а в остальном мне тут хорошо, за мной есть ласковый уход, едва ли не доходящий до пределов земных возможностей[62]. О внешнем мире я узнаю — зато уж весьма ощутимо — лишь по росту цен, пражских газет не получаю, а берлинские мне не по карману, не смогли бы Вы время от времени посылать мне вырезки из «Народны листы» — вроде тех, что когда-то так меня радовали? Кстати, мой адрес недавно переменился: Штеглиц, Груневальдштрассе 13, у г-на Зайферта. А теперь все-таки — «искренние приветы», и что из того, что они рухнут на землю уже у садовой калитки, — может быть, тем больше сил будет у Вас.

Ваш К.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Поскольку Кафка не датировал своих писем к Милене, даваемая в квадратных скобках датировка, как и само их хронологическое расположение, принадлежат Юргену Борну и Михаэлю Мюллеру, подготовившим последнее по времени издание писем: Franz Kafka. Briefe an Milena. Erweiterte und neu geordnete Ausgabe. Hrsg. von Jurgen Born und Michael Müller. Frankfurt a/M., Fischer, 1986. Перевод осуществлен по этому изданию.

[2] Господин доктор, вы долго не протянете (чешск.).

Экземпляр чешского литературного еженедельника «Кмен» (№ 6 от 22 апреля 1920 г.), где был опубликован фрагмент «Кочегар» в переводе Милены.

[4] Речь идет о Курте Вольфе, в чьем издательстве в Мюнхене вышел в 1920 г. сборник рассказов Кафки «Сельский врач».

[5] Милена писала с января 1920 г. для чешских газет фельетоны из венской жизни.

[6] Речь идет о двух помолвках Кафки с Фелицей Бауэр (май 1914 г. и июль 1917 г.) и о помолвке с Юлией Вохрыцек (осень 1919 г.).

[7] Кафка здесь ошибается — речь должна идти о Д. В. Григоровиче, рассказавшем эту историю в своих воспоминаниях.

[8] Мать Кафки предпочитала говорить по-немецки, а отец — по-чешски.

[9] Я тот, кто за все платит (чешск.).

[10] Настоящий ужас (чешск.).

[11] Писатель Франц Верфель (1890—1945), живший в это время в Вене, был знаком с Миленой и ее мужем, Эрнстом Поллаком, и Милена переводила некоторые его прозаические произведения на чешский язык.

[12] Речь идет о поэте Людвиге Майснере (1822—1885); его «История моей жизни» вышла в 1884 г.

[13] Кафка вспоминает здесь свое пребывание у сестры Оттлы в Цюрау с сентября 1917 г. по конец апреля 1918 г.

[14] Речь идет о переписке с Фелицей Бауэр, первой невестой Кафки.

[15] С 1908 г. Кафка был служащим фирмы по страхованию от несчастных случаев на производстве.

[16] Нет ни одного слова, которое не было бы очень точно взвешено (чешск.).

[17] «Деревце, деревце, переменись» — детская игра (чешск.).

[18] Это причинило мне боль (чешск.).

[19] Здесь Миленой заретушированы несколько слов.

[20] В чешском языке имя «Милена» произносится с ударением на первом слоге.

[21] Красивым не бывает никогда, разве что иной раз милым (чешск.).

[22] В предыдушем письме Кафка сообщил, что собирается со знакомым инженером на прогулку в Боцен.

[23] На улице Лерхенфельдерштрассе, 113 жила Милена с мужем

[24] Кафка имеет в виду почтовое отделение, куда он посылал до востребования свои письма Милене.

[25] Кафка провел с Миленой в Вене и ее окрестностях четыре дня, со среды по субботу. В начале 1921 г. Милена, вспоминая об этой встрече, писала Максу Броду о том, как хорошо себя чувствовал Кафка в те дни: «Не было ни малейшего напряжения, все было просто и ясно, я таскала его за собой по холмам в окрестностях Вены — сама убегала вперед (он ходит медленно), а он топал за мной, и стоит мне закрыть глаза, как я сразу вижу его белую рубашку, и загорелую шею, и как он отдувается. Целыми днями он был на ногах, то в гору, то под гору, на солнце, и ни разу не кашлянул, ужасно много ел и спал как сурок, — он был попросту здоровым человеком, и болезнь его в те дни была для нас чем-то вроде легкой простуды» (Цит. по: Kafka F. Briefe an Milena. Frankfurt a/M., Fisher, 1986, S. 370—371).

[26] Дневниковые заметки известного австрийского писателя Германа Бара (1863—1934) печатались тогда по воскресеньям в «Новом Венском журнале».

[27] Тетка Милены, чешская писательница Ружена Есенская (1863—1940), регулярно печаталась в пражской газете «Народны листы».

[28] Речь идет о письме Юлии Вохрыцек, невесты Кафки; в этом письме она просила о срочном свидании.

[29] Имеется в виду Макс Брод.

[30] Новелла австрийского писателя Франца Грильпарцера (1791—1872).

[31] Народный сад (Фольксгартен) — небольшой парк в центре Вены; там находится один из памятников Грильпарцеру.

[32] Русская церковь стояла напротив дома, в котором Кафка жил у родителей.

[33] Да, ты прав, я его люблю. Но, Ф., я ведь и тебя люблю тоже (чешск.).

[34] Г-жа Колер — венская знакомая Милены.

[35] Я ведь не остановлюсь даже перед... даже перед... даже перед... (чешск.).

[36] Имеются в виду два из многочисленных взвешивавшихся в это время планов мужа Милены оставить работу в банке и переехать из Вены.
[37] Речь идет о враче-психоаналитике и философе Отто Гроссе (1877—1920), умершем незадолго до этого, в феврале.
[38] Юрген Борн, комментатор новейшего издания писем Кафки к Милене, полагает, что речь здесь идет о книге Макса Брода «Язычество, христианство, еврейство. Книга-исповедь», которую Кафка в это время читал в рукописи и которая затем вышла в Мюнхене в 1921 г. В одном из предыдущих писем Кафка упоминал эту книгу.
[39] Рудольф Фукс (1890—1942) — литератор, переводчик с чешского на немецкий; Кафка познакомился с ним в начале 1910-х годов.
[40] ребенок, грудной младенец (чешск.).
[41] как таковая (чешск.).
[42] этот простой и ясный факт (чешск.).
[43] По просьбе Милены Кафка ходил на могилу ее рано умершего брата Еничка.
[44] Речь идет о чехе Густаве Яноухе (1903—1968), ставшем впоследствии известным сочинителем легкой музыки и музыковедом; на основе своих бесед с Кафкой в это время Яноух издал позже, в 1951 г., книгу «Разговоры с Кафкой».
[45] мировые весы (чешск.).
[46] охапка (чешск.).
[47] Давос — высокогорный курорт в Швейцарии с многочисленными санаториями для легочных больных.
[48] «Тоска» — рассказ Кафки, появившийся на чешском языке.
[49] Речь идет об условленном между Миленой и Кафкой шифре для оправдания его поездки в Вену.
[50] Кафка имеет в виду свое свидание с Миленой в Вене (см. письмо от 4 июля 1920 г.).
[51] само собой разумеется (чешск.).
[52] Еврейский праздник Бар Мицве отмечается по достижении тринадцатилетнего возраста.
[53] Этого не будет никогда (чешск.).
[54] 14—15 августа Кафка встречался с Миленой в Гмюнде (пограничная станция на пути между Прагой и Веной), и вскоре после этого Милена уехала в санаторий Санкт-Гильген.
[55] Кафка имеет в виду сделанный Миленой перевод его рассказа «Приговор».
[56] 16—19 ноября по Праге прокатилась волна антисемитских демонстраций.
[57] пархатое отродье (чешск.).
[58] Ты разбился об меня (чешск.).
[59] Кафка имеет в виду заметку «Весенние шляпки» в «Трибуне» от 2 апреля 1922 г.
[60] С 27 января по 17 февраля Кафка был в отпуске и отдыхал на чешском горном курорте Шпиндлеров Млын.
[61] В местечке Плана Кафка жил с конца июня по середину сентября 1922 г. у своей сестры Оттлы.
[62] Кафка имеет в виду 24-летнюю Дору Димант, с которой он жил последний год в Берлине.

Вступление, перевод с немецкого,
примечания А. Карельского

Игорь Померанцев

ОТ АВТОРА
(из ящика 70-х)

* * *

Сомненья прочь! Читатель не боится,
читатель любит бритвы острие.
Он был бы счастлив вместе умереть
со мной у лампы от разрыва горла.
Я заблуждаюсь? Что ж, не миновать
ни собственных ошибок, ни прозрений.
К чему стесненья?! В детстве городок
мне преподал урок дурного вкуса:
лишь там, где пафос,— там и красота,
где жизнь и смерть схлестнулись—там искусство.

Садись на раму. Вот велосипед.
Рывок. Другой. И мы летим. И лица
родные гаснут. Только стук в висках,
да пиджачок хлобыщет за спиною.
Держись покрепче. Сорвана резьба.
Нам никогда уж не остановиться.

Вот сад мелькнул. Там мальчик: на губах —
вишневый сок, на плечиках — бретельки.
Вот тополиный пух, и сквозь него
квартал еврейский. как горбушка хлеба,
натертый чесноком. Глаза старух.
Гляди. Вдыхай. И ты поймешь, что страх
с водою вместе хлещет из колонок.
А шины шелестят. Все круче скат.
И пух свербит щекотно в носоглотке.
Вот что-то обожгло. Еще в ушах
звенит: «Любимый!» Ветер плющит слезы.—
И в нем спасение.

Обрывы рук. Откосы. Как раним
веселый воздух хлесткий. От стрекоз
он стал еще прозрачнее и легче
и пахнет васильками. Далеки
шлагбаумы, вагонная горячка,
досмотр таможенный. Подсаживает мать
мой друг. Еще, еще одно усилье.
Им не помочь.
Багажник дребезжит.
Летим, читатель! Спицы. Сухожилья.
Я здесь. С тобой. Я б за собой повлек
не то что с горки, но по краю бездны,
когда бы не. сомненья...

Игорь ПОМЕРАНЦЕВ публиковался в журналах «Ковчег», «Континент», «22». Живет в Лондоне.

* * *

А было время, помнишь, на перрон
бесплатно не пускали и за вход
взимали рубль старыми, тогда
еще охотно плакалось, а ныне —
и это уж не первый год —
чешуйки ящерёнок не прольет.

Вот ящерица юркнула. Вагон
так узок, словно я виски
руками стиснул.

Мы не увидимся. Ужасен проводник.
Сыреет в тамбуре его постельный лик.
Прижмись к моим губам и я, как стеклодув,
добуду поцелуй, прозрачный, хрупкий,
сжимая ящеричный хвост подруги.

В закрытом пограничном городке
глаза нуждались в носовом платке
от умиленья: все тот же цвет,
все тот же колорит,
что степь и униформы
так роднит.

Мы не увидимся. В уборной на вокзале
на миг в рукопожатии умрем,
я пошатнусь, в лицо дыхнет карболка,
к глазам моим притронется иголка,
чтобы сломаться...

* * *

От голословности полей, равнин декабрьских,
увиденных из узких поездов,
равнин таких тяжелых, что срывался
стальной пруток с оконной занавеской
под неподвижным локтем, нет, скорей,
от голословности забытых песен
про поле, про равнины, что под льдистым
и колким взглядом не поймешь кого
от перепугу пухнули, хотя
кому еще не трусить, не трястись,
не обливаться злым, холодным потом
как не равнинам, от стихов о том,
чему никак не стать воспоминаньем, —
вернуться в дом, к клеенчатой скатерке,
замызганной, липучей от вина,
бордового, как розы поцелуев,
к атласистым дворовым тополям,
раздавшим ветру вороха ватина,
чтоб лету было мягко и тепло.
Здесь, дома, воздух гуще и серей,
им мажешь хлеб, его стираешь с кожи.
А помнишь, мальчик, ты сильней всего
боялся корпусов инфекционных,
их стен высоких, их мостов подъемных
и факелов, растрепанных, чадящих,
и блеска лат, и лязга разговоров?
Все обошлось, ну, улыбнись, — ты дома.
Попробуй встать, дыши, не умирай!

Андрей Сахаров

ВОСПОМИНАНИЯ

В сентябре 1981 года мы узнали, что в ноябре Л. И. Брежнев поедет в ФРГ для важных переговоров с канцлером Гельмутом Шмидтом и другими высшими руководителями ФРГ. К этому времени мы уже окончательно пришли к мысли, что никакого другого способа добиться выезда Лизы к мужу, кроме голодовки, реально не существует (дальнейший ход событий только подтвердил это). Поездка Брежнева за рубеж создавала психологические и политические условия, при которых голодовка имела наибольшие шансы на успех. Нам обоим было ясно, что такой случай больше может не повториться. Очень существенно было также, что наши предыдущие двухлетние усилия — письма, документы и обращения — тоже не только показали свою недостаточность, но и сделали Лизино дело достаточно широко известным; наше решение о голодовке в этих условиях не выглядело как сумасбродство и понималось очень многими (не всеми, конечно) как вынужденное и единственно возможное.

Первоначально мы обсуждали с Люсей решение о голодовке письменно, записками — мы не хотели, чтобы это обсуждение сразу стало известно КГБ в нашей прослушиваемой квартире. Нам не пришлось обсуждать очень долго – решение было нашим общим, основанным на глубоком понимании каждым моральной и фактической неизбежности избранного пути. Конечно, ни о каком давлении, прямом или косвенном, одного из нас на другого не могло быть и речи. Это внутреннее единство, близость потом очень поддерживали нас на всем протяжении голодовки — и в те дни, когда мы были вместе в квартире, и в последние решающие ее дни, когда нас насильно разделили при госпитализации.

Приняв же окончательное решение, мы уже не считали нужным его скрывать — наоборот, нам казалось, что мы даем КГБ шанс выйти из этой игры без шума и скандала и потери лица, потиху отпустив Лизу. Не наша вина, что они этим не воспользовались.

В первой половине октября мы подготовили и разослали множество писем и документов, в которых просили о поддержке наших требований, в том числе мое письмо, фактически второе, канцлеру ФРГ Шмидту и разосланное во много адресов и потом широко опубликованное «Письмо иностранным коллегам».

Люся и я написали трудные для нас письма Руфи Григорьевне и детям, сообщая о нашем решении. Конечно, мы понимали, как им будет мучительно, тяжело — гораздо трудней, чем нам. Но мы рассчитывали, что они, и в первую очередь Алеша, правильно нас поймут, рассчитывали на духовную близость, созданную всей жизнью. Не меньше мужества и понимания требовалось от Лизы. К счастью, мы не ошиблись. Не имея во время голодовки никакой непосредственной связи с нами, они не только не допустили действий, которые могли бы помешать успеху, но и сумели сделать гораздо больше, чем мы могли предполагать, — я об этом подробней пишу дальше.

Окончание. Начало см. «Знамя» №№ 10, 11, 12 за 1990 г. и №№ 1, 2, 3, 4 за 1991 г.

Я подготовил также телеграммы Брежневу и Александрову, в которых сообщал о голодовке, но пока, по просьбе Люси, медлил с их отправкой — это был тот шаг, после которого отступления уже не могло быть. Со всем этим Люся уехала в Москву. Она также взяла с собой тетради с рукописями воспоминаний — я много написал заново после кражи сумки, с новыми тетрадями дневников, документами и т. п. Я не хотел, чтобы все это досталось КГБ. Через неделю от нее пришла телеграмма: «Встречай обязательно носильщиком везу воду аккумулятор». Вода, о которой шла речь в телеграмме,— это щелочная минеральная вода «Боржоми», которую мы пили во время голодовки, начиная с третьего дня, в дополнение к простой воде. В Горьком подходящую нам воду достать было невозможно, в Москве тоже не просто, но по Люсиной просьбе Юра Шиханович «достал» (любимое советское слово) 100 бутылок — к слову, большая часть из них осталась неиспользованной. Аккумулятор — для нашей машины «Жигули», предыдущий вышел из строя, возможно, «естественным» образом, хотя в свете последующих событий в этом можно сомневаться (и раньше, с лета, когда Люся перегнала машину из Москвы, с ней происходили некоторые «странные» вещи). 19-го мы ездили в город без каких-либо происшествий, без наездов на доски с гвоздями, как мы уверены. А на другой день утром сразу в двух шинах оказались проколы, пришлось везти колеса на станцию техобслуживания на такси.

К 20 октября мы решили, что откладывать отправку телеграмм Брежневу и Александрову больше нельзя. 21 октября утром я отправил эти телеграммы, в них был назван срок начала голодовки — 22 ноября 1981 года, за день до приезда Брежнева в ФРГ. «Мосты были сожжены».

Конечно, у КГБ все еще была в оставшийся месячный срок возможность «мирного исхода». Они избрали другое. Уже через два дня после отправки телеграмм мы получили выразительный сигнал — у нас украли автомашину! Все обстоятельства и последующие события, с нею связанные, показывают абсолютно однозначно, что это сделал КГБ. Во время поездки вышел из строя совершенно новый аккумулятор, возможно, было сломано еще что-то; таксист, которого мы попросили нам помочь, не мог завести машину от своего аккумулятора. Мы поставили закрытую машину во двор школы (по совету бывшего директора, который заверил меня, что ничего плохого не случится). Через полчаса машина была украдена: в школе в тот день еще шли занятия, два работника школы, как потом выяснилось, в это время стояли на улице и якобы ничего не видели (их запугали?). Машина — большая ценность в наших, вообще в советских условиях. Но все же удивительно, если КГБ рассчитывал, что можно заставить нас при помощи кражи машины изменить какие-либо существенные наши планы, тем более в таком деле, в котором мы решились на крайнюю меру — голодовку. Несомненно, это было «выражение отношения». Потом оказалось, что с кражей, видимо, связывались и какие-то тактические планы, может, они возникли по ходу дела.

В начале ноября в связи с истечением полугодового срока после отказа Лиза вновь послала заявление в ОВИР, приложив документ о заочном браке. 16 ноября ее вызвали в ОВИР. Внешне повод был незначительным — с нее опять потребовали справки из домоуправления и от родителей. Когда Лиза заявила, что справки от родителей не будет, инспектор ушла из комнаты, долго отсутствовала, вернувшись, согласилась обойтись без справки. Это мы расценили как хороший признак — КГБ, возможно, готовил себе запасной путь отступления.

15 ноября Люся поехала в Москву последний раз перед голодовкой. В ее отсутствие неожиданно приехал мой дальний родственник Саша Бобылев, муж Клавиной сестры. До этого он никогда не приезжал в Горький, да и в Москве мы виделись раз в несколько лет. Конечно, он приехал отговаривать меня от голодовки. Пустили его ко мне без всяких трудностей. Я не исключаю даже, что его приезд был явно или неявно санкционирован КГБ, но и не утверждаю этого. Аргументы Саши Бобылева были заимствованы из «Недели». Он, в частности, говорил, что я нарушаю права родителей Лизы, которые, наоборот, вполне вправе не пускать за рубеж свою совершеннолетнюю дочь. Голодовку он называл совершенно безнадежной и добавлял, что детям (имея в виду только детей от первого брака) нужен живой отец, а не мертвый.

Опасаясь, что во время голодовки КГБ будет использовать естественное волнение моих детей в своих целях, я послал им телеграмму, в которой настаивал, чтобы они не приезжали ко мне во время голодовки без Лизы, в противном случае я не могу их пустить. Я рассчитывал при этом, что они поймут и причину моей телеграммы, и ее острую форму, рассчитанную на «двойное» прочтение — и детьми, и КГБ.

Люся в Москве в недели, предшествовавшие голодовке, столкнулась с тем, что многие знакомые и друзья, в особенности многие инакомыслящие, не одобряют и не понимают нашего решения. Хотя содержание и форма аргументов при этом были другими, чем у Саши Бобылева, но в основном мысль — что голодовка совершенно неправильное дело — была той же. Уже после окончания голодовки я получил два письма, написанные ранее — от Револьта Пименова и Петра Григорьевича Григоренко, в которых они резко возражали против голодовки. О других письмах и телеграммах с возражениями, которые пришли во время голодовки, я рассказываю ниже.

Люся передала мне перед голодовкой слова Лидии Корнеевны Чуковской: «Я не думала, что Андрей Дмитриевич может быть таким жестоким». Я не понял, что означали эти слова. Может быть, Лидия Корнеевна имела в виду те волнения, которые выпали на долю наших близких и друзей. Я могу сказать, что в этом смысле наше решение было действительно трудным, но от этого не становилось менее неизбежным...

Среди тех, кто особенно энергично возражал против голодовки, оказался и Феликс Красавин. Он неоднократно, ссылаясь на свой лагерный опыт, и до и во время голодовки всячески подчеркивал ее бессмысленность («КГБ ни за что не отступит!») и нашу неминуемую гибель. За 10—12 дней до начала голодовки мы встретились с ним у Хайновских, я выше писал об этой семье. Феликс рассказал о состоявшейся у него беседе с его куратором из КГБ. Куратор (фамилию Феликс назвать отказался), по его словам, сказал, что в результате голодовки погибнет Сахаров, и именно это является целью его жены, которая таким образом хочет избавиться от ставшего ей уже ненужным мужа (и — подразумевалось — уехать в США). Ему — Феликсу Красавину — во время голодовки делать у Сахаровых нечего, ходить туда ему запрещено. Мы поняли это как угрозу КГБ убить меня (без свидетелей) и с в а л и т ь в и н у з а э т о н а Л ю с ю. Замечу, что во время голодовки, пока мы были в квартире, Феликс беспрепятственно заходил к нам и продолжал свои уговоры. Во время одного из таких визитов он сказал, что он понимает — после нашей гибели и ему останется недолго жить, КГБ уберет его как ненужного свидетеля. В беседе Феликса с куратором была и такая — вскользь — фраза: «У Сахарова, кажется, пропала машина. Возможно, ее жена спрятала или перегнала в Москву. Ну, к весне машина, наверное, найдется» (опять намеки, компрометирующие Люсю).

Постараюсь сформулировать возражения оппонентов голодовки. Очень многие — в их числе Григоренко, в упомянутом письме, и другие — считали, что я в силу своего особого положения в правозащитном движении (у других это была наука или защита мира, или еще что-то столь же общее и «великое») не имею права рисковать своей жизнью, идти на почти неминуемую гибель ради столь незначительной цели, как судьба моей невестки. Потом в сатирической форме эту мысль отразил в одном из своих произведений Зиновьев. Григоренко писал о репрессиях на Украине — действительно ужасных — и завершал свое письмо категорически: «Вы совершили большую ошибку и должны ее исправить, прекратив голодовку». Пименов в особенности делал упор на то, что семейное, личное счастье (Алеши и Лизы; он писал — «счастье — мученье... ссориться, мириться, валяться в постели...») не может быть куплено ценой «страданий великого человека» (то есть моих). Кроме того, у Пименова была совсем странная идея, что победа над властями никогда не бывает бесплатной, всегда потом они в чем-либо берут реванш. Как пишет Пименов: «в полицейских делах действует своего рода закон сохранения». Объясняя этот тезис, он пишет, что за уступкой, когда Брежнев отпустил Буковского (Пименов в посланном по почте письме вместо указания фамилии цитирует несколько слов из стишка: «Обменяли хулигана на Луиса Корвалана. Где найти такую б..., чтоб на Брежнева сменять»), вскоре был взят реванш Орловым и Щаранским. Первая часть аргументации носит общий характер, ответ на нее я попы-

таюсь дать чуть дальше, или вообще ответа не требуется, а относительно «закона сохранения» — если бы дело обстояло так, то любая борьба с беззаконием ВСЕГДА была бы вредной. *Мне кажется, что жизнь по своим причинным связям так сложна, что прагматические критерии часто бесполезны и остаются — моральные.* Потом, уже много после голодовки, Пименов признал, что он был не прав в своих возражениях!

Особенно было плохо то, что многие наши друзья-диссиденты направили свой натиск на Лизу — и до начала голодовки, и даже когда мы ее уже начали, заперев двери в буквальном и переносном смысле. Лиза, якобы, ДОЛЖНА предотвратить или (потом) остановить голодовку, ведущуюся «ради нее»! Это давление на Лизу было крайне жестоким и крайне несправедливым. Должно было быть ясно, что Лиза никак не влияла на наши решения и не могла повлиять. Что же касается того, что голодовка велась ради Лизы (и Алеши), то и это верно только в очень ограниченном смысле. С более широкой точки зрения голодовка была необходимым следствием нашей жизни и жизненной позиции, продолжением моей борьбы за права человека, за право свободы выбора страны проживания — причем, и это очень существенно, в деле, за которое с самого его возникновения я, и Люся несем личную ответственность. Вот, собственно, я и ответил сразу всем своим оппонентам. Я свободно принял решение о голодовке в защиту Буковского и других политзаключенных в 1974 году, тогда мало кто возражал. Сейчас наши основания к голодовке были еще более настоятельными, категорическими. Еще несколько замечаний. В возражениях некоторых оппонентов я вижу нечто вроде «культа личности», быть может правильнее будет сказать — потребительское отношение. Гипертрофируется мое возможное значение, при этом я рассматриваюсь только как средство решения каких-то задач, скажем правозащитных. Бросается также в глаза, что оппоненты обычно говорят только обо мне, как бы забывая про Люсю. А ведь мы с Люсей голодали оба, рисковали оба, оба не очень здоровые, немолодые, еще неизвестно кому труднее. Решение наше мы приняли как свободные люди, вполне понимая его серьезность, и мы оба несли за него ответственность, и только мы. В каком-то смысле это было наше личное, интимное дело. Наконец, последнее, что я хочу сказать. Я начал голодовку, находясь «на дне» горьковской ссылки. Мне кажется, что в этих условиях особенно нужна и ценна победа. И вообще-то победы так редки, ценить надо каждую!

ОТРЫВКИ ИЗ ДНЕВНИКА

19.XI-20.XI. Два дня в поте лица убирал дом к Люсиному приезду, превзойдя самого себя.

По почте пришло письмо от неизвестного мне Веригина (Горький, более точного обратного адреса нет). Это, несомненно, запугивающее письмо от КГБ. «Я слышал по зарубежному радио, что Вы собираетесь объявить голодовку. Я и мои товарищи, с которыми я обмениваюсь подобного рода «информацией», считают, что это нелепое действие, которое неизбежно кончится смертельным исходом. Одумайтесь. Вы нужны своему народу». Вложена газетная вырезка с подробным «физиологическим» описанием умирания узников Лонг-Кэт...

21.XI приехала Люся (в новой шапке). Она рассказала подробней о разговоре с Руфью Григорьевной и детьми, о вызове Лизы в ОВИР. Во вторник и среду Лиза ездила в Бронницы за справкой из домоуправления (во вторник не было управдома, в среду выдали без разговоров, и Лиза отвезла в ОВИР). Во вторник Лиза зашла к маме. Этот разговор был спокойный относительно. Мама подарила Лизе кофту, говорила, зачем ты (Лиза) туда едешь, ведь тебя с твоими занятиями обратно никогда не пустят. Какими занятиями? Ты сама знаешь, о чем я говорю. Создается впечатление, что с Лизиными родителями говорило ГБ и подготовило их к возможности, что Лиза уедет. То, что в ОВИРе обошлись одной справкой, тоже говорит о том, что ГБ готовит для себя ВОЗМОЖНОСТЬ отпустить Лизу. Но, вероятно, они разрабатывают и другие варианты. Люсю, Лизу снимали для телевидения 16.XI. Вместе с тем, что снято Люсей здесь, будет передача по телевидению в нескольких странах 22.XI в первый день нашей голодовки.

...Вечером (в 12 часов, после ужина) мы чокнулись с Люсей чашками с карлсбадской солью (слабительное). Голодовка началась. Каждый день мы собираемся делать друг другу массаж позвоночника и спины, принимать 5 минут теплую ванну. Люся завела тетрадь для записи каждому веса, давления крови (у нее есть тонометр), пульса, выпитой воды, количества мочи.

22.XI. Первый день голодовки.

Понемногу втягиваемся в ритм. Много смотрели телевизор — вечером 5-я симфония Бетховена. Люся рассказала со слов Тани разговор с Аней. Таня говорит Ане: Ты плохо ешь, тебя никто замуж не возьмет. Аня: Нет, возьмут, потому что я хорошая. — А кто, ты хочешь, чтобы взял тебя замуж? — Хороший человек. — А что такое — хороший человек? Аня думает, потом говорит: Хороший человек — это как дидя Адя (дед Андрей). Таня рассказала это во время последнего телефонного разговора 16.XI.

Днем 22-го пришел Феликс (как я уже писал), принес напольные весы со смешными цветочками на платформе. Феликс затеял свой обычный резонерский разговор, на этот раз (уже не первый), какая плохая Америка и ее правительство. По ходу спора он сказал Люсе, что она из «академических кругов». На самом деле мы совсем не идеализируем Америку, видим в ней массу плохого и глупого, но это живая сила в хаосе теперешнего мира (конечно, мир велик, и есть и что-то другое)...

По радио — много о нашей голодовке.

23.XI. Второй день голодовки, у обоих кружится слегка голова. Много смотрим по телевизору о визите Брежнева. Ясно, что о ракетах средней дальности не договорились и не могли. Шмидт твердо стоит на позиции НАТО (двойное решение), из его речи на банкете в советской прессе устранено все о СС-20 (нарушивших равновесие), об этнических немцах и других проблемах. Пишу уже в среду, когда Брежнев вернулся. Но каковы реальные результаты переговоров, мне не ясно и сейчас. Впрочем, я в этой торговле или игре в покер мало что понимаю. Брежнев опять предложил мораторий, плюс некоторое уменьшение числа СС-20 и других ракет на «сотни штук» в обмен на отказ от размещения и распространения ограничений Першингов и Томогавков на тактическое оружие.

Люся 23-го вечером напомнила эпиграф из Гете: «Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день за них идет на бой». Мы с ней чувствуем, что это не просто битва за выезд Лизы (этой причины более чем достаточно — что важней судьбы и любви человека) — но битва за свободу вообще! Но это мало кто понимает даже из нашего ближайшего окружения. Лидия Корнеевна сказала: «Я не думала, что Андрей Дмитриевич может быть таким жестоким».

24.XI. 3-й день голодовки.

Пришел Марк. Сообщил, что на среду Машу вызывают на допрос. Сообщил, что 24-го визит Брежнева заканчивается (фактически он закончился 25-го, тоже раньше, чем сообщали в последнее время).

По-видимому, несомненно, что ГБ не отпускает Лизу «под визит» Брежнева. Хотя не исключено, что это будет сделано несколько потом — или «под встречу» 30 декабря, или под воздействием нарастающей волны протестов. Я сказал Люсе — возвращаемся на нашу основную позицию — если ГБ не хочет нашей смерти, оно рано или поздно отпустит Лизу, если наоборот — ну что ж, у них и без голодовки масса вариантов.

На радио все дни очень много о нашей голодовке: 1) обращение Хейга, 2) решение американского Сената (от имени американского народа), 3) обращение 20-ти американских лауреатов Нобелевской премии к ученым и правительствам, 4) обращение французских, норвежских ученых, 5) статьи во многих газетах США и Европы, включая ФРГ, 6) дельные передачи на СССР Голоса Америки, Би-би-си, Волны, 7) в четверг Люся слышала обращение к Брежневу Э. Габуджиани (коммунист, мэр Флоренции) — от своего имени и от имени народа Флоренции!

Люся 24-го слышала, и я тоже, голоса Алеши и Тани на пресс-конференции, но трудно было разобрать слова. 25-го она слышала много лучше. Они выражают беспокойство за здоровье мое и Люси и сообщают, что

обратились к советскому консулу в Вашингтоне с просьбой предоставить им возможность поехать в СССР, чтобы ухаживать за нами. Хотя надежды на такое разрешение практически нет, но действие — тактически правильное. Алешу спросили, хочет ли он поехать ухаживать или чтобы встретиться с Лизой и уехать вместе с ней. Он ответил, что если Лизе будет разрешен выезд, то и голодовки не будет.

26-го ноября Люсе показалось, что она слышала голос Руфи Григорьевны.

25 ноября. Четвертый день голодовки.

Люся много пытается слушать, как и все остальные дни. Кое-что целой огромных усилий ей удается. По телевизору смотрели 3-ю серию грузинского телефильма о секретаре райкома и слушали очень хороший концерт Вюртембергского камерного оркестра. У Люси небольшие отеки на ногах. Это нас беспокоит. Она меньше меня теряет вес. Впрочем, взвешивания очень неточные (плюс-минус 1 кг, кроме систематических ошибок, которые тут мало существенны). С сердцем у нее тоже неважно (неизвестно, у кого из нас хуже, не люблю «новичков»). Пришла телеграмма без подписи: «Андрей пожалей Люсю».

26.XI. Сегодня опять пришел Марк. То ли ГБ отменило свое решение, то ли оно относилось только к Феликсу. ...С Марком послали телеграмму Лизе с медицинскими данными (вес, давление крови, пульс). 24-го получили телеграмму от Володи Корнилова с беспокойством. 25-го от Лидии Корнеевны. Обоим послали ответы. Среди выступивших по делу Лизы — левая социалистическая партия Франции.

27. XI. 6-й день голодовки.

У Люси малы потери веса, это непонятно (но отеки стали меньше). Пока она труднее, чем я, переносит голодовку, болит голова. Второй день по часу гуляем по балкону днем при солнце — навстречу друг другу вышагиваем, посередине расходимся — как пароходики, — у концов поворачиваем. (Примечание 1987 г. Мы не выходили из дома, т. к. считали, что на улице нас могут схватить и разлучить. Что это могут сделать дома, нам казалось менее реальной опасностью.) Два часа спим или лежим днем при открытой двери, закутанные. Хорошо! Приходил Феликс с Майей. Майя мерила давление, пульс, слушала. В легких у обоих чисто. У Люси давление 140 (она сама себе намерила 150). Нехорошо, давление в норме должно падать (на следующий день было 130/80).

Вечером услышали по Голосу Америки (но и другие радиостанции повторили): «По сведениям, полученным от ученого, которого допустили к Сахарову, состояние его здоровья ухудшилось». Это сообщение очень раздосадовало нас. О здоровье — неверно, мы чувствовали себя пока прилично, и нельзя истощать силу реакции преувеличениями. Ведь, быть может, голодовка еще только начинается. «Ученый, которого допустили» — Запад поймет, что допустили ученых, моих коллег. Идиллия! В целом, все очень на руку ГБ. Кто виноват? ГБ? ...Неясно. Увы, никто не понимает, что ГБ с нами разыгрывает игры (то не пускает Феликса, то пускает, например; у нас не хватило духу спросить Феликса, пришел ли он явочным порядком или ГБ отменило свой запрет и сообщило ему об этом).

Все эти игры преследуют их цели, нам не всегда понятные (верней, почти никогда). А диссиденты в своем усердии (и неверии в нашу оценку ситуации) столь часто им подыгрывают.

...28 ноября в 20 часов Тамара (почтальон) принесла три уведомления на наши телеграммы Лизе (25, 26 — именно на эту и 27 ноября).

Эта идиллия не соответствует, однако, сообщению Марка, что Лиза три дня не получает наших телеграмм. Незадолго до прихода Феликса с Майей (днем 26 ноября) принесли телеграммы от Лейбовица и Стоуна — оба сообщают об усилиях на наивысшем уровне и просят прекратить голодовку. Я составил им ответную телеграмму при Феликсе и Майе, Люся ее переписала на бланк, и мы ее отправили Лизе, с тем, чтобы она послала в Ньютон (верней всего, до Лизы не дойдет, но телеграмма полезна и для ГБ).

28 ноября. 7-й день голодовки.

Ожидаем, что во время нашей балконной прогулки с поезда (11.30 в Горьком по московскому времени, т. е. у нас примерно 13 часов по ме-

стному) появится Н. Н. С ним — договоренность! Какой молодец. Я мелко (с очками 4 диоптрии) переписал вчерашнюю телеграмму Лейбовицу, Стоуну и добавил (уже утром) еще несколько слов. Текст: „Лизе: опубликовать, прочесть и показать коррам ответ на телеграммы Лейбовица (Нью-Йоркская академия) и ФАС. Стоуну: «Дорогие Джоэль Лейбовиц, Джереми Стоун! Глубокая благодарность за ваши энергичные усилия, заботу, внимание. Более двух лет добиваюсь решения проблемы чисто человеческой, бесспорной морально и юридически. Обращался к главам государств, к Академии наук СССР, к советским ученым и иностранным коллегам, к государственным деятелям. Сейчас единственная возможность прекращения нашей голодовки — выезд Лизы — прекращение акта государственного заложничества, опасного алогичностью, безответственностью, жестокостью, беззаконием. Никаким обещаниям властей, не подкрепленным делом, я уже не могу верить. Прошу правильно понять и учитывать это. С уважением, благодарностью, искренне. Андрей Сахаров, 27 ноября 1981, Горький. Мы держимся. Чувствуем себя пока прилично. Все симптомы и показатели, как в книгах. Настроение решительное. Целуем. Важно: достоверной является лишь информация, переданная через Лизу. Звонить, посылать телеграммы в Горький кому-либо кроме нас не следует. Последнее сообщение по радио, что по сведениям от ученого, которого допустили к Сахарову, его состояние ухудшилось — неверно и вредно. Вся информация для прессы должна идти через Лизу. Если кому-нибудь станет что-то известно о нас, пусть сообщит Лизе, чтобы она решила, достоверно ли, нужно ли публиковать. Сейчас мы особенно озабочены, что от Лизы нет телеграмм и нет извещений на наши телеграммы. Вероятно, таковы цели ГБ — прервать связь с Лизой, возможно, дополнив дезинформацией. 28 ноября. Целуем. Андрей Сахаров, Люся.»"

Утром пришел Марк. Он уверяет, что Насте сказал, что мы чувствуем себя бодро, он нашел нас лучше, чем в прошлый раз. Без четверти час (по местному) вышли на балкон, ждали Н. Н., его не было. Неожиданно появилась Бэла (ее гебисты проворонили). Люся сунула ей записку, предназначенную для Н. Н. Бэла была около балкона еще несколько минут, хотя Люся умоляла ее отойти. Кажется, она собиралась потом попытаться пройти «законным путем», через милиционера, через 10 минут мы увидели, что ее ведут (двое гебистов по бокам) в опорный пункт. (Добавление 1987 г. Ее схватили на автобусной остановке.) Мне не нравится, что у Люси три дня подряд вес постоянный — 60 кг. Это ненормально. Чувствует она себя сегодня неважно. Она такая терпеливая, что неизвестно, какова степень ее недомогания, но может, начался криз...

29 ноября. Сегодня Люся спросила меня, чувствую ли я то же самое, что она — полное отсутствие сомнений в правильности сделанного нами выбора. Я чувствую то же самое, как-то все прошлое отошло куда-то, стало смотреться издали. И ощущение душевного комфорта от отсутствия сомнений. А что хочет ГБ — это их дело.

Пришла утром срочная телеграмма из Н. (около объекта). Привожу текст: «Глубоко оскорблены вашей затеей. Ради корыстных целей своей жены Вы предаете интересы науки. Если еще не разучились, то подумайте, что уничтожает в Вас Ваша супруга. Наива» (подпись мне непонятна). ГБ это или мои бывшие коллеги? До этого пришли два ругательных письма из Горького. У Люси все не падает вес (все 60 кг). Самочувствие плохое, даже голос какой-то слабый. Быть может, ее нельзя на такой долгий срок лишать тиреодина? Это меня очень волнует. Марк сказал, что при базедовой болезни (у Люси другое, у нее оперированная щитовидка) нельзя голодать. Мы оба с огромным удовлетворением читаем статью Михайлова в «Континенте» «Приход великого инквизитора» — об опасности национализма (солженицынского), о том, что нельзя путать религию, национализм, государство и политику. Статья очень серьезная, прекрасно написанная — остро, исчерпывающе и ясно. Согласен с ним на сто процентов.

30 ноября. Утром пришел Марк, принес валенки для Люси — гулять на балконе. Пришла повестка к следователю Рукавишникову — на Горную для опознания машины. Пусть подождут. А может, это ГБ решило так меня выманить? Сейчас все это «по ту сторону».

Третий день пишу и переписываю восьмистраничное письмо детям. Ночью 30-го кончил. Очень важное внутренне для меня. Сегодня написал

такой документ: «Десятый день мы продолжаем голодовку за выезд нашей невестки к сыну. Это — не только защита права на любовь и жизнь наших близких, когда все обращения к властям, ученым, Академии, государственным деятелям, все апелляции к законам и международным обязательствам СССР оказались безрезультатны. Это также борьба за общее право на свободный выезд из страны и свободное возвращение, борьба за свободу вообще. И это защита моего личного достоинства и чести в условиях беззаконной ссылки и изоляции. Никакое изменение состояния нашего здоровья, никакие голословные обещания властей не прекратят нашей голодовки. Лишь выезд Лизы». Сегодня во второй половине дня Люсе несколько лучше.

Забегая вперед: 2 декабря пришла телеграмма от Сиднея Дрелла — уговаривает прекратить голодовку, положившись на их усилия. Мой ответ: «Дорогой Сидней. Мы тронуты заботой, усилиями. Знаем, что всем друзьям, маме, детям бесконечно трудно, страдаем за них. Но мы не имеем другого пути. Мы не стремимся к самоубийству — трагический конец означает УБИЙСТВО — санкционированное не только КГБ, но и полным молчанием моих коллег из Советской Академии Наук. Перед лицом коварной машины можем прекратить голодовку лишь при выезде Лизы. С благодарностью, Елена, Андрей. 2 декабря 1981. Горький».

30 ноября и 1 декабря пришли повестки с вызовом меня к следователю Рукавишникову для опознания машины (вызов на Горную, кабинет Снежницкого). Машина — Люсина. Первый день Люся объясняла девушке, что мы не выходим, второй раз сказала о голодовке. 2 декабря пришел лейтенант. Он говорил, что они будут вынуждены поставить машину на платную стоянку, и, так как она, вероятно, открыта, ее разворуют, настаивал на моей явке, нужно следствию. Я написал на повестке: «я не могу явиться, так как одиннадцатый день держу голодовку за выезд моей невестки. Я готов отдать ключи, если машина открыта, мы оплатим платную стоянку (или наши наследники)». Неужели они хотели таким дешевым трюком выманить нас из дома и заставить прекратить голодовку? В разговоре с лейтенантом я сказал, что там, куда мы готовы попасть, машины не нужны, ездят на ангельских колесницах.

1 декабря (на 10-й день голодовки) оказалась сорванной (ночью, очевидно) дверная цепочка. Ключ они сумели повернуть в замке, дают знать о своих возможностях. Но мы и без них знаем. Очень мы не хотим, чтобы нас выкрали и разлучили, но готовы и к этому. Вечером мы с Люсей приделали новую цепочку. (Другую я еще до голодовки приладил на балконную дверь.) Первого декабря вечером пришло письмо от Сахаровой Тани от 21 ноября. В нем чувствуется волнение за меня, пишет, что готова бросить все и приехать, но своей телеграммой я сделал это невозможным, так как с Лизой не пустят. Я послал Тане утром 2 декабря телеграмму: «Дорогая дочка Таня. Спасибо за письмо теплые слова послал тебе Любе Диме письмо на адрес Любы Мы держимся Целую Папа». Уведомление пришло 3 декабря вместе с уведомлением на телеграмму Лизе, но нет уведомления на тогда же посланную телеграмму Лидии Корнеевне, как раньше — Кориилову. Пришла телеграмма от какого-то Раппопорта из Киева: «Разделяю Ваши цели, но уговариваю прекратить, ради общего пожертвовать частным». Тоталитарное мышление! 1 декабря. За 10 минут до того, как мы собирались выходить на балкон для традиционной прогулки с 1 до 2 по местному (мы ожидали также со слов Бэлы, что может прийти М. М.), вдруг что-то, мы подумали — снежок, ударилось в стекло. Люся выскочила на балкон. В тот же момент из-за угла дома выбежали два милиционера в форме (не знакомые нам) и стремительно побежали за бросившим человеком. Так мы узнали, что в этот день была наружная охрана. Потом мы во время прогулки неоднократно видели выглядывающего милиционера. Люся даже его сфотографировала. Думая, что это М. М., Люся с досадой воскликнула: «Дурак М. М.! Как диссиденты не понимают нашего положения!» На балконе, однако, лежал не снежок, а сверток, в котором оказалась еда — три яблока, белый хлеб и ломти еще теплого, очень хорошего вареного мяса, а также записка: «Милые мои, в обиду вас не дадим. Воронин». Люся разворачивала сверток, говорит, что ей было очень трудно от запаха и вида свежей еды, одно из наиболее трудных переживаний за дни голодовки. (Примечание

1987 г. Мясо и хлеб Люся отдала собакам, которые гуляли под балконом.)

Вечером 1 декабря пришел Феликс, уговаривал нас прекратить голодовку — явно ГБ решило не уступать, а игнорировать все внешние воздействия. Оно хозяин в стране. Мы объяснили еще раз нашу позицию. Сдаться сейчас для меня означало бы моральную гибель. Мы готовы к тому, что, возможно, погибнем — но это не самоубийство, а убийство, начатое КГБ еще два года назад. Это борьба за общее право, а не только за судьбу Лизы и Алеши, за которую мы ответственны. Это борьба за мою честь и достоинство.

3 декабря Феликс пришел вновь. Он очень взволновался, так как 10 минут звонил у двери, а мы не подходили. Мы были на балконе. Он обошел дом, за углом увидел милиционера, другой сидел у двери. Феликс влез через балкон, и в два часа мы вместе прошли в дом.

1 декабря М. М. не появился. 2 декабря пришел вечером Марк. Он сказал, что к нему прозвонилась Настя. У Лизы все в порядке (от Лизы мы не получали телеграмм после 28 ноября). Настя спрашивала, был ли М. М.

Сегодня 3 декабря — двенадцатый день голодовки. Мы чувствуем некоторую слабость, но общее состояние приличное. Люся сказала, и это правильно, что мы легче переносим голодовку, так как мы ВМЕСТЕ. Люся очень мучается мыслями о детях и маме, каково им сейчас и будет, быть может, после. Но мы опять обменялись ощущением правильности принятого нами решения — единственной возможной альтернативы полной капитуляции.

К замечаниям о статье Михайлова. Цитата: «Родина не национальное и не географическое понятие. Родина — это свобода!» Как хорошо.

На этом кончаются мои записи в дневнике о голодовке. О событиях 4.XII и о последующих я записал в марте 1982 года по свежей еще памяти.

4 декабря. День начался с обычных наших процедур. Мы помнили, что это годовщина свадьбы ребят. Вечером собирался прийти Марк. Хотели чокнуться боржоми (а он — водкой). В первом часу гуляли на балконе. Подошел дежурный милиционер, сказал: «К вам пришли из ГАИ, насчет вашей машины». — «Пусть пройдут сюда, мы гуляем». Подошел тот же милиционер, что два дня назад, опять стал говорить, что без нас не могут опознать и т. д. Из его слов следовало, кажется, что машина стоит в Приокском отделении, в боксе, но вечно она там стоять не может. Мы кое-как от него отделались. Вдруг, обернувшись, мы увидели, что в комнате сзади нас стоит какой-то человек (ГБ, мы его где-то уже видели). Люся, с криком вбегая с балкона в дом: «Как вы сюда попали?» Он: «Дверь была открыта». Мы прошли в квартиру, увидели, что в комнате и коридорчике стоят 8 человек, часть явно из ГБ, а может, и все. Люся сказала, пока мы шли по коридору: «Это они нас убивать пришли». Дверная цепочка опять, как два дня назад, сорвана, ключ лежит на табуретке. Один из людей сказал: «Я из Горздравотдела. Вам необходимо госпитализироваться. Мы получаем много писем от граждан, от ваших детей» (все вранье, как и открытая дверь).

Люся спросила: «Поместите нас вместе?» Он ответил, хотя и неуверенно, что да. Мы оделись, чувствуя, что физическое сопротивление бесполезно, да и сил у нас уже не было. Гебисты вышли. Сели на дорогу. Поцеловались. Я немного заплакал. Люся горько сказала: «И это в Танькину годовщину...» Когда вышли на улицу, увидели две санитарные машины. Нас стали растаскивать в разные стороны и затолкали в разные санитарные машины. Я почти не сопротивлялся физически, я начал кричать прохожим и на какое-то время ослабил физическое сопротивление. Люсе, оттаскивая ее от меня, сильно сжали руку. Она успела крикнуть мне: «Дыши глубже». Это относилось к принудительному кормлению. При мне была сумка с документами, в ней были также зубная паста, Люсина щетка, а у Люси — мои рубашки, трусы и носки. Мы не собирали этого

отдельно. У поворота на улицу Бекетова я увидел, что какой-то санитарный микроавтобус повернул влево, а мы поехали вправо. Я закричал: «Это повезли мою жену?» «Нет, что вы, это совсем другая машина». Меня привезли в Горьковскую областную больницу, а Люсю в больницу 10 Канавинского района (очень захудалую). Но я все же думал до встречи с Люсей, что мы лежим где-то в разных отделениях одной больницы. Меня поместили в двухместной палате. Рядом со мной лежал человек, назвавшийся секретарем райкома одного из районов Горьковской области. Выход в коридор был через проходную, где лежал еще один человек. Эти люди были знакомы между собой. Через несколько минут появился лечащий врач Рулев, я дал ему померить пульс и давление, от всех дальнейших обследований и процедур я решил отказаться и требовать соединения с Люсей. Я очень волновался за нее и понимал, что она волнуется за меня. Конечно, мы были полностью уверены, что другой не прекратит голодовку, но отдельно друг от друга нам было гораздо тяжелей морально и физически, на это, по-видимому, и был расчет КГБ. До последнего дня голодовки они надеялись нас сломить! Другой целью госпитализации было как-то «успокоить» (обмануть) мир, наших друзей тем, что мы в больнице.

4 декабря, в день насильственной госпитализации, в «Известиях» появилась статья «Очередная провокация». В самом отвратительном тоне сообщалось о нашей голодовке — это и была провокация. Дело Лизы излагалось в духе фельетонов «Недели», позиция родителей изображалась такой же, как до заочного брака, и утверждалось, что заочный брак в СССР не признается. В примечании сообщалось, что в настоящее время Сахаровы помещены в больницу и им оказывается медицинская помощь. Статья, по-видимому, была напечатана и поступила в продажу еще до того, как к нам вломились гебисты; на мировое общественное мнение она, по-видимому, не оказала того воздействия, на которое рассчитывали ее инициаторы.

Люся прочитала статью еще в первый день, в ординаторской, ее специально вызвали туда для этого; на предложение вернуть она разорвала газету и с криком «Идите вы с вашими «Известиями»...» бросила ее в одного из врачей. Мне передал статью главный врач лишь в понедельник. На обоих она произвела тяжелое впечатление. Люся потом сказала, что особенно больно ей было думать, что статью увидят Руфь Григорьевна, Алеша и Таня. Люся большим криком и напором сумела добиться права выходить из палаты в коридор, я не сумел (также Люся выходила делать ванны). Она демонстративно разбила повешенную на кровать табличку с надписью «Постельный режим». Вечером 4-го, когда все больные были уже в палатах, Люся вышла в коридор и заплакала. В этот и следующие дни Люся написала множество коротких записок на клочках бумаги с информацией о нашем положении, с просьбой передать записку Хайновским. Эти записки она бросала в окно во двор, где ходило много посетителей, и совала в руки в коридоре больным и посетителям; ни одна из записок не была доставлена.

Я в первый день сделал попытку выйти из палаты, дошел до конца коридора, надеясь как-то узнать, где Люся, обратился с этим вопросом к неизвестному мне врачу, он сказал, что ничего не знает, но если узнает, то сообщит. Я подошел к своей палате, около которой человек 10 больных смотрели телевизор, и хотел обратиться к ним с той же просьбой; в этот момент на меня набросился лечащий врач, какая-то сестра и мои соседи по палате (особенно усердствовавшие) и затолкали в палату со словами, что у меня постельный режим. Я что-то крикнул больным, смотревшим телевизор, они отвернулись. Часть первой ночи в больнице я, примостившись у ночника, читал книгу Набокова «Другие берега», начатую еще в квартире. Утром я подал заявление главному врачу. Я писал, что нас с женой насильно госпитализировали и разлучили, что я требую соединения с ней, до этого отказываюсь от всех обследований и процедур, и что прекращение голодовки возможно лишь при предоставлении выезда Лизе.

В это утро я обнаружил в тумбочке вещи, которые были у Люси (носки, рубашки, мыло, еще что-то). Я решил, что Люся где-то рядом — ошибочно, но это чувство очень меня поддержало и толкнуло на правильное действие. Я попросил сестру передать Люсе зубную пасту и щетку, а также книгу Набокова. На полях (на стр. 114 и 115) я написал для Люси записку: «Люся, я отказываюсь от общения с врачами, процедур, обследований, пока ты не со мной. Целую, целую, всегда со мной. Бесконечно благодарен. А.» Сестра обещала передать и, как ни странно, передала. Правда, Люся не сразу нашла мою записку, только в понедельник 7-го. Сестру эту я больше не видел.

Мне каждую трапезу приносили в палату, я выносил ее в проходную и требовал больше не приносить еды, но сестры каждый раз были новые и все повторялось заново. Мои соседи по моей просьбе ели в проходной комнате, я закрывал в это время к ним дверь. Но в общем мог бы обойтись и без этого. Я старался не лежать все время на койке, а ходить по палате. Два-три раза в день приходил консультант, профессор Вагралик, известный в Горьком врач, раньше мы слышали о нем хорошие отзывы, потом слышали и другие... Вместе с ним — его помощница, тоже профессор, Мария Тимофеевна, фамилии не знаю, лечащий врач Рулев, и несколько раз — врач-невропатолог, на самом деле, я думаю, психиатр. Отдельно Рулев ходил еще чаще. Вагралик и психиатр вели со мной настойчивые беседы, каждый в своем ключе. Вагралик говорил, что я не молодой человек, что в любую минуту могу впасть в такое состояние, из которого меня уже не вывести, у меня уже есть необратимые изменения — он их ясно видит — и что дальше они очень скоро разовьются; говорил о своем долге врача. Психиатр говорил еще более устрашающе о моем физическом состоянии, одновременно он пытался запугать меня, внушив мне, что я уже не полностью владею мыслью, что мои мысли путаются и я совсем «дошел». Я, по его словам, должен дать врачам возможность выполнить «клятву Гиппократа» — помочь мне. На все эти разговоры и на попытки Рулева померить мне давление я отвечал стандартной фразой: «Отказываюсь от обследований, пока моя жена не будет соединена со мной». Или: «Встаньте мысленно на мое место. Я ничего не знаю о своей жене, что с ней». Потом выяснилась чудовищная вещь: те же врачи — Вагралик и Мария Тимофеевна ходили также и к Люсе, и при этом и у нее, и у меня изображали полную неосведомленность, что с тем, о ком мы спрашиваем и волнуемся. Вот она — «управляемая медицина»!

8-го декабря утром Рулев сказал мне: «У вас на размышление несколько часов. Вы должны прекратить голодовку». До этого так же ультимативно, правда, без упоминания определенного срока, то же самое мне заявили Вагралик и Мария Тимофеевна. В этих словах была угроза, но когда я прямо спросил: «Вы угрожаете мне искуственным кормлением?» — они сразу пошли на попятную: «Что вы, вовсе нет».

Через несколько часов после этого ультиматума в палату вошел человек, я с первых секунд понял, что это гебист, а потом, когда он назвал себя, вспомнил его, я имел с ним дело в 1980 году после проникновения гебистов в квартиру: «Я из Комитета Государственной безопасности. Вы меня знаете. Моя фамилия Рябинин. Я уполномочен сказать вам, что ваше требование может быть рассмотрено в положительном смысле, но предварительно вы должны прекратить голодовку». Я сказал, что я со всей серьезностью отношусь к обещанию КГБ, но что решение о начале голодовки мы с женой приняли совместно и лишь вместе мы можем решить ее прекратить. «Я доложу о вашем ответе, мы еще увидимся».

В этот же день утром Люсе принесли в палату приспособления для принудительного кормления и демонстративно поставили на столик в углу комнаты, угрожая ей таким образом (но ничего не говоря при этом). Люся заявила, что кормить ее можно будет только насильно, она будет сопротивляться изо всех сил, даже если умрет при этом. Через несколько часов после этой последней попытки сломить ее к ней тоже пришел Рябинин, и произошел разговор, вполне аналогичный тому, что был со мной. Люся потребовала встречи со мной. Примерно в семь часов вечера Люсю на машине привезли в Областную больницу, где я находился. Мне сказали, что я должен пройти в кабинет главного врача, там меня ждут жена и Рябинин. В сопровождении врачей и сестер я пошел туда, в конце коридора стояла каталка, и в комнату, где была Люся, меня привезли на каталке (чем очень напугали ее). Мы обнялись впервые после 4-х дней очень тяжелой моральной разлуки. В качестве гарантии обещанию КГБ мы потре-

бовали от Рябинина, чтобы он при нас связался с Президентом АН Александровым, и дали согласие прекратить голодовку. Я вернулся в свою палату, а Люсю на той же машине (видимо, из КГБ), на которой ее привезли, отвезли обратно в 10-ю больницу. В этой же машине ехал Рябинин. Люся спросила его: „Почему вы пишете такую ложь в «Известиях» в статье о Сахарове «Цезарь не состоялся»"? Рябинин ответил: «Но, Елена Георгиевна, это ведь не для нас с вами пишется». Люся: «А, значит, это пишется для быдла», и, обращаясь к доктору, который тоже ехал с ними, и к водителю — «слушайте, вся эта ложь для вас пишется». Рябинин пытался как-то замять остроту разговора. Его ответ действительно очень интересен. Он показывает нечто глубинное в психологии КГБ, этого государства в государстве («ордена» или «внутренней партии», как у Орвелла). КГБ может и обязан иметь истинную и полную информацию, а все население, «простые люди» («пролы» у Орвелла), должно кормиться профильтрованным и подслащенным информационным пойлом. Нас Рябинин как бы ставил на один уровень с собой, хотя и по разные стороны баррикад.

На другой день утром (в среду 9-го) Люся подала новое решительное заявление и сумела настоять, чтобы нас сразу объединили — первоначально мы согласились ждать этого до субботы, как нам обещали. В середине дня мы уже были вместе! Моих соседей сразу куда-то перевели.

Итак, мы голодали 13 дней в квартире и 4 (точней 4 с половиной) в больнице. Все это время нарастала кампания в нашу поддержку. Очень активно действовали Таня и Рема в Европе, Алеша — в США и Канаде. В целом Запад понял наши мотивы и правоту. Многие эмигранты и диссиденты оказались менее к этому способны (культ идеи, борьбы, политики, моей личности, еще какой-то чепухи). Письма Петра Григорьевича и Револьта, позиция Лидии Корнеевны очень показательны, при всем их отличии. В остром и опасном положении, в котором мы находились во время голодовки, чрезвычайно важны были усилия всех наших друзей и близких, всех, кто принял участие в нашей судьбе. Никто не может сказать, где та капля, которая переполнила чашу, что именно оказалось решающим. Я не могу перечислить тут всех, ограничусь некоторыми примерами. В СССР с обращениями в мою защиту выступили: группа ученых-отказников, Владимов, Шиханович, Ходорович.

Особенно я хочу отметить роль приезда французских ученых Мишеля и Пекера. Они приехали в СССР в самые решающие дни, добились встречи с Президентом Академии Александровым и ученым секретарем Скрябиным и потом рассказали об этих встречах на нескольких пресс-конференциях. Особенно важно, что первая из этих пресс-конференций состоялась в Москве и поэтому получила особенно широкий отклик.

В один из первых дней голодовки Лиза позвонила Наташе в Ленинград и попросила ее приехать. В этом разговоре Лиза сказала: «Приезжайте, пожалуйста, мне очень плохо» — такие слова Лизе совсем не свойственны. Наташа немедленно приехала, ее поддержка и советы очень много значили для Лизы. В это неописуемо трудное для нас морально время Наташа приняла на себя часть натиска некоторых советчиков из числа друзей и диссидентов с их жестоким и неумным стремлением добиться от Лизы каких-либо действий с целью прекращения голодовки. Кто-то в эти дни (да и потом) говорил, что не понимает, как могла Лиза сама не объявить голодовки. Но если бы она так поступила, то погубила бы нас всех: ее стойкость, понимание и активные действия во время голодовки и сразу после ее окончания, до того момента, когда в руках у Лизы оказалась виза, были абсолютно необходимы.

В общем Лиза — молодец. Некоторые спрашивали, как может Руфь Григорьевна сидеть в США и не приехать немедленно туда, где голодает ее дочь. Опять же ее приезд тогда был бы катастрофичным по своим последствиям. Как я уже писал, Лиза, Руфь Григорьевна, Алеша, Таня, Рема действительно сумели выстоять морально в труднейшем и мучительном положении, энергично и умно действовать.

12 декабря Лиза и Наташа приехали в Горький. После некоторых проволочек (во время которых, кстати, выяснилось, что мы записаны в больнице под другими фамилиями) их пропустили к нам. Сначала их

хотели очень быстро увести, но мы сумели этому воспротивиться, и они пробыли у нас около 3-х часов. Для меня это был последний раз, когда я видел Лизу перед отъездом. Конечно, она плакала, но я одновременно видел новое для меня выражение ее глаз — впервые счастливое за эти четыре страшных года. Ради одного этого стоило пройти через все то, что мы пережили. Я написал в тот день Обращение с благодарностью всем тем, кто поддержал нас, и с напутствием Лизе. Вот оно:

«Мы бесконечно благодарны всем, кто поддержал нас в эти трудные дни — государственным, религиозным и общественным деятелям, ученым, журналистам, нашим близким друзьям — знакомым и незнакомым. Их оказалось так много, что невозможно перечислить. Это была борьба не только за жизнь и любовь наших детей, за мою честь и достоинство, но за право каждого человека быть свободным и счастливым, за право жить согласно своим идеалам и убеждениям и в конечном счете борьба за всех узников совести.

Сейчас мы рады, что не омрачили Рождество и Новый год своим близким и всем нашим друзьям во всем мире.

Желая счастливого пути Лизе, я надеюсь на воссоединение всех разлученных и вспоминаю прекрасные слова Михайлы Михайлова, что родина — не географическое понятие, родина — это свобода».

Слова Михайлы Михайлова — из той его статьи, которую мы с Люсей читали и обсуждали во время голодовки.

14 декабря Люся поехала за некоторыми моими и своими необходимыми нам вещами на квартиру. Квартира была запечатана, милиция открыла ее по акту. На обратном пути она заехала к Хайновским (до этого галантно завезя на такси сопровождавшего ее милиционера в Приокское управление). Хайновские были счастливы — тем, что все благополучно кончилось, и тем, что они видят Люсю. Оказывается, Юра пытался попасть к нам в квартиру и потом в больницу, но его не пустили. Однако после попытки попасть в квартиру с ним беседовал какой-то гебист и сказал: «Вы их еще у себя увидите». Мы этого «обещания» не знали, оно до нас не дошло.

Юра, весь сияя от радости, проводил Люсю до машины. Вышло так, что она видела его в последний раз. Через шесть дней Юра Хайновский умер. Так большое горе часто идет рядом с жизнью и счастьем. Некоторое слабое утешение в том, что она все-таки повидала его, а он — ее.

15 декабря Люся под расписку (ее и мою) уехала в Москву на проводы Лизы. Люся была еще очень слаба после голодовки и несомненно рисковала (что потом подтвердилось), но она не могла не проводить Лизу.

Без Люси ко мне опять переселили прежних соседей, они вели со мной длинные разговоры о моей позиции, о Польше — 13 декабря там было введено военное положение — все это в архисоветском духе, хотя и уважительно ко мне. В это время в советской прессе и по радио ежедневно появлялись фальшивки, что «Солидарность» готовила контрреволюционный вооруженный переворот, убийство тысяч партийных и государственных деятелей по заранее подготовленным спискам и т. п. Мои соседи жадно ловили все такие сообщения и пытались «прижать» меня этими «неопровержимыми фактами». Я спорил с ними.

Мои соседи написали в «Книгу благодарности и предложений» несколько слов благодарности врачам и медсестрам больницы, поставив там свои подписи и выделив место для моей подписи. Я, по некоторой слабости (и эйфории после победы), не сумел отказаться и подписал составленный ими текст. Мне было стыдно своей глупости, я лишь через 2 года рассказал Люсе про нее. Потом, уже в 1985 году, главврач Обухов пытался использовать фотокопию этого листка с моей подписью для психологического давления на меня.

У Люси в Москве перед отъездом Лизы было несколько очень напряженных дней, она все время была на ногах. 19 декабря Лиза улетела в Париж, где ее ждали Таня и Рема, а оттуда — в США, где она наконец встретилась с Алешей.

С аэродрома Лиза прислала мне в Горький телеграмму, в ней были слова — «уезжаю счастливая и зареванная».

Сразу после проводов Лизы Люся была вынуждена лечь в постель, сказалось сверхнапряжение последних дней в Москве и голодовки. Хуже всего было то, что у нее произошло опасное обострение с почками. Впрочем, лежала она только два-три дня и, все еще не совсем здоровая, приехала в Горький 25 декабря.

Мы заранее условились с врачами и Люсей, что я буду находиться в больнице до ее приезда. Вышло, однако, несколько иначе. 22 декабря у меня произошел длительный сердечный приступ. 23 декабря мне сняли кардиограмму. А 24 декабря меня неожиданно выписали из больницы — якобы срочно потребовалось освободить палату; вместе со мной были выписаны оба соседа, они были явно удивлены. Как мне заявили, выписка была согласована с профессором Ваграликом, он не возражал (накануне при осмотре он спросил меня, сколько у меня было раньше микроинфарктов, я ответил, что два; он пробормотал «я так и думал» и, ничего не сказав кроме этого, ушел).

Моя выписка была, конечно, еще одним действием «управляемой медицины» (не последним в нашей жизни). Вероятно, КГБ не хотел нести за меня реальной ответственности, а тут могли быть неприятности, пусть они лучше всего наступят, когда никто за меня не отвечает. Так оно и вышло. 26 декабря у меня произошел еще один, еще более тяжелый приступ, от которого я долго (более месяца) не мог оправиться.

Документы истории болезни моей и Люси мне на руки не были выданы, хотя это — обычная практика, и ранее лечащий врач Рулев обещал это сделать. Для нас эти документы, включавшие результаты подробных обследований, были бы очень полезны. В ответ на нашу просьбу выслать документы по почте нам ответили, что их переслали, якобы, в районную поликлинику, с которой я и тем более Люся не имеем никакого дела.

В середине января 1982 года, все еще серьезно страдая болями в сердце, я обратился к Президенту Академии А. П. Александрову с просьбой поместить меня для лечения в один из санаториев Академии Наук. Никакого письменного ответа я не получил. Люсе, через секретаршу, был передан устный отказ. Секретарша сказала: «Анатолий Петрович просил передать, что это абсолютно исключено». В 1983 году подобные события повторились в более трагической ситуации, когда у Люси произошел инфаркт. Я рассказываю об этом в следующей, заключительной главе.

В Париже и в США Лиза попала в центр внимания прессы и телевидения. Она дала ряд очень толковых интервью, в которых говорила не только о наших делах, но и об общих правозащитных — тут всегда много есть о чем рассказать, одни беды приходят вслед за другими. Некоторые наши эмигранты удивлялись Лизиной осведомленности — но ведь Лиза находилась в самом «эпицентре» правозащитных дел, и ее роль не была пассивной — очень многое прошло через ее печатающие пальцы.

В январе 1982 года штат Монтана (где за полгода до этого состоялось заочное бракосочетание) пригласил Лизу и Алешу прибыть в качестве гостей штата на «Сахаровские дни» — а ведь еще недавно там не знали моей фамилии. Это была очень теплая, дружественная встреча — и очень торжественная одновременно. Лизе и Алеше был сделан традиционный индейский подарок — одеяло (Монтана — штат, где много индейцев), танцевали индейские танцы. Президент Рейган и его жена прислали Лизе свои поздравления. Таков «хэппи энд». И так кончается для внешнего мира эта история. Конечно, для Лизы и Алеши она продолжается, и многое в ней будет для них, как и для всех на свете, не просто. Но это уже другая ее глава, не для этой книги.

Добавление от 21 февраля 1983 года. Сегодня пришла телеграмма из США: «Родилась девочка Александра вес 3370 очень хорошая Лиза чувствует себя хорошо мы их видели целуем — мама дети». В свое время, когда Люся ждала рождения второго ребенка, она хотела назвать его, если родится девочка, именем Александра — в честь своей тети Шуры Константиновой, ушедшей в партизаны в первые дни Отечественной войны и погибшей. Тогда родился мальчик Алеша. Но сейчас, в следующем поколении, все же осуществилось то Люсино желание. Само сообщение о рождении этой девочки за тысячи километров от нас за океаном Лизой, за отъезд которой мы так недавно голодали, воспринимается как чудо, кажется чем-то призрачным, нереальным.

Я так подробно написал о деле Лизы, потому что оно еще очень живо в памяти и в нем многое отразилось. Возможно, время, когда мы с Люсей проводили нашу голодовку и были готовы к любому исходу — наш «звездный час» — по силе чувства уверенности в единственной правоте того, что мы делаем, по внутренней близости.

Заключительная глава

В феврале 1983 года я наконец закончил восстановление украденного в октябре 1982 года текста (точней, написал заново то, что теперь надо скомпоновать с сохранившимися у Ремы отрывками) и поставил дату окончания книги — 15 февраля. Это день шестидесятилетия моей жены.

Люся дала мне счастье, сделала жизнь более осмысленной. Ее же жизнь оказалась при этом такой трудной, трагической, но тоже, я надеюсь, получившей новый смысл.

Люся еще в первые годы нашей совместной жизни рассказала мне историю из жизни Юрия Карловича Олеши (известного писателя) и его жены Ольги Густавовны, сестры Лидии Густавовны Багрицкой. Они както сидели за столиком ресторана, и Ю. К. сказал подошедшей красивой официантке:

— Ты моя королева!..

Ольга Густавовна, когда официантка отошла, спросила:

— Если эта девка твоя королева, то кто же я?

Юрий Карлович посмотрел на нее несколько удивленно, растерянно.

— Ты? — и уже совсем серьезно ответил: — Ты — это я.

Мне очень нравится этот рассказ, и кажется, что я тоже имею право сказать Люсе:

— Ты — это я.

В счастье, в общих заботах, в трудностях и беде (и «королева» тоже!).

Люся является одним из главных действующих лиц моих воспоминаний; благодаря ей они могли быть написаны и опубликованы. Ей эта книга с любовью посвящается...

Я должен теперь рассказать о событиях последнего времени, произошедших после 15 февраля 1983 года: о болезни Люси, о новой волне клеветы против нее и меня, о нашем положении.

25 апреля у Люси произошел инфаркт. Это был уже, по-видимому, второй инфаркт; первый не был диагностирован на кардиограмме в поликлинике АН. Именно сразу после него был обыск в поезде, а потом ей пришлось идти с тяжелыми сумками по станционным путям и лестнице, она тогда потеряла сознание. Может, убить ее — и была главная цель обыска?

Инфаркт 25 апреля был обширным, тяжелым, а в последующие недели дважды произошли новые ухудшения, сопровождающиеся расширением пораженной зоны. Общей, главной причиной инфаркта была, несомненно, та непомерная психическая и физическая нагрузка, которая легла на Люсю в ее жизни со мной, особенно после депортации; самое трагическое — разлука с матерью, детьми и внуками. Инфаркт со всеми его клиническими признаками случился в Горьком. Люся сама приняла первые необходимые меры — то, что возможно в наших домашних условиях. 10 мая она уехала в Москву, а 14 мая инфаркт был подтвержден на кардиограмме в поликлинике Академии наук. Ей сразу предложили лечь в больницу Академии, но она отказалась это сделать без меня, потребовав нашей совместной госпитализации в одну палату больницы или санатория Академии. Так началась ее борьба, в которой ставкой опять, уже не первый раз, было ее здоровье. К несчастью, я недостаточно поддержал ее в этой борьбе.

Люся, конечно, боролась также за изменение моего статуса. Мало кто понял трагичность ее борьбы, очень немногие осознали тяжесть ее болезни. Так, зарубежная «Русская мысль» писала о «микроинфаркте Елены Боннэр». Какой там «микро»! — но по-видимому, редакторам «Русской мысли» трудно было поверить, что человек с большим инфарктом ведет себя так, как Люся.

В промежутке между 10 и 14 мая проходил суд над Алексеем Смирновым. Люся была занята этим. Алексей Смирнов — внук известного журналиста Костерина, проведшего много лет в заключении, реабилитированного и восстановленного в партии в 50-х годах, умершего в 60-х годах. Это на его похоронах П. Г. Григоренко произнес свою речь, вошедшую в нравственную и общественную историю страны. Тетя Смирнова — автор не менее известного «Дневника Нины Костериной». В деле Смирнова проявились некоторые черты, о которых необходимо рассказать. У Смирнова был обыск, после которого его привели к следователю. Следователь сказал:

— Вот ордер на ваш арест. У вас две возможности. Если вы напишете, что вам известно о «Хронике», кто ее издает и распространяет, я разорву этот ордер. Если же нет — вы будете арестованы.

Как заявил Смирнов на суде:

— Я выбрал второе.

Смирнов был осужден на 6 лет заключения и ссылки *. Основное обвинение — по показаниям лжесвидетеля. Якобы этот человек жил какое-то время у Шихановича и видел, как пришел Смирнов (в присутствии Людмилы Алексеевой) с большой пачкой номеров «Хроники» и раздал их присутствующим. На самом деле все это ложь. В частности, свидетель никогда не жил у Шихановича, Алексеева вообще никогда не бывала у Шихановича. Смирнову было отказано в очной ставке с этим человеком, на суде он тоже не присутствовал — были использованы письменные показания. Вообще Смирнов его никогда не видел.

Дело Алексея Смирнова, повторные жестокие и беззаконные приговоры многим узникам совести, жестокие приговоры новым узникам пришлись на самое последнее время. Хотелось бы думать, что это не отражает каких-либо стойких новых тенденций и мы еще дождемся лучших времен. Но когда?

Добавление. 17 ноября арестован Юра Шиханович. Люся сообщила мне об этом в телеграмме. Ему предъявлено обвинение по 70-й статье — угрожает до 7 лет заключения и 5 лет ссылки. Это самый жестокий удар, нанесенный репрессивными органами по близким нам людям за последние годы.

Как только у Люси диагностировали инфаркт, у дверей квартиры и на улице установили посты милиции — всего около 6 человек, не считая милицейской машины с радиопередатчиками (эти посты с тех пор стали постоянными). Одна из целей постов — не пускать к Люсе иностранных корреспондентов и тех иностранцев, которые захотели бы ее посетить. Всех советских посетителей записывают: это многих отпугивает. В частности, никакие врачи, кроме академических, ее не смотрели. Фактически она была предоставлена самой себе. Опасность усугублялась — и усугубляется — отсутствием в квартире телефона, отключенного с 1980 года. Также отключен телефон-автомат на улице возле дома. Не может Люся позвонить и от соседки — это уже раз привело к отключению и ее телефона. Так что при внезапном приступе Люсе будет очень трудно вызвать «скорую». Невольно закрадывается мысль, что это тоже одна из целей постов. Устанавливая пост, КГБ опасался, быть может, что я предприму попытку тайно приехать в Москву к опасно больной Люсе — но тут они меня, к сожалению, переоценили. Я занял слишком пассивную позицию и старался внешне жить так, как если бы ничего не произошло, глубоко волнуясь, конечно, за Люсино здоровье. К вопросу же своей госпитализации вместе с Люсей в Москве я относился фаталистически, пассивно. Я считал, что мою госпитализацию разрешат только в том случае, если властям это покажется политически целесообразно — мы давали им возможность отступить в деле Сахарова «без потери лица». Если же, напротив, власти не

* А. Смирнова приговорили к 6 годам лишения свободы и 4 годам ссылки. **(Прим. ред.)**

хотят изменения моего статуса, то они, как я считал, всегда найдут способ не допустить госпитализации. Я видел поэтому мало аналогий с борьбой за выезд Лизы, в частности совершенно исключал такие меры, как голодовка — внешне это была бы голодовка за собственную госпитализацию, что несколько нелепо. Не мог и не хотел я также «изображать» себя более больным, чем на самом деле, или более беспомощным в житейском плане. Но, к сожалению, отличие от нашей борьбы за дело Лизы заключалось также в отсутствии внутреннего контакта и взаимопонимания с Люсей. Мне это нестерпимо больно сейчас, вне зависимости от того, как мои действия и бездействие сказались на негативном исходе дела. Я по-прежнему думаю, что сказались мало.

Добавление в октябре 1983 г. Сейчас я думаю, что борьба за совместную госпитализацию была ошибочным (тактически) действием. Основной для нас внутренне аргумент — что Люся при госпитализации без меня в Москве или при совместной госпитализации в Горьком оказывается в опасном положении — не был выставлен явно, он был бы воспринят слишком многими как мнительность, «КГБ-мания». К тому же совместная госпитализация в Москве в больнице Академии не снимала бы полностью опасений вмешательства КГБ. На самом деле, получив известие о Люсином инфаркте, я должен был бы тогда же принять решение добиваться ее поездки для лечения за рубеж и объявить бессрочную голодовку в поддержку именно этого требования. Если КГБ не хочет моей гибели, такое действие имело бы шанс на успех; во всяком случае, больший, чем малопонятная и двусмысленная для многих увязка болезни Люси с моей госпитализацией в Москве. Как видно из дальнейшего, КГБ прекрасно использовал эту двусмысленность, вместе с допущенными мною ошибками. Люся без меня, сама, не могла принять решения о переориентации на борьбу за поездку. У нее и в мыслях не было ничего подобного. Как всегда, она думала обо мне, хотела быть со мной. Принять решение о борьбе за немедленную Люсину поездку должен был я. Но я тогда «не созрел» для этого решения. К тому же на расстоянии, при плохой связи и из чувства внутренней психологической самозащиты я тоже недооценивал тяжесть Люсиного положения. Я надеялся, что на этот раз «пронесло» (а о новых приступах узнал с большим опозданием). Я предполагал начать борьбу за Люсину поездку через некоторое время, когда ее состояние стабилизируется, чтобы, как я думал, полнее использовать западную медицину. Пока же я, как я уже сказал, в основном пассивно ждал, что получится с нашей госпитализацией.

20 мая Люся провела пресс-конференцию, на которой объявила о наших требованиях совместной госпитализации. Инкоров не пустили в квартиру, они собрались на улице у подъезда дома. Люсю же милиция и некто в штатском (конечно, гебист) пытались не пустить на улицу, но она вышла, почти силой, с нитроглицерином в одной руке и заявлением и моим письмом президенту Академии — в другой, села на подоконник витрины магазина и сделала свое заявление. Это было через 25 дней после начала инфаркта.

Через неделю Люся и я послали новые телеграммы Александрову, и в конце мая Александров сообщил нам телеграммами, что он дал приказ послать ко мне консультантов-медиков для решения вопроса о моей госпитализации (последнее уточнение содержалось только в телеграмме Люсе). 2 июня медики приехали. Они осмотрели меня, сделали кардиограмму. В ответ на мой настойчивый вопрос возглавлявший группу проф. Пылаев подтвердил, что они дают заключение о целесообразности госпитализации. Справка: я страдаю хроническим заболеванием предстательной железы, страдаю экстрасистолией и стенокардией и (умеренной) гипертонией; перенес, по-видимому, два микроинфаркта в 1970 и 1975 годах, имел в Горьком три сердечных приступа (один из них, как я писал, начался в больнице после голодовки; меня тогда поспешно выписали); имел приступ тромбофлебита. Так что основания для госпитализации, несомненно, имеются, но, конечно, мое состояние далеко не столь острое и опасное, как у Люси. Медики уехали в тот же день. Несколько дней я считал, что, пожалуй, власти действительно хотят моей госпитализации, и даже — чуть-чуть играя сам с собой — перевез продукты из холодильника к Хайнов-

ским, чтобы они не пропали в случае внезапной госпитализации. Конечно, это было ошибочное действие...

Интересно, что уже через три дня мои контакты с Хайновскими (а я еще возил Надю Хайновскую, жену Юры, на его могилу на кладбище) фигурировали в Академии как доказательство того, что «я не в одиночестве» — так же как в свое время визит жены Феликса Майи послужил Александрову основанием для утверждения, что я не лишен медицинской помощи.

18 августа пришел ответ из Академии (отправленный якобы 27 июля с неточным адресом, но я думаю, что это обычные уловки ГБ). Письмо составлено в умышленно неопределенных выражениях, даже не упомянуто, что у Люси — инфаркт, что мы требовали совместной госпитализации именно в Москве и категорически отказывались от госпитализации в Горьком с его «управляемой медициной». Тем не менее в письме косвенно признано, что я нуждаюсь в госпитализации и что по причинам немедицинским меня не госпитализируют в Москве.

Как я уже писал, в июне 1983 г. в журнале «Форин афферс» было опубликовано мое открытое письмо доктору Сиднею Дреллу «Опасность термоядерной войны». 3 июля в газете «Известия» появилась статья за подписью четырех академиков: А. А. Дородницына, А. М. Прохорова, Г. К. Скрябина и А. Н. Тихонова — запомните эти имена — озаглавленная «Когда теряют честь и совесть». Я предполагаю, что эта статья фактически написана кем-то из специалистов-международников АПН или КГБ, профессиональным журналистом и мастером пропагандистского манипулирования умами (типа Ю. Корнилова или Жукова — это пришедшие мне на ум возможные примеры). Академики же лишь подписали, что, конечно, не делает им чести. Читали ли они мою статью в «Форин афферс» — малосущественно; думаю, что не читали.

Добавление в октябре 1983 г. Стало известно, что в ЦК был вызван для подписания статьи в «Известиях» также некий пятый академик, фамилии его мне не сообщили. Он сказал, что хочет ознакомиться со статьей в «Форин афферс» и написать для «Известий» сам. Разговаривавший с ним человек — я думаю, из КГБ, сказал, что это их не устраивает: статья в «Известиях» нужна очень срочно. Так этот академик избавился от позора. (Добавление 1988 г. Это был В. И. Гольданский, по его собственному рассказу.) Передают также, что подписавшие четыре академика не только не видели моей статьи, но не видели якобы и того, что подписывали. Передают, что Прохоров очень переживает случившееся. Было бы хорошо, если бы он публично снял свою подпись.

Статья в «Известиях» — пример крайней журналистской недобросовестности. По существу это провокация, цель которой вызвать против меня гнев людей как против врага мира и собственной страны, предателя, презирающего и ненавидящего народ. Характерно, что в «Известиях» не упомянуто название моей статьи «Опасность термоядерной войны», — ведь это могло бы вызвать у людей сомнения, так ли я хочу термоядерной войны, гонки вооружений, такой ли я противник переговоров, как это изображается в «Известиях». Слишком многие, видя подписи четырех академиков, не склонны подозревать их в умышленном обмане или в том, что они подписали написанное не ими, — но, увы, это действительно так.

Я получил за два месяца более 2300 писем и несколько десятков телеграмм с самым резким осуждением моей «человеконенавистнической» позиции; сегодня, 1 сентября, письма все еще продолжают поступать. При этом следует иметь в виду, что около половины писем — коллективные, так что общее число подписавших письма — несколько десятков тысяч человек.

(Добавление 24 октября 1983 г. Общее число писем составило 2418.)

Вероятно, еще больше писем и телеграмм поступило в редакции газет и в адреса правительственных учреждений. При этом авторы писем составляют лишь малую долю общего числа обманутых (увы, не противившихся этому обману, слишком охотно на него пошедших).

Как это ни печально, следует признать, что на этот раз провокация оказалась более успешной, чем в предыдущие годы. При этом удар пришелся — как и ранее! — не только по мне, но и в особенности по Люсе, удар

подлый и жестокий! Хотя Люся и не была явно названа в статье, подписанной четырьмя академиками (это было бы снижением их «высокого» уровня), но уже задолго до этого советская пропагандистская машина многими путями внедряла в податливые к этому умы представление о ней как о главной виновнице моего «падения». Наряду с инсинуациями бульварного толка особую роль при этом играет подчеркивание Люсиной национальности — еврейской; конечно, армянская менее доходчива. Так что все было готово к тому, чтобы и мою статью в «Форин афферс» приписать тому же тлетворному и коварному влиянию. (Мало кто задумывается, что все-таки я специалист по термоядерному оружию, а Люся — по микропедиатрии).

В начале 1983 года вышло третье (дополненное и переработанное) издание книги Н. Н. Яковлева «ЦРУ против СССР». В этом издании добавлен большой раздел, посвященный Люсе и мне. Очевидно, понадобилось (кому? — вернее всего, КГБ).

Как указывается в справках на обложках его книг, Яковлев — доктор исторических наук. По существу же он один из самых беззастенчивых авторов, пишущих на так называемые идеологические темы (в том числе о диссидентах). Недавно, уже после описываемых ниже событий, я узнал некоторые подробности о Яковлеве, расскажу их здесь. (Все со слов одного знакомого.)

В ранней молодости он был арестован (вместе с отцом — генералом), дал много показаний на своих товарищей по университету, что привело к многочисленным арестам; судим, некоторое время находился в заключении. Видимо, во время следствия или в лагере стал сотрудничать с КГБ. Линия карьеры Яковлева сразу после освобождения стремительно пошла вверх, и невидимая рука поддерживала его в крупных, в том числе уголовных, неприятностях, в которые ему случалось несколько раз попадать... Говорят, в частных беседах Яковлев высказывался весьма вольно, оппозиционно... Я ниже пишу о своей встрече с ним. Меня поразило в нем сочетание наглости с какой-то почти телесной униженностью, а также несомненной литературной талантливости и эрудированности с полной беспринципностью, лживостью и цинизмом...

14 июля около 2 часов дня нежиданно в дверь позвонили двое: среднего роста рыхлый на вид мужчина лет 50 — 60 и молодая женщина, не произнесшая в дальнейшем ни слова, непрерывно курившая. Я (я подумал, что они из КГБ, и был недалек от истины): «Кто вы, в чем цель вашего прихода?» Мужчина, доставая из кармана нитроглицерин и закладывая его под язык: «Я профессор Яковлев, историк, это моя сотрудница, мы остановились в гостинице «Нижегородская», долго не могли до вас добраться. Я приехал по поручению редакции «Молодой гвардии» и АПН. Они завалены письмами по поводу вашей статьи в «Форин афферс», не знают, что отвечать, и послали меня к вам, чтобы узнать ваше подлинное мнение. Нет ли у вас листка бумаги? Я должен сказать, что я не специалист в этих вопросах, в отличие от вас. Я историк, вот мои книги, хотите, я их вам надпишу...» Это был автор книги «ЦРУ против СССР», в которой содержалась отвратительная клевета на многих защитников прав человека, и в особенности на Люсю, на меня, на Таню, Алешу, Ефрема...

Я сказал: «Не надо (в ответ на его предложение подписать книги), не те у нас взаимоотношения. В 19-м веке я должен бы был вызвать вас на дуэль» (я это сказал совершенно серьезно, без улыбки и иронии). Я прошел в соседнюю комнату, взял с полки книгу Яковлева «ЦРУ против СССР» и листок бумаги. Меня слегка била дрожь, но через несколько минут это прошло. Во время разговора с Яковлевым у меня не было чувства ярости и даже возмущения, а только все возрастающее отвращение. Почти сразу я понял, что я его ударю.

Вернувшись в комнату, где сидел Яковлев и его спутница, я сказал: «Вы в своей книге допустили много лжи и клеветы в отношении моей жены, моих друзей и меня. Я отказываюсь обсуждать с вами что-либо раньше, чем вы напишете и опубликуете письменное извинение. Копию вашего письма, скажем, в редакцию «Литературной газеты», вы оставите у меня. Вот вам бумага». Яковлев: «Что ж, я готов это обсудить. Я понимал, что возможны неприятности, даже судебные, но меня заверили, что все будет обеспечено (я не вполне понял, что он тут говорил, видимо, он пытался

меня запугать тем, что у него — влиятельная поддержка, «прочный тыл»). Я писал свою книгу с величайшим уважением, даже любовью к вам». Я: «Я не нуждаюсь в ваших чувствах, они оскорбительны для меня. Не будем говорить о ваших чувствах и оценках, будем говорить о фактах, которые вы умышленно искажаете». Я раскрываю книгу и цитирую те места, которые мне запомнились раньше и попали под руку во время беседы. Конечно, если бы я заранее знал о приходе Яковлева, можно было бы составить гораздо более полный (весьма длинный и «эффектный») список его лжи. Я цитирую: «„Пришла мачеха и вышвырнула детей". Мои дети от первого брака до сих пор живут там же, где жили, а я, женившись, переехал к своей жене и ее матери, в переполненную квартиру». Яковлев: «Да, я это знаю»(!). Я: «Зачем же вы пишете нечто противоположное? Зачем вы пишете, что моя жена пошла в армию, спасаясь от ответственности за подстрекательство в убийстве? Она пошла в армию в первые дни войны, задолго до убийства жены Злотника». Яковлев: «Я узнал об этом только после опубликования книги». Я: «А на чем основывались, когда писали об этом деле, откуда всю эту ложь взяли?» Яковлев: «Я говорил с прокурором, который вел дело Злотника, он еще, оказывается, жив». Я: «Прокурор не мог вам не сказать, что жена не имела никакого отношения к убийству. Она даже не была вызвана в суд как свидетельница». Яковлев: «Да, я это знаю». Я: «Вы повторяете ту же клевету об этом деле и о смерти жены Багрицкого, что Семен Злотник». Яковлев: «Я такого не знаю. Где он живет?» Я: «Трудно ответить, это псевдоним кого-то из КГБ. Жена Багрицкого была за ним замужем несколько недель до войны. Всеволод Багрицкий, которого вы изображаете богатым старичком, погиб на фронте в возрасте 20 лет». Яковлев, перебивая: «Да, я это знаю». — «А жена Багрицкого умерла через несколько лет, никогда не имея никаких отношений с моей женой. И зная все это, вы пишете вашу подлую сознательную ложь». (Я часто употреблял в разговоре умышленно-оскорбительные выражения, но Яковлев никак на это не реагировал, преследуя какую-то свою цель.) Я, продолжая: «А зачем вы пишете в духе желтой прессы о взаимоотношениях моей жены, Киссельмана и Семенова? Это личное дело трех людей, они как-то в нем разобрались. Вы не имели права о нем писать». Яковлев: «У нас неправильно употребляют выражение «желтая пресса». Однажды чукча...» Я, перебивая: «Не нужны мне ваши анекдоты». Яковлев: «Все, что я пишу, ради вас. Ведь Янкелевич и Алексей Семенов, эти лоботрясы и бездельники, обобрали вас, присвоили ваши западные гонорары, а вы такой бессребреник, что даже не замечаете этого». Я: «Опять подлая ложь. Я не такой бессребреник...» (И распоряжаюсь своими деньгами, как я считаю нужным и правильным, хотел я докончить эту фразу, но отвлекся в сторону в беспорядочном разговоре. Вообще денежная тема для Яковлева, продающего свою душу и тело за весьма солидные гонорары — только в 1983 году из печати вышли три его книги — явно глубинно очень важная, больная; важна она вообще для всего истеблишмента; я невольно вспомнил тут разговор с Сусловым о деньгах Баренблата, смотри в первой части моих воспоминаний. В основном, у кого есть деньги, тех они уважают.) Я, продолжая: «Назвать моего зятя, моего представителя за рубежом, и Алешу лоботрясами — подло. Еще покойный Рэм Хохлов признавал, что Алеша — один из лучших студентов МГПИ». Яковлев, перебивая: «Не признаю альпинизма, такая бессмысленная смерть. А чем теперь занимается Алексей Семенов?» Я: «Кончает диссертацию». Яковлев, как бы излучая дружелюбие: «Вот и мой сын кончает диссертацию». Я: «Какое право вы имели так писать о Татьяне Великановой?» Яковлев: «Я убежден, что Великанова хорошая, честная женщина. Но, занимаясь таким делом, нельзя хранить все полученные письма — от Литвинова и других. Разве это конспирация? Я видел эти письма, и тут я ничего не мог поделать». Я: «Великанова не занималась ничем противозаконным, зачем тут конспирация? А почему вы пишете, что моя жена меня избивает и учит сквернословию? Вы что, видели на мне следы побоев или слышите от меня ругательства? Правда, в отношении вас мне очень хочется изменить своим правилам». Он: «Я ничего, но мне говорили в прокуратуре...» (опять ложь о прокуратуре). И с деланным испугом: «Тут нет Елены Георгиевны, а то...?» Я: «Вы прекрасно знаете, что ее нет, поэтому и приехали...» Яковлев, опять желая спровоцировать меня на интервью: «Как вы относитесь к планам Рейгана о...» Я, перебивая: «Я не буду с вами разговаривать. Но если пославшие вас хотят знать и опубликовать мое мнение, пусть они обратятся прямо ко мне, я напишу статью, а они ее опубликуют». Яковлев: «Вы ставите предварительные условия на кота в мешке...» Я: «Нет. Но я оставляю за собой право публиковать, если они этого не сделают». Яковлев: «Я передам. Но все же, что вы...» Я, вновь перебивая: «Вы идете по стопам этого чеха, кажется Ржезача, он пытался взять у меня интервью о нейтронной бомбе, где оно?». Он: «Я его не знаю». Я: «Но у вас общие хозяева». Яковлев: «Я беспартийный историк». Я: «Какое это имеет значение? Среди членов партии бывают иногда люди идейные, заслуживающие уважения, а что вы? А что, если в своей истории вы так же лживы?» Яковлев: «Вы можете подать на меня в суд. У меня есть свидетели, данные прокуратуры, суд разберется». Я говорю: «Я не верю в объективность суда в этом деле, я просто дам вам пощечину». Говоря это, я быстро обошел вокруг стола, он вскочил и успел, защищаясь, протянуть руку и пригнуться, закрыв щеку, и тем самым парировать первый удар, но я все же вторым ударом левой руки (чего он не ждал) достал пальцами до его пухлой щеки. Я крикнул: «А теперь уходите, немедленно!» Я толчком распахнул дверь. Яковлев и вслед за ним его спутница поспешно вышли. Она не проронила ни слова и не сделала никакого движения в сторону Яковлева, когда я его ударил.

Конечно, в двадцатиминутной беседе не могли быть должным образом освещены все инсинуации Яковлева, а пощечина явилась лишь слабым «символическим» воздаянием профессиональному лжецу.

В сентябре 1983 года Люся решила подать на Яковлева заявление в суд. Она подала гражданский иск «об ущербе ее чести и достоинству» (формулировка закона), нанесенном публикациями Яковлева. Заявление было подано 26 сентября, и, согласно закону, суд должен был в течение месяца или принять решение о рассмотрении иска, или отклонить иск, сообщив об этом в письменной форме с указанием мотивировки. До сих пор (3 ноября) никакого ответа нет.

Статья в «Известиях» и клеветнические публикации о Люсе произвели, как мы это почувствовали, сильное впечатление на многих наших соседей в Горьком, заставили некоторых из них переменить свое мнение о нас. Еще в июле мы имели несколько острых разговоров на улице, а некоторые соседи, ранее приветливые, стали при встрече отводить глаза. Здесь я приведу запись одного из таких разговоров; правда, как раз в этом случае у меня нет уверенности, что моя собеседница не выполняла «задание». 15 июля ко мне подошла с разгневанным видом неизвестная мне женщина, в руке она держала номер «Известий» со статьей академиков. Я приехал на машине и собирался закрыть ее и идти в дом. Женщина сразу начала кричать: «А, Сахаров, я тебя целую неделю выслеживаю. Мы, женщины, разорвем тебя на кусочки, повесим за... (не помню, как она выразилась, приличия были, однако, соблюдены). Как ты смеешь призывать американцев к войне против нас, к вооружению, как смеешь обращаться к этому Дреллу и Рейгану? Они и так вооружены против нас до зубов, а ты, предатель, призываешь их вооружаться еще больше. Я знаю, что такое война, я видела, как умирают дети, мы, фронтовички, покажем тебе и твоей еврейке Боннэр, как призывать к войне. Это она тебя подзуживает. Ты что, русской бабы не мог найти? Если будет война, все погибнут, никто не спасется. На фронте таких предателей убивали, и тебя, подлеца, мы убьем, разорвем на кусочки». Она кричала очень громко. На скамейке около дома сидело 10—12 жильцов дома, мужчин и женщин, и дежурный милиционер, они явно прислушивались. Я не мог прервать разговора и почувствовал, что я должен как-то отвечать по существу. Разговор был не такой последовательный, чтобы его можно было точно пересказать, но я постараюсь осветить его основные линии. Я: «Академики написали такое, что каждый возмутится — лживо и провокационно. Я написал статью «Опасность термоядерной войны». Они скрыли это название». Женщина: «У тебя есть эта статья?» Я: «Нет, потом будет». Женщина: «Вот мой телефон, я хочу знать, правду ли ты говоришь. Что написано в статье?» Я: «Я пишу, что ядерная война недопустима — это самоубийство. Запад должен отказаться от ядерного сдерживания, необходимо равновесие в

обычных вооружениях. Наибольшую опасность представляют собой мощные ракеты с большим числом боеголовок, сейчас такие ракеты есть только у СССР. Пока СССР монополист в этой области, нет надежды, что он от них откажется. Гонка вооружений — величайшее зло, но это меньшее зло, чем сползание к всеобщей термоядерной войне. Статья дискуссионная». Женщина (с иронией): «Ах — дискуссионная статья!» (по ее репликам казалось, что она понимает, о чем я говорю, понимает термины, это было в странном контрасте с ее погромно-вульгарными выкриками). Я: «Я десять раз подумал, прежде чем написать эту статью. Я не ждал за нее ни похвал, ни денег. Я физик-ядерщик, знаю, о чем пишу. Моя жена не имеет никакого отношения к статье». Женщина: «А что Елена Боннэр, какова ее роль?» Я: «Она верная жена». Женщина: «Еврейка не может быть верной женой». Я: «А ты, оказывается, еще и антисемитка». Женщина: «Нет, я совсем не антисемитка. Во время войны я вместе с евреями спасала детей, это были самые лучшие люди. Я против тех, кто едет к этому фашисту Бегину. Я видела войну. А ты и твоя Боннэр едят русский хлеб с маслом, а войну вы видели только в кино. Я с 1924 года рождения, на фронте с 18 лет». Я: «Моя жена с первых дней на фронте, тоже с 18 лет, она 1924 года (тут я оговорился). Она была ранена и контужена, инвалид войны 2-ой группы». Женщина: «На каком фронте она воевала, кем была? Может, я ее знаю?» Я: «На многих фронтах. Сначала санинструктор, выносила раненых, потом в санпоезде. Ты говоришь — еврейка, она наполовину еврейка, наполовину армянка, разве это имеет значение?» Женщина: «Нет, не имеет». Я: «А на хлеб с маслом мы оба наработали». Она: «Да, это конечно. А кем жена работала после войны?» Я: «Врачом на две ставки». Она, с недоверием: «Она не могла кончить мединститут до войны». Я: «Она кончала после войны». Женщина: «А, понятно. И как же она на старости лет стала заниматься таким грязным делом?» Я: «Занимаюсь делом, которое ты называешь грязным, — я, по велению совести, ради всего человечества» (я нарочно употребил эти «высокие» слова). Она (опять переходя на агрессивный тон, как бы опомнившись): «Ты шизофреник! Я давно к тебе присматриваюсь как психиатр. В твоем поведении явные признаки ненормальности». Я: «Спасибо, хорошо разобралась». Я вышел из машины, положив ей руку на плечо и таким образом слегка отодвинув.

Женщина крикнула мне вслед: «Если еще что-нибудь напишешь, мы, женщины, найдем тебя и твою Боннэр из-под земли и разорвем на кусочки, твои милиционеры тебе не помогут». Я: «Не ставь мне ультиматумов. Надо будет — напишу».

Проходя мимо жильцов, я поздоровался с ними, они приветствовали меня вполне радушно.

17 августа в местной газете «Горьковская правда» появилась подборка писем с откликами на статью академиков и на публикации Яковлева. Составители подборки пишут: «Гнев и возмущение авторов (писем), простых советских людей, понятны. Разве можно отнестись равнодушно и спокойно к тому, кто порочит святая святых — свою Родину, свой народ, кто откровенно вновь желает своим соотечественникам горя, страданий и бед, которые не раз приходилось им переживать... Те, кто читал о дурно пахнущих похождениях и инсинуациях мадам Боннэр... призывают академика «жить своим умом, а не боннэровским» (это опять та же, что и у Яковлева, концепция Люсиного пагубного влияния! — **А. С.**). Они также призывают принять необходимые меры для пресечения курьерской деятельности Боннэр».

Отрывки из цитируемых писем: «...Нет в нашем селе ни одной семьи, которой не задела бы Великая Отечественная война. Поэтому нам непонятно, как это может советский человек призывать к гонке ядерного вооружения... Возмущены тем, что Вы, Сахаров, проживая на нашей земле и питаясь хлебом, выращенным нашими руками, клевещете на свою Родину... Нет места среди нас человеконенавистникам...»; «...Несолидно нападать из-за угла. Скажите нам, что побудило Вас стать подстрекателем международной напряженности, изгоем?..»

Кандидат технических наук Гришунов пишет: «...Возникает вопрос, как может советский человек, чей талант раскрылся благодаря неустанной заботе партии и правительства... ратовать за достижение военного превосходства США над СССР...»

Подборка озаглавлена: «Опомнитесь, гражданин Сахаров!». Из справки составителей я узнал, что 3 июля в «Горьковской правде» была напечатана статья четырех академиков — в тот же день, что и в «Известиях», т. е. это была не перепечатка. Очевидно, текст статьи специально прислан из КГБ прямо в Горький, где особенно важно спровоцировать общенародное возмущение Сахаровым и подстрекательницей Боннэр. Чтобы как-то завуалировать для своего читателя разоблачительное совпадение дат, в «Горьковской правде» написано, что статья в «Известиях» была опубликована 2 июля! *

19 августа, выйдя из дома, я обнаружил, что все стекла машины (переднее, заднее, стекла дверей) и капот были оклеены вырезками из «Горьковской правды» со статьей обо мне и плакатами с рукописными текстами. К моменту, когда я это увидел, большая часть плакатов была уже сорвана, и можно было прочесть только отдельные слова: «Сахаров — провокатор...», «Презрение народа...», «Позор предателю...»

Плакаты были приклеены специальным синтетическим клеем (весьма дефицитным!), не растворимым в воде и плохо растворимым в стеклоочистительной смеси. Несколько часов мы с Люсей вдвоем отмачивали натеки клея растворителем и отскабливали их острым ножом. Я уверен, что оклейка машины — дело рук КГБ; не знаю, конечно, на каком уровне принималось об этом решение. Более чем странный, отвратительный и позорный метод дискуссии!..

В то время, когда мы в поте лица трудились над очисткой машины, мимо нас проходило много людей, в том числе соседи. Два-три человека выразили сочувствие, обругали хулиганов. Большинство отводили глаза. Но были и такие, которые давали понять, что наша неприятность представляется им вполне оправданной нашим поведением. Среди них — пожилая соседка, пенсионерка. Эта женщина не очень членораздельно обвиняла нас в каких-то преступлениях, о которых пишется в газете и «говорят люди». В отношении Люси она повторила, что Люся меня «подстрекает» и «торгует родиной у еврейской церкви». (Люся сказала: — У синагоги? — Да, да, у синагоги.) Утверждения Яковлева, что Люся меня бьет, казались нашей собеседнице вполне достоверными — дело семейное. На другой день, когда Люся зачем-то вышла из дома, другая соседка из соседнего дома, тоже пожилая, погрозила ей кулаком. Совсем недавно, уже в октябре, Люся, совсем больная, вышла на балкон подышать свежим воздухом; мимо проходила компания людей среднего возраста с девочкой лет 12-ти, и повторилась та же сцена с угрозой кулаками. В общем грустное впечатление все это производит: та легкость, с которой люди верят самым диким выдумкам, в особенности же в отношении еврейки. Для Люси с ее эмоциональной чуткостью к людям, ее окружающим, чрезвычайно трудно, мучительно существовать в этой обстановке почти всеобщей ненависти. Для меня, более здорового физически и гораздо более «интровертного», это тоже очень тяжело.

3 сентября, когда мы с Люсей собирались ехать куда-то на машине, к нам подошла женщина, скорее молодая, чем средних лет, с самыми резкими, истерическими нападками на меня, и в особенности на Люсю, которая как еврейка меня подстрекает. На другой день Люся рано утром уезжала в Москву. Колесо оказалось спущенным — с корнем вырвана ниппельная трубка. Колесо я сменил на запасное, на поезд мы не опоздали. Люся грустно сказала:

— Посидим минутку в машине на дорогу. Это наш единственный дом.

Посадив ее на поезд, я вернулся в Щербинки. А Люсю ждало тяжелое, мучительное испытание. Как только поезд тронулся, пассажиры, ехавшие с ней в купе, начали кричать на Люсю, требуя немедленно высадить ее из поезда, так как она — предательница, поджигательница войны, сионистка; и они, честные советские люди, не могут ехать вместе с ней. К соседям по купе присоединились почти все остальные в вагоне — кто по доброй воле и охоте, начитавшись провокационных статей академиков и

* В московском вечернем выпуске газеты «Известия» письмо четырех академиков было напечатано 2 июля. **(Прим. ред.)**

Яковлева, кто, вероятно, из страха остаться в стороне и попасть «на заметку», кто просто по своей погромной склонности. Это действительно был настоящий погром, с истерическими выкриками, упреками, угрозами. Люся вначале односложно возражала, но, почувствовав, что это совершенно бесполезно и никто ее не слушает, замолчала. Уйти и так прекратить пытку криком в замкнутом пространстве вагона было некуда. В полученной мной фототелеграмме она написала: «Это было очень страшно, и поэтому я была совершенно спокойна».

Но чего стоило ей это спокойствие, к тому же после недавнего инфаркта! Мы предполагаем, что зачинщики погрома были гебисты, хотя утверждать с определенностью трудно. Если это так, то похоже, что ГБ просто в очередной раз убивало Люсю?

Наконец, после более чем часа криков и истерики, проводница сказала:

— Я не могу высадить пассажира с билетом,— и провела Люсю в служебное купе, где она наконец осталась одна.

Через некоторое время к Люсе заглянула средних лет женщина, русская, по виду учительница. Она поцеловала Люсю и сказала:

— Не обращайте на них внимания, они все такие погромщики.

Внутреннее напряжение, державшее Люсю, ослабло, и она заплакала. Увидев Люсино измученное лицо, заплакала и Бэла Коваль, наш друг, встречавшая Люсю на вокзале в Москве. На улице Чкалова Люсю уже ждал у дверей квартиры обычный милицейский пост. Обратная поездка в Горький и следующая в Москву прошли спокойно. А при следующем приезде Люси в Горький произошел инцидент, носивший скорее фарсовый характер, явно подстроенный ГБ: носильщик на вокзале отказался вынести вещи из вагона и отвезти к машине, так как Люся, как он сказал, «возит бумаги». Я вынес вещи сам и, взяв свободную тележку (с разрешения дежурного милиционера, который, видимо, был не в курсе «дела»), вместе с еще одним пассажиром, молодым евреем из Батуми, повез их к машине. Но тут на нас наскочил другой носильщик и, схватив тележку, пытался отвезти вещи обратно на перрон. Носильщика привел некто, по-видимому гебист. После перепалки наши вещи все же отвезли к машине, а попутчика поволокли в милицию, вероятно посчитав, что он с нами. Я тоже прошел в милицию. Начальник отделения, извинившись передо мной, отпустил батумца, но записал его данные. Батумец при выходе спросил меня:

— А вы правда Сахаров?..

20 июня американский журнал «Ньюсуик» опубликовал интервью своего корреспондента Р. Каллена с президентом АН Александровым. Взято оно было, очевидно, неделей или двумя раньше, в самый решающий период рассмотрения вопроса о моей госпитализации. К сожалению, корреспондент не спросил об этом. Были заданы вопросы о моей депортации, о возможности эмиграции, о моем членстве в Академии. Очень жаль также, что некоторые острые моменты в ответах Александрова были опущены редакцией журнала при публикации — это лишает возможности использования их теми, кто выступает в мою защиту. В числе этих «сглаженных углов»: сравнение «Дня Сахарова» в Америке с гипотетической ситуацией, если бы в СССР был объявлен день в честь убийцы президента. Опущен намек, что вследствие подобных действий, как объявление «Дня Сахарова», Сахаров может быть исключен из Академии. Опущено, что Сахаров знает в *деталях* устройство находящихся на вооружении термоядерных зарядов.

Александров высказался в конце интервью в том смысле, что я страдаю серьезным психическим расстройством. Люся написала прекрасное ответное письмо в связи с этим его «измышлением». мне пришло в голову это слово из УК, тут оно вроде к месту.

Интервью Александрова значительно не только в связи со мной. Он, в частности, заявил, что СССР принял обязательство не применять первым ядерного оружия, и это принципиально важно, но не исключены ошибки компьютера. В этом случае позиции американских ракет в Европе станут объектом советского (фактически первого!) удара, поэтому установка этих ракет в огромной степени увеличивает опасность возникновения ядерной войны. По существу президент Академии угрожает тут Западу не менее (а может — более) резко, чем это делают Устинов или Громыко в самых острых своих заявлениях.

В июле или августе утверждение о моем «психическом нездоровье» повторил Генеральный секретарь ЦК КПСС и глава государства Ю. В. Андропов. Это заявление он сделал во время беседы с группой американских сенаторов, которые приехали для «зондирования» возможности улучшения советско-американских отношений и задали вопрос о Сахарове. Возможно, что оба заявления (Александрова и Андропова) не были случайными, а отражают некую новую тенденцию в отношении меня.

Есть ли у власти (конкретно — у КГБ) какой-либо общий «генеральный» план решения «проблемы Сахарова»? Мы, вероятно, никогда не узнаем, существует ли такой план в записанном на бумаге виде; но многие действия в отношении меня и Люси за последние годы выявляют некие тенденции, носящие весьма зловещий характер. Время покажет, ошибаемся ли мы с Люсей в их оценке.

Очевидно, власти не хотят (а может, и не могут — по субъективным или объективным причинам) выслать меня из страны. Они также не хотят применить ко мне и Люсе такие меры, как суд, тюрьма, лагерь. Очень многое — и в особенности писания Яковлева, о которых я рассказал в этой главе,— говорит о том, что власти (КГБ) собираются изобразить в будущем всю мою общественную деятельность случайным заблуждением, вызванным посторонним влиянием, а именно влиянием Люси — корыстолюбивой, порочной женщины, преступницы-еврейки, фактически агента международного сионизма. Меня же вновь надо сделать видным советским (русским — это существенно) ученым, имеющим неоценимые заслуги перед Родиной и мировой наукой, и эксплуатировать мое имя на потребу задач идеологической войны.

Сделано это должно быть или посмертно, или при жизни с помощью подлогов, лжесвидетельств, или сломив меня тем или иным способом, например психушкой (заявления Андропова и Александрова говорят в пользу такой тактики), или используя моих детей,— недаром Яковлев так противопоставляет их детям Люси... Главное в таком плане, если мы правильно его понимаем,— моральное, а может быть, и физическое устранение Люси. Этой цели служит массированная многолетняя клевета на Люсю, лживое опорочение ее прошлого; для этого — передержки в книге и статьях Яковлева о времени Люсиного знакомства со мной, искажения правды о ее влиянии на мою общественную деятельность. Влияние, конечно, есть, и очень большое, но оно совсем не то, которое выставляется пропагандой. Люся не влияла на мою позицию в вопросах войны и мира, в вопросах разоружения — тут мои взгляды выработаны на протяжении многих лет, основываются на специальных знаниях и опыте. Но Люся с ее открытой и действенной человечностью способствует усилению гуманистической, конкретной направленности моей общественной деятельности, стойко и самоотверженно поддерживает меня все эти трудные годы, часто принимая основной удар на себя, помогает мне словом и делом. Клевета преследует цель поставить Люсю в трудное и опасное положение, нанести ущерб ее здоровью и жизни и тем парализовать мою общественную деятельность уже теперь, сделать меня более поддающимся давлению в будущем. Той же безжалостной цели служат провокации вроде погрома в поезде 4 сентября или, возможно, обыска после сердечного приступа год назад. Но я не могу исключить, что применяются или будут применяться и другие, уже вполне гангстерские методы: например, сосудосуживающие средства в пище и питье. Совсем мне не ясно, какое влияние на здоровье оказывает непрерывное облучение мощными радиоизлучениями индивидуальной глушилки. Одно несомненно — главный удар КГБ и главная опасность приходятся на Люсю, сейчас уже серьезно больную.

Прошло более полугода после инфаркта в апреле. Все это время Люсино состояние не нормализовалось: продолжались боли, не исчезла необходимость наряду с пролонгированными средствами усиленно применять нитроглицерин. Временами происходили ухудшения. Последнее, самое серьезное и длительное, произошло 16 октября. 17 октября Люся попросила меня не отлучаться из дома. В середине дня она сказала:

— По-видимому, нам надо поговорить.

Я присел на край кровати. Люся говорила о детях и внуках, о радости, которую они ей дали; дети принесли ей удовлетворение и счастье в жизни. Говорила о маме, обо мне. Она сказала, что не упрекает меня за последнее

главное выступление (письмо Дреллу); оно было необходимо. Но я должен отдавать себе отчет в том, чего оно ей стоило, не скрывая от себя правды. Потом она говорила о том давлении, которое мне предстоит в будущем...

Я ответил ей:

— Я никогда не предам тебя, себя самого, детей.

Люся:

— Да, это я знаю.

17-го же я позвонил по автомату Марку и продиктовал ему текст телеграммы Руфи Григорьевне, детям и внукам. Мы заранее условились с ними обменяться телеграммами ко дню лицейской годовщины.

Все те же мы.
Нам целый мир чужбина,
Отечество нам Царское село.

От Руфи Григорьевны и детей ничего не пришло ни 19 октября (день годовщины Лицея), ни до сих пор (я пишу это в ночь на 5 ноября).

Кончая свою футурологическую статью 1974 года, я писал: «Я надеюсь, что, преодолев опасности, достигнув великого развития во всех областях жизни, человечество сумеет сохранить человеческое в человеке».

Этими словами я хотел бы закончить и эту книгу. Что же касается меня, то сегодня, на пороге 70-х годов жизни, человеческое, жизнь для меня — в моей дорогой жене, в детях и внуках, во всех, кто мне дорог.

Горький,
15 февраля 1983 года

А. Сахаров

Эпилог

За шесть лет, прошедших после завершения этой книги, в нашей с Люсей жизни и во всем мире произошло много событий. Упомяну лишь некоторые из них: борьба за Люсину поездку к родным и для лечения — голодовки в 1984 и 1985 годах, ее поездка, операция на открытом сердце, наше возвращение в Москву, участие в Форуме «За безъядерный мир, за международную безопасность» и выступление против принципа «пакета», смерть Руфи Григорьевны, создание Фонда «За выживание и развитие человечества», мое выступление по проблемам Нагорного Карабаха и крымских татар, первый выезд за рубеж, поездка в Азербайджан, Нагорный Карабах и Армению, выборы на Съезд народных депутатов СССР и участие в его работе.

Часть этих событий описана в Люсиной книге «Постскриптум», другие — в моей книге «Горький, Москва, далее везде», являющейся продолжением «Воспоминаний».

Главное — что мы с Люсей вместе. И эта книга посвящена моей дорогой, любимой Люсе.

Жизнь продолжается. Мы вместе.

13 декабря 1989 года.
Москва

Публикация Елены Боннэр.

Сергей Чупринин

ЯВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА НАРОДУ

ЖИЗНЬ АНДРЕЯ ДМИТРИЕВИЧА САХАРОВА, РАССКАЗАННАЯ ИМ САМИМ

Легендарное с легендарного 1968 года, с «Размышлений о прогрессе, мирном сосуществовании и интеллектуальной свободе», имя Андрея Дмитриевича Сахарова стало воистину общенациональным мифом, едва только разнеслась по свету весть о кончине великого гражданина. Будто и впрямь он умер — чтобы после смерти «воплотиться в пароходы, в строчки и в другие долгие дела».

Нет теперь сколько-нибудь прогрессивного или претендующего на прогрессивность общественного движения, которое не выносило бы на свои знамена сахаровский завет,— движения, вплоть до сомнительного (существует ли?) Ордена милосердия и социальной защиты имени А. Д. Сахарова и совсем уж подозрительного Союза демократических сил имени А. Д. Сахарова.

Нет и художественной выставки, которая не заманивала бы посетителей сахаровскими портретами — да что выставки, если свечи перед иконоподобным изображением Андрея Дмитриевича нынче затепливают прямо в подземных переходах?..

Нескончаемым потоком идут стихи и воспоминания о Сахарове, снимаются фильмы, на городских картах появляются улицы, площади и проспекты его имени, учреждаются сахаровские премии и стипендии, бойко распродаются открытки и календари с его ликом.

Во всем этом много, конечно, примет бескорыстной и безутешной, виноватящейся народной скорби: не сумев оценить Сахарова при жизни, страна, благодаренье Богу, кажется, все-таки поняла, кого она потеряла. Виден в иных случаях и трезвый расчет: прикосновенность к общепризнанной святыне автоматически освящает любое начинание, каждому желающему вручает своего рода «патент на благородство». Всего же больше, я думаю, такого, увы, понятного и такого, увы, непростительного стремления сотворить себе кумира во дни, когда прежние кумирни разграблены и загажены, вера отцов и дедов уже напрочь утрачена, вера прадедов еще не вернулась (да и ко всем ли вернется?), зато жива алчущая привычка чему-либо истово поклоняться, молитвенно называть кого-либо «праведником», «пророком в своем отечестве», «совестью народною», «учителем жизни»...

Сердится Елена Георгиевна Боннэр: она-то точно знает, с каким отчужденным, холодным недоумением относился Андрей Дмитриевич к социальному мистицизму и мифотворчеству, к ажитации любого рода. Язвят близкие Сахарову люди: удобно же, мол, кое-кому из соотечественников держать свою совесть в чужом теле. Но...

С инстинктом идолопоклонства враз не справиться. Тем более что он ведь психологически очень комфортен, этот лукавый инстинкт. Достаточно обоготворить, вознести своего избранника на недосягаемую высоту — и ты подсознательно уже свободен от обязанности следовать его нравственному примеру: мы бы, дескать, и рады вести себя так же, но он, праведник и небожитель, не нам чета; нам, сирым и духовно убогим, до него все равно не дотянуться, так что и тянуться незачем; будем поэтому слепо и вяло поклоняться, мешая, как это обыкновенно и бывает, пересуды с молитвами, сплетни с песнопениями... Совсем как у Пушкина, которого всю свою жизнь любил Сахаров:

Мы малодушны, мы коварны,
Бесстыдны, злы, неблагодарны;
Мы сердцем хладные скопцы,
Клеветники, рабы, глупцы;
Гнездятся клубом в нас пороки
Ты можешь, ближнего любя,
Давать нам смелые уроки,
А мы послушаем тебя.

«Воспоминания» А. Д. Сахарова замечательны уже тем, что не содержат в себе никаких преднамеренно «смелых уроков», никакого прямого назидания современникам и потомкам. В этой тысячестраничной, безыскусно написанной, будто даже наговоренной книге и тенью не присутствуют пророческий задор, проповеднический азарт. Нет внутренней зажатости, но нет и неопрятной «исповедальности» расхристанности, интересничанья, столь знакомого по многим автобиографиям, в том числе классическим.

Сахаров никого и ни в чем не убеждает, никого ни за что не агитирует. Ни перед кем не оправдывается. Он просто *рассказывает* — и чудо: жизнь, которая действительно достойна жития, действительно заслуживает легенды, предстает под его пером как родня и ровня любой другой жизни, а поступки, в свое время казавшиеся (и бывшие!) подвигом, безумством храбрых, осознаются автором и вслед за ним читателями как нечто совершенно естественное, как абсолютно *нормальная* реакция *нормального* человека на тот или иной политический, культурный, житейский импульс.

В этой книге оправданно часто говорится о физических и духовных страданиях ее автора — всегда, впрочем, говорится очень деликатно, щадяще, без нажима и каких бы то ни было видов на сочувствие и сопереживание публики. Но обратите внимание: нигде ни полсловечка не сказано о драме и проклятии выбора, о тех мучениях, терзаниях, тягостных сомнениях, которые обыкновенно предшествуют решительному, что называется, судьбоносному поступку, или, увы, заменяют его. Такое впечатление, будто Сахаров не колебался: вступать ли ему в поединок с властью, бросаться ли на защиту узников совести, протестовать ли против советского вторжения в Афганистан, объявлять ли голодовки, жестко оппонировать ли Горбачеву на I Съезде народных депутатов СССР,— но действовал чуть ли не рефлекторно, повинуясь не внешним обстоятельствам и даже не некоей высшей, надличной силе, избравшей его своим орудием и посланцем, а только и исключительно повинуясь непререкаемой воле собственного внутреннего нравственного закона.

Причем — и это очень важно — речь ведь всякий раз шла не о выборе между добром и злом, между благородным поступком и поступком бесчестным: тут многие, не особенно кривя душой, могут, наверное, сказать, что и они не творили зла, уклоняясь от совершения того, что противно их совести, их убеждениям. Речь об ином, куда более, на мой взгляд, трудном выборе: между действием — всегда во вред себе, без какой-либо уверенности в пользе для других — и *всего лишь* бездействием, дающим, казалось бы, возможность сохранить лицо, не утратить самоуважения, отговориться и оправдаться незнанием, занятостью, неверием в успех, да мало ли чем еще.

Так вот. Сахаров во всех случаях, когда возникала такая альтернатива, действовал, а не уклонялся, хотя я и думаю, что впечатление легкости, беспроблемности в принятии решений здесь все-таки обманчиво. Ему каждый раз было что терять. Он ясно понимал, чем рискует и на что идет. Он знал себе цену. Он — человек разума, логики — не мог не взвешивать (особенно, должно быть, поначалу, на первых порах) все «pro» и «contra», не мог не продумывать возможные последствия своих поступков.

Ведь жертвовать приходилось не пустяками, а тем, что в «додиссидентский», так сказать, период составляло основное содержание жизни: наукой, счастьем «труда со всеми сообща и заодно с правопорядком», гарантированной перспективой...

Но поступал он, похоже, вне зависимости от результата этих взвешиваний и этих обдумываний.

Так, как непосредственное чувство подскажет.

Как совесть определит.

И — тоже очень важно — никогда не имел поэтому повода раскаяться в своих поступках. Об ошибках (они, конечно, были) искренне сожалел. Расстраивался, явно преувеличивая этот свой дефект, из-за собственной холодности, эмоциональной глуховатости, или, как он сам выражался, «душевной лености». Бранил себя за легковерие и неумение разбираться в людях, называя эти чисто интеллигентские, родовые черты своей натуры «глупостью». Казнился мыслью о том, что от преследований и поношений, ему предназначенных, страдают, к несчастью, и другие люди, либо невольно втянутые, либо добровольно втянувшиеся в орбиту его правозащитной деятельности.

Судил, словом, себя нещадно. Но, повторяю, никогда и ни в чем не раскаивался. Ибо всегда — и на ядерном полигоне, и в попытках достучаться до разума кремлевских властителей, и в горьковской ссылке, и позднее — жил в строгом соответствии с тем, что полагал отнюдь не героизмом, но *нормой*, то есть единственно возможным, единственно приемлемым для русского интеллигента стилем мысли и поведения. Ибо сызмалу знал, сызмалу был воспитан в убеждении (а потом, в зрелости, еще и «досамовоспитался»), что важнее быть в ладу с самим собой, чем с окружающим миром.

Сейчас принято считать, что такая жизнь и такая убежденность могут идти *только* от религиозного корня, что нравственность — не более чем мирское воплощение духовности, не более чем производное от веры в Бога.

Возможно. Но Сахаров, как известно, был нерелигиозен — по крайней мере, в церковном смысле этого слова. Он бился за свободу совести, неизменно вставал на защиту мучеников веры (равно православных и иудаистов, униатов и мусульман, католиков и адвентистов), но позицию свою обозначил недвусмысленно: «Я подхожу к религиозной свободе как части общей свободы убеждений. Если бы я жил в клерикальном государстве, я, наверное, выступал бы в защиту атеизма и преследуемых иноверцев и еретиков!»

Задорный восклицательный знак (такие знаки препинания вообще-то редки у

Сахарова) здесь дорогого стоит, возвращая стилистически нейтральной формуле тот жар спора, в каком и эта фраза, и вся книга рождались. Спора, который в течение полутора как минимум десятилетий сотрясал диссидентское движение, а теперь громыхает на страницах легальных газет и журналов, в радио- и телеэфире, на академических сходках и в городских кухоньках. Спора о том, чему же все-таки в первую очередь обязана Россия своей нынешней «поврежденностью» и как всем нам выбраться из ямы, в которую нас затолкала наша же история.

В «Воспоминаниях» Сахаров-полемист не столько оспаривает оппонентов, не столько доказывает свою правоту, сколько спокойно, внятно, последовательно *разъясняет* собственные убеждения. И видно, что системообразующим началом этих убеждений служат благородная здравость, органически враждебная любому иллюзионизму, всякой экстатичности, и терпимость.

Не всетерпимость и как следствие всепрощенчество и примиренчество! Многим, кто рад бы сейчас числиться в союзниках и друзьях Сахарова, с выходом «Воспоминаний» в свет станет, я думаю, не по себе. Речь именно о терпимости, поскольку лишь она, по Сахарову, дает взглядам стереоскопичность, а убеждениям — необходимую глубину, интеллектуальную и нравственную объемность.

Ради терпимости он готов даже противоречить самому себе. Вот пример. Начиная свою гражданскую биографию, Сахаров предпослал «Размышлениям о прогрессе, мирном сосуществовании и интеллектуальной свободе» эпиграф из второй части «Фауста»:

Лишь тот достоин жизни и свободы,
Кто каждый день идет за них на бой.

А в «Воспоминаниях», еще раз повторив крылатые слова Гете как *личный* символ веры («Эти очень часто цитируемые строки близки мне своим активным героическим романтизмом. Они отвечают мироощущению — жизнь прекрасна и трагична»), поспешил уточнить и... как бы даже снять их категорическую императивность: «...Борьба, страдание, подвиг — не самоцель.— они оправданы лишь тем, что другие люди могут жить нормальной, «мирной» жизнью. Вовсе не нужно, чтобы все побывали «в окопе»... *Не только* тот достоин жизни и свободы, кто идет на бой» (разрядка А. Д. Сахарова.— С. Ч.).

Конечно, противоречие здесь в духе Сахарова: для себя лично императив — «лишь тот достоин», для сограждан и соотечественников щадящее — «не только тот». И тем не менее сама эта коллизия очень показательна как вектор движения сахаровской мысли: от категоричности и, следовательно, фанатической односторонности к здравости и терпимости, то есть к политическому и нравственному реализму.

Он, скажем, без особого сочувствия и даже интереса относится к каноническому марксизму-ленинизму, как и вообще к идеологическим конструкциям, но обратите внимание: в отличие от сочинений подавляющего большинства диссидентов (а сегодня — и советских публицистов) «Воспоминания» практически не содержат резких выпадов в адрес «каннибальской», «человеконенавистнической» и т. п. коммунистической идеи, равно как и патетически разогретых призывов к тотальной деидеологизации общества. Причина? *Не только* в этих «мертвых словах», по Сахарову, корень наших нынешних (а в значительной степени — и давних) бед, и *не только* демонтаж правящей идеологии приведет страну к спасению, ибо самовластие (а в нем-то, в тоталитаризме, все дело) с легкостью, чему мы уже сейчас свидетели, способно заговорить на любом другом, — например, национал-«патриотическом», национал-«возрожденческом» — языке.

Вот, кстати пришлось, о патриотической идее в современной ее огласовке. Сахаров был напрочь лишен «синдрома национальной озабоченности» и, как можно понять по беглым упоминаниям в «Воспоминаниях», отнюдь не был уверен в том, что возрождение России состоится именно и *только* как возрождение национальное. Скорее напротив, полагал, что в такой стране, как наша, движение вперед возможно лишь на путях межнационального сотрудничества, межнациональной терпимости и уступчивости. И тем не менее резкостей по адресу «национально озабоченных» он явно остерегался. Почему? Потому что в отличие от кое-кого из сегодняшних гиперпрогрессистов не считал любую апелляцию к национальному чувству приметой непременно фашизма. И готов был к деятельному союзу с теми, кто более, чем он, речист в своей любви к Отечеству, к родной истории и культуре,— лишь бы только это была любовь именно к Отечеству и культуре, а не к домодельной машине национал-патриотического террора, коллективистского подавления личности и лишь бы не отзывалось святое чувство маниакальной ненавистью к чужакам, желанием отгородиться от мира, охотою, как и при победоносном марксизме-ленинизме, снова стричь всех и каждого под одну гребенку.

Людей друг от друга отталкивают вовсе не разномыслие и уж тем более не разнословие, как нам вгорячах порою кажется, а действия, образ поведения, и в этом смысле честный, порядочный «западник» и честный, порядочный «славянофил» куда ближе друг к другу, чем к бездушному придатку казенной машины или к негодяю, который, может быть, и поднаторел за годы перестройки в благородном — «патриотическом» или «демократическом» — краснобайстве, но так и норовит украсть, сподличать, солгать, отнять у ближнего свободу, честь и великое право быть «другим».

То же с религией. Появились сейчас люди, в чьих глазах отношение к церкви, к вере в Бога служит своего рода универсальным тестом на нравственность как личности, так и общества, социально-политического устройства. Но в традициях ли это русской интеллигенции, которая — припомните-ка ее исторический путь, ее классический облик — никогда не «делилась» по конфессиональному признаку, полагая вопрос «Како веруешь?» настолько интимным, что он безусловно не подлежал публичному обсуждению и уж тем более инквизиторскому разбирательству?. Не светскость в этом смысле альтернатива духовности, а грубая, вульгарная, фанатическая «советскость», которая по сугубо этическим, интеллектуальным причинам была, право же, чужда и отвратительна Сахарову ничуть не меньше, чем тем, кто спешно открещивается ныне от всего «советского» (а бывает, увы, что и от светского) ввиду его изначально «бесовской», богопротивной и инфернальной природы.

Здесь стоило бы сказать, что жизнь и книги Андрея Дмитриевича Сахарова вообще прочитываются как редкое по силе воздействия *оправдание светской линии* в богатом спектре отечественной культуры. Извращенная и искалеченная за семьдесят с лишком лет изуверами-безбожниками, эта линия остро нуждается сегодня в реабилитации, и, может быть, лишь авторитет Сахарова вернет нас к пониманию простых и очевидных истин. *Не только* верующий может быть нравственной личностью. *Не только* церковь способна воспитать человеческое в человеке, но и культура, в том числе светская, но и кровная сродненность с тем, что в историю мировой цивилизации вошло под именем русской интеллигенции.

Дав еще в юности «присягу чудную» своему сословию, Сахаров этой присяге не изменял до конца. И недаром же его так болезненно задевали популярные ныне толки о генетической будто бы гнилости интеллигенции, ее нынешнем маразматическом состоянии и ее тотальном перерождении в подлую «образованщину». Даже больше: он не терпел и лестных, казалось бы, для него лично разговоров о том, что он, Сахаров, исключение из общего правила, что его, Сахарова, «появление... в сонмище продажной беспринципной интеллигенции» равнозначно «чуду».

Никаких чудес! Никакой богоизбранности и исключительности! Все лучшее во мне,— не уставал повторять Андрей Дмитриевич,— «не результат чуда, а — влияние жизни, в том числе — влияние людей, бывших рядом со мной, называемых «сонмище продажной интеллигенции», влияние идей, которые я находил в книгах».

Впрочем, Сахаров мог бы и не говорить этого. Тот, кто прочтет «Воспоминания», без подсказки увидит: перед нами не только рассказ об одной судьбе, но еще и тысячестраничная повесть о судьбах интеллигенции, страстный монолог в ее защиту.

Верность сословию никогда не застила Сахарову глаза. В «Воспоминаниях» хватает «отрицательных» и еще пуще «амбивалентных» персонажей, и все-таки их несравненно, несопоставимо меньше, чем людей, заслуживающих доброго слова.

Зрение ли было так устроено у Андрея Дмитриевича, что он отмечал прежде всего тех, кто способен вызвать восхищение и любовь? Действительно ли не окончательно погасли в интеллигентской (как и в «простонародной») среде искорки благородства и самоотверженности, зароненные еще русской классикой, «диссидентами» XVIII—XIX веков?

Незачем спешить с ответами на эти вопросы. Ясно одно: если в первых главах книги сравнительно малолюдно, то последующие заселяются все гуще и гуще, благодаря чему «Воспоминания» превращаются в хронику правозащитного движения и — гораздо шире — в своего рода энциклопедию отечественного вольномыслия.

Такое впечатление, что, сделав шаг к личной свободе, Сахаров сделал шаг к людям, и открытие пошло за открытием, с лихвою, с переизбытком компенсируя все то, что он потерял, все то, что вынужден был оставить властям в уплату за независимость и возможность быть самим собой. Господи, как трогателен Андрей Дмитриевич, когда он рассказывает о льстящих ему (это ему-то!) знакомствах с поэтами, художниками, деятелями культуры, как радуется первым встречам с иностранными учеными, дипломатами, журналистами, как ликует внутренне, и в молодом поколении находя те же черты, что у своих сверстников, своих старших современников!

В живых сценках и эпизодах, передающих высоко ценимую Сахаровым «роскошь человеческого общения» (недаром же и чуткая на сей счет власть, сослав его в Горький, постаралась лишить прежде всего права на общение),— так вот в этих живых сценках и эпизодах — бездна непредумышленного обаяния. Но я бы хотел сейчас обратить внимание на другое. На то, что и силы зла, и силы добра никогда не рисовались Сахарову как нечто абстрактно однородное, слитое в сплошные массивы, а всегда распадались на живые, детально индивидуализированные лица, голоса, поступки. В нем и следа не было вот этого генштабно-генералисского: «Die erste Kolonne marschiert... Die zweite Kolonne marschiert...»,— как не было большевистской привычки, минуя, огибая личность, мыслить классами, людскими громадами, армиями, а это, воля ваша, большая редкость по нынешним временам, когда за действиями, размышлениями даже и лучших из лучших наших современников-гуманистов нет-нет да проглянет коварное: «Единица — вздор, единица — ноль...».

Для Сахарова «единица», то есть отдельный, конкретный человек, никогда не был ни «нолем», ни «вздором», ни пешкой в стратегической игре. Прирожденный теоретик, человек абстрактного, казалось бы, мышления, он не терпел «социальной арифметики», «политической бухгалтерии», и его, вспоминает, «холодом охватывало» при столкновении с теми своими единомышленниками, кто искренне (или с дальним умыслом) полагал, что ради блага всех можно и нужно пренебречь благом одного, отдельно взятого и что, помогая каждому, ты мельчишь, нерационально тратишь силы, которые пригодились бы для более масштабных, более «адекватных» твоему авторитету задач и целей.

Сахаров действительно не был расчетлив. Он чувствовал себя не стратегом, не политиком, не харизматическим лидером нации ли, интеллигенции ли, диссидентского ли движения, а похоже — неотложной помощью. И помогал каждому, кто в этой помощи нуждался. К каждому бросался на выручку, не соизмеряя усилий с гипотетическим результатом, пользуясь любым поводом — будь то телефонный разговор с Горбачевым, беседа с заезжими сенаторами, Нобелевская лекция или международный научный симпозиум — для того, чтобы в очередной раз назвать конкретные имена узников режима, снова и снова привлечь к их бедственной участи внимание сильных мира сего.

Это изумляло. Это вызывало злые насмешки в кругу его противников, снисходительную усмешку — в кругу союзников. Изумлялся Солженицын, замечая, что Сахаров ввиду своей, должно быть, наивности не умеет отличить главное от второстепенного и потому его программные заявления проходят «ниже своего значения из-за частоты растраченной подписи автора». Изумлялся Зиновьев, именуя сахаровские действия по спасению конкретных (и часто совсем «неисторических») людей «крохоборством», «мелкими делишками» и не без глумливости утверждая, что «Великий Диссидент подобен великану, сражающемуся швейной иглой»...

Да что говорить!.. Судя по первым читательским откликам на «Воспоминания», пока они глава за главой печатались в «Знамени», многим и сейчас кажется, что Сахаров роняет-де себя подробностями своей частной правозащитной практики — в особенности же обстоятельными рассказами о том, к каким сильным средствам (голодовки, письма на самый верх!..) он вынужден был прибегать, чтобы добиться сущего по нашим понятиям вздора, например возможности отправить свою жену на лечение за границу... Меня, буду откровенен, эта несоразмерность повода и сахаровской деятельной реакции на него тоже всегда чуть-чуть смущала. Если уж, мол, всходить на костер, то только ради счастья миллионов, а не ради счастья, допустим, Лизы Алексеевой, которую — всего-то! — не выпускают к жениху в Штаты. Если объявлять голодовку, то непременно со значением, не вмещающимся в рамки одной, отдельно взятой судьбы...

Но Сахаров — еще раз напомню — резоны, в отличие от своих дальновидных критиков, не исчислял. Он действовал, будто повинуясь рефлексу чести, всегда и во всем подсказывающему, как в старом самойловском стихотворении «Оправдание Гамлета»:

Доверяй своему удару,
Даже если себя убьешь!

Это во-первых. А во-вторых... Страданием обо всех, кому выпало родиться на этой земле и в это время, неустанными хлопотами о дальних неужто же не выкупил Андрей Дмитриевич права *не стесняться* и своей такой обычной, такой нормальной заботы о ближних — о жене, о детях, словом, о тех, кто рядом, чьи боли и беды ему хорошо известны?.

Впрочем, не начинаю, кажется, оправдывать Сахарова? А ведь он в нашей снисходительности не нуждается. Если кто и нуждается в снисхождении, то это мы, его суровые критики и непрошеные защитники. Помним же вроде бы — теоретически — про «слезинку ребенка», которой не стоит даже мировая гармония; знаем прекрасно, что только свобода и счастье каждого могут быть гарантом всеобщего блага, а никак не наоборот; твердим — вослед Сахарову же! — о приоритете человеческих ценностей в сравнении с любыми другими, о том, наконец, что интересы и заботы личности (да, да, одной, отдельно взятой!) как минимум равновелики интересам общества, нации и государства, а чуть до дела дойдет... Тут же из подсознания всплывает большевистская пропись: «Единица — вздор, единица — ноль...».

Не стыдно ли? И до чего же это мы, спросим себя, дожили, что человек, всего-то навсего сделавший следование гуманистической *норме* действительно *нормой* своего будничного, повседневного существования, кажется нам если уж не вовсе блаженненьким, то, во всяком случае, праведником, о котором и впрямь остается только мифы слагать?..

Нам нужны «смелые уроки»? Андрей Дмитриевич в учителя ни к кому и никогда не набивался. Знал: «Каждый выбирает по себе женщину, религию, дорогу».

Он тоже выбрал *по себе*. И в теоретическом, так сказать, плане: «...Для меня защита отдельных, конкретных людей имеет принципиальное значение; это бесспорное, стабильное ядро моей позиции. Что же касается «программных» документов, то я рассматриваю их как дискуссионные — кому надо, прочтет и задумается, я и сам иногда кое-что в них пересматриваю и уточняю». И в

плане сугубо практическом: не колеблясь, дал пощечину негодяю, посмевшему оскорбить его жену; бросался бог знает куда лишь затем, чтобы часами выстаивать перед судейскими подъездами или добиться свидания с полузнакомым ему политзаключенным; снова и снова — вопреки сопротивлению президиума, вопреки топоту и шиканью в зале — поднимался на трибуну I Съезда народных депутатов, чтобы защитить нашу и вашу едва проклюнувшуюся свободу...

Как это было, чего это стоило — все в «Воспоминаниях». В каждой их главе. В каждой их фразе.

Наблюдательный читатель, наверное, уже заметил, что в этом очерке первых впечатлений много говорится о личности Андрея Дмитриевича Сахарова, его гражданском облике и почти ничего о его взглядах.

Причин здесь две. Во-первых, о взглядах Сахарова уже не раз и не два хорошо писалось в нашей печати; мне же хотелось привлечь заинтересованное внимание прежде всего к тому, что вроде бы и на виду лежит да не сразу осознается. Во-вторых же, и это главное, основные идеи, рекомендации и предложения Сахарова, которые казались удивительно свежими, а часто и шокирующе непривычными в момент их обнародования, уже стали сегодня всеобщим достоянием или, если стремиться к абсолютной точности в выражениях, стали неотъемлемым, неотчуждаемым достоянием всех демократически настроенных граждан нашей страны, как бы растворились в том воздухе, каким мы дышим и не можем надышаться.

Вот этим-то в первую очередь и восхищают, во всяком случае меня, сахаровские идеи и взгляды: самоочевидностью и естественностью. В них нет никакой интеллектуальной экзотики, шаманского сумасбродства и умничанья, никакого щегольства, что называется, мысли ради мысли. Нет и — случай в отечественной социально-философской традиции почти единственный — въевшегося в российские печенки тяготения к Идеалу, смутной надежды, коли раньше не удавалось, хоть на этот вот раз, хоть на этом вот повороте истории обогнать все прочие народы и государства, послужить человечеству если не примером, то, на худой конец, уроком.

Романтик по натуре, по складу характера, Сахаров как социальный мыслитель строго и даже, я бы сказал, вызывающе реалистичен. Не о возрождении он печется, а о строительстве, и не о революционном скачке к Идеалу его мысль, а о постепенном, ступенчатом, эволюционном восхождении к норме, поскольку нет и быть в природе не может идеального общественного устройства, а вот нормальное — вполне и у нас возможно. И достижимо — если, конечно, не заноситься в мечтах: станем, мол, свободнее, счастливее, сытее да духовнее, чем окрестный люд,— довольно и того, что в результате долгого, тяжкого, кропотливого труда станем наконец такими же, как все, нормально свободными, нормально сытыми, нормально духовными и счастливыми.

Сахаров — весы! — напоминание о норме, призыв к норме, надежда на норму, и недаром же пишущим о нем все чаще и чаще приходит на ум только одна аналогия: Пушкин.

Ассоциация произвольна? Конечно, произвольна. Все сравнения хромают, но... Подобно тому как Пушкин дал меру, язык и гармонию русской литературе, нашему национальному самосознанию, так и Сахаров, растворяясь в воздухе, каким дышим, дает сейчас, я надеюсь, меру, язык и гармонию нашим гражданским понятиям, нашему социальному чувству.

У них много общего — в мировосприятии, во врожденном благородстве натуры, в нравственной безошибочности поведения и мысли, и характерно, что оба они не переводимы, кажется, на иностранные языки. Душа в переводе отлетает, и остаются... общие места, голый смысл, банальности, то, что каждому, в общем, ведомо. Тогда как прочтешь на родном языке — и ахнешь: так точно угадано, так верно понято все то, что и в тебе самом смутно бродит, на волю просится...

Впрочем, это, кажется, уже красивости. Сахаров их не терпел.

Поэтому подытожим свои беглые заметки... «Воспоминания» вышли, слава Богу, в родной для Сахарова стране, и есть все основания надеяться, что их прочтут, как мало какую из выходящих ныне книг.

И задумаются.

И опечалятся: «что ж непонятная грусть тайно тревожит меня?» — эта пушкинская строка бьет в глаза с финальной страницы второй книги сахаровских мемуаров «Горький, Москва, далее везде»[1].

И увидят в Сахарове не миф, не красивую легенду, а того, кем он и был на самом деле: человека, сумевшего остаться нормальным даже в нашей ненормальной стране, даже в наше ненормальное время.

[1] С книгой «Горький, Москва, далее везде» «Знамя» познакомит читателей во второй половине нынешнего года.

К 100-летию со дня рождения Михаила Булгакова

Александр Шиндель

ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ

«...Сталин после недолгой паузы продолжил вопрос: «Но ведь он же мастер, мастер?»

(Из телефонного разговора Сталина с Пастернаком — по воспоминаниям Анны Ахматовой.)

«Он мастер, мессир, я вас предупреждаю об этом»

(М. Булгаков, «Мастер и Маргарита»).

1

Мне приходилось слышать разные суждения о «Мастере и Маргарите», в том числе и самые невероятные. Однажды знакомый настойчиво рекомендовал прочесть какую-то статью, автор которой вроде бы доказывал, что Афраний — начальник тайной службы при Понтии Пилате — не кто иной, как сам Воланд. Доказательство основывалось на собственном признании Воланда, который сказал Берлиозу, что он «лично присутствовал при всем этом», но «только тайно, инкогнито, так сказать»... Ну, а раз «лично» и «тайно» — то, ясное дело, что в образе начальника тайной службы. Такой вот детективный заход. А сравнительно недавно довелось услышать, что в образе Воланда Булгаков изобразил Сталина... Идут годы, а число желающих «разгадывать» роман как некий прелюбопытный кроссворд не уменьшается. И каждый подобный случай убеждает меня в том, что сеанс черной магии в Варьете продолжается. Что маэстро простонапросто выкинул очередной номер...

В подробном биографическом исследовании М. Чудаковой «Жизнеописание Михаила Булгакова» упоминается о том, что автор «Мастера» любил читать отдельные главы в кругу друзей и — там, где речь шла о Воланде,— закончив чтение, иногда, наклонившись к тому или другому слушателю, многозначительно вопрошал: «А кто такой Воланд?» И одним этим вопросом вводил гостя в состояние полного оцепенения...

Полагаю, что выводы о прототипе Воланда скорее всего основываются на подобных — и совершенно достоверных! — свидетельствах. Но из подобных свидетельств делать таких выводов нельзя. Нельзя, потому что мы имеем дело с великим актером и великим мистификатором. В том мире, откуда многие исследователи жизни и творчества писателя берут свои «вещественные доказательства», самого Булгакова нет. И многочисленные воспоминания современников, и те легенды, которыми начинает обрастать память о нем, и даже многие написанные им письма — во всем этом зафиксированы различные его образы. Будучи натурой в высшей степени артистической, Булгаков, судя по всему, вне образа существовать не мог. Это не означает, что он всю жизнь играл. Совсем нет. Но его природная артистичность во многом определяла и его форму общения, я бы сказал — форму присутствия. Поэтому сегодня от желающих «взять» его на ощупь он ускользает почти так же, как ускользали его герои от хитроумных сетей и маузеров.

И если допустить, что в подобном предположении есть доля истины, то надо определить, в чем именно воплотилась сущность писателя в ее наиболее полном, естественном и совершенно открытом виде.

В «Мастере и Маргарите». Я говорю сейчас только о «Мастере». Если бы речь шла о «Белой гвардии», ничего подобного я бы не мог сказать.

2

Трудно припомнить другой случай, когда бы романы, вышедшие из-под пера одного автора, столь разительно отличались один от другого, как различаются «Белая гвардия» и «Мастер и Маргарита».

Роман «Белая гвардия», при всех его художественных особенностях, целиком лежит в русле традиции реалистической русской прозы. Изображено общество накануне своей гибели. Поскольку такие моменты истории относятся к категории исключительных, то и задача художника-

реалиста определяется, в сущности, однозначно: максимально достоверно отобразить драматическую действительность реального мира. В такие периоды многие реалии бытия приобретают для искусства самостоятельную художественную ценность. Отсюда — умеренность и осторожность во всем, что касается образности. (Сравните с «Мастером»: там все или почти все построено на высочайшем умении использовать силу образных средств.)

«Белая гвардия» — роман об историческом потрясении. В принципе Булгакову удалось изобразить именно то, что предчувствовал и о чем пророчествовал Блок. Но здесь нет никакого романтического пафоса. Роман написан человеком, который как бы видит наплывающее химическое облако, не зная, сможет ли он в этом облаке дышать, не желая погибать от удушья и, вопреки всему, на что-то надеясь. Эта надежда есть последний рубеж, на котором человек способен сознавать, что он еще жив.

Психологически в романе не существует дистанции между автором и героями. Хотя роман написан от третьего лица, и автор мог бы дистанцироваться от героев, он такой возможностью не воспользовался. Да и как он мог воспользоваться ею, если изображал гибель той части общества, к которой принадлежал сам?

Роман «Белая гвардия», может быть, единственный в советской литературе «деполитизированный» роман о революции и гражданской войне. Дело в том, что практически вся советская литература о гражданской войне изображала противоборство сторон как проблему выбора. Более того, человек был как бы обязан сделать выбор. Порой официальная советская литература демонстрировала понимание психологической сложности подобного шага и признание права человека на ошибку. Подобным образом изображен, к примеру, Вадим Рощин в романе «Хождение по мукам». Но давая время героям на колебания и ошибки, сами авторы, как правило, заранее знали нужный ответ. Такова вся наша литература о гражданской войне, за исключением, быть может, «Тихого Дона», где проблема выбора изначально представлена как сомнительная. Главное же в том, что литературой не только утверждалась необходимость выбора, но даже указывалось некое пространственное разделение зон — для «своих» и для «чужих».

Булгаков же происходящее изображает как всеобщую трагедию именно потому, что для него, как и для миллионов других, *выбора не было*. Выбора не было потому, что сам факт свершения революции мог быть означен только *актом уничтожения* той социальной среды, к которой принадлежали герои «Белой гвардии» и сам автор. Компромисса с миллионами людей, которые вовсе не хотели погибать и готовы были многим пожертвовать (прежде всего положением привилегированного слоя и благосостоянием), но при этом жить в своей стране, работать на ее благо и содержать себя собственным трудом — такого компромисса новая сила, возникшая на классовой идеологии большинства, признать не могла. Стало быть, и проблемы выбора не было. Тот, кто не смог этого понять в семнадцатом, понял в тридцать седьмом.

Надо отдать должное Булгакову: он с самого начала никаких иллюзий не питал, и потому его «Белая гвардия» — это роман о конце жизни. Для тех, кто, подобно Булгакову, уцелел физически, это все равно был конец жизни: разрушалось все то, в чем он вырос, к чему был подготовлен всей системой воспитания, общения с близкими, образованием и усилиями, направленными на свое внутреннее развитие. Такое разрушение социальной среды обитания влечет за собой и разрушение самого смысла существования. Физически сохранить себя в изменившихся условиях человек может. Но будет ли он при этом тем, кем он был до катастрофы? Не будет. Не дано.

Поэтому в романе «Белая гвардия» отношение автора к происходящему вполне открытое. О подлинной глубине трагедии говорит картина, завершающая роман. Эту картину не обошел ни один исследователь. Но сколько исследователей — столько и мнений. Есть даже утверждения, что здесь Булгаков недвусмысленно выразил свои симпатии большевикам. Прошу мне поверить: в чем-чем, но в этом заподозрить Михаила Афанасьевича нельзя никак! Вспомним: бронепоезд в ночи под Городом, нацеленные на Город пушки, красный Марс в небе и замерзающий на морозе часовой бронепоезда, которому на красном фоне Марса чудится пятиконечная звезда. Это то, что ожидает Город после кошмарной жизни многих месяцев, в течение которых немцы, петлюровцы, разные полубанды непонятного происхождения, белогвардейцы и прочие, сменяя друг друга, входили в Город, расстреливали, мародерствовали, мобилизовывали, реквизировали, снова расстреливали. Но все это, оказывается, еще не кошмар, а лишь предощущение кошмара, которое развеялось и сгинуло перед лицом той силы, что подошла к Городу и притормозила до рассвета.

Роман начинается тихим колокольным звоном воспоминаний героя о похоронах мамы, а кончается погребальным вселенским громом колоколов, возвещающим неминуемую гибель притихшему в ночи Городу.

Таков этот очень сильный, но вполне традиционный для русской литературы роман.

Из многих источников мы сегодня знаем, как в дальнейшем складывалась судьба писателя. Знаем, что как врач он был мобилизован в белую армию и вме-

сте с ней оказался на Кавказе. Знаем, что именно на Кавказе впервые попробовал заняться литературным трудом. Знаем, что писал антибольшевистские статьи и памфлеты. Поэтому имеем все основания предполагать, что после разгрома белой армии Булгаков с необычайной решительностью занялся литературным трудом не только из природной склонности, но, возможно, и с целью как-то себя обезопасить: слишком много там было людей, которые знали (или могли узнать) его как недавнего военного врача в белой армии, а попасть по доносу в ЧК было проще простого. В конце концов именно по этим мотивам он и уехал в 1921 году в Москву, где легче было затеряться и легче было начать жить в новом профессиональном амплуа.

Ему предстояло родиться заново в образе писателя. И он совершил невероятное.

Менее чем за пять лет им было написано несколько повестей, сборник рассказов, превосходный роман и пьеса. (Кроме этого — десятки фельетонов, репортажей и статей, которыми Булгаков добывал средства к существованию. Литературная поденщина вызывала у него отвращение: человеку его дарования всегда трудно разменивать себя на мелочи.) Тем не менее в считанные годы он совершил чемпионский рывок: к началу тридцатых годов это был писатель с европейским именем.

Остальное последовало неотвратимо. На фоне потока новых людей, хлынувших из разных общественных слоев в сферу литературы и искусства, он выделялся не только силой таланта (этого современники часто оценить не в состоянии), но главным образом уровнем культуры. Той культуры, которую представители победивших классов иначе, как буржуазной, не называли и в полном разрушении которой видели смысл своего существования. Это был последний барьер, стоявший на пути полного восторжествования партийной идеологии. Позднее партийная идеология научилась использовать русскую классику в нужных ей целях, проторив к ней свои методологические подходы, с помощью которых по лучшим образцам средневековой схоластики «доказывалось», что русская дореволюционная классика исторически подготавливала конечное торжество пролетарской культуры.

Само рождение пролетарской культуры как общегосударственной оказалось возможным только при условии разрушения культуры общенациональной, в которую первая некогда входила скромной составной частью. И вот в этот период на этом фоне вдруг открыто, с потрясающей откровенностью, возникает обломок «проклятого прошлого» — классово-чуждый писатель. Не могло быть ничего другого, что было бы способно отвлечь от внутренних распрей и объединить все внутрипролетарские течения, кроме как борьба с «проклятым прошлым», если это прошлое себя обнаруживает.

Помните беседу героев повести «Собачье сердце» — профессора Преображенского и его ассистента доктора Борменталя? Помните рассуждения профессора о разрухе? «Это вот что: если я, вместо того, чтобы оперировать каждый вечер, начну у себя в квартире петь хором, у меня настанет разруха. Если я, входя в уборную, начну, извините за выражение, мочиться мимо унитаза и то же самое будут делать Зина и Дарья Петровна, в уборной начнется разруха. Следовательно, разруха не в клозетах, а в головах».

Читая это сегодня, мы вполне постигаем логику рассуждений профессора и не чувствуем себя классово оскорбленными. За шестьдесят с лишним лет мы все же ощутимо продвинулись и, может быть, даже созрели до понимания того, что семь комнат в квартире, которая одновременно является и хирургической клиникой, не такая уж, в сущности, роскошь, как это виделось революционному домкому и его председателю Швондеру. Да что там семикомнатная квартира профессора, если мы в последние годы то и дело читали в газетах о том, что какой-нибудь областной, городской или районный функционер взял да отгрохал себе особнячок! При этом мы прекрасно понимаем, что отгрохал отнюдь не на зарплату. Понимаем также, что хирургических операций в своем особнячке функционер не делает, а просто столь восхитительно откровенным образом заботится о себе и своем семействе, оценивая сам свои заслуги и находясь в ладу с самим собой... А тут — в повести — является некто с красной повязкой на рукаве и с позиций своего классового сознания пытается оттяпать у профессора комнату-другую. Но профессор никак не может вникнуть в эту «классовую правоту», а мы посмеиваемся...

Природа этого конфликта — вечна, и подобное часто происходит на наших глазах. С этой точки зрения любопытно взглянуть на работу, скажем, любой сессии Верховного Совета. Чаще всего даже самые искренние депутаты расходятся во взглядах именно потому, что по-разному видят сложность той или иной обсуждаемой проблемы. Профессионалы — политики, юристы, экономисты — видят глубже и дальше. Но их в зале меньше, чем остальных. А большинству кажется, что расхождения происходят по партийно-политическим мотивам. И они утверждают, что их консолидация происходит именно на сходстве идеологических позиций. На самом же деле они объединяются даже не по общности интересов, как это может показаться, а по глубине постижения проблем.

Теперь представьте, каков был этот — усредненный — уровень лет шестьдесят назад, если в стране пришлось ввести ликбез. Представьте тот поистине кос-

реалиста определяется, в сущности, однозначно: максимально достоверно отобразить драматическую действительность реального мира. В такие периоды многие реалии бытия приобретают для искусства самостоятельную художественную ценность. Отсюда — умеренность и осторожность во всем, что касается образности. (Сравните с «Мастером»: там все или почти все построено на высочайшем умении использовать силу образных средств.)

«Белая гвардия» — роман об историческом потрясении. В принципе Булгакову удалось изобразить именно то, что предчувствовал и о чем пророчествовал Блок. Но здесь нет никакого романтического пафоса. Роман написан человеком, который как бы видит наплывающее химическое облако, не зная, сможет ли он в этом облаке дышать, не желая погибать от удушья и, вопреки всему, на что-то надеясь. Эта надежда есть последний рубеж, на котором человек способен сознавать, что он еще жив.

Психологически в романе не существует дистанции между автором и героями. Хотя роман написан от третьего лица, и автор мог бы дистанцироваться от героев, он такой возможностью не воспользовался. Да и как он мог воспользоваться ею, если изображал гибель той части общества, к которой принадлежал сам?

Роман «Белая гвардия», может быть, единственный в советской литературе «деполитизированный» роман о революции и гражданской войне. Дело в том, что практически вся советская литература о гражданской войне изображала противоборство сторон как проблему выбора. Более того, человек был как бы обязан сделать выбор. Порой официальная советская литература демонстрировала понимание психологической сложности подобного шага и признание права человека на ошибку. Подобным образом изображен, к примеру, Вадим Рощин в романе «Хождение по мукам». Но давая время героям на колебания и ошибки, сами авторы, как правило, заранее знали нужный ответ. Такова вся наша литература о гражданской войне, за исключением, быть может, «Тихого Дона», где проблема выбора изначально представлена как сомнительная. Главное же в том, что литературой не только утверждалась необходимость выбора, но даже указывалось некое пространственное разделение зон — для «своих» и для «чужих».

Булгаков же происходящее изображает как всеобщую трагедию именно потому, что для него, как и для миллионов других, выбора не было. Выбора не было потому, что сам факт свершения революции мог быть означен только актом уничтожения той социальной среды, к которой принадлежали герои «Белой гвардии» и сам автор. Компромисса с миллионами людей, которые вовсе не хотели погибать и готовы были многим пожертвовать (прежде всего положением привилегированного слоя и благосостоянием), но при этом жить в своей стране, работать на ее благо и содержать себя собственным трудом — такого компромисса новая сила, возникшая на классовой идеологии большинства, признать не могла. Стало быть, и проблемы выбора не было. Тот, кто не смог этого понять в семнадцатом, понял в тридцать седьмом.

Надо отдать должное Булгакову: он с самого начала никаких иллюзий не питал, и потому его «Белая гвардия» — это роман о конце жизни. Для тех, кто, подобно Булгакову, уцелел физически, это все равно был конец жизни: разрушалось все то, в чем он вырос, к чему был подготовлен всей системой воспитания, общения с близкими, образованием и усилиями, направленными на свое внутреннее развитие. Такое разрушение социальной среды обитания влечет за собой и разрушение самого смысла существования. Физически сохранить себя в изменившихся условиях человек может. Но будет ли он при этом тем, кем он был до катастрофы? Не будет. Не дано.

Поэтому в романе «Белая гвардия» отношение автора к происходящему вполне открытое. О подлинной глубине трагедии говорит картина, завершающая роман. Эту картину не обошел ни один исследователь. Но сколько исследователей — столько и мнений. Есть даже утверждения, что здесь Булгаков недвусмысленно выразил свои симпатии большевикам. Прошу мне поверить: в чем-чем, но в этом заподозрить Михаила Афанасьевича нельзя никак! Вспомним: бронепоезд в ночи под Городом, нацеленные на Город пушки, красный Марс в небе и замерзающий на морозе часовой бронепоезда, которому на красном фоне Марса чудится пятиконечная звезда. Это то, что ожидает Город после кошмарной жизни многих месяцев, в течение которых немцы, петлюровцы, разные полубанды непонятного происхождения, белогвардейцы и прочие, сменяя друг друга, входили в Город, расстреливали, мародерствовали, мобилизовывали, реквизировали, снова расстреливали. Но все это, оказывается, еще не кошмар, а лишь предощущение кошмара, которое развеялось и сгинуло перед лицом той силы, что подошла к Городу и притормозила до рассвета.

Роман начинается тихим колокольным звоном воспоминаний героя о похоронах мамы, а кончается погребальным вселенским громом колоколов, возвещающим неминуемую гибель притихшему в ночи Городу.

Таков этот очень сильный, но вполне традиционный для русской литературы роман.

Из многих источников мы сегодня знаем, как в дальнейшем складывалась судьба писателя. Знаем, что как врач он был мобилизован в белую армию и вме-

ные времена, но объяснения ему не находил. И вот года три назад нашел, как я считаю, объяснение у... самого Сталина. В журнале «Октябрь» было опубликовано письмо Сталина драматургу Билль-Белоцерковскому, и в письме несколько абзацев посвящено творчеству Булгакова. Письмо датировано 2 февраля 1929 года. То, что касается Булгакова, настолько важно для понимания судьбы писателя, что я часть письма приведу целиком:

«Почему так часто ставят на сцене пьесы Булгакова? Потому, должно быть, что своих пьес, годных для постановки, не хватает. На безрыбье даже «Дни Турбиных» — рыба. Конечно, очень легко «критиковать» и требовать запрета в отношении непролетарской литературы. Но самое легкое нельзя считать самым хорошим. Дело не в запрете, а в том, чтобы шаг за шагом выживать со сцены старую и новую непролетарскую макулатуру в порядке соревнования, путем создания могущих ее заменить настоящих, интересных, художественных пьес советского характера. А соревнование — дело большое и серьезное, ибо только в обстановке соревнования можно будет добиться сформирования и кристаллизации нашей пролетарской художественной литературы.

Что касается собственно пьесы «Дни Турбиных», то она не так уж плоха, ибо она дает больше пользы, чем вреда. Не забудьте, что основное впечатление, остающееся у зрителя от этой пьесы, есть впечатление, благоприятное для большевиков: «если даже такие люди, как Турбины, вынуждены сложить оружие и покориться воле народа, признав свое дело окончательно проигранным, значит, большевики непобедимы, с ними, большевиками, ничего не поделаешь». «Дни Турбиных» есть демонстрация всесокрушающей силы большевизма.

Конечно, автор ни в какой мере «не повинен» в этой демонстрации. Но какое нам до этого дело?»

Тут есть все.

Есть идеологическая максима (мысль о необходимости «выживать со сцены старую и новую непролетарскую макулатуру», к которой относится и пьеса «Дни Турбиных»). Есть некорректный, демагогический прием, когда вместо того, чтобы подыскивать аргументы в пользу того, что желательно утвердить — то есть в пользу пролетарской литературы, утверждение строится «методом от противного»: применяются уничижительные характеристики по отношению к оппоненту («на безрыбье даже «Дни Турбиных» — рыба»). Наконец, есть поистине иезуитское лукавство в том, что, подчеркнув пунктом первым незыблемость идеологической чистоты в литературе («непролетарская макулатура»), Вождь позволяет себе войти в некоторое противоречие с самим собой, заявляя о пьесе Булгакова, что «она не так уж плоха»...

Это непролетарская-то макулатура?!

Но слово сказано. Поэтому тут же следует аргумент, конечно же, чисто идеологический, ибо концы с концами надо связывать. Стало быть, «не так уж плоха» потому, что «основное впечатление... есть впечатление, благоприятное для большевиков». И, чтобы не возникало сомнений в том, что Вождь чего-то недоговаривает, следует тезис (вероятно, уже для самых несчастных тугодумов) о том, что «Дни Турбиных» есть демонстрация всесокрушающей силы большевизма». Ну, тут уж кем надо быть, чтобы после подобных разъяснений задавать еще какие-то вопросы! Но они возникают...

В частности, после того, как уже решено, что изображена именно «всесокрушающая сила», а не что-то иное, почему потребовалось напоследок пнуть сапогом автора, выставляя его совершеннейшим идиотом, который сам не ведает, что творит? Неужели только потому, чтобы не заподозрили в повышенном интересе именно к этой «непролетарской» пьесе или — упаси Бог! — к самому автору, который хоть и классово чуждый, однако умудрился потрафить общему делу и ему, Вождю Большевиков, в большей мере, чем целая толпа преданных неофитов?

Но оставим вопросы. В письме Билль-Белоцерковскому есть нечто более существенное. Вот оно: «...если даже такие люди, как Турбины...»

Почему «даже»? Кто такой — по пьесе — Алексей Турбин?

Обыкновенный русский интеллигент. Не политик — кадровый офицер. Для него, русского офицера, первыми и очевидными врагами являются германские оккупационные войска, хоть они и поддерживают «законное» правительство — гетмана. Врагами для него являются сечевики, петлюровцы, вообще всякие самозванцы. Их претензии на Город он рассматривает не как политические, а как чисто мародерские, поэтому и предпринимает меры по обороне Города. Но в самом главном — в отношении к Красной Армии — его даже нельзя считать контрреволюционером. Конечно, большевизм, под знаменами которого к Городу приближается Красная Армия, для него — явление чуждое. Но при этом он не ведет себя, как какой-нибудь корнет или поручик, у которого крестьяне сожгли имение. В том-то и дело! Полковник Турбин понимает, что Красная Армия — это не взбесившиеся националисты и даже не какое-то «обиженное» сословие. Это народ. А воевать с собственным народом он, русский офицер, не может. Вот что он говорит своим юнкерам по поводу белогвардейских объединений на Дону: «Они вас заставят драться с собственным народом. А когда он вам расколет головы, они убегут за границу... Я знаю, что в Ростове то же самое, что и в Киеве...» И дальше: «Мне, боевому офицеру, поручили вас толкнуть в драку. Было бы за что! Но не за что.

Я публично заявляю, что я вас не поведу и не пущу!»

Вот такой этот классовый враг. Конечно, это не означает, что обстоятельства не приводили таких, как полковник Турбин, в Добровольческую армию. Когда ты знаешь, что твоим убеждениям никто интересоваться не будет и что тебя расстреляют только за то, что ты офицер царской армии,— поневоле пойдешь воевать, защищая свою жизнь. Очень многие офицеры и оказывались в белой армии по этой причине. Но с Турбиным Булгаков до этого дело не довел, полковника убивают ворвавшиеся в Город петлюровцы. Суть же в том, что в побудительно-нравственном плане принять однозначное решение — красные или белые—такой офицер, как полковник Турбин, не мог. В этом трагизм момента для героя и весь его исторический драматизм.

И тут я хочу заметить, что невольное сталинское «даже» может означать только одно: Сталин никогда не знал тех, с кем боролся. Выросший в провинциальном грузинском городке, рано занявшийся подпольной работой, он в лучшем случае имел представление о тех российских интеллигентах, которые посвятили себя политической деятельности под флагом российской социал-демократии. Но то была очень небольшая, обособленная и весьма специфическая часть русской интеллигенции. Вероятно, именно общение с этой узкопартийной группой выработало у Сталина способность мыслить политическими абстракциями: «классовый гнет», «классовый враг», «диктатура класса», которыми вульгарное сознание расчленяет миропорядок, как клиньями.

Представим на мгновение, что Сталин увидел — может быть, впервые — образ того, кого он привык считать классовым врагом. И, что важно, этот классовый враг впервые существовал за пределами политизированного партийного сознания. Вероятно, Сталин не раз мог сравнить этого русского полковника, на которого всей тяжестью обрушился разлом государства, с теми, кого он считал соратниками и кто составлял его ближайшее окружение. Вождю нельзя было отказать в изощренной природной способности оценивать сильные и слабые стороны людей, и потому, глядя и глядя на полковника, он мог услышать свой внутренний голос: «Кого мы победили!»

Он наверняка попал в трудно объяснимую, но явную зависимость от полковника Турбина. Когда полковник исчез со сцены и тут уже — вне всяких сомнений! — следующим в очереди стал сам автор, Вождь мимоходом спросил: почему это перестали во МХАТе играть «Дни Турбиных»?.. Скольких бывших белогвардейских полковников уже пустили и еще пустят в расход по явному и неявному желанию Вождя! Но этого — который жил только на сцене — он не хотел отдавать... Полагаю, что привязанность Сталина к спектаклю в основном и определила судьбу Булгакова.

Чем не Понтий Пилат? Разумеется, на другом витке истории. Тому тоже не хотелось отправлять на Голгофу некоего философа Иешуа Га-Ноцри. Но римлянин не обладал верховной властью — он был всего лишь наместником цезаря. Поэтому он и не осмелился сделать того, что позволил себе наш, отечественный Пилат, над которым ни римских и никаких других цезарей не было. Результатом всех косвенных и прямых взаимоконтакт (почтово-телефонный контакт), на мой взгляд, было то, что Булгаков по крайней мере мог надеяться, что без высшей санкции его не тронут. Что же касалось этой самой высшей инстанции, тут можно лишь заметить, что в свое время высочайший личный цензор великого поэта был более надежным партнером.

Таким образом, Булгакову было позволено существовать в ограниченном пространстве. Не за проволокой, но тем не менее где-то рядом с ней. Он не сразу это понял, потому что человеку свойственно надеяться на лучшее. Но со временем понял.

Его не убивали примитивно, как тысячи и тысячи других. То, что с ним делали, походило скорее на медленное удушение, к которому на каком-то этапе можно даже привыкнуть, но избежать которого нельзя. Практически ничего из того, что было им написано начиная с 1925 года, он не увидел изданным в СССР.

Невостребованное творение — творение умершее. «Рукописи не горят» — это о другом. Это — выражение почти религиозной веры в свои силы и надежда на то, что будущее востребует твой труд. Надежда и вера, потому что получить подтверждение из будущего смертному не дано.

Он жил, работал, имел имя, но в этом лучшем из миров его произведений не существовало, как будто все, что он делал, накапливалось в некоем подпространстве, в виде духовной субстанции, которая никак не могла быть материализована. **«...Я — МИСТИЧЕСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»**,— сообщал он Правительству СССР, вкладывая в эти слова определенный смысл, разъясняющий суть его художественного метода. Но, глядя на его жизнь со стороны, можно придать этому самоопределению и самый прямой смысл. Ибо личность, которая по всем формальным признакам существует, но при этом ее существование никак духовно не обозначено,— личность вполне мистическая.

Из дневника Елены Сергеевны видно, что Булгаков никого не боялся. Все верно, если говорить о гражданском мужестве. Человек, находящийся в обществе на положении изгоя, должен стараться это общество не раздражать. А он раздражал абсолютно всем. Своим аристократическим внешним видом. Своей

манерой с холодной вежливостью держать собеседника на дистанции. Своей откровенной независимостью.

В те годы, когда любой, даже случайный контакт с иностранцем (помните: «Никогда не разговаривайте с неизвестными»? — это о том, о том!) использовался тайными службами как законный повод для предъявления обвинений по самым страшным статьям (шпионаж, измена родине и т. п.), он открыто принимал приглашения и являлся на дипломатические приемы, общался с иностранными дипломатами и журналистами. Он помогал Анне Ахматовой писать письмо Сталину после того, как в одну ночь были арестованы сразу и ее муж, и сын. Он сопровождал Ахматову, когда она шла отправлять это письмо. Позднее, в страшном 1938 году, хлопотал перед Сталиным за сосланного драматурга Николая Эрдмана.

Так что Елена Сергеевна абсолютно права. Искусственно, на одном лишь природном артистизме, так держать себя годами было немыслимо. Нужно было быть духовно абсолютно свободным человеком. А для этого необходимо было преодолеть куда более сильный страх, нежели элементарная опасность подвергнуться репрессивному воздействию со стороны системы, которая тобою понята и не таит в себе никаких загадок. Тот, более сильный страх, который Булгаков должен был преодолеть,— это ощущение беспомощности перед иррациональностью наступившего времени. Чего это ему стоило — известно. Ну вот записи разных лет из тех же дневников Елены Сергеевны. «Это — вечная ночная тема: Я — арестант... Меня искусственно ослепили...»; «У М. А. плохо с нервами. Боязнь пространства, одиночества»...; «В десять часов вечера М. А. поднялся, оделся и пошел один к Леонтьевым.

Полгода он не ходил один...»; «У М. А. тяжелое настроение духа.

Впрочем, что же — будущее наше, действительно, беспросветно».

Надо заметить, что для миллионов людей это время, которое тихо душило писателя, вовсе не было иррациональным. Легионы стахановцев, комсомольцев на Амуре, на Магнитке, на сталинградском тракторном, более того — сотни тысяч «каналоармейцев» и других рабов ГУЛАГа — все они в массе своей каким-то образом объясняли себе разумность всего происходящего с единственно доступных им позиций классового подхода. Даже когда их набивали в камеры, лишь очень немногие испытывали нечто вроде прозрения, задумываясь над тем, что здесь «что-то не так»... Но большинство продолжало считать, каждый про себя, что лично он жертва судебной ошибки, или клеветы, или того или иного следователя, который «накрутил дело» из карьеристских побуждений... Многие — очень многие! — смиренно списывали свою жизнь в издержки реализации вековой мечты всех обездоленных и угнетенных, несмотря на то, что, пройдя тюрьмы, пересылки и лагеря, получали полное представление о масштабах произвола. Но и это не могло навести ортодоксов на элементарные выводы. От истины их спасало фанатическое убеждение, что масштабы «издержек» согласуются с вселенскими масштабами идеи построения светлого будущего. Поэтому не исключено, что с точки зрения несчастных, которым выпало испытать все проклятие сталинизма на полную, как говорится, катушку, время двигалось вперед, к прогрессу и счастью...

Но для такого человека, как Булгаков, понятие «прогресс» имеет какой-то смысл только как развитие культуры. И сама культура рассматривается как специфическая сфера жизни, в которой фиксируются суммарные достижения цивилизации как таковой. Других реальных понятий об уровне цивилизованности общества просто не существует.

И то, что происходило в стране по мере развития тоталитаризма, можно было считать началом какого-нибудь нового мелового периода... С точки зрения интеллигента, сформировавшегося на высочайшем уровне дореволюционной русской культуры, это была не просто катастрофа. Катастрофу Булгаков изобразил в «Белой гвардии». Это было уже движение времени вспять. Совершенно случайно, уже падая, по странной прихоти диктатора он зацепился на каком-то уступе (я имею в виду историю со спектаклем). Однако все это было очень ненадежно.

В мире, перевернутом с ног на голову, надо было найти какую-то цель, которая вернула бы смысл существования.

Он нашел такую цель. Он создал параллельный мир, который стал его домом. И навсегда остался в том своем мире. И если мы хотим ощутить его присутствие, нам следует идти туда.

Он действительно мистический писатель. Он объявил об этом тогда, когда и сам еще не подозревал, какая работа ему предстоит. Кто это, скажите, может на десять с лишним лет вперед так рассчитать работу, чтобы ее завершение почти день в день совпало с завершением жизни? Да ведь при этом он еще и отвлекался на кое-какие другие дела — на те же пьесы, либретто, другие романы...

Так кто же может так рассчитывать? Из людей никто. Только Воланд. А он Воландом не был.

«Мне кажется почему-то, что вы не очень-то кот,— нерешительно ответил мастер...»

А мне всегда казалось, что роман «Мастер и Маргарита» не очень-то роман... Точнее — не только роман. Есть странные совпадения в судьбах мастера и его автора. Ну, скажем, первое, что лежит в памяти: земная жизнь мастера закончилась, когда он завершил роман о Понтии Пилате. Правда, там была сде-

лана попытка продолжать жить, даже вместе с любимой, но уже вне работы над романом. И оказалось, что это невозможно. Душа мастера ушла в этот роман, да и сам мастер, когда говорит о своей жизни, говорит о романе — всего остального и не помнит толком — отшелушилось, как и не было. И у нас создается ощущение, что вся жизнь мастера — это работа над романом. А он и писал-то его, кажется, год с небольшим... Но в этот срок совершил то, что ему было предначертано свыше, и тем самым исчерпал смысл своего пребывания на земле. А Булгаков? Разве его собственная судьба не пошла по этому сюжету? Одного этого вполне достаточно для того, чтобы вглядеться в роман попристальнее.

4

Попытайтесь припомнить, попадался ли вам когда-нибудь в руки какой-нибудь другой роман, в котором главный герой впервые появляется едва ли не в середине. Ну, пусть не совсем в середине. Пусть в главе тринадцатой. Вы целиком захвачены происходящим, вы видите толпу персонажей—тут и редактор с поэтом, и нечистая сила, тут уже намечается возмущение спокойствия в государственной сфере, представленной мощной организацией МАССОЛИТ (по-нашему, по-простому, Союз писателей), за которой могучими очертаниями встает сама Белокаменная — символ государства,— короче говоря, такая началась заварушка, что дух перевести некогда,— и все это, оказывается, без главного героя!.. Чтобы герой вдруг, совершенно неожиданно объявился и чтобы при этом не обнаруживался какой-нибудь композиционный дефект? Нелогично!

Конечно, нелогично, если иметь в виду законы композиции, действующие в прозаических жанрах. Но дело в том, что этот роман построен по законам композиции не прозы, а драматургии. В литературе сколько угодно случаев, когда один и тот же писатель пишет и прозу, и драматургию. Но, переключаясь с одного вида литературы на другой, он, как правило, меняет и «набор инструментов». А тут этого не произошло. Потому что в данном случае речь идет не о литературной технике и даже не о понимании тех или иных законов жанра, а о природных особенностях авторского мироощущения. О формах, в которых это мироощущение выражалось.

Познавать миропорядок можно по-разному. Можно — умозрительно, через систему абстракций и символов, объединенных в концепции с помощью строгих логических переходов. Такова философия. Можно — через систему графической или словесной образности — таковы живопись и литература. Но можно воспринимать мироздание как сложнейшую архитектурную модель, как систему объемов; можно воспринимать мир внутренним осязанием как богатейшую гамму пространственных вариаций. Самую простую модель такого, пространственного, видения мира представляет собой, как ни странно, обыкновенная театральная сцена.

Возможность видеть все происходящее в заданном объеме, способность использовать глубину пространства для решения не только изобразительных, но и философских задач, очевидно, как-то по-своему была открыта и прочувствована Булгаковым и, судя по всему, серьезно его занимала. Настолько серьезно, что эту, в общем-то чисто техническую подробность он внес в «Театральный роман»: «...Тут мне начало казаться по вечерам, что из белой страницы выступает что-то цветное. Присматриваясь, щурясь, я убедился в том, что это картинка. И, более того, что картинка эта не плоская, а трехмерная. Как бы коробочка, и в ней сквозь строчки видно: горит свет и движутся в ней те самые фигурки, что описаны в романе».

А вот глобус Воланда: «— Вот, например, видите этот кусок земли, бок которого моет океан? Смотрите, вот он наливается огнем, там началась война. Если вы приблизите глаза, вы увидите и детали.

Маргарита наклонилась к глобусу и увидела, что квадратик земли расширился, многокрасочно расписался и превратился как бы в рельефную карту. А затем она увидела и ленточку реки, и какое-то селение возле нее. Домик, который был размером в горошину, разросся и стал как спичечная коробка...» — ну и так далее. Вам это ничего не напоминает?

Ну, конечно же! Разумеется, в какой-нибудь телепередаче типа «Человек — Земля — Вселенная» вы уже не раз слышали рассказы космонавтов о том, как выглядит Земля, если рассматривать ее поверхность через иллюминатор орбитальной станции. Они рассказывают то же самое. Но ведь они — летчики, инженеры, врачи — не писатели. Они визуально наблюдают ту самую картину, которую Булгаков описал, но которую он видеть глазами не мог. Здесь мы явно имеем дело с тем довольно редким свойством, которое я пытался обозначить как возможность внутренне осязать мир в беспредельном сочетании пространственных вариаций. Это не столько художественное, сколько абсолютно реальное видение, которое должно подтвердиться обычным наблюдением.

В «Театральном романе» описано внезапное тайное открытие. Это момент, равносильный осмыслению факта своего рождения. «Когда затихает дом и внизу ровно ни на чем не играют, я слышу, как сквозь вьюгу прорывается и тоскливая и злобная гармоника, а к гармонике присоединяются и сердитые и печальные голоса и ноют, ноют. О нет, это

не под полом! Зачем же гаснет комнатка, зачем на страницах наступает зимняя ночь над Днепром, зачем выступают лошадиные морды, а над ними лица людей в папахах. И вижу я острые шашки, и слышу я душу терзающий свист...

...Всю жизнь можно было играть в эту игру, глядеть в страницу... А как бы фиксировать эти фигурки? (Вот оно! Открытие свершилось, но как его использовать? — А. Ш.). Так, чтобы они не ушли уже более никуда?

И ночью однажды я решил эту волшебную камеру описать» (разрядка моя.— А. Ш.).

Булгаков вспоминал свое давнее состояние. Тот момент, когда его творческая природа открылась перед ним как природа драматурга. Но когда он это описывал, он уже умел пользоваться «волшебной камерой» в полной мере.

5

Представьте, что, подобно автору, мы способны наблюдать, как отлитый в строчках текст вдруг начинает преображаться в движущиеся картинки. Только теперь перед нами не «Белая гвардия», а «Мастер и Маргарита». И когда мы переворачиваем титульный лист, мысленно мы как будто поднимаем занавес. Что мы видим?

Видим пруд. Сквер. Пустынные аллеи. Ларек с газированной водой. Скамейку в сквере. И двух человек на скамейке: один — редактор литературного журнала, другой — помоложе — поэт. Мы слышим, о чем они разговаривают. Издали появляется фигура третьего. Этот третий приближается, присаживается на скамейку рядом с двумя первыми, вступает в беседу — и так далее, по тексту.

Мы видим классический первый план. Только не пьесы, а романа. Этот план стремительно разворачивается в мощный сюжетный пласт — со своими героями, со своей интригой. Фактически под первым планом можно подразумевать все, что связано с пребыванием Воланда в Москве без участия мастера. Да и по сюжету Воланд ведь узнает о существовании мастера только после Великого бала — от Маргариты, так что эти темы (Воланд — Москва и Воланд — мастер) даже по всем формальным признакам разделены и относятся к разным сюжетным пластам. Заметим, что и Воланд в этих разных пластах предстает перед нами по-разному.

Как сделан первый план? Тот, что наиболее открыт, наиболее популярен, цитируем и ценим основной массой поклонников романа?

Он сделан как блистательное шоу, ревю, как классическая комическая оперетта, то есть по лучшим образцам легкого и — рискнем — чисто ассоциативно-музыкального жанра, который всегда собирает самую массовую и самую демократическую аудиторию. Весь природный артистизм Булгакова, его непреодолимая склонность к мистификациям и розыгрышам в те счастливые моменты жизни, когда душа его избавлялась от гнетущего состояния,— все то редкостной силы обаяние, в котором время от времени буквально купались его друзья и близкие,— все это сделало первый план неотразимым. Почувствовав с первых же страниц эту атмосферу, читатель просто не в силах из нее выйти, и многие пребывают в ней до самого финала, не всегда отдавая себе отчет в том, что это блистательное ревю имеет в романе как минимум две равновеликие функции. Одна — явная — видна всем. Другая — функция маскарадного костюма, функция элементарного прикрытия — воспринимается далеко не каждым. А ведь суть романа именно в том, что прикрыто этим обворожительным первым планом.

Открытое вмешательство нечистой силы в бытовую жизнь граждан, моментально узнаваемую даже в наше время, как бы предлагает читателю условие веселой игры. Игры фантасмагорической, самим этим условием исключающей элемент подлинности происходящего. Смерть в игре не воспринимается как смерть: отрезанная голова Берлиоза — не трагедия, потому что сам Берлиоз — опереточный персонаж, манекен, одетая в костюм редактора кукла. Потому смотрим дальше: смотрим, как другой опереточный персонаж пытается поймать нечистую силу!

Незаметно, по воле автора, и мы становимся участниками шоу. Охотно принимаем игру, втягиваемся в нее, до поры не замечая, как в это же увлекательное действо из неощущаемой нами глубины то здесь, то там, пока еще очень осторожно, эпизодически, вкрапливается жестокая и совершенно безусловная реальность, которая уже никуда не исчезает, когда весь разыгранный спектакль дойдет до финала.

Это делается чисто сценическими приемами.

Скажем, на переднем плане сцены идет диалог героев. При этом режиссер может «привязать» ваше внимание к персонажам не только содержанием диалога, но и техническими средствами. Ну, самое простое: убрать свет из глубины сцены, а на беседующих актеров направить два резких луча, подчеркивающих световой контраст между первым планом и тем, что происходит в глубине. Как правило, в затемненном пространстве могут происходить какие-то подготовительные работы, которых зрителю видеть не надо. Такова в принципе нормальная логика реализации самого важного.

Но нормальная логика предполагает наличие нормальных условий. То есть того, чего у Булгакова никогда не было. В таком случае представьте себе единственно возможное обратное решение: создать контраст, чтобы отвлечь вни-

мание от главного. Другими словами — выбросить на поверхность нечто яркое и привлекательное, причем — сработанное по первому классу, иначе весь замысел сорвется! — а самое важное оставить в затемненной глубине. Но затемнить с таким расчетом, чтобы читатель, который догадается о принципе построения, мог ясно рассмотреть и тот второй, более глубокий, горизонт... Однако полагаться в таком деле на волю случая нельзя. Стало быть, в первом, освещенном, плане должно быть что-то такое, что должно побудить читателя всматриваться повнимательнее в затемненную глубину.

Давайте проверим.

Что больше всего угнетало Булгакова, доводило его до нервного истощения, до утраты смысла работы и существования вообще? Пожизненная идеологическая блокада, которая перекрыла ему все пути к читателю? Блокада — это результат. Угнетало его ощущение своей поднадзорности как постоянное доказательство его несвободы. В частности, угнетало понимание, что он живет в Эпоху Всеобщего Доносительства и всесилия тайных служб. Угнетала двуличность общества, в котором нельзя было быть самим собой и которое самые страшные пороки человеческой природы оценивало как добродетель.

Так вот: в «Мастере и Маргарите» нет ни одной главы, где не присутствовала бы тема доносительства и тайного сыска. И эта тема решается в двух вариантах: в игровом — открытом, и в реалистическом — полузакрытом втором плане.

К открытому плану можно отнести все, что касается хода следствия по «Делу Воланда и компании». Одна из самых ярких иллюстраций этого плана — попытка чекистов заловить кота в «нехорошей квартире». Полагаю, что и в подобных веселых сценах был немалый вызов всесильному ведомству, ибо ни ежовские, ни бериевские работники, наводившие ужас на всю страну, конечно же, не привыкли воспринимать себя в роли комических персонажей. Однако тут по крайней мере у Булгакова оставался какой-то маневр для отхода: разве чекисты не понимают шуток?.. Но вот второй план, затененный, связанный с жизнью мастера и вполне реалистическими сторонами бытия, уже всякие защитные маневры исключал начисто.

Этот более глубокий план в начале всех событий просачивается в роман безымянным вкрадчивым голосом. Помните, что было, когда Иван Бездомный, в подштанниках, с иконкой и зажженной венчальной свечкой, появился, наконец, в ресторане писательского дома? Он пытался рассказать об иностранце-консультанте, который убил Берлиоза, и предлагал всем немедленно заняться отловом иностранного профессора. И во время этой речи... Впрочем, вот текст:

«— Виноват, виноват, скажите точнее,— послышался над ухом Ивана Николаевича тихий и вежливый голос.— скажите, как это убил? Кто убил?

— Иностранный консультант, профессор и шпион! — озираясь, отозвался Иван.

— А как его фамилия? — тихо спросили на ухо».

Бог с ним, с голосом. Допустим, находится человек по служебным обязанностям в писательском ресторане. Писатели ведь не только пишут. Они ведь еще и разговаривают. Ну, да ладно. Посмотрим дальше. Помните, как Азазелло уговаривал Маргариту пойти к Воланду? И как он ей процитировал абзац из романа мастера? А как Маргарита реагировала, помните? Вот как: «— Я ничего не понимаю,— тихо заговорила Маргарита Николаевна,—про листки еще можно узнать... проникнуть, подсмотреть... Наташа подкуплена? да?» Все самые страшные мысли — все о том же. «Скажите мне, кто вы такой? Из какого вы учреждения?»

Но и это мелочи, как и бесконечные «фигуры», молчаливо переминающиеся с ноги на ногу то в подворотне, то в подъезде, то ковыряющие радиатор под видом сантехников. Таких мелочей полно рассыпано по всему роману. Ну, а вот как мастер-то попал в сумасшедший дом?

Если вы мне ответите, что мастер имел неосторожность напечатать часть романа, после чего его начали публично травить в газетах, а травля довела его до нервного истощения... Если вы скажете также, что мастер стал испытывать непонятные страхи, галлюцинации, что в один несчастный вечер он сжег роман и в конце концов сам пришел в сумасшедший дом, то я замечу, что из вашего рассказа выпала одна неброская, но существенная деталь.. Вы упустили из виду, что некий знакомец мастера, по имени Алоизий Могарыч, написал на мастера донос, после чего мастер попал туда. И об этом он сам рассказывал впоследствии Иванушке в сумасшедшем доме: «— Через четверть часа после того, как она покинула меня, ко мне в окна постучали...

То, о чем рассказывал больной на ухо, по-видимому, очень волновало его. Судороги то и дело проходили по его лицу. В глазах его плавал и метался страх и ярость».

Всего несколько строк....

Так вот, забрали мастера, как он сам помнил, «в половине октября», а выпустили «в половине января, ночью, в том же самом пальто, но с оборванными пуговицами...» Мастеру, конечно, очень повезло: оттуда обычно не возвращались, а его, вероятно, за ненадобностью, выкинули через три месяца как сумасшедшего. Но ему тех трех месяцев вполне хватило, о чем можно судить по судорогам, страху и ярости. А вот когда он уже вышел оттуда и обнаружил,

что его подвальчик заселен, вот тогда только он пришел к выводу, что на всем свете есть только одно место, где он может находиться. И пошел в сумасшедший дом. Так что нервное истощение — это только полдела. Нервное истощение в конце концов можно пережить. Булгакову это было хорошо известно. Но когда еще добавляется Лубянка (или Лефортово?) — то это уже, как говорится, совсем по другому разряду... Да и Воланд, прошу обратить внимание, Воланд, который никогда не ошибался, впервые увидев мастера, единственный раз во всем романе заговорил языком автора: «— Да,— заговорил после молчания Воланд,— его хорошо отделали». Казалось бы, что ему-то, Князю Тьмы, вечному гению зла, еще одно мелкое человеческое злодейство? Однако же — сочувственно обратил внимание... И «отделали», конечно, не в сумасшедшем доме, который в глазах врача Булгакова был только клиникой, приютом скорби, дай нам Бог дожить до таких клиник, какая изображена в романе!

Вообще отметим, что в романе по прямому приказу Воланда был убит только один человек, и этот факт стоит того, чтобы поинтересоваться: за какие прегрешения?

Убит был барон Майгель. Доносчик. Штатный осведомитель. Прошу также отметить, что ни один приличный человек в романе от рук Воланда не пострадал. Правда, приличных людей в романе очень немного. Это закономерно, ибо изображено порочное общество. Поэтому число пострадавших от Воланда столь велико. Важно здесь то, что при всем разнообразии наказаний высшей меры удостоился только один: доносчик. (То же, кстати, можно сказать и об Иуде, если рассматривать сюжет романа мастера). В глазах Булгакова это был смертный грех. Потому в романе кара следует не только за донос, но и за намерение донести. Вспомните судьбу Варенухи, который, несмотря на своевременное предупреждение по телефону, все-таки понес лиходеевские телеграммы-молнии куда следует. Что из этого вышло? Как вы помните, Варенуха был перехвачен Бегемотом и Азазелло в общественном туалете и, хотя наказание ему уже было определено (и не слабое: предстояло поработать обыкновенным вампиром), оба приятеля, так сказать, в инициативном порядке, от чистого сердца врезали ему по уху... (Каждый раз, когда дохожу до этой коротенькой воспитательной сценки, почти физически ощущаю, с каким удовольствием Булгаков ее писал.)

Таким образом, если, говоря языком булгаковского героя, «глядеть в страницу», можно проследить абсолютно реалистический второй план и понять, как могут чисто драматургические принципы «работать» в прозаическом произведении. Это необходимо было выяснить еще и для того, чтобы убедиться, что булгаковская проза в «Мастере» не имеет ничего общего с так называемой эзоповской манерой письма. Манерой, построенной на применении аллегорий, намеков, моментов акцентированного умалчивания, на всем том, что опирается в первую очередь на осмысление подтекста. Слабость эзоповской манеры состоит именно в расчете на подтекст. Подтекст у каждой эпохи свой. Уходит эпоха — уходит и подтекст, без которого некоторые ранее известные произведения в прямом восприятии просто перестают существовать.

У Булгакова все входит в текст. Форма повествования рассчитана на ассоциативное восприятие. При этом пределы ассоциативности жестко ограничены мелкими, но точными реалистическими деталями — мы это только что видели.

Булгаков был первым, кто совершенно осознанно изобразил это общество в целом, как общество патологическое. Причем изобразил тогда, когда само общество еще не имело никаких критериев (исторически не успело накопить) и считало себя вполне здоровым. По этой причине скорее всего роман о Мастере— будь он напечатан в конце тридцатых годов — был бы отвергнут общественным сознанием. Со временем, когда едва ли не треть населения страны усвоила опыт лагерной и ссыльной жизни, появилось и осознание кризиса. Тогда и возникли произведения, в которых болезненные процессы, подорвавшие общество изнутри, уже изображались в традиционной реалистической манере: обществу потребовалось конкретное знание, без которого оно просто может не выжить.

Но Булгаков, понимая все происходящее не хуже, чем мы сегодня, воспринимал все несколько по-иному. Он воспринимал это как абсурдное иррациональное бытие. А сие — родная стихия дьявола. Потому дьявол как одно из ведущих действующих лиц появился здесь не случайно. Его необходимость Булгаковым была интуитивно осознана раньше того, чем появилась фигура мастера, которая потом встала в центр. Неожиданный (и потому очень сильный) результат проявился в том, что вызванный Булгаковым Князь Тьмы при ближайшем рассмотрении оказался хоть и темен душой, но при этом настолько величествен, что та московская жизнь, та сталинская Москва, в которой он вынужден был задержаться, чтобы в ночь полнолуния дать свой традиционный бал, никаких чувств, кроме устойчивой брезгливости, у него вызвать не могла.

Оказалось, что булгаковский мастер живет в насквозь порочном мире, не имеющем будущего. Этот мир, говоря языком автора, покрыт «гниловатой плесенью». То есть являет из себя нечто родственное тому самому вечному тлену и праху, из которого Воланд раз в году извлекает погибшие души, должно быть, для того, чтобы, окинув мертвым глазом свое поистине вселенское кладби-

ще, убедиться, что порядок в мироздании незыблем. По крайней мере — в той своей части, которая на весь срок, отпущенный роду человеческому, отдана ему, Воланду, под надзор.

Потому вопреки расхожим поверьям о губительном лике черной силы булгаковский Воланд совсем не агрессивен, в чем-то даже по-отцовски снисходителен, а временами благороден и щедр. Краткое пребывание в Белокаменной должно было убедить его в том, что здесь — все в порядке. Что балом правят шустрые ребята, которые руками миллионов подданных без устали торят прямую дорогу в ад. Что работа идет дружно и с песнями, а достигнуто это незамысловатым трюком: там, где во все времена было начертано «Ад», здесь намалевали наскоро «Рай». Этот номер был, пожалуй, почище тех, что выкидывали Фагот с Бегемотом...

Булгаковский Воланд попал в странную ситуацию: работа по совращению душ, так сказать, в порядке массового оболванивания граждан, здесь уже сделана другими, и Воланду остается только выносить приговоры, что он и делает. Сложности у него возникают лишь с мастером и его возлюбленной. М. Чудакова в своей книге о Булгакове утверждает, что мастер не заслужил света, а только покой потому, что пользовался услугами Воланда. «Мастер слепо идет туда, куда направляет его Воланд»,— пишет М. Чудакова. Подобное объяснение никак нельзя принять. Скорее уж Маргарита должна была стать законной добычей Воланда, поскольку, согласившись быть королевой на балу сатаны, она, как некогда Фауст, подписала известный контракт. Пусть не кровью — в наш век это было бы чистым анахронизмом. Тут важен сам факт сделки с дьяволом. Но Высший Суд принял во внимание *мотивы* поступка. А мотивом была любовь, то есть чувство, посеянное самим Создателем, в отличие, скажем, от Фауста, которым двигало тщеславное стремление вкусить плоды познания в тех сферах, куда доступ смертному воспрещен. Поэтому Маргарита была оправдана, прощена и разделила с мастером его вечную судьбу отнюдь не в аду. Эти две души — всего две из необозримых накоплений — Воланд вынужден был отдать. Хотя вспомним, какое недовольство и неприкрытое раздражение этот акт вызвал у Воланда! Он-то прекрасно понимал, что именно эти души стоят многих и многих других. Понимать-то понимал, а все же отдал.

Но если Маргарита искупила свой грех любовью, то чем искупил свои грехи мастер? И для начала — был ли он вообще грешен?

Был. Он был грешен до тех пор, пока в нем не проснулся *творец*. Ибо прожить десятилетия так, чтобы потом даже не суметь вспомнить о прожитом — а сколько людей живут таким образом до конца!— это грех. Не понять, на что тебе дана Создателем жизнь, продремать ее,— страшный грех! Но мастер в конце концов понял это. И как только понял — начал жить. Его жизнь — это его творчество, его роман. Это самый высокий созидательный акт, который доступен человеку. Можно сказать, что, уединившись и занявшись своим романом, мастер услышал в себе голос Божий. Поэтому он никак — ну никак! — не мог «слепо идти» за Воландом. И Воланд это понимал, потому он и сказал мастеру: «ваш роман вам принесет еще сюрпризы». Ясно ведь, что все то, в чем проявляется божественное начало, дьяволу недоступно.

Это — если говорить о традициях, которые преломились в образе булгаковского Воланда. Но Воланд в романе не совсем традиционен в силу того, что мышление самого Булгакова было не столько религиозным, сколько светско-философским. Отсюда и сами понятия «покоя» и «света» носят не совсем тот смысл, который им придают религиозно мыслящие люди. «Не будешь ли ты так добр подумать над вопросом: что бы делало твое добро, если бы не существовало зла, и как бы выглядела земля, если бы с нее исчезли тени?» — спрашивает Воланд у Левия Матвея. Здесь подбор понятий: «добро — зло» и «свет — тень» — переводится из контекста религиозного мышления в область чистой философии. Предполагаю, что в такой постановке вопроса реализуется очень важная для Булгакова мысль о механизме равновесия добра и зла, от которого и зависит устойчивость миропорядка. Когда зло накапливается в опасных размерах (тьма сгущается, света соответственно становится меньше) — механизм равновесия приходит в действие: Воланд начинает собирать свою жатву, чем и способствует восстановлению status quo. Именно поэтому, сознавая свою роль как необходимую, он и говорит Левию Матвею: «Не хочешь ли ты ободрать весь земной шар, снеся с него прочь все деревья и все живое, из-за твоей фантазии наслаждаться голым светом?» Совершенно очевидно, что это далекий от религии спор. Но в своих «теневых» пределах Воланд вполне традиционен, и на те порочные силы, которые действуют в отношениях между людьми, отвечает своей, куда более могущественной, силой — в духе совета, данного им же Степе Лиходееву: «Следуйте старому мудрому правилу — лечить подобное подобным».

Потому и в Белокаменной он не гость, а хозяин. Причем хозяин единственный и законный. Ибо граждан в этом городе уже сожрал порок. Воровство, взяточничество, доносительство, шпиономания, алчность, вранье... Да, это была бы уже сплошная тьма, если бы не заразительный булгаковский смех.

Булгаковский мастер, как уже было замечено, живет в мире, у которого нет продолжения. Оставаться в этом мире — значит неминуемо погибнуть. Спасение

мастера — в попытке освободиться от общества. Только таким путем мастер может вернуть себе ту свободу духа, без которой жизнь человека просто не имеет смысла.

Добиться в одиночку такой внутренней свободы, преодолев чудовищную силу притяжения целой общественной системы? Это можно было бы считать немыслимым, если б не лежал перед нами роман «Мастер и Маргарита» — зафиксированный путь того, кому это однажды удалось. Чтобы получить такую внутреннюю свободу и независимость от общества, в котором ты физически существуешь, нужно суметь подняться для начала как минимум до высоты Воланда. И если вы ощущаете в романе могущество этого мрачного духа, то только потому, что автору удалось набрать такую высоту.

Вот почему, когда подворовывающий буфетчик плетет что-то о второй свежести, мы смеемся. Смеемся, потому что, поднятые в тот момент над своей же обыденностью, мы смотрим на общество, в котором живем, глазами Воланда. За одну минутную возможность освободиться от кошмара существования, созданного собственными руками, мы благодарны Воланду и относимся к нему вполне доброжелательно. Так каким же должно быть это бытие?! Вырванные гением писателя из бесконечного круговорота, в котором наши силы, наши способности и сами наши жизни используются лишь как дешевое топливо для поддержания этого некогда навязанного нам членовредительского процесса вращения, мы начинаем смеяться над убожеством и бессмысленностью происходящего... Это мы-то — вечные потребители жизни «второй свежести». Но мы обречены на «вторую свежесть», пока будем помнить о реальном существовании «третьей», «четвертой» и еще черт знает какой «свежести».

Да что там буфетчик, или домоуправ, или тайно алчущие разорвать в лоскуты подмосковный поселок Перелыгино писатели! Когда «девственный» человек Иванушка Бездомный с необыкновенной прямотой предлагает упрятать в Соловки Канта — тут уже начинаешь смеяться без удержу, потому что кем это надо быть, чтобы в тридцатые годы придумать ситуацию, в которой бы оказались бессильными Соловки?!

Надо быть Булгаковым.

Свое поразительное восхождение к свободе он совершил тогда, когда страна руками миллионов заключенных строила города, плотины, комбинаты, заводы, железные дороги и каналы. Под ложный политический тезис о нарастающем сопротивлении классового врага власть получила неограниченную возможность переводить миллионы свободных граждан на положение абсолютно бесправной и баснословно дешевой рабочей силы. В двадцатом веке в огромной стране была фактически отреставрирована и запущена базисная модель рабовладельческого строя с той лишь разницей, что возводились не пирамиды, а гигантские индустриальные комбинаты. В государстве образовался безразмерный поддон — ГУЛАГ, куда мог попасть абсолютно каждый, и одно это парализовало волю многомиллионного населения страны. Мы, вероятно, не стали неорабовладельческой формацией лишь потому, что невозможно построить то, чего не может быть в природе. Рабовладельческий строй и индустрия несовместимы.

Поэтому в тех переменах, до которых дожило нынешнее поколение советских людей, есть неизбежность закономерного хода времени и надежда на то, что исторический опыт наконец будет усвоен. Даже несмотря на отчаянное сопротивление очень многих, чье мышление непоправимо изуродовано прошлым. А теперь попытайтесь мысленно вернуться в тридцатые годы, в самый разгар «охоты за ведьмами», и представьте, что мог испытывать Михаил Булгаков — человек духовно куда более свободный, чем мы с вами, живущие шестьдесят лет спустя...

Кое-что в этом отношении он нам оставил. Прямое признание о своей смертельной усталости. Есть это в романе... «Боги, боги мои! Как грустна вечерняя земля! Как таинственны туманы над болотами. Кто блуждал в этих туманах, кто много страдал перед смертью, кто летел над этой землей, неся на себе непосильный груз, тот это знает. Это знает уставший».

В романе мало подобных строк, которые непосредственно идут от автора. Без всякого грима он иногда краем сцены проходит мимо играющих свои роли актеров. Тем ценнее эти строки. Но большая часть из того, что нас интересует, выражена через внутреннее состояние мастера. Наиболее интересен в этом отношении момент прощания: «— Навсегда! Это надо осмыслить,— прошептал мастер и лизнул сухие, растрескавшиеся губы. Он стал прислушиваться и точно отмечать все, что происходит в его душе. Его волнение перешло, как ему показалось, в чувство глубокой и кровной обиды. Но та была нестойкой, пропала и почему-то сменилась горделивым равнодушием, а оно — предчувствием постоянного покоя». И если вам захочется когда-нибудь узнать, что мог чувствовать Булгаков незадолго до своего ухода, перечитайте внимательно эти строки. Ибо то, что мастеру могло показаться, Булгаков знал наверняка. Он правил рукопись до самой своей смерти, но этих строк не тронул.

...Как уже было замечено, весь первый план (похождения Воланда и компании) лишен болевых ощущений. Боль возникает с появлением мастера. Но мы застаем мастера в тот момент, когда он уже находится в глухом тупике. Так по крайней мере он сам осознает свое положение. Для него дом скорби — это пере-

садочная станция в иной мир. И он спокойно дожидается своего часа. Его жизнь мы оглядываем ретроспективно — она вся в прошлом. Мы ощущаем болевые импульсы, идущие оттуда, но печальный итог, который у нас перед глазами, как бы смягчает остроту болевого восприятия. Болевые импульсы будто задевают нас по касательной и затем куда-то уходят. Куда?

6

Они уходят в роман о Понтии Пилате, который написал мастер, и там накапливаются. И по мере того как раскрывается содержание этого романа, возникает самый глубокий и фундаментальный *третий* план. Его роль в романе Булгакова — основополагающая.

Главная тема романа мастера и всего романа Булгакова в целом очевидна: Власть и Время.

Власть в романе Булгакова представлена в своем наиболее концентрированном виде — в форме диктатуры.

Что же касается сущностных проявлений времени, то в наиболее полном виде они подвластны только художнику. В сущности, любое талантливое произведение есть не что иное, как зафиксированное, *остановленное время*. И в этом времени — *в картине* времени — как муха в прозрачном окаменевшем сгустке янтаря, может навечно оказаться запечатанным диктатор.

В принципе всякая власть — средство, с помощью которого общество поддерживается в стабильном состоянии. Но здоровую основу стабильности, разумеется, в первую очередь определяет естественный ход всевозможных внутренних процессов. Если же для обеспечения жизнедеятельности общества требуется все большее и большее нагнетание усилий, все большая и большая концентрация власти как инструмента давления, то это означает, что общество либо больно, либо вообще нежизнеспособно. Во всяком случае, это свидетельствует о том, что общество не может поддерживать само себя изнутри и функционирует только под воздействием давления извне.

Могут ли в таком обществе диктатор и художник не вступать в конфликт?

Не могут. Суть конфликта — в природе диктаторской власти. Этот конфликт (если хотите — противостояние) на протяжении всей истории можно понаблюдать везде, где существовала или существует политическая деспотия как форма общественного правления. В демократическом обществе подобный конфликт маловероятен, поскольку внутренние общественные структуры ориентированы на обеспечение прав каждой отдельной личности и препятствуют чрезмерной концентрации власти.

Сталинский режим по своей сути был классической политической деспотией. Деспотией, которая пыталась создать себе имидж народного — демократического — общества. И чем явственнее обнажалась противоправная, антигуманная суть режима, тем с большими усилиями и затратами работала гигантская пропагандистская машина, декларирующая демократические цели, принципы и программы. Двуличность режима, которая была его родовой характерной чертой, определила особенность целой эпохи и, конечно же, должна была быть отражена литературой. Не могла не быть отражена, потому что природа щедра и рождает талантливых художников во все времена. Об одном из них мы и говорим в этой статье.

Сталин держал Булгакова в постоянном напряжении до конца его дней. По-человечески понятны и всплески надежды и продолжительные нервные срывы Булгакова. Понятна даже отчаянная попытка стабилизировать свою — единственную, как у каждого! — жизнь и написать пьесу о революционной молодости Сталина. Но вот что характерно: хотя разговоры об этом и сочувственные подталкивания со стороны начались еще в первой половине тридцатых годов, сам писатель взялся за пьесу *после того*, как фактически был закончен роман о мастере. Он взялся за пьесу после того, когда главное — все то, к чему он был предназначен в жизни, уже *было* сделано. Компромисса духовного здесь не было, была попытка продлить жизнь, аналогичная в чем-то попытке мастера вернуться в опустевший подвал... И даже в таком, казалось бы, компромиссном решении подтвердилось то, что уже было в его романе: гений художника оказался неподатливым. Гений по природе своей холоден и часто даже высокомерен в отношении к плоти, которую природа сделала его временной обителью. Гений хорошо «сознает» эту временность и ненадежность своего убежища и потому нередко им пренебрегает. Потребность самовыражения для него куда более важна, нежели комфортное физическое существование. Это вечный тест на масштаб таланта: художник, который решает проблему выбора между творчеством и комфортным существованием в пользу последнего, либо откровенно слабый по своим природным возможностям, либо сознательно сошедший с единственного пути, который ему был предназначен. В таком случае — это акт самоубийства.

Природа сама заботится о гении. Эта забота проста и надежна: обнаружить гения можно лишь тогда, когда он уже воплотился. Никаких, скажем так, превентивных мер ни один диктатор принять не в состоянии. Всякий раз диктатор оказывается как бы перед фактом и вынужден заботиться о своем реноме в истории. Потому-то Сталин время от времени, прежде чем отправить того или иного писателя в небытие, пытался выяснять степень одаренности того, кого он наметил жертвой. «Но ведь он же мастер, мастер?» — допытывался он у Пастернака, прежде чем отправлять в

бездонный гулаговский поддон гениального Осипа Мандельштама. Булгаков, который был дружен с Анной Ахматовой, не мог не знать об этом разговоре диктатора с поэтом. М. Чудакова высказывает предположение, что и безымянность мастера в романе Булгакова, и само название романа, может быть, напрямую связаны с этой репликой Сталина, которая должна была иметь для Булгакова огромное значение (сегодня — один мастер, завтра — другой). Очень может быть. Во всяком случае, я уверен, что реплика Маргариты: «Он мастер, мессир, я вас предупреждаю об этом»,— появилась в романе не случайно. Маргарита, которая в высшей степени осторожно и почтительно относится ко всему, что исходит от Воланда, вдруг переходит почти на ультимативный тон: «...я вас предупреждаю», Воланда! И, надо сказать, Воланд принимает это предупреждение как должное: в отличие от малообразованного диктатора, Воланд прекрасно понимает, *с кем* он имеет дело.

Таково недвусмысленно выраженное отношение Булгакова к теме Время и Власть. Эта тема настолько крупна, что определила и раздвоенную структуру романа. Мастер, как и автор, вытесненный той же общественной атмосферой в зону отчуждения, нашел продолжение своей жизни в доказательстве существования Нравственного Закона, регулирующего равновесие между «светом» и «тенью». Нарушение которого — вольное или невольное — влечет за собой неотвратимую кару. Эта кара (по роману) настигает преступившего Закон и за теми пределами, которыми ограничено физическое бытие человека. Если переводить сказанное в область материалистического мировоззрения, то это означает только одно: безнравственность никогда не проходит без последствий, но последствия могут обрушиться на следующее поколение, ибо род человеческий неразделим. Отдаленность кары — это лишь отражение масштаба преступления. Чем серьезнее преступление, тем серьезнее и последствия, тем дольше придется расплачиваться. Открытие мастера в том, что действие Закона проявляется *во времени* и этим обеспечивается устойчивость мироздания.

Московский и ершалаимский планы, отнесенные один от другого почти на два тысячелетия, сюжетно замыкаются на мастере. Судьба мастера определяет единство и близость столь далеких, казалось бы, периодов, спроецированных один на другой. В этом многовековом туннеле время материализуется и материализуется действие не подвластных человеку законов. Чтобы увидеть внутреннюю целостность композиции и почувствовать, насколько она прочна, необходимо мыслить понятиями, сфера действия которых намного перекрывает продолжительность любой отдельной человеческой жизни.

7

От Бога Булгакову были даны талант и любовь. Это много. Это почти все, что может получить смертный от Бога. Остальное — от щедрот кесаревых.

Сталин глубоко ошибался, когда полагал, что вклад Булгакова в отечественную культуру «есть демонстрация всесокрушающей силы большевизма». Это заблуждение Сталина определило его странную, скрытую зависимость от художника и сохранило Булгакову жизнь.

В том, что Сталин находился во внутренней эмоциональной зависимости от таланта Булгакова,— я не сомневаюсь (слово «зависимость» предлагаю вам поменять на любое другое, более точное). Представьте на минуту Сталина сорокового года. Диктатора, набравшего немыслимую силу. Создавшего запроволочную жизнь на одной шестой земного шара. Распорядителя судеб целых народов. Властителя, который без колебаний *десятки миллионов* вольных по статусу людей перевел на положение рабов. Наконец, представьте себе диктатора, который все чаще и чаще стоит перед глобусом и обдумывает планы дележа земного шара...

Представьте себе ощущения человека, который когда-то начинал нелегальную работу на окраинах огромной империи и в зрелом и еще очень активном возрасте стал ее единоличным и полновластным властелином. При этом он понимает, что ни один великий диктатор в истории — от Александра Македонского и Юлия Цезаря до Чингисхана и Наполеона — не обладал такими материальными и людскими ресурсами. Правда, у него появился конкурент на континенте. Но это при известной осторожности и осмотрительности даже неплохо: земного шара в обозримом будущем на двоих хватит, а заниматься такой работой в одиночку все-таки рискованно. Тем более что чересчур горячий конкурент (с которым, впрочем, удалось наладить прочные дружеские отношения) уже ринулся в перекройку мира и со временем замкнет все силы сопротивления на себя... Важно не торопиться и выждать момент...

Такие или подобные вопросы могли занимать Отца Народов в начале сорокового года, когда Гитлер уже начал мировую войну. Но даже если мысли диктатора текли несколько в иной форме, не это нас сейчас интересует, а безусловно планетарный масштаб проблем, которому его размышления были посвящены. Вот с этих-то высот — было ли ему дело до писателя, чья пьеса однажды понравилась ему в далеком двадцать шестом (или двадцать седьмом) году?

Оказывается, было.

«10 марта 1940 г. Булгаков умер. Елена Сергеевна нашла силы в себе записать в дневнике: «10.III. 16. 39. Миша умер».

Весть эта мгновенно облетела Москву. «На следующее утро, а может быть,

в тот же день,— вспоминал Ермолинский,— позвонил телефон. Подошел я. Говорили из секретариата Сталина. Голос спросил:

— Правда ли, что умер товарищ Булгаков?

— Да, он умер.

Трубку молча положили».

Поэтому, когда сегодня, погружаясь в жизнь писателя, мысленно мы готовы предъявить Сталину кое-какие претензии, это означает, что мы по-прежнему очень далеки от истинного смысла произошедшего пятьдесят с лишним лет назад. В своем отношении к писателю чуждому Сталин проявил всю щедрость, на которую был способен: он позволил Булгакову умереть в своей постели, не арестовал его писательский архив и не тронул семьи...

Но все это имеет какой-то смысл, если говорить о романе как о самой жизни Булгакова. Ну, а в плане чисто литературном? В культурологическом или историческом плане? Что объективно означает этот роман?

Прежде чем отвечать на этот вопрос, я хочу обратить внимание читателя еще на один нюанс. Не надо забывать, что в те же годы в Западной Европе набирал силу другой монстр — германский фашизм. «Черная туча поднялась на западе и до половины отрезала солнце. Потом она накрыла его целиком. На террасе посвежело. Еще через некоторое время стало темно.

Эта тьма, пришедшая с запада, накрыла громадный город. Исчезли мосты, дворцы. Все пропало, как будто никогда не было на свете».

Это — последние предгрозовые минуты в Москве. Я не утверждаю, что в этом описании заложен аллегорический смысл. Но предположить — могу. Булгакова всегда остро интересовали политические события — в этом отношении он был человеком очень активным. И можно не сомневаться, что если не явно, то по крайней мере на подсознательном уровне его тревожила возможность катастрофы планетарного масштаба, если «тьма восточная» (сталинизм) и «тьма западная» (германский фашизм) сомкнутся либо в содружестве, либо в противоборстве. И то и другое было бы ужасно: война-то ведь уже началась...

Поэтому нравственно-философский смысл романа состоит в категорическом неприятии любой формы жизни, которая подавляет в человеке духовное начало и самого человека низводит до уровня некоего биологического существа, отданного во власть инстинктов. Но в более конкретных пределах, применительно к истории нашего общества, этот роман, безусловно, не что иное как Страшный суд над «административной» системой и ее создателями. Пришло время — общественное мнение потребовало улики, и эти улики миллионами исковерканных судеб, подорванной верой в незыблемость законов мироздания, растленными душами, низведенными до растительного существования, хлынули со страниц произведений Солженицына, Шаламова, Домбровского, хлынули потоком лагерной мемуаристики, воспоминаниями об организованном голоде в разгар «эпохи энтузиазма», о «заградотрядах» в тяжелейшие первые годы войны и о дочиста разоренной деревне... И тот, кто по сей день не понимает, почему из нашей жизни не уходит сталинская «тема», тот не сможет понять, почему роман о мастере и роман о Понтии Пилате — это один роман, а не два романа.

Стало быть, и рано еще нам говорить о прощении и вечном приюте... Может быть, когда-нибудь этот роман будет прочтен по-иному — свободными людьми.

Людмила Сараскина

НАУТРО ПОСЛЕ СВОБОДЫ, ИЛИ РАЗБОР ПОЛЕТОВ

Уныние — смертный грех. Унывать, то есть грустить безнадежно, падать духом, отчаиваться — равносильно подозрению, будто Бог оставил тебя. Грех, который ведет к еще более страшному греху — самоубийству.

«Кичливый в счастье — в бедствиях унывает, блекнет, обмирает». Этой поговоркой из словаря Даля сейчас, похоже, будет определяться общественное поведение тех недавних счастливцев, кто понял: праздник с фейерверком закончился, веселая ночь миновала. И независимо от того, кто и как прожил эту хмельную шестилетнюю ночку,— петух прокричал для всех:

— Привет Прибалтике от Алма-Аты, Тбилиси, Ферганы и Карабаха!

— Да здравствуют советские люди, выстроившиеся все как один у сберегательных касс!

— Эффективность и качество налетам КГБ на СП и ОМОНа на ТВ!

Смелого петушка немедленно изжарили, тут-то он нас и клюнул — начинается жизнь на фоне чрезвычайного положения.

Впрочем, будет день, будет и пища. Трудно сейчас, в феврале, в самый канун встречи с патрулем по дороге в журнал, предвидеть, что и как будет в апреле-мае, когда статья выйдет в свет. Можно и пальцем в небо попасть. Новости нынче хороши уже не про сегодня, а про послезавтра. Не угадал — пеняй на себя. Но для предпринятой затеи есть и маленький шанс: новости устаревают, несчастья проходят, а память о них остается. Тем более имеют право быть запечатленными переживания людей, застигнутых бедствием: тому доказательство — вечный «Пир во время чумы». И чем субъективнее ощущение человека у «бездны мрачной на краю», тем оно истиннее.

Так что даже если «хмурое утро» все-таки расцветет в приличный погожий денек, важно запомнить нынешние озноб, дрожь и холодный пот. Важно свидетельствовать с места и в момент событий, коих мы пока участники и очевидцы, а потом, может, станем и жертвами. Увидеть и запомнить, осмыслить и записать — только взявшись за перо, литератор спасается от уныния. Перестройка, начавшаяся антиалкогольной кампанией, завершилась тяжелым похмельем, и теперь, как никогда, надо жить, милые сестры, на трезвую голову, то есть не опуская рук и не поднимая их кверху.

Летчик после неудачного рейса, если остался в живых, обязан сделать разбор полета. Картежник после проигрыша обязательно пересчитает оставшиеся деньги. Полководец, потерпев поражение, перестроит ряды и изменит тактику будущего боя. Есть дела и для простого солдата — «тогда считать мы стали раны, товарищей считать».

Наутро после свободы чем-то подобным хочется заняться и мне. И хотя в приступе малодушия можно уговорить себя, что сейчас не время искать виноватых, но ведь у нас и не трибунал. Считать раны и товарищей — дело как будто несомненное. Во всяком случае — правое. Потому что в итоге нашей перестроечной тусовки-потасовки победителей не оказалось, их в принципе нет и быть не могло даже среди «товарищей», а есть раненая страна, раненая литература, раненые и убитые люди — товарищи по несчастью.

Говоря на литературном жаргоне, состоялась большая проба пера. С каждой стороны свой игумен Пафнутий руку приложил и образцы почерка явил. Нам предстоит эту каллиграфию разобрать и прочесть — ведь в конце концов перестройки, как и войны, приходят и уходят, а «письмена» остаются.

А БЫЛА ЛИ СВОБОДА?

Те, кто служил в армии, на всю жизнь запоминают правила-наставления, которые — в обход устава — помогают солдату сохранить себя и свое человеческое достоинство в условиях казармы: «Первым за железо не берись»; «Не торопись выполнять приказ — его отменят»; «Солдат спит — служба идет». Эти маленькие хитрости понятны и естественны: психология подневольного человека направлена к выживанию. Работать из-под палки, имитировать бурную деятельность, когда начальник смотрит в твою сторону, и сачковать, как только он отвернется,— дело святое и всем нам, прошедшим советскую школу жизни, привычное.

Так что проще всего было бы сказать: рабы, жалкая психология, мартышкин труд, рабье отношение к таким исконно свободным понятиям, как честь, совесть, долг.

Вспомним, однако, сколько за эти пять-шесть лет потрачено сил — умственных и физических, сколько пролито незримых миру слез, а также чернил, сколько человеко-часов выброшено в открытый космос ради утоления жажды: у одних — утверждать, что да, рабы; у других — отрицать, что нет, свободные.

Одни хватались за пушкинское «ярмо с гремушками да бич», или за лермонтовское «страна рабов, страна господ», или за гроссмановское «русская душа — тысячелетняя раба».

Другие искали противоядие в некрасовском «Кому на Руси...»: «В рабстве спасенное сердце свободное — золото, золото сердце народное!»

При этом боль за Отечество часто вытеснялась азартом разоблачений; самобичевания перемежались яростными оскорблениями оппонента, в пылу схватки народные «хулители» и народные «заступники» начисто забывали о предмете спора — народе — и всецело отдавались взаимному истреблению.

Подводя итоги тяжбы, поэт Борис Чичибабин недавно писал: «Да оглянитесь вокруг, посмотрите в зеркало! При обилии всяческих гражданских, «внешних» прав и свобод, буквально обрушившихся на нас за последние три-четыре года (частью этих прав и свобод мы были непрошенно-нежданно-негаданно одарены «свыше», часть их сами позже отвоевали на демонстрациях и митингах), мы так до сих пор и не обрели единственно нужной нам, «внутренней», подлинной свободы, неотделимой от культуры и ответственности. В нас ничуть не изжиты представления и чувства, свойственные рабам, рабская психология, рабские темнота и злоба... Рабы, никогда не знавшие радости свободного труда, свободного деяния, мы, может быть, и хотели бы, да не можем, не умеем приложить руки и душу к какому-нибудь конкретному живому делу, которое хотя бы чуть-чуть изменило к лучшему положение в доме, в селе, в городе, в государстве, хотя бы немного улучшило и осмыслило нашу жизнь».

Честно говоря, в этом споре я не стала бы делать каких-либо категорических заявлений. Если отвлечься от того, что обе позиции могли иметь сугубо спекулятивную цель, в истошном и судорожном крике «Мы не рабы», «Рабы не мы» можно было расслышать и другое. Эти отчаявшиеся «мы» (мы все: и левые, и правые, и никакие) в попытке перед лицом всего мира утвердиться в статусе свободных людей, сами того не замечая, проговариваются. Отрицательное определение прячет маленькую временную частицу, которая и является носителем искомого смысла. «Мы уже не рабы. Нас только что отпустили на волю. Мы вольноотпущенники».

Листая словари античности, я нахожу удивительно ясный, строгий взгляд древнеримских законников на различия людей по их отношению к свободе. Было узаконено рабство, но было законным и освобождение от него. Тот, кто был отпущен законным актом освобождения — виндиктой, становился римским гражданином. А чем произвольнее была дарованная свобода, тем меньшими правами обладал отпущенник. Находясь на свободе по воле, прихоти или капризу господина, без виндикты, отпущенник оставался как бы рабом, которого в случае чего силой можно было вернуть в рабство, отнять нажитое имущество, лишить права наследования и права составления завещания. В редких случаях отпущенный на волю раб сохранял уважение и любовь к патрону, чаще всего он платил черной неблагодарностью. А римский сенат бесчисленное множество раз обсуждал вероломство отпущенников и хлопотал о законах, по которым патроны имели бы право снова лишать свободы того, кто будет дурно себя вести.

Из всех видов свободы, известных отпущенникам Древнего мира, мы получили наихудший. Имея над собой государство — рабовладельца и крепостника, мы по сей день выслуживаем крохи свободы, пользуясь милостями патронов-временщиков. Сохраняя над нами все права патроната, господа говорят о нас с негодованием, возмущаясь нашей дерзостью, леностью, порочностью, неумением и нежеланием трудиться. «Как работаете, так и живете»,— говорят они нам, попрекая куском как бы дармового хлеба и постоянно угрожая укреплением дисциплины во имя их вотчины, великой державы.

«Российская государственность», «великая держава», «государственное мышление»... Все эти перестроечные годы я пыталась пристально следить за развитием великодержавной идеи в умах ведущих «государственников». Мне казалось, что забота о «великой, единой и неделимой» имеет по крайней мере то позитивное значение, что в противном случае под ее обломками может погибнуть не только империя, но и страна, и народ, и еще пол-Европы.

Пока есть СССР, есть и Россия — рассуждали «государственники». Россия — единственная страна, где нет четких территориально-национальных границ. Русские живут везде, на всей территории государства, а значит, вне государства, вне государственности не будет ни русского народа, ни русской культуры. Сама русская духовность в отрыве от государственности беззащитна.

А поэтому: пусть будет империя, даже если это империя зла. Пусть будет государство, даже если оно останется тоталитарным. Пусть будет СССР, даже если им будут управлять ангелоподобные большевистские власти.

Именно это самоубийственное «любой ценой» и подорвало идею целостности государства, на которой, можно было думать, сойдутся здравомыслящие свободные люди от красных до фиолетовых.

Не сошлись: бои на рубежах державы еще сильнее раскололи общество, распря между «государственниками-великодержавниками» и «республиканцами-суверенниками» утратила даже дипломатические приличия. Оказалось, пролитая кровь — никакое не доказательство и уж, во всяком случае, вовсе не тот пункт, на котором мы все, временно отпущенные на волю, сможем объединиться под прекрасным лозунгом «за нашу и вашу свободу».

Когда же государство, как тать в нощи, залезло подданным в карманы и наизнанку вывернуло их, когда старики и старухи всей необъятной территории должны были доказывать чрезвычайным комиссиям, что денежки, отложенные на покупку валенок и телогреек, трудовые, а не краденые,— тогда и вовсе дрогнула «государственная идея». Вот тогда «Литературная Россия» — пусть ненадолго и нечаянно — протянула руку «Литературной газете», а «Советская Россия» — ненавистным ей «Известиям». Ибо одними и теми же словами поносила вся неофициозная пресса «Павлов день». Это ведь «Литературная Россия» в рубрике «Душа болит» написала: «Кто конкретно отрубит об руки председателю Госбанка т. Геращенко?.. Даже если действительность напрочь опровергнет его обещания, руки будут целы — они еще нужны такому государству».

Тот факт, что виновниками ограбления народа «Литературная Россия» объявила не союзные, «державные» власти, а республиканских и городских демок-

ратов, роли не играет: понятно, что в истерике легче валить вину на привычных врагов.

Римский мир создал пословицу: сколько рабов, столько врагов. Мы, как известно, тоже не жалуем своих патронов, и чем еще, как не психологией отпущенника, можно объяснить нашу враждебность к ним, замешанную, конечно же, и на трусости, и на подобострастии, и на тотальном неверии в их благие помыслы.

Читать взаимные разоблачения о том, как во времена оны разнокалиберные литераторы, состоя при дворе прежних Их Величеств, кадили и славословили Им, сейчас до невозможности противно. Но разве не противно, что сейчас эти же самые люди (а вместе с ними и другие, присоединившиеся), недолго попев осанну новым кумирам на троне, теперь вдохновенно проклинают их, предают анафеме и грозят Страшным судом. Разве не прискорбно, что по-прежнему самым притягательным цветом литературных знамен остается красный — цвет мятежа и бунта, а отечественная словесность мечется, как угорелая, между «Долой Горбачева» и «Долой Ельцина».

Шесть лет, отпущенные на волю, мы торопились не упустить время, уверенные в глубине души, что торопимся правильно. Мы не верили, что отпущены навсегда, мы малодушно требовали у патронов гарантий нашей свободы. Мы изобретали пророчества и заклинания, пугали друг друга ужасными последствиями нового закабаления, выдумывали магические слова и формулы: «Иного не дано», «Что будет, если и эта перестройка погибнет». Шесть лет мы, как оглашенные, кричали на всех углах, что перестройка необратима и нашу свободу никому не отнять.

Разве кричат так о свободе истинно свободные люди?

Сегодня состояние свободы, вернее, степень несвободы, фиксирует грамматика. После нескольких лет употребления личных форм мы опять вернулись к прежним неопределенно-личным и безличным категориям. Устало, уныло и безвольно звучат последние новости: отменили телепрограмму, зарезали радиопередачу, трясли информационное агентство и «неформальную» газету. Кто отменил, кто зарезал, кто тряс — по «перестроечной» привычке разузнавать еще интересно, но по «до»- и «постперестроечной» — уже лень. Кто разрешил, тот и запретил. Кто пришел дать нам волю, тот вернулся, чтобы отнять ее. Какая разница! Просто патроны решили опомниться: благо, виндикты — закона об освобождении — как не было, так и нет.

Мы потихоньку и полегоньку вползаем обратно в прежнюю нору, в зазеркалье, в привычное абсурдное существование. «Начальственное государство» втягивает под свое ярмо загулявших было подданных и указывает им на их законное место. Меняются жесты, интонации, мимика, возвращаются прежние пропорции и дистанции. Рабовладелец-государство в лице его патронов желает вернуть себе все то имущество, которое отпущенники успели нажить на воле. То ли это отложенные на черный день бедняцкие крохи, то ли это соблазнительные капиталы кооператоров, то ли это валютные вклады новых концессий,— государство уже продемонстрировало свою готовность хватать все, что плохо лежит.

Труден, долог и прекрасен путь к обретению свободы. Тошнотворен и до смешного короток путь от недолгой свободы обратно на цепь. Именно на этом отрезке человеческой судьбы непоправимо ломается жизнь, шизофренически корежится здравый смысл, путаются все представления о добре и зле, целях и средствах, силе и слабости, жестокости и милосердии.

Позволю себе напомнить одну сцену из недавних спектаклей.

Депутаты на съезде выбирают вице-президента из одной предложенной Президентом кандидатуры и норовят эту кандидатуру провалить. Поэт-депутат слезно умоляет строптивых коллег поддержать предложение Президента-патрона. «Как мы терзаем нашего Президента... Ведь он хочет иметь Вице-президентом определенного человека. Это, к примеру, все равно, что вот я захотел жениться на красивой девушке, а мои родители говорят: «Нет, не позволяем». Это равносильно». Болеет поэт и за премьер-министра (теперь уже бывшего) и вместе с ним возмущается: в какой это стране «вотум недоверия» выносят шесть раз за полтора года? Опять же переживает он и за претендента: «Сегодня говорят — Янаева не избрали. Ведь он же человек! Представьте себя на его месте каждый: его не избрали, с ним может что-то случиться, хоть он и говорил, что есть у него здоровье. Он человек...»

Поэт в роли государственного деятеля преподал всем нам потрясающий урок, продемонстрировав качественно иной, нежели принято в парламентской практике, язык: при чем тут мнение Верховного Совета, если Президент **так хочет**. Не важно, что ни в какой стране мира ни одно правительство не будет ждать, пока ему шесть раз объявят о недоверии, а уйдет в отставку уже после первого объявления. Важно другое: не сметь расстраивать начальство и дерзить ему, ведь оно главный объект нашего альтруизма и милосердия. Ему мы дарим нашу любовь и преданность, а также госдачи в вечное пользование. Замечательный образец нового отношения к власти: прямо-таки торжество демократии и отечественного вольнодумства.

Знаменательно, что марьяжные соображения поэта («вот я захотел жениться»...) имели весьма любопытное продолжение. Поэта поддержала депутат-дама, и два ее тезиса показали, какое огромное влияние оказывает пример известного литератора на гражданское сознание народного депутата. Тезис первый: «И на что я обратила внимание: не рабочие аплодируют тому, что Янаев не прошел, а как раз интеллигенция. Стыдно, конечно, но что поделаешь! Если у нас такая культура и у интеллигенции, то откуда мы возьмем здоровое молодое поколение». (Что, повеяло родным, с детства знакомым? Добились гарантий необратимости? Выдавили из себя по капле?) Тезис второй: «Вы, Михаил Сергеевич, посмотрите вокруг себя на женщин и возьмите в вице-президенты женщину. (Оживление в зале)».

Этот парламентский апофеоз с легким восточным аккомпанементом был, несомненно, ключевым эпизодом в тяжбе патронов и вольноотпущенников, после чего занавес решительно опустился. «Иного» — не дано?

Читаю о событиях времен императора Нерона. Тацит, «Анналы»: «Дерзость отпущенников, с негодованием говорили консулы, дошла уже до того, что они хотят равняться с патронами; они публично высказывают свое неуважение, безнаказанно грозят им побоями и советуют лучше не прибегать к наказанию».

ПОЭТ И ВЛАСТЬ: ПРОБА ПЕРА

Не помню, кем написаны, не помню, когда прочитаны, но вертятся у меня в голове весьма изысканные стихи про любовь.

Прислушайся к морю.
Оно вечно целует сушу,
Не обещая ей ничего.
Научись его языку
И перестань спрашивать,
Люблю ли я тебя.

Коль скоро голова работает почти только в сторону политики, я и думаю: вот он, ключ к истине. Вот он, искомый образец отношений народа и власти. Власть, как море, наплывает на берега народной жизни, обрызгивает их влагой, обволакивает пеной, но ничего никому не обещает и в душу не лезет. Народ, в свою очередь, живет, как может, рубаху на себе не рвет — дескать, любит ли меня власть, уважает ли. Какая, Господи, благодать!

Однако мое поколение, которое, я все-таки надеюсь, никогда не будет жить при коммунизме, выросло под совсем другие напевы: «Будет людям счастье, счастье на века, у Советской власти сила велика». Глашатаями этого счастья,

медиумами любви между народом и властью, как ни крути, были и по сей день остаются поэты — в широком смысле этого слова.

Порой мне кажется, что гласность была придумана еще и для того, чтобы рекам всенародной любви можно было шумно и без всяких помех излиться на инициаторов перестройки. Сегодня уже неловко читать и вспоминать все славословия в адрес власти, перестроечной команды и ее отважного капитана. Наша творческая интеллигенция, в особенности мы, пишущая братия, открыли для себя и пристрастились к сильнодействующему наркотику: петь властям дифирамбы, но не так, как раньше,— морщась и кривясь, а с удовольствием, во весь голос, с полной душевной искренностью. Шесть лет кряду родная словесность различных цветов и оттенков вела позиционные бои на разных фронтах — то за Ленина, то за Сталина, то за Бухарина. И лишь в одном случае голоса сливались и выводили общую заздравную песнь о том, кому «альтернативы нет». Заповедь «Не сотвори себе кумира» с упоением и вдохновенно нарушалась. Уверовав в святость и непогрешимость Первого, бывалая и искушенная отечественная литература старалась не замечать его «неканонические» поступки, а грехи, которые время от времени вылезали наружу, немедленно относила на счет соседей справа. На какой-то момент завороженное слово, будто наевшись маку, замерло в кайфе: соблазн единения с властью как бы парализовал элементарную наблюдательность.

«В чьих бы руках ни была власть,— за мной остается мое человеческое право отнестись к ней критически»,— писал М. Горький в 1917 году. Это право, а также долг поэта «истину царям с улыбкой говорить» часто уступали место уютной «любви к родной партии и Советскому правительству» — чувству, конечно, понятному и хорошо знакомому по прежним опытам. Разве что объект любви показался много приличнее предыдущих. Он, разумеется, таким был и является, и, если уж говорить по справедливости, никого особенно не обманул: оставаясь Генсеком, пропагандируя импульс Октября, социалистический выбор и коммунистические идеалы, он предлагал сочувствующим считаться с фактом и возможными последствиями подобного образа мыслей. А на последствия как раз и хотелось закрыть глаза.

Следует отметить — также справедливости ради — и другой несомненный аспект поклонения Первому со стороны «оттепельной» литературы. С ним она связывала свои самые заветные чаяния, ему она была благодарна за то, что жизнь целого поколения, «рожденного» XX съездом, не пошла прахом, в нем видела перспективы режима с человеческим лицом. И с какого-то момента перестроечная словесность стала панически бояться любой критики, любого даже нейтрального (то есть не панегирического) суждения в адрес Инициатора (чтоб не лить воду на мельницу его врагов) еще и потому, что, кроме него, больше никого нет, не будет и быть не может.

Богу — Богово, кесарю — кесарево, но и литератору — литераторово. А литература (я имею в виду ведущую тенденцию и очевидные примеры) вляпалась в сугубую политику. И там, где политика-профессионала ожидала бы большая игра с известными партнерами и правилами, там литератору оставалось только подливать масла в огонь, не им зажженный, или расставлять стулья вокруг игорного стола: быть даже не пособником, а подсобником.

Сейчас, задним числом, не могут не изумлять те легкость, беспечность, готовность литературно-критического, публицистического, а порой даже и художественного слова, с которыми оно бросалось выполнять чисто служебные функции. Словесность сама торопилась закрепить, закрепостить себя при ведомстве идеологии, при Министерстве пропаганды. Литература как бы купилась на авансы свободы, на обещания воли, а кроме того, поддалась очередным иллюзиям «влияния на власть», соблазну быть при ней советчиком и советником, душой и совестью.

Нельзя не видеть теперь, что эта карта перестроечной литературы оказалась бита; и не потому, что душа власти — все-таки потемки и что придворные функции как-то мало связаны с совестью. Тот факт, что не литература власть, а власть литературу смогла прибрать к рукам (вспомним роль нынешних «клас-

сиков» при Президентском и Верховном Советах), может быть, только самый поверхностный пример общей подчиненности слова политике. Потому что коренной дефект перестроечной литературы (опять-таки оговорюсь, что имею в виду общую тенденцию) как раз и таился в принципе немедленного реагирования писательского слова на политическую злобу дня. Литература прогрессивного толка, стесняясь быть «отвязанной», боясь прослыть аполитичной, не смогла ни эмансипироваться от политики, ни приподняться над ней, а потому плелась в ее хвосте.

Ни сами литераторы, ни власти так и не признали за литературой автономию, права суверенитета. В результате поэт при политике и при власти стал настолько больше, чем поэт, что перестал им быть вообще, а власть ищет совета совсем не у художников слова и мастеров пера. Кто был никем, тот стал ничем.

Шесть лет благодетельной и благословенной гласности показали, помимо всего прочего, что и литкритики, и публицисты, и писатели с поэтами — словом, все те, кто хотел говорить от своего имени, за редким исключением, вышли не из «Шинели» Гоголя или «Капитанской дочки» Пушкина, а из статьи Ленина «Партийная организация и партийная литература». По-видимому, это программное произведение, стоит лишь к нему прикоснуться, и впрямь способно изменять состав крови и формулу интеллекта у каждого, кто впоследствии возьмется за перо.

Поэтому, какой бы ни была перестроечная литература — правоконсервативной, леволиберальной или национал-радикальной, она прежде всего была партийна: то есть преимущественно тенденциозна, неистова и нетерпима. Роковое слово «лагерь» все эти годы витало в воздухе: расслоившись, общество добровольно разбрелось по политическим баракам.

Враждующие лагеря занялись (и продолжают заниматься) отчаянным мордобоем, «свои» и «чужие» усердно и рьяно демонстрировали партийную принадлежность. И когда новое мышление вкупе с приоритетом общечеловеческих ценностей заматерело, приобрело твердые и мужественные очертания, расцвело и бессмертное местоимение «наши» — неофиты бесовщины мигом наладили везде, где могли, первые отделы с высокочувствительными кадровыми фильтрами.

Дав импульс для самоопределения, сняв гнет и интеллектуальное оцепенение, гласность так и не произвела главного: свободы слова. Я имею в виду, конечно же, не свободу от цензуры, которую с трудом отменили, а теперь явочным порядком вводят опять. Я говорю о том состоянии внутренней свободы и интеллектуальной честности, при котором истинные движения души и мысли не корректируются долгом групповой принадлежности или партийной дисциплины.

Вот образец «литературного» общения «посвященных». «Вы читали статью N? (называется автор из «другого» стана).— И читать не стану. Это же страшный мерзавец (масон, фашист, «памятник», демократ, депутат и т. п.)».

Листаю наугад взятые номера журналов двух-трех-четырехлетней давности. Нет смысла их называть: везде своя обойма авторов (что нормально), везде свой заданный и замкнутый круг идей и представлений (что сносно, но скучно), везде — почти везде — свой перечень «чистых» и «нечистых» (что тоскливо и от чего веет суровой партийной непримиримостью).

Я рискую быть обвиненной в тенденциозности или чистоплюйстве, но ничего, кроме неловкости, не вызывают списки «позитива», пропагандируемые «нашими» из «Нашего» же «современника»: хорошие русские писатели — это Белов, Распутин, Раш, Куняев, Проханов, Чуев. Но уверяю: неловко читать и «альтернативные» списки, составленные другими «нашими» по совершенно аналогичной технологии.

Не по годам умная грибоедовская героиня подобную же претензию предъявляет к обличителю и прогрессисту Чацкому («человеку-змее»): «Случилось ли, чтоб вы, смеясь? Или в печали? Ошибкою? добро о ком-нибудь сказали?». Если этот пассаж уточнить в смысле «о ком-нибудь из чужих», «не наших», получится совершенно достоверная картина литературной жизни, разбитой на лагеря.

Я сознательно освобождаю себя от обязанности цитировать перлы журнально-газетного лая в доказательство данной тенденции, которая, конечно же, порою и нарушалась, но, к сожалению, исключения лишь подтверждали правило.

В качестве испытательного срока президентам принято давать сто дней. «Первые сто дней» литературы, которая получила шанс свободы, растянулись на шесть лет и обнаружили, что ни свободы от властей, ни свободы от «внешних» соперников-врагов, ни свободы от собственного тщеславного и горделивого «Я» что-то нигде не видать.

Не так давно понадобилось мне пролистать с десяток-другой совсем новых изданий, купленных почти наугад на Пушкинской площади и имеющих репутацию ультралевых. Зная, что каждое левое издание презирает критику справа, я пыталась посмотреть на приобретенные газетки скорее снизу, чем сбоку, то есть с позиции рядового беспартийного читателя. Бесконечно уважая неподцензурную мысль и свободных мыслителей, являясь многолетним читателем самиздатовской печати, я все-таки не могла не увидеть, например, насколько газета с замечательным названием «Свободное слово» напоминает незабвенную ленинскую «Искру».

Казалось бы: парадокс. Сегодняшние крайние «левые» ниспровергают те самые ценности и идеалы, борясь за которые когда-то не щадил никого и ничего ультралевак и большевик Ульянов-Ленин. Знаки поменялись местами, внося терминологическую путаницу, а воинствующий ленинизм процветает в умах людей, по-прежнему зараженных микробом партийности. С помощью глаголов типа уничтожить, разоблачить, убрать, отнять, прекратить, распустить, судить и тому подобных «Свободное слово» смачно поносило всех, кто не этой масти и не этой партии. Не спорить с оппонентом, а навесить на него оскорбительный ярлык, ни за что не признать в нем даже возможность порядочности, добрых намерений и честных побуждений, но во всем видеть злой умысел — эти характернейшие стороны полемического стиля классической партийной публицистики равно присущи, как оказалось, всем ультра — и левым, и правым. «Берега сходятся, противоречия вместе живут...»

Итак, новое критико-публицистическое слово, возникшее в результате гласности и явившееся альтернативным по отношению к партийному официозу, в своих крайних выражениях воспроизвело почти все его особенности: догматическую приверженность к наспех выработанной идеологии, стремление монополизировать истину, нетерпимость к инакомыслию, неистовство и фанатизм. Обидно, что «первые сто дней» ушли на производство кривых зеркал.

Нетрудно представить себе литератора, который будет категорически со мной несогласен. Абсолютно свободной газетно-журнальная литература не бывает, скажет он. Всюду печатные органы имеют выраженное политическое лицо, и каждый публично высказывающийся должен с этим считаться. Свобода самовыражения человека, говорящего от себя лично, непосредственно, а не опосредованно, через персонажей, должна быть обусловлена выбором издания соответствующего профиля, а также шириной спектра изданий. И даже сейчас, когда спектр достаточно широк и каждый может выбирать по своему вкусу, есть одно «но», сковывающее свободу слова. Есть такое понятие, как литературная репутация; со сложившейся репутацией одного цвета не сунешься в печатный орган другого колера — не примут: чужак. Литератора как бы закрепляют за однажды выбранным направлением и навязывают ему неизменность взятой им линии. Как говорил один отечественный философ, «когда у нас человека кем-нибудь считают, то с ним уже не считаются».

Ну, что ж! Спасибо воображаемому литератору-спорщику. К уже описанным несвободам остается добавить еще одну — цензуру репутации: обреченность думать и писать в заданную и заранее обговоренную сторону, без сюрпризов и фокусов.

Около года назад, отвечая на вопросы одной анкеты, я попробовала изложить свое представление о текущем литературном процессе. Мне тогда казалось (прошу прощения за автоцитаты), что литература утратила иммунитет, энергию сопротивления не потому, что безнадежно больна, а потому, что пали сами препятствия. Долгие годы вдохновляемая различного рода борьбой, привыкшая преодолевать трудности и выживать вопреки обстоятельствам, литература как-то поувяла и сникла, оказавшись в режиме наибольшего благоприятствования. Она

будто переживала испытание хорошей жизнью: ее не гнали в шею и не пинали в спину, не плевали в лицо и вообще оставили в покое. Казалось, будто это не что иное, как болезнь обретения свободы, кислородное опьянение после кислородного голодания. Ведь идеалы гражданского служения давным-давно превратили отечественную литературу в средство воспитания народа, повышения его нравственного потенциала. И, будучи средством (каналом, проводником, помощником), она привыкла стесняться своей самоценности, робела ощущать себя целью.

Тогда, год назад, казалось: еще чуть-чуть, и наша словесность обретет ту смелость, когда можно «для власти, для ливреи не гнуть ни совести, ни помыслов, ни шеи».

Каюсь: я принимала желаемое за действительное. Первые признаки похолодания немедленно восстановили статус-кво: снова бодрящее дух сопротивление, снова азарт лагерного противостояния, снова пафос совместной общественной деятельности — как сильнодействующее лекарство при болезнях несвободы. Да и нужна ли она кому-нибудь, эта свобода?

Жизнь преподносит в этой связи куда более жесткие уроки, перед которыми меркнут эстетские ламентации о приоритетах внутренней свободы и угрозе внешней цензуры.

Прошу прощения у читателя за навязчивую, быть может, литературную ассоциацию.

«О, никогда, никогда без нас они не накормят себя! Никакая наука не даст им хлеба, пока они будут оставаться свободными, но кончится тем, что они принесут свою свободу к ногам нашим и скажут нам: «Лучше поработите нас, но накормите нас». Поймут наконец сами, что свобода и хлеб земной вдоволь для всякого вместе немыслимы, ибо никогда, никогда не сумеют они разделиться между собою! Убедятся тоже, что не могут быть никогда и свободными, потому что малосильны, порочны, ничтожны и бунтовщики!»

Я, разумеется, не стану утверждать, что поэма о Великом Инквизиторе — наиболее подходящий масштаб для трагикомедий нашего времени. Но был эпизод скорее ритуального, нежели политического плана, когда тема «придут и принесут свою свободу» соединила в согласном хоре практически несливаемые голоса. Речь идет об одной из недавних встреч Президента страны с деятелями культуры и искусства.

Люди, названные цветом интеллигенции, творцами духовности и красоты, явились к начальству, чтобы сказать: заберите ее от нас, вашу свободу, заберите и запрячьте подальше. Мы не знаем, что нам делать с ней. Мы взбудоражены, растеряны и беспомощны. Дарованная свобода принесла нам смятение и хаос, разброд и смуту. Она разрушила прежний порядок, когда все было ясно, строго и определенно. Она не дает нам быть теми, кем мы привыкли быть. Мы требуем хлеба в обмен на свободу. Накорми, а тогда и спрашивай с нас добродетели.

Снаружи, конечно, общение выглядело иначе. Не в моих планах разбирать все выступления, среди которых были, несомненно, и достойные. Пожалуй, один только требовал хлеба впрямую; в основном собеседники Президента резонно жаловались на дурную налоговую политику. Никто не роптал на свободу духа как таковую и тем более на свободу творчества для себя — многие пришли, чтобы отнять свободу у другого. Кого и что только не клеймили представители муз! Досталось и газете «Известия», и «юродствующим идеологам», и массовой культуре, и рок-музыке, и «коллегам, которые нарушают творческое единство и солидарность», и деятелям рыночной стихии.

Поносить отсутствующего оппонента или ругаться друг с другом перед глазами начальства — удовольствие вполне простительное для советского культурного истеблишмента. И все же... Как принято говорить в «сферах», «осталось много нерешенных вопросов» — которые, кстати, можно было, воспользовавшись случаем, задать высшей власти. А так — мы остались с хорошо знакомыми лозунгами: Долой сумбур в головах и разброд в наших рядах! Долой «разные интонации» и чужеродные стихии! Даешь низкие налоги, государственные субсидии

и четкое управление культурой! Даешь чрезвычайные полномочия Президенту и соответствующие права министру! А главное: **Вы нас кормите и всяко поддерживайте, и тогда мы — верные слуги Вашего престола.** Похоже, чиновные поэты и любящие их меценаты-патроны договорились. Учреждения искусства могут быть довольны: дурной налог с них сняли. Теперь верным слугам престола будет материально попроще.

ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ ПОЖАРНИКОВ

Когда из рук большого начальства по тем или иным причинам вываливаются власть и сила, у нас под ногами начинает гореть земля. И тогда спасать страну от пожара приезжают пожарники — у каждой команды своя программа тушения. Меня, однако, интересуют не столько программы, сколько сами спасатели, так сказать, человеческий фактор. В конце концов медаль, которую вручают при подобных обстоятельствах, учитывает качества поведения и называется — «За отвагу на пожаре».

Первые в списке — при всей условности термина — демократы: несбывшаяся пока надежда и боль...

Будучи человеком рядовым, от роду беспартийным, но в стане демократов не посторонним, я с горечью должна признать: судя по тому, как разгорается пожар, наши демократы вряд ли могут рассчитывать на награду. За недолгий период своего хождения во власть они сумели вызвать на свои головы громы и молнии, а также ушаты грязи. История, в сущности, проста. По давней отечественной традиции порядочным человеком у нас считался тот, кто находился в оппозиции к правительству. Так что пока борцы за демократию сокрушали тоталитарный режим, их любили, им сочувствовали, ими восхищались. Но вот они у власти, а значит, из предмета обожания превратились в объект критики.

Как часто их стояние у руля было ниже всякой критики! Выламываясь из тоталитарной структуры, сознание демократа, искренне ненавидевшего «проклятый режим», могло оставаться удивительно уродливым и искаженным. Да и откуда было взяться иному? Ведь — когда это стало безопасно — в либерал-демократию потянулись фигуры, выбросившие белый флаг прямо из красного окопа. И так дико было видеть на одной трибуне и под одним знаменем бывшего диссидента — клиента ГБ и гэбэшного же генерала; заядлого, но перековавшегося партмафиози и следователя того же профиля. Ореол благородной демократической идеи, обаяние и всемирная слава толерантного и беспримерно интеллигентного А. Д. Сахарова давали многим новообращенным тот статус, на который по их личным качествам и при иных обстоятельствах они не имели бы никаких прав. Фанатиками наоборот, в порыве к демократии и прогрессу способными кому угодно проломить череп за инакомыслие,— такими часто выглядели экс-комиссары из демократов. Вообще большевистский синдром с его воинствующей нетерпимостью, демагогией, заносчивостью и чванством весьма дурно влиял на демократов в кожаных пиджаках.

Случайно или нет нынешних демократов их оппоненты обвиняют в экстремизме и радикализме? Случайно или нет лозунг «все против всех» упорно приписывают демократическому направлению, подобно тому, как лозунг «кто не с нами, тот против нас» отождествляют с большевизмом? Случайно или нет летом прошлого года, в канун крутого поворота, Президент в порядке упрека или в порядке предупреждения заявил: «Демократам надо перестать драться друг с другом»? И наконец: случайно или нет бывший министр иностранных дел воскликнул в роковую минуту: «Демократы разбежались. Реформаторы ушли в кусты»?

Министр имел все основания сказать жестче: не разбежались, а разъехались, и не по кустам, а по заморским странам. Победив на выборах и полагая, что дело в шляпе, иные из депутатов-демократов, как и подобает элите, мчались по любому самому ничтожному приглашению во все концы света, сновали по всем международным конгрессам, чтобы там, а не у себя дома, решать судьбы страны и мира. Между симпозиумом о правах детей всего мира где-нибудь в Майами и конференцией о крахе коммунизма где-нибудь в Греции наведывались они на неделю другую в Отечество, узнавали о новом витке кризиса экономики и начинали хлопотать по поводу виз и билетов куда-нибудь на Острова Зеленого Мыса с чтением лекций по истории перестройки. Там, на Островах, депутатов словесного плана принимали всерьез, держали за больших политиков. И точно так же, как прежний партийный функционер думал, что он допущен к корыту за чистоту идеологии и верность режиму, наши депутаты считали, что свалившиеся с неба корма положены им за демократические убеждения и большие заслуги по демонтажу административной системы.

Не могу в этой связи умолчать о самом громком эпизоде на тему пряток по кустам. Был у нас учитель жизни — из тех, кто сочинял романы на вечные достоевские темы. Классик советской литературы изведал, кажется, все, что может предложить страна своим лучшим людям. Прошел слух, будто спросила его золотая рыбка: «Чай теперь твоя душенька довольна?» И будто ответил ей художник слова: «Мало мне быть на Руси писателем, мало мне заседать в палатах царских, хочу на волю вольную в Европу». Хотя, кто его знает, может, и там какая-нибудь война идет, и тоже афганцы, беженцы, патрули, бэтээры... Ведь ездили же фешенебельные делегации нашей перестроечной общественности сражаться за мир к берегам Миссисипи, Темзы, Гвадалквивира — и я сама, приходится в этом признаться, ни разу не отказалась от возможности повидать мир за казенный счет. Одно отличие — не депутат...

Известно, что уроки победы бывают не менее тяжелыми, чем уроки поражения. Отдельные победы на выборах, доставшиеся демократам, не обернулись, к сожалению, торжеством демократии. Читаю в «Известиях»: «Демократически избранные структуры власти в ряде городов и областей практически расписались в своей полной беспомощности, не в состоянии решать даже обычные, повседневные проблемы. Нынешние органы власти утонули в процедурных вопросах, в собственной некомпетентности». Так что, видимо, не только «нам ничего не давали делать», но и «мы сами не очень умеем делать».

Так или иначе сегодняшнее чувство тревоги, ощущение непрочности жизни уже завтра может смениться тотальным разочарованием и опустошительной апатией. И тогда власть будет принадлежать не демократам, которых избрали на выборах, и даже не так называемому Центру, а тем, кто сумеет наклониться и подобрать ее, жалкую и бесхозную.

Вдохновляемые проколами парламентской демократии, в возможные вакансии пристально вглядываются две другие пожарные команды — большевики-ленинцы и национал-патриоты. И парадокс, будто демократия — это «худший строй в мире, не считая всех остальных», как-то мало кого останавливает и, уж безусловно, не ограждает «законные парламенты» от любых неожиданностей (в чем мы имели уже печальный опыт).

Кто же из этих двух опаснее? Или и в самом деле мы присутствуем при рождении нового отечественного продукта — национал-большевизма, то есть большевизма, избавленного от комплексов «аскетизма» и «интернационализма», но с симптомами нацизма и инстинктом стяжания?

Вообще мимикрия большевизма — поразительное явление нашего времени.

Я давно пытаюсь понять одну фразу из «Бесов». «Почему это,— задает вопрос Степан Трофимович Верховенский,— все эти отчаянные социалисты и коммунисты в то же время и такие неимоверные скряги, приобретатели, собственники, и даже так, что чем больше он социалист, чем дальше пошел, тем сильнее и собственник... почему это?»

В свете привычной пропаганды об убогом жилье Ильича с узкой солдатской койкой в полутемном углу справедливость вопроса, которым мучается герой Достоевского, могла казаться отчасти и проблематичной. И даже на тех, из брежневского племени, объедавшихся и опивавшихся, лежал отсвет вколоченного нам

в головы образа бескорыстия: мол, грешат люди, конечно, а все же в коммунизм свой верят.

Но сейчас, когда КПСС, отложив в сторону идеологические заклинания, разрабатывает планы спасения бюджета и с оружием в руках стоит на страже своей недвижимости, вопрос из классического романа неожиданно проясняет сущность происходящего.

Как разительно изменился язык, дух, пафос установочных партийных документов! Где клятвы и заверения в неизменности идеалов? Где былая романтика? Где это, бессмертное, «Мы на горе всем буржуям Мировой пожар раздуем, Мировой пожар в крови — Господи, благослови!»?

Теперь свою миссию коммунисты представляют в терминах, достойных подпольного миллионера, а в миру бухгалтера Саши Корейко: «обеспечить финансовое подкрепление первичным парторганизациям... осуществить целевую программу пополнения доходов бюджета... обеспечить достаточные средства для организаторской и политической деятельности партии... сохранить там, где необходимо, ставки освобожденных работников».

Сколько же лет надо было прожить в родной стране со всеми ее революционными историями и партиями «Освобождения труда», чтобы наконец понять истинное значение термина «освобожденный работник». И какое же извращенное представление о свободе нужно было иметь, чтобы думать, будто такой работник хоть косвенно связан со свободой творчества, свободой личности или «умственным гением». «Освобожденный работник», ради которого якобы и была устроена революция, на самом деле оказался парторгом на зарплате, профессиональным комиссаром.

И вот на своем Пленуме освобожденные от труда люди провозглашают: «Хватит держать линию обороны, пора наступать и вернуть неоправданно утраченные позиции». А как только мы сравним идеалистическое «не могу поступиться принципами» с жестко прагматическим «вернуть утраченные позиции», становится ясен и другой пассаж из стенограммы Пленума: «пришла пора оценить результаты политического плюрализма, посмотреть, к чему привело общество изобилие партий и движений».

Жестоко заблуждается тот, кто думает, будто есть в этих словах хоть капля идеологической ревности к другим партиям.

Бунт освобожденных работников, прошедший под лозунгом «пора наступать», в свете решения Пленума выглядит так: этой самой свободы, которую имели мы и «неоправданно утратили», на всех все равно не хватит. Мы готовы еще какое-то время закрывать глаза, чтобы вы могли заниматься вашей болтовней. Но на добро наше, на святая святых партии — ее бюджет — не заглядывайтесь, не выйдет!

Так что когда на одной странице «Правды» прочитываешь призывы к гражданскому миру, а на соседней — угрозы в адрес тех, кто «пытается под любым предлогом отторгнуть у партии ее имущество», все становится на свои места.

Политическая власть большевиков дала трещину. Идеология обанкротилась. Вера в импульс Октября погасла, и, как выразился один знакомый школьник по поводу уроков обществоведения, вся эта дубовая дребедень воспринимается на уровне детской считалки: ехали татары, кошку ободрали, кошка сдохла, хвост облез, кто промолвит слово, тот и съест.

Однако радость, что этот товар теряет своих потребителей, как-то меркнет. Лучше бы они все-таки не поступались своими принципами. А то изменили партийную линию, и теперь все эти бессребреники строевым шагом направятся к рынку. И вот придем мы на их рынок и начнем искать честного купца, торговца и предпринимателя. И увидим вместо Мамонтова, Сытина или Саввы Морозова прежнее руководящее мурло. Он партбилет в саду закопал и «неоправданно утраченные» (то есть сдуру отданные) позиции вернул.

И если состоится «пир победителей», если восторжествует чудовище — тоталитарный капитализм с государственным рэкетом и беспощадно жестокими

способами первоначального накопления, над Россией вновь закружится «призрак коммунизма». Уже сейчас многочасовые очереди за мясом и пустые рабочие столовые публично сосуществуют с богатейшими кооперативными ресторанами, где за ужин на двоих платят три средних зарплаты. Новые газеты взахлеб смакуют подробности великосветских шоу, где нувориши за сто граммов сёмги отдают килограмм рублей. Богатство перестало прятаться и вышло из подполья; торговые жулики и партийные функционеры отмывают деньги, первыми норовя вступить в «царствие земное» на правах собственников.

Что же касается народа — он, конечно, оголодал, но не оглох и не ослеп; ему, воспитанному на идеалах коммунистического равенства, тяжело будет наблюдать «победу прогресса», и старые идеи с новым дразнящим привкусом крамолы затуманят бедные головы.

Несколько лет предстоящего безудержного социального расслоения с прежним партаппаратом в роли приватизатора — хороший срок для становления и упрочения необольшевизма, питаемого «светлой» коммунистической мечтой, в основе которой вера бедного, глупого и бездарного в то, что наступит время и не будет больше богатого, умного, талантливого. И страшно представить себе отечественный небосклон, вновь затянутый кумачом: ведь уроки истории не идут нам впрок, а Стенька Разин всегда готов собрать под свои знамена многочисленных добровольцев.

Впрочем, что Стенька Разин, неграмотный мужик, и разбойник! Не на него сейчас обращены взоры — есть у нас магнит попритягательней. Мое воображение по-прежнему занимают российские перья, писатели из сборной «заединщиков», отряд неистовых тушителей отечественного пожара.

Не тогда они перешли предел нравственно допустимого, когда отчаянно боролись с «космополитами», выбивая себе место под литсолнцем (ну, борьба за выживание).

Не тогда они покрыли позором свои литературные имена, когда сочиняли и подписывали коллективки, а также раскрывали псевдонимы в поисках фамилий на «Ко» (ну, бытовой антисемитизм, дурная болезнь).

Не тогда было за них мучительно стыдно, когда они подпевали партократии, клялись ей в верности — всем этим «импульсам», «идеалам», «выборам» (ну, конъюнктурщики, политиканы, хотя многие из «патриотов» сами презирают «национал-большевизм»).

Не тогда была окончательно утрачена вера в политические способности патриотов как «деятелей движения», когда они провалились на выборах и не прошли во власть (ну, репутация скверная, программа никуда не годная).

Не тогда все это с ними случилось — но, боюсь, случится сейчас.

Потому что сейчас, когда только ленивый не ругает демократов за все плохое, сделанное до них, при них, ими и всеми остальными, когда Отечество и в самом деле докатилось до края и уже наполовину свесилось вниз, наши замечательные патриоты предаются ...самому грубому, оголтелому, откровенному злорадству. Нет, не унынию, а именно злорадному, самодовольному торжеству по поводу того, что их противники не сумели помочь Отечеству.

Пусть гибнет Россия, страна, если вместе с ней погибнет и демократия,— вот пафос многих сегодняшних «патриотических» выступлений.

«Демократическая система имеет тот плюс, что на сегодня она провалилась и никогда больше у нас не победит. Спасибо ей за это»,— так дословно выразился патриотический аспирант-филолог на литературном вечере в московском музее Достоевского.

Так вам и надо, бездари и ничтожества. Мы вам говорили, что ничего у вас не выйдет, предупреждали. Вот оно, лицо демократии; посмотрите на ее дела: всюду кровь, слезы, горе, холод и голод,— так звучат бесчисленные выступления партийно-патриотической оппозиции. Но как странно в них расставлены акценты, как сладострастно перечисляются несчастья и как смачно, назойливо жуются имена виновных.

Сквозь румяна боли — белизна злобы... Патриотизм с нечеловеческим лицом.

С отвращением заставляю себя цитировать:

«Как бодро бросились вконец увядшие было «демократы» протестовать о Литве. Как же, снова можно не заниматься делом, а «бороться за справедливость». К тому же, да, отвлекается внимание от их американского кумира, не слишком красиво выглядящего в нынешнем мире. Что из того, что в городах, которыми они правят, положение народа все хуже и хуже, что их парламент бессилен хоть чем-то п о м о ч ь стране, да и не желает этого. Нет, они так и держат нос по ветру: как бы влезть не в свое дело, где бы побороться за то, за что они сами не отвечают. Ах, ах, Литва. Ах, Латвия. Да, Литва. Латвия. Да, трагедия. Да, всякое убийство — это убийство, и нечем тут нам хвалиться. Да вы-то тут тоже при чем? Вам-то что? Занялись бы, да, с в о и м и делами. Нет, не хотят. Или не умеют» и т. д. («Лит. Россия», 1991, № 4).

«Да, герои — в памяти еще свежи ваши избирательные кампании, посулы, эйфория, ваши скоропалительные «храбрые» статьи — вся та мишура, которой ослепили вы бедный народ, нашедший в себе силы поверить вам тогда. Но кто верит вам теперь, после всех ваших обманов? Или то, что мы имеем, и есть обещанный вами демократический рай? Все эти раздоры, нищета, разорение? Ах, не получилось, че вышло...» и т. д. («Лит. Россия», 1991, № 5).

«Словесами ныне нас Пустобрехи задарили. Президент, издай Указ против этой говорильни!» («Сов. Россия», 1991, № 21).

«Сейчас левые радикалы испытывают явное затруднение, растет все большее недоверие к ним, разваливающим страну, и поэтому они пытаются использовать русских, и те идут на это... Почему же мы, русские, так податливы на соглашательство?» («Лит. Россия», 1990, № 52).

«Теперь мы хоть поименно знаем ястребов-прогрессистов, что заседают в парламенте России. Подпольная диктатура Шеварднадзе рухнула. И после этого Президент сделал первые реальные шаги» («Лит. Россия», 1991, № 6).

Издеваясь, торжествуют литераторы: ура, демократы целых полгода были у власти, горсоветами заведовали, а ничего не сделали! Патриотическая пресса ликует: благодаря демократам России стало хуже! Так худо, что дальше некуда!

Так что не уныние, а злорадство — смертный грех патриотического движения.

А значит, не спасут Россию пожарники-поддувалы, которые тоже ведь, кстати сказать, ничем особо в д е л а н и и себя не проявили, а только в скандалах, сенсационных съездах и пленумах, журнально-газетных драках. Да и понятно уже, как мало патриотизма в этой д р у г о й партии, которая сдуру, сослепу и со зла думает, будто сейчас на ее улице праздник.

Есть у Достоевского одно болезненное, запальчивое место. «...Они первые были бы страшно несчастливы,— говорит почвенник и патриот Иван Шатов,— если бы Россия как-нибудь вдруг перестроилась, хотя бы даже на их лад, и как-нибудь вдруг стала безмерно богата и счастлива. Некого было бы им тогда ненавидеть, не на кого плевать, не над чем издеваться!.. И никаких невидимых миру слез из-под видимого смеха тут нету!» «Они» — в контексте романа и идеологии Достоевского — «люди из бумажки», «лакеи мысли», леваки-радикалы, либералы, атеисты и безбожники. Традиционно с ними и только с ними ассоциировалась политическая смердяковщина.

Время, как видим, вносит поправки: д р у г а я партия, именующая себя патриотической, оказавшись в оппозиции к властям иного идейного направления, торопится плевать и издеваться — да не тогда, когда Россия стала вдруг богата и счастлива, а когда ей совсем худо...

Впрочем, иллюзий, будто спасут страну партии, какими бы они ни были, у меня лично уже не осталось. Спасти могут люди; даже беглый «разбор полетов» показывает: стена ненависти и вражды стоит не между «демократами» и «патриотами», «государственниками» и «суверенниками», а между совестливыми и бессовестными, честными и бесчестными, великодушными и злобно-завистливыми. И тех, и других можно встретить, по-видимому, во всех партиях.

Но вот честные и бескорыстные, будучи, как правило, беспомощными и неорганизованными, пытаются объединиться. И уже на полпути к единству всплывает столько партийных разногласий, столько вспыхивает страстей, столько налипает мелких паразитов, что в конце концов от первого благородного порыва могут остаться рожки да ножки. Превращение свободного и честного намерения в партийное поручение сопровождается — как это ни прискорбно — и потерей свободы, и потерей чести.

* * *

Я пишу эти строки в дни, исполненные глубокого драматизма. В стране кризис власти, и, хотя она «кует за указом указ», жизнь людей все больше превращается в нескончаемую охоту за буханкой хлеба, пачкой масла, пакетом крупы. Силы и время расходуются на поддержание физического существования, о качестве жизни вопрос уже не встает вообще.

И все же, думая о том, что с нами будет, я опасаюсь не талонов на мыло и карточек на мясо. Я боюсь, что сейчас, в условиях постперестроечного эксперимента, формируется поколение, которое уже больше не захочет свободы. Во имя хлеба и порядка оно возненавидит независимость мысли, сама возможность свободного выбора и самоопределения личности будет отвергаться с гневом и враждебностью. С отвращением будет отброшена и литература, которая, пренебрегая своим собственным предназначением, всецело отдалась политике и запятнала себя этой порочащей связью. Едва замаячившая свобода находится сейчас в смертельной опасности: ведь истерзанные и сбитые с толку люди могут предпочесть ей авторитет крепкой власти, силой навязанную и общую для всех истину и образ нового деспота, который вновь, по традиции, надолго отобьет вкус к воле. И забудется слово, способное восстановить истинный масштаб ценностей, дать потерянные ориентиры.

Опыт русских революций, проходивших под знаком Великого Инквизитора, многократно подтвердил: взбунтовавшимся и выбитым из колен массам не нужна и неинтересна свобода, и они не выносят ее бремени.

Отказ от свободы духа во имя гарантированного продуктового минимума — эта исконно русская тема вновь появилась на отечественном пороге, и одежды свободы опять забрызганы кровью.

Страна, где объявлено ускоренное движение по пути мира, прогресса, рынка и соцвыбора, охвачена нетерпением. Каждая партия жаждет последнего и решительного боя; только что проснувшийся предприниматель ищет быстрой наживы: «разом весь капитал». Даже вчерашний атеист, а сегодня новообращенный строит свои отношения с Богом как с новым и престижным знакомым, который льстит самолюбию и может немедленно ввести в хорошее общество. Подтверждается старая горькая истина, выношенная русской классикой: возрождение человека — и лично и общественно — не может совершиться легко и скоро. Восстановить человека в себе надо долгой работой. В д р у г этого сделать нельзя: из ангельского дело превратится в бесовское.

Подтверждается и другая истина: свобода сама по себе не решает вопросы; она позволяет лишь открыто говорить о них. Тяжелому моральному испытанию подвергается также любимое дитя исторических мыслителей — понятие «прогресс», который рисуется как прямая столбовая дорога в царство добра и света. В поисках пути к тридевятому царству тридесятому государству наше бедное общество за уходящее столетие куда только не шарахалось, а вот прямо идти так и не смогло — все делало топором да грабежом.

Но существует ли на самом деле тот отрезок истории, когда наконец люди заживут разумно и справедливо? Читаю у Николая Бердяева: «Нет ничего более жалкого, чем утешение, связанное с прогрессом человечества и блаженством грядущих поколений... Ничто «общее» не может утешить «индивидуальное» существо в его несчастной судьбе. Самый прогресс приемлем в том лишь случае, если он совершается не только для грядущих поколений, но и для меня». И далее. «История есть и не прогресс по восходящей линии и не регресс, а трагическая борьба, в ней вырастает и добро и зло, в ней обнажаются противоположности».

Даже и не заглядывая в гороскоп, можно сообразить, как обострятся противоречия, насколько глубже станут конфликты. И дело вовсе не в том, что государство СССР рискует сейчас потерять свои окраины, не справиться с экономикой, превратиться в евроазиатское захолустье. В конце концов намного легче думать о будущем в категориях централизованного государства и в терминах великой державы, чем в масштабах одной человеческой личности. Пройдя через новые социально-политические искушения, преодолев внешние преграды и — дай Бог! — устроив себе мало-мальски достойную жизнь, сытую и обеспеченную, мой соотечественник впервые за памятную ему историю останется наедине с собой И только тогда он обнаружит, что ближайший его противник заключен в нем самом, что свою высокую идею вначале нужно защитить от самого себя и первую нравственную борьбу провести с самим собой.

Если когда-нибудь мы сможем преодолеть буйство политики и социальности, если от многомиллионных безликих масс история повернется в сторону человека, его личности и творчества, если повысится цена каждой человеческой жизни,— это будет, из всех мыслимых, самое большое достижение и самый блестящий итог той свободы, которой мы все-таки при всех издержках успели надышаться.

Е. Стариков

ПЕРЕД ВЫБОРОМ

Конечная цель «создания нового человека», к которой стремится любой казарменный режим,— формирование индивида, полностью лишенного в с я к о й автономии, индивида, поведение которого регулируется только извне — стимулами, исходящими от начальства. Такой человек должен быть не просто абсолютно послушен, а послушен рефлективно.

В процессе приближения к этому казарменному идеалу возможны три исхода. П е р в ы й: личность оказывает столь мощное сопротивление, что эксперимент не удается — можно физически уничтожить объект эксперимента, но погибнет он как личность, сохранившая свои моральные ценности, свою честь, а следовательно, и свое «я». В т о р о й: эксперимент удался, человек перестал быть личностью — наступили полная атрофия «самости», абсолютная утрата всех и всяческих ценностных норм Т р е т и й: человек внешне полностью принимает заданные ему «правила игры», сознательно отказывается от всех нравственных норм, чтобы не только выжить, но и преуспеть в рамках системы. Вырабатывается тип «лукавого раба», внешне покорного, но внутренне готового, если можно избежать наказания, исподтишка нарушить любые нормы — не только моральные (от которых он давно уже отказался), но и навязанные. Внутренняя автономия личности сохраняется как принципиальный, сознательный аморализм.

Рассмотрим эти три варианта в обратной последовательности.

Итак, вариант третий. «Лукавый раб», обладатель психологии люмпена — начисто обворованного человека, лишенного всемогущим государством всякой собственности, а посему считающего себя вправе, в свою очередь, обворовывать государство, а заодно и своих коллег по несчастью.

Человек, которого ежедневно и ежечасно отлучают от чувства собственного достоинства, стремится к самоутверждению, к тому, чтобы сохранить самоуважение, сознание, что ты — далеко не последний в этом обществе. Достичь этого можно двумя путями: путь трудный — оказать сопротивление подавляющей тебя силе; иной путь — наименьшего сопротивления: уступив сильнейшему, найти кого-то, кто слабее тебя, и уж на нем отыграться, унизить так же, как унизили тебя. Это, как говорил Кант, «скорее сатанинский, чем человеческий образ действий»,— сознательно выбранное зло как способ утверждения своей «самости». Нарушение моральных норм возможно ради достижения прагматической цели. Но даже если никакой выгоды для подобного типа личности нет, она все равно творит зло — «бескорыстно», а порой даже и в ущерб собственным материальным интересам. Перед нами сформированный казарменной системой а к т и в н ы й и сознательный носитель морального зла: зло как путь самореализации, садизм как способ развлечения. На первый план здесь выступает иррациональная воля к власти. Так же, как и зависть, садизм превращается в некий принцип бытия. Мощь и власть вызывают у авторитарной личности безусловное преклонение, независимо от того, принадлежат ли они отдельному человеку или целой организации. «Власть зачаровывает его не какими-то ценностями, за которые специфическая власть может выступать, но просто потому, что

она власть,— пишет западный исследователь Э. Фромм.— И как его «любовь» автоматически порождается властью, так бессильные люди или институции автоматически вызывают его презрение. Сам вид беспомощного индивида вызывает в нем стремление к нападению, доминированию, унижению этого индивида». Социальный характер такого типа отлично вписывается в структуру поголовного рабства: холоп и холуй по отношению к вышестоящим одновременно разнузданный угнетатель-самодур по отношению к подчиненным. Вот в изложении Льва Разгона («Непридуманное») оценка нравов сталинской бюрократии, данная заядлым монархистом М. С. Рощаковским: «А у вас, батенька, я почуял наверху такое холуйство, какое у нас было только в уездной полиции. И то: у человека ни звания, ни денег, сегодня ты министр, а завтра тебя выгонят, кем станешь? Пыжатся, а понимают свою полную зависимость от вышестоящего... Надобно или дворянство восстанавливать, или же, как на Западе, где человеку достоинство дает свобода выражения своей личности... Вы меня, старого, извините, батенька, но у всех у вас в глазах страх да угодничество. У последнего английского матроса не встретите этого...» Несмотря на всю свою подлючесть, а точнее, именно благодаря ей подобный социально-психологический тип занимает в казарменной системе высшие этажи власти. Многократно проводившаяся в нашей публицистике аналогия между сталинской верхушкой и воровской «малиной» во главе с «паханом» — не просто метафора...

Если тип наглого хама захватывает верхние этажи «пирамиды», то ее основание отведено для «идеальных заключенных». У этого социального типа административный «протез», командные «костыли» полностью заменили всякую личную автономию. Как всякий орган, перестающий функционировать, в конце концов атрофируется, так атрофировалось здесь личное «я». Человек во всем, вплоть до мельчайших личных и бытовых дел, полагается на вышестоящих. Внешний контроль вытесняет какую бы то ни было активность. Полностью лишенный самостоятельности, человек теряет дееспособность, превращается в большого ребенка. Его основными качествами становятся социальный инфантилизм и иждивенчество, «вечно-бабья пассивность» (Бердяев). В наиболее сильной степени и в огромном масштабе эксперименты по выведению подобной породы людей были проведены в государстве Инков. Каковы же результаты? Дадим слово Луи де Бодену: «Индейцу совершенно не надо было думать самому. Правительство думало и действовало за него, и если его действия прекратились бы, то социальная жизнь тут же бы заглохла. Под управлением Инков эта инерция проявила себя в застое торговли... в недостатке жизненности, отсутствии оригинальности в искусстве, в научном догматизме и в редкости даже простейших изобретений». И через столетия после падения инканата «в большинстве провинций... туземцы обычно копируют друг друга настолько полно, что кажутся все на одно лицо. Единообразие архитектуры удивило даже Гумбольдта, а однообразие жизни удивило Лорента. «Индейцы, как и дети, отличались друг от друга больше внешним видом, нежели достоинством отличительных личных качеств». «Все было одинаковым; люди походили друг на друга так, как будто все они были братья...»

Следует отметить, что судьба жестоко отомстила не только «воспитанникам», но и «воспитателям» — вспомним вполне уместное для данного случая высказывание Стендаля о том, что государству и правителю опорой может служить только то, что способно сопротивляться. Пассивно дисциплинированные, раболепные подданные так и не выручили своего правителя. И тут мне хочется провести одну топорно-прямую аналогию. В одной из недавних статей Глеб Павловский и словом не упоминает об Инках — он пишет о нас: «Можно поразному описывать несчастья нашей родины. Но одна из главных причин их то, что сегодня СССР — страна слабых. Это страна, где толпы людей могут мучить, убивать, изгонять тех, кого меньше, и этому некому помешать... И оглядываясь на сорокалетие, прошедшее под знаком Победы, когда мы накапливали горы обмундирования, военных кинофильмов и боеголовок, давайте подведем итог — мы создали в России небывалое: воспитали в народе труса».

Проходной темой советской периодики стала ныне проблема морального вырождения, отсутствия милосердия и т. п. С чем это связано? Когда государство рвет густую ткань эмоционально окрашенных человеческих связей — в семье, в кругу друзей, знакомых, сослуживцев и соседей,— оно подменяет эти связи административным «протезом». Гарантировав своим подданным отеческое попечительство во всех без исключения сферах жизни, государство сняло с них всякую личную ответственность и за них самих и за близких, то есть инфантилизировало всех. Представить своих подданных детьми, несмышленышами, привить взрослому психологию ребенка, мужчину воспитать «в женственной пассивности», переходящей в «бабье» (Бердяев),— магистральный путь взращивания «идеального заключенного». Вот мнение психолога Б. Кочубея об особенностях воспитания мужчин в современном советском обществе: «С детства на мальчиков оказывается давление, препятствующее развитию их мужского, отцовского начала. Общество в целом и школа как его боевой авангард поощряют пассивную дисциплину, бездумное послушание и нетерпимо относятся к таким традиционно мужским качествам, как инициатива, выдумка, активность. В школах девочек меньше наказывают и больше хвалят, чем мальчиков. Девочки, особенно в начальных классах, пользуются большим авторитетом и значительно чаще становятся формальными лидерами (старостами, звеньевыми и т. п.)... Его (мужчины.— Е. С.) традиционная роль включает активность и инициативу — качества, реализация которых невозможна в мире, где «любая инициатива наказуема». Система всеобщего подчинения приказам сверху исключает направленность на успех — свойство, во многих обществах чрезвычайно характерное для мужчин. Можно, конечно, находить удовольствие и в подчинении начальству, можно смириться с бесправным безынициативным положением, но сохранить при этом мужское самоощущение очень трудно». От себя добавлю к этому, что символом нашего феминизированно-милитаризированного общества стало существо с бантиками и в чулочках, но с автоматом Калашникова на груди, вытянувшееся по стойке смирно у вечного огня а пионерском почетном карауле.

Подданный должен быть постоянно унижен и беспомощен. Должен по-холопски просить и по-холопски благодарить. Если взрослые получили младенческий комплекс зависимости от «няньки», то в случае отсутствия «няньки» их ожидает страшная участь. Лишенные административного «протеза», они оказываются не способны стоять на собственных ногах, то есть жить своим умом и руководствоваться собственной волей. Лишенное пастухов, стадо овец обречено на гибель.

Если поискать общий знаменатель у двух типов «казарменной личности»— лукавого раба-хама и «идеального заключенного», то таковым знаменателем окажется безответственность, бессовестность, бесчестье. Лишенный свободы человек лишен права на выбор, а стало быть, и права на мораль. Если в жизни все предусмотрено другими, то и ответственность за свои поступки несет не сам человек, а кто-то другой. Австрийский психолог Бруно Беттельгейм по этому поводу писал: «Такая защитная реакция, направленная на сохранение самоуважения путем отрицания всякой вины, на самом деле ослабляла личность заключенного: возлагая на внешние силы вину за свои действия, они не только отрицали наличие личного контроля за своей жизнью, но также какую-либо значимость того, что они делали. Обвинение других или же внешних условий за собственное недостойное поведение может быть привилегией детей; если же взрослый отказывается от ответственности за свои поступки, то это еще один шаг к распаду личности». Попытка наших квасных патриотов возложить всю вину за трагедию народа на кого-то другого — на масонов или космополитов,— ария из той же оперы.

При моральном выборе из нескольких альтернатив решающую роль играет совесть как внутренний этический ориентир. Если же исчезает сама проблема морального выбора, то необходимость в совести отпадает. Правда, бессовестность как общая черта и «лукавого раба», и «идеального заключенного», имеет

применительно к каждому из этих социальных типов определенные оттенки. В первом случае она выступает как сознательный принцип, во втором же ее бессознательное отсутствие — просто «медицинский факт».

В процессе отрицательной селекции казарменное общество «выбраковывает» тех, кто не хочет отказаться от своей личности ради выживания. Их или морально ломают или физически уничтожают. В одном из своих последних романов — «Час быка» — Иван Ефремов утверждает, что сообщения о людях, прошедших пытки и не сломленных,— или вранье, или свидетельство неумения палачей. Скорее всего так оно и есть. Психофизиологические силы любого человека не беспредельны и противостоять в течение неограниченного времени профессиональным палачам вряд ли возможно. Но все же и в условиях «тотальных институций» (если только тобой персонально не занялись заплечных дел мастера) есть возможность сохранить себя как личность. Наиболее простой путь — не допустить самого факта установления казарменного режима, пусть даже ценою собственной жизни. «Рисковать собственной жизнью для пресечения маленьких посягательств на чью-то автономию — на это большинство людей не пойдет,— пишет Беттельгейм.— А когда государство предпринимает одно такое маленькое посягательство вслед за другим — у какой черты необходимо заявить: «Дальше ни шагу, даже если это будет стоить мне жизни»? И очень скоро множество маленьких посягательств отберет так много мужества, что не останется больше решимости к действию». Коготок увяз — всей птичке пропасть. Правда, нам плакать по «коготку» уже поздно — «птички» давно не видать над поверхностью государственного болота. Правы были англичане XIII века, не позволившие королю Эдуарду даже в целях «войны с преступностью» ущемлять малейшие права свободных граждан.

Тому же, кто живет в казарменном обществе, Беттельгейм советует «найти какую-либо значимую сферу жизни, которой еще можно распоряжаться», то есть любой ценой сохранить плацдармы личностной автономии, не дать оккупировать это поле полностью. А самое главное, для того чтобы остаться человеком, а не просто «ходячим телом», необходимо обозначить для самого себя «точку, за которой нет возврата». «Это означало уверенность, что если кто-то выживал ценой перехода этой точки, то жизнь, за которую он так цеплялся, на самом деле теряла всякий смысл. Это означало выживание не просто с пониженным самоуважением, а вообще без всякого».

Важнейшим условием сохранения личности (что зачастую означает и сохранение жизни, ибо, повторю, распад личности влечет за собой физическую гибель) является сохранение внутренней свободы — свободы выбирать собственную позицию при любых обстоятельствах, отдавать себе отчет в собственном отношении к экстремальным условиям, даже если они кажутся за пределами возможности влиять на них. Тем самым сохраняется внутренняя основа целостности личности и залог того, что возврат к нормальным, то есть свободным условиям существования, не отрезан.

Другим таким условием является несомненное наличие даже в самой непроницаемой казарменности определенных ниш для положительной деятельности. Любое общество, каким бы оно ни было, нуждается в профессионалах-ученых и в профессионалах-рабочих. Ведь в самом разгильдяйском люмпенском сообществе кто-то должен работать, причем не только под землей или на лесоповале, но и у сложного оборудования. Хочет того система или нет, но, как показал Гавриил Попов, она нуждается в Зубрах. Инга Розовская считает, что «итогом нашего семидесятилетнего развития стал не только «хомо советикус», каким мы его сейчас увидели — с его хамством, ленью, мафиозной этикой, но и небольшой слой бескорыстных изобретателей, неподкупных мыслителей, художников... Это тоже человеческий тип, который сформирован нашей жизнью (вопреки или благодаря — другой вопрос)».

Откуда же они берутся, такие личности? Ведь Зубрам давно уже положено вымереть, а чудаки все появляются, и хоть в убывающем количестве, но тем не менее...

Еще в застойных 70-х советские психологи В. А. Петровский и А. Г. Асмолов усомнились в незыблемости истматовской аксиомы «общественное бытие определяет общественное сознание». Они выдвинули концепцию «надситуативной активности», то есть способности человека испытывать импульс к такой деятельности, которая не диктуется реальными нуждами, но «выводит личность на новый продуктивный уровень решения жизненных задач» и в конечном счете становится одной из важнейших движущих сил прогресса и культуры. Отсюда уже недалеко и до мысли о том, что, деформируя сознание большинства людей, казарменная система все-таки бессильна тотально уравнять всех по прокрустовой мерке. Я не специалист по генетике, но у меня есть сильные основания подозревать, что существует определенная генетическая предрасположенность к усвоению культуры, что есть люди с врожденным чувством чести и порядочности, по своиствам своей натуры органически неспособные к подлости, паскудству. Рожденные в условиях казарменного общества, они тем не менее как губки впитывают в себя ценности вытаптываемой и уничтожаемой культуры, активно ищут ее уцелевшие обломки, оставаясь при этом безнадежно глухи к барабанному бою официальной пропаганды. Это порядочные, культурные, интеллигентные люди милостью божьей. Они воспринимают угасающий сигнал изничтожаемой культуры, подхватывают, усиливают его и передают дальше. Культура помогает человеку сохранить свою личность от саморазрушения, а в экстремальных ситуациях это равносильно физическому выживанию.

Психолог Б. Кочубей считает, что потеря самоуважения — основа всех болезней личностного роста. И в самом деле, следует рассматривать чувство собственного достоинства, честь как стержневой компонент моральной культуры. Нельзя не согласиться с французским философом Аленом де Бенуа (хотя он и в числе лидеров «новых правых»), который пишет, что наша эпоха «нуждается скорее в характерах, чем в интеллектах, скорее в позвоночниках, чем в мозгах. Но «элита характеров» — это не просто одна из элит, у нее есть имя: аристократия». Ностальгией по аристократизму пронизаны произведения и советских писателей — от братьев Стругацких до Даниила Гранина, средства массовой информации тиражируют эту ностальгию, выраженную в песнях, стихах и воспоминаниях чудом уцелевших «последних из могикан» русской аристократии. В последнее время зазвучали и голоса историков, философов. Е. Б. Рашковский, например, полагает, что аристократизм как внутреннее свойство личности и демократизм как единственно достойная форма общения между людьми — суть два лика общей идеи о безусловном статусе человека. «Общую же альтернативу «аристократизму» внутренней жизни и демократизму внешнего общения может составить лишь хамство как особый тип отношения к миру, основанный на самоутверждении ценою принижения другого человека».

Выдающийся русский философ Г. П. Федотов в своей статье «Рождение свободы» писал об английской аристократии: «Аристократия эта активна и часто прогрессивна, участвует во всех сферах жизни; хранимое ею феодальное начало личной чести передается всей нации. Идеал джентльмена, еще чисто сословный лет сто тому назад, теперь становится общенациональным. Мы не знаем, конечно, правда ли, что «британцы никогда не будут рабами». Но безусловная правда, что тот тиран, вождь или «спаситель», который попытается поработить Англию во имя равенства или во имя славы, должен будет раскусить весьма крепкий орех». К чести англичан надо отметить, что при товарном дефиците, пережитом страной в послевоенный период, там «черный рынок» не сложился: англичане считали ниже своего достоинства добывать продукты питания таким путем. Что касается современной Японии, то она в значительной степени обязана своими блестящими успехами во всех сферах жизни тому моральному кодексу, который был унаследован нацией от самурайского сословия. Но не во всех странах дела сложились столь благоприятно для аристократии и народа. Там, где аристократия пренебрегла честью и противопоставила свой корыстный интерес общенародному, ее смела волна народного негодования, а сама она не стала образцом для социального подражания — подражать было нечему. Так произошло во Франции в период Вели-

кой революции с теми, кто «ничего не забыл и ничему не научился». Такая же участь постигла и русскую аристократию, резко отличавшуюся от основной массы народа самим типом культуры («люди в немецком платье») и интересами (зубами вцепились в свои поместья и расстались с ними только вместе с жизнью). Бывает Аристократия и «аристократия». Если русская аристократия чем и послужила в качестве примера для «низов», так это своим холопством — ведь именно она стала первым крепостным сословием русского общества и лишь затем холоплены были и крестьяне.

Прав историк В. Б. Кобрин, утверждая, что «холопы не могут управлять нехолопами... падение личного достоинства господствующего класса означало полное лишение этого достоинства и эксплуатируемых. Все в истории настолько тесно связано, что грубое нарушение интересов социальной группы может пагубно влиять на все общество».

Понятие социального подражания теснейшим образом связано с понятием «референтная группа», то есть такая социальная группа, на которую ориентируют свое поведение, с которой берут пример; ее поступки и мораль служат образцом, желаемой нормой.

Как правило, такой референтной группой для большинства людей являются представители элиты — социальной, политической, интеллектуальной, моральной и т. д. Теряя свои высокие качества, элита теряет и авторитет, перестает быть образцом для подражания. У нас обстоятельства сложились так, что верхушку социальной пирамиды оккупировали «лукавые рабы», которые и заполнили собой номенклатурные должности в рамках политики «подбора и расстановки кадров». И именно они составляют сейчас ту референтную группу, на которую ориентируется все больше населения, видя перед собой лишь этот мафиозный идеал — объект для социального подражания. Хамство, прорвавшееся на «самые верха», стекает затем вниз, заражая «широкие народные массы». Если в процессе казарменной селекции слой не поддающихся энтропии личностей все более истончается, то в среде энтропийных («субпассионариев» по терминологии Льва Гумилева) происходит расслоение по принципу «среди сильнейших побеждает наглейший, а среди наглейших — сильнейший». Идет внутривидовая борьба за главенство, во многом схожая с процессами «в мире животных» — критерием служат не деловые или моральные качества, а психофизиологическая агрессивность, «настырность», наглость. Самые наглые и сильные, становясь номенклатурными паханами, принимают позу доминирования; тем, кто послабее, предстоит стать «идеальными заключенными» и принять позу подчинения.

«Вор в законе» не должен работать. В противном случае он теряет свой социальный статус и превращается в «мужика». Это закон «зоны», воровской «закон». И одновременно — закон поведения номенклатуры. Приведу свидетельства двух очевидцев: одного — из лагерной «зоны», другого — «ренегата» из сословия номенклатуры. Выводы делайте сами.

«Иметь заключенного, выполняющего твои обязанности, стало престижным для всех вольнонаемных — от начальника шахты до уборщицы. Непрестижным, унизительным было делать свою работу самому.

Да и сами заключенные... Если зэк числится дневальным, а выполняет работу начальника, то уже дневалить (топить печь, убирать) он приведет другого зэка, а тот для самой неприятной части своего дневальства — принести воды, наколоть дрова — третьего. Ничего удивительного в этой эстафете рабства нет. У рабов и рабовладельцев, по сути, одна психология.

Рабская психология срастается с уголовной и образует устойчивый комплекс покрепче фрейдистских. Ведущая черта «комплекса ГУЛАГа» — отвращение к труду (и у зэков, и у вольных)... Порожденная рабским трудом психология, как зараза, расползалась из лагерей по всей стране. А может, наоборот, в них концентрировалось все столетиями копившееся на Руси рабство? Возникло обширное поле рабской психологии с размытыми границами». А вот свидетельство знатока «номенклатурной этнографии», бывшего члена этого сословия, а ныне «предателя своего класса» Михаила Восленского: «Практика показывает, работа начинается там, где кончается номенклатура... Номенклатурному начальнику совестно самому работать. Один мой знакомый — бывший радиожурналист с бойким пером — стал директором научного института, то есть вошел в номенклатуру... С тех пор за него пишут не только доклады и статьи, но даже самые неотложные письма... Дух номенклатуры — это дух паразитизма. Подобно тому, как госпожа Простакова в фонвизинском «Недоросле» говорила, что недворянское дело знать географию, на то кучера есть, в номенклатуре считается, что не номенклатурное дело работать, на то есть подчиненный аппарат». Запрет на трудовую деятельность — моральный принцип номенклатурщика, он воплощается всегда и повсюду — даже на дачном участке: «Контраст с обычными дачами, где полуголые взъерошенные хозяева с утра до вечера копают, чинят, поливают — этот контраст разителен... И дело не в том, что номенклатурщики сами по себе индивидуально — белоручки. Немало среди них... выходцев из крестьянских семей. Работа в саду была бы для них, вероятно, удовольствием. Но не положено. Физический труд ниже достоинства членов класса номенклатуры. В этом лишний раз отразилось коллективное отвращение выскочек-номенклатурщиков к работе их прежних классов. И вот выросшие в деревне люди стыдятся взять в руки совок, чтобы посадить цветы, а страстные автомобилисты вызывают служебную машину с шофером».

И начальственные люмпены, и уголовники испытывают одинаковую ненависть не только к труду, но и к проявлениям человеческого достоинства: «Для начальства это опять же вызов, бунт, а зэки либо заподозрят провокацию — и тогда держись от «падлы» подальше, а то и убей его, либо оценят как «дурость» и не преминут воспользоваться ею ради собственной выгоды».

В результате действия законов социального отбора, одинаковых и для казарменного сообщества, и для сообщества животных, попавших в ситуацию скученности, особи менее агрессивные, менее «настырные» и «шустрые», обладающие пониженным уровнем чисто физиологической наглости, оказываются «на дне». Даже в обстановке деспотического насилия у человека всегда есть возможность личного выбора. «Но горе обществу, если этот выбор требует крайних усилий, если он становится уделом героев, противостоящих множеству опустившихся, затравленных, духовно сломленных людей»,— замечает Э. Ю. Соловьев. Такое противостояние десятки миллионов советских граждан могли наблюдать летом 1989 года при прямой трансляции по телевидению заседаний первого Съезда народных депутатов СССР, когда, «одержимый холопским недугом», почти весь зал травил одного человека, активно выступившего против казарменных порядков еще тогда, когда многие из нынешних народных избранников, не переживших еще «коллективного прозрения», в упоении лизали начальственные зады. Теперь в таком же упоении они топали, улюлюкали, один за другим и одна за другой выскакивали на трибуну, дабы на виду у высшего руководства проявить себя большими католиками, чем сам папа римский, чтобы в радостно-холопском, восторженно-истеричном исступлении «заклеймить» и «пригвоздить к позорному столбу» («от лица всех матерей», или «всех женщин», или «всех трудящихся») того одного из немногих, кто спасал честь страны. Спасал в те годы, когда молчали все.

Характерная черта «идеального заключенного» — атрофия потребностей и желаний. Вот строки о нашей действительности, и не о зэках речь, а о «простых советских людях»: «...Фактором, определяющим низкий уровень активности, является отказ от желаний. Значительное число людей не только не предпринимают почти ничего для достижения своих целей, но и отказываются от самих этих целей — ничего не хотят. Ценности покоя, стабильности перевешивают все остальные возможные награды, в результате человек заранее отказывается от всех превышающих элементарный минимум материальных и духовных благ, гарантируя себе взамен спокойствие и стабильность. Таким образом, те блага, стремление к которым и является в значительной степени внешним стимулом к активности, обесцениваются в сознании субъекта и не могут выступать в качестве подкрепления».

В этом состоянии безысходности, обреченности всякая борьба за лучшую долю теряет смысл. Как в песне: «Ничего мне не нужно, никуда мне не надо, все нормально и так». Человек перестает следить за своим здоровьем и внешним видом, за состоянием своего жилища. Духовное разрушение, начавшееся извне, превращается в саморазрушение личности, причем уже не только духовное. Торжествует инстинкт смерти, человек не только не заботится о своем здоровье, но делает все для его разрушения алкоголизм, разного рода токсикомании, частые случаи самоубийств. И снова приведу свидетельство о заключенных в немецком концлагере: «Осталась одна оболочка, внутри — ничего нет, нет и стремления жить. А человек живет до тех пор, пока хочет жить. Создать «идеального заключенного» можно, но это будет нежизнеспособное существо. И если бы Гитлеру удался его план «перевоспитания» людей, то он получил бы целую Германию мертвецов».

А что в результате многолетнего «эксперимента» получили мы?

Первая, единственная — и последняя надежда

Однажды летом слушала я радиостанцию «Свобода»... А зачем, почему летом 1990 года я слушала «Свободу»? Ведь у нас процветает гласность, и именно летом одна за другой создавались независимые газеты. А бывшие всю жизнь зависимыми издания провозглашали свой новый, вольный статут. И было далеко до IV Съезда народных депутатов СССР, до предупреждения Эдуарда Шеварднадзе: «грядет диктатура» И высадка десанта в Прибалтике казалась невероятной... Да ведь и самой мне дозволялось публиковать и в «Новом времени», и в «Книжном обозрении» все, что считаю нужным. Ну, почти все. Впрочем, что говорить... Ведь я и сама (продукт!) не хуже дозволяющих знаю, что можно писать, чего нельзя

Так вот, именно поэтому, видимо, однажды летом слушала я «Свободу»... Как раз потому, что и процветающая гласность, и независимые газеты, радио- и телеканалы, и провозглашающие вольность бывшие зависимые печатные издания — все у нас делается руками п р о д у к т о в. Кто-то продукт в меньшей степени, кто-то в большей. Но каждый — продукт. А информации не хватает. Информация жизненно необходима. Информации жаждем.

Однажды летом слушала я «Свободу»... Нет у нас такой же оперативной радиостанции Нет! Чтобы каждый час все самые главные новости в нашей стране и в мире. Чтобы каждую новость комментировали умные, образованные, свободно мыслящие люди. Бесполезно переключать приемник с «Маяка» на первую программу, зажигать телеэкран (хоть летом 1990 года телеэкран, заметьте, был еще пристоен). Или ждать завтрашнего дня, надеяться на самые храбрые ежедневные газеты или, отрешившись от мирской суеты, думать о вечном и высоком.

Это, между прочим, отличный совет Что в них — в новостях, в комментариях? Какая, в самом деле, разница, о чем договорились Горбачев с Ельциным? От резолюций ли Российского съезда ждать счастья? У государственных ли мужей вымаливать здоровья своим близким — единственного, что по-настоящему волнует в этом мире? Конечно, нет. Так плюнуть на суету, информацию, новости, комментарии, раздумья самых знающих, самых вольномыслящих людей. Прекрасный, великолепный совет. И тот, кто может последовать ему,— велик и счастлив.

Но я слушаю радиостанцию «Свобода». Летом, зимой, весной и осенью — каждый день. Потому что у меня сын. Потому что ему здесь жить. Потому что я не выполню свой долг на земле, не расплачусь за счастливый дар жизни, если не сделаю все, что в моих силах, и все, что выше моих сил, чтобы его жизнь была нормальной. Потому я должна знать, что́ сегодня, сейчас, а не завтра, здесь, на нашей с ним родине, угрожает становлению нормальной жизни. Чтобы сейчас, сегодня, а не завтра или на следующей неделе делать то, что должно, и пусть будет, что будет,— так еще в юности меня научил Лев Толстой.

Может, мои усилия не стоят и ломаного гроша. Так и есть, скорее всего. Служу суете, отнимающей нервы, время, саму жизнь. История творится сама по себе и от нас не зависит.

Неужели ты этого не поняла, дожив до седых волос?!

Однажды летом слушаю я «Свободу»... И вдруг — такая неожиданность: выступает один из авторов книги, которую я как раз держу в руках. Я ее только что дочитала, восхитилась, решила воспеть. Петр Вайль, Александр Генис. «Родная речь» (Предисловие Андрея Синявского. Эрмитаж, 1990). Книжка у меня вся в закладках, в карандашных пометках, нужные цитаты выписаны на карточки, бумага вставлена в машинку. И, видимо, чтобы меня окончательно вдохновить, веселый голос одного из авторов в моем приемнике, славная родная речь, точные слова.— Подарок!

Подарок-то подарок, но — чу! — как говаривали в старину: любезный автор назвал мое имя... журнал «Знамя»... мою статью «Наша бедная трудная литература». Батюшки, да он костерит меня почем зря!

«Немало удовольствия доставило нам в тесниах и пустынях эмиграции веселое перо Вайля и Гениса»,— такие слова Василия Аксенова есть на обложке «Родной речи». Я бы, однако, слукавила, если б стала утверждать, что и от радиоразноса получала удовольствие. Нет, как профессионал профессионалу отдаю своему критику должное: он был замечательно ехиден и вполне корректен. Но если бы при этом мою статью хвалил, мне было бы куда приятнее.

Да ведь никогда не ожидаешь ехидного разноса от единомышленников. Мы же, авторы «Родной речи» и я, конечно, единомышленники. Не сомневаюсь — во многом, но сейчас говорю об одном: мы единомышленники в оценке качества преподавания литературы в школе. Считаю, что оно безобразно до зловредности. И они тоже. Но я пишу об этом статью за статьей, все прямее и резче по мере возрастания нашей свободы. А они пошли дальше: создали, сами написали учебник литературы — такой, какой надо. И учебник этот не отвратит учащегося от чтения, книги, наоборот, поможет пристраститься к книге и чтению. Доказательство нашего совпадающего отвращения к советским учебникам — полемичность «Русской речи» по отношению к этим учебникам, явленная во всем: в языке, структуре книги, стиле изложения, содержании глав, оценках произведений, в характеристиках.

П. Вайль и А. Генис написали учебник русской классической литературы для школы по той же схеме, по которой создают свои учебники советские авторы: классики расположены в том же порядке.

Но, в отличие от отечественных тяжеловесных кирпичей, их книжка компактна, начисто лишена заунывной назидательности, убийственной скуки.

Держа в руках учебники, по которым учатся наши дети, не устаю поражаться: как можно так бездарно, таким скверным новоязом писать о лучшем, что у нас есть,— литературе. «Родную речь» Вайля и Гениса хочется читать и перечитывать, поставить на полку рядом с самыми любимыми книгами, которые всегда под руками.

Но почему им не нравится то, что я пишу о наших учебниках литературы, в чем они со мной не согласны?

Исхожу из традиционного: литература — хранительница России. Литература — наш главный учитель. Если она не научит нас, что человек рожден для свободы, мы окончательно пропали. И когда школа отвращает наших детей от литературы, она делает самое большое зло, какое только может совершить: она уводит поколения от единственного источника, она закрывает перед поколениями последний свет, она убивает Россию, окончательно лишая ее надежды стать хоть когда-нибудь свободной...

Эх, говорит радиостанция «Свобода», что за утилитарный взгляд на прекрасное искусство, что за прагматизм! Как же можно отвыкнуть (или и вовсе никогда не уметь?) наслаждаться изящной словесностью и видеть в ней только пользу! Как раз распространенный обычай видеть в литературе учителя и есть главная погибель для самой литературы. Именно этот обычай, въевшийся в мозги педагогов, писателей, критиков, воспитателей, более всего учащихся от литературы и отвращает. И сама Татьяна Иванова — истинный продукт советской действительности, советской идеологии, общепринятых догм, любимых советских мифов.

Ну, может, и не так говорил один из авторов — другими словами. Но именно это сказала мне про меня «Свобода» его веселыми устами.

«Родную речь», журчащую, как ручей, сопровождает ненавязчивая, необременительная ученость,— пишет Андрей Синявский.— Она предполагает, что чтение — это сотворчество. Пускай наши авторы в изящной словесности собаку съели и выдают на каждом шагу оригинальные повелительные решения, наше дело, внушают они, не повиноваться, а любую идею подхватывать на лету и продолжать, иногда, быть может, в другую сторону».

О тех самых книгах, которые «проходят» в средней советской школе, авторы в самом деле говорят как о самых бурных и самых интимных событиях своей жизни. Два листочка о «Бедной Лизе». Легко представить себе подростка, наделенного единственным достоинством — минимальной любознательностью, овладевшего единственным умением — бегло читать, подростка, прогулявшего уроки и, вместо этого, валяющегося на диване с книгой Вайля и Гениса. Можно ручаться, что, проглядев эти два листочка, он захочет взять в руки «Бедную Лизу». Любопытно же узнать, что это за Эраст, у которого нет в повести дел, кроме любви. Попробовать угадать, что там за сплошной пунктуацией в самых рискованных местах. Значит, именно праздность помогала этому умному бездельнику «сохранить дистанцию между собой и государством»? Интересно...

По мнению авторов, «Бедная Лиза» — «эмбрион, из которого выросла наша литература». Они считают, что «Бедную Лизу» «можно изучать как наглядное пособие по русской классической словесности». И подростка, обладающего, кроме минимальной любознательности, еще хоть какими-нибудь свойствами из положительного ряда, подростка, в котором утверждения авторов разбудят стремление убедиться в справедливости этих утверждений или их ложности,— такого тоже довольно легко себе представить.

Как и авторы «Родной речи», я обожаю «Письма русского путешественника». Не уверена, что на полутора книжных страницах удастся уговорить школьника прочесть этот толстый том. Но что в детской памяти останется информация — «есть на свете отличная книжка «Письма русского путешественника», при случае стоит почитать»,— в этом не сомневаюсь.

А что за упоение глава из «Родной речи» о Фонвизине! Хочется стоять за учительским столом, чтобы перед тобой был целый класс. Хочется читать главу вслух и радоваться, что они тебя понимают, что в эту минуту становятся независимее, смелее. Вот, послушайте, как пишут Вайль и Генис, порадуйтесь, читатель, что кто-то — где-то — еще не разучился рассуждать о старой русской классике так просто и так умно. «Язык положительных героев «Недоросля» выявляет идейную ценность пьесы гораздо лучше, чем ее сознательно нравоучительные установки. В конечном счете понятно, что только такие люди могут вводить войска и комендантский час: «Не умел я остеречься от первых движений раздраженного моего любочестия. Горячность не допустила меня рассудить, что прямо любочестивый человек ревнует к делам...» Легче всего отнести этот языковый паноптикум на счет эпохи — все же XVIII век. Но ничего не выходит, потому что в той же пьесе берут слово живущие рядом с положительными отрицательные персонажи. И какой же современной музыкой звучат реплики семейства Простаковых! Их язык жив и свеж, ему не мешают те два столетия, которые отделяют нас от «Недоросля». Тарас Скотинин, хвалясь достоинствами своего покойного дяди, изъясняется так, как могли бы говорить герои Пушкина: «...Я хотел бы знать, есть ли на свете ученый лоб, который бы от такого тумака не развалился; а дядя, вечная ему память, протрезвясь, спросил только, целы ли ворота?».

«Десятилетняя ссылка сделала неприличным обсуждение чисто литературных достоинств его (Радищева.— Т. И.) произведений... Обличительный пафос Радищева до странности неразборчив. Он равно ненавидит беззаконие и сахарование... Он хотел одновременно писать тонкую, изящную, остроумную прозу, но и приносить пользу Отечеству, бичуя пороки и воспевая добродетели. За смешение жанров Радищеву дали десять лет. Хотя эту книгу давно уже не читают, она сыграла эпохальную роль в русской литературе».

Где, в каком советском учебнике литературы можно встретить такую честную, человеческую фразу: «хотя эту книгу давно уже не читают...»? Мы ребят принуждаем — прочесть. Принуждаем прочесть то, что давно не читаем сами.

С наслаждением проглотила и главы о Крылове и Грибоедове, Пушкине и Лермонтове... Мне показалось, что победнее, поскучнее тексты о Некрасове и Салтыкове-Щедрине. И нашла этому объяснение. Ведь Вайль и Генис до 1977 года жили у нас, окончили нашу школу. Только потом оказались в Нью-Йорке. Некрасова и Салтыкова-Щедрина наша школа убивает много успешнее, чем всех остальных. К этим двум классикам советская школа ухитряется привить не отвращение — настоящую ненависть. Методики безошибочные.

Уроки литературы, полагаю, ухитрились исказить восприятие даже таких замечательных книгочеев, как Вайль и Генис. Более чем за десять лет жизни за Некра- рубежом они не изжили в себе прочно заложенное в советской школе: сов — певец рабства и тоски, Салтыков-Щедрин — величайшая зануда.

Конечно, хотелось бы, чтобы «Просвещение» издало книгу Петра Вайля и Александра Гениса «Родная речь». Отлично было бы, если бы в нашей школе появился такой учебник. Но главы о Салтыкове-Щедрине и Некрасове пусть бы написал кто-то другой. Может быть, Андрей Синявский? Вот если бы Андрей Синявский! Уверена: он любит и Некрасова, и Салтыкова-Щедрина. И сумеет сказать о них так, чтобы учащиеся, если и не прочитали этих писателей в школьные годы, хоть оставили бы себе на потом великие стихи Некрасова, великую прозу Салтыкова-Щедрина.

...Тогда, летом, осмыслив обидные слова «Свободы», я пришла к выводу, что они справедливы. Взгляд на русскую литературу как на главного учителя, наставника, хранителя русской чести, надежды и славы как на оплот всего лучшего, чего только можно ждать от соотечественников и сограждан (не своих, так своего сына), как на то, что поможет нам выйти на общечеловеческий путь (жаль только жить в эту пору прекрасную...),— этот взгляд устарел и порочен. Литература — это искусство. Прекрасное, радостное искусство. Вот и надо им наслаждаться.

Дождливое было лето, прохладное, пасмурное. Но, конечно, не было настоящего холода, не было грязного снега, ледяного ветра, дней, коротеньких, как воробьиный скок. И одна за другой выходили новые газеты — одна независимее другой. И весело кричали продавцы на Пушкинской площади. И было далеко до съезда, который запросил, запричитал: порядка, порядка, дисциплины. И в воздухе не висело такое привычное нам свинцовое слово «диктатура». И казалось, что все-таки разум восторжествует, что мы не только не введем войска в Прибалтику, как ввели в Чехословакию в 1968-м, но, наоборот, выведем их и из Азербайджана, перестанем там охранять партийную власть танками и бронетранспортерами.

А к хорошему быстро привыкаешь. Помню, мои дорогие соотечественники Петр Вайль и Александр Генис, помню себя в Париже... На третий день перебирала кофточки в магазине — и не находила в них ничего такого особенного. На третий день я забыла, что любая — самая страшненькая, самая простенькая, самая п у с т я к о в а я французская кофточка у меня на родине — ф р а н ц у з с к а я к о ф т о ч к а! И цены ей нет. Помню, как уже через неделю начинает казаться такой бессмысленной суетой то, что дома пьет из тебя кровь и жизнь.

Но я живу здесь. И если завтра из всех газет будет выходить одна «Правда»... Если наш нерушимый Союз Советских Социалистических Республик, который сплотила навеки великая Русь, опять ощетинится вдоль всех границ ракетами и пушками... Если дружно, вспомнив старые песни, Прибалтика и Грузия, Киргизия и Казахстан снова приступят к строительству самого справедливого на земле общества развитого социализма... Если величественные здания в наших городах и не менее величественные заборы в поселках вновь украсятся плакатами «Партия — ум, честь и совесть нашей эпохи»... Если четверг вновь станет единым политднем для всей шестой части света, если утром по четвергам спящих

детей бедные мамы поволокут в детские сады на политинформацию, как волокли до 1987 года... Что же останется нам, дорогие друзья, любезные мои единомышленники? Что останется нашим детям? Кто скажет им: «Товарищ, верь, взойдет она...»? Кто объяснит им, что человек рожден для свободы? Кто расскажет, что такое вообще свобода и как приходится за нее бороться в России?

Ведь у нас,— знаю, об этом очень легко забыть — но ведь у нас в основном были времена, когда говорить никому было нельзя, кроме книг, кроме классических книг, кроме великой русской литературы...

И вдруг на коротенький срок показалось, что эти времена позади. Показалось, что вот она, свобода — руку протяни. А утром проснулись с этой новой хорошей привычкой — а в Литве-то побоище.

И самое досадное: никто не даст нам избавленья. Ни Бог, ни царь и не герой. Никто — даже вы, дорогие соотечественники, всей душой желающие нам добра. Душа, переправившаяся через границу, слишком легко воспаряет. Одна такая воспарившая душа сетует, что мы тут по глупости недостаточно восхищаемся своим Президентом. Другая раздражается, что мы хлопочем о суверенитете республик (вся Европа объединяется!). Третья исходит сарказмом: зачем, мол, вы не понимаете своего счастья, ведь пресыщение ведет к бездуховности. Четвертая журит нас, зачем тратим порох на борьбу с антисемитизмом, нет у нас никакого антисемитизма, посмотрели бы, что делается на Западе, в Америке. Пятая считает, что литературой надо восхищаться...

Ладно, восхищаться. А бежать куда? К вам за границу? И детям за границу, и внукам?

Но озверевшая от голода и несвободы, до зубов вооруженная шестая часть суши, боюсь, в ближайшие годы сведет к минимуму заграничный уют одним фактом своего бедственного существования.

Нам никто не поможет, как до сих пор не помог. Далекие страны простили нам Венгрию, простили Чехословакию, простили Берлинскую стену. Простили Солженицына с Сахаровым. Они не расторгли с нами договора́, контракты (деньги не пахнут), они не перестали ездить к нам и принимать нас. Чудом вырвавшиеся отсюда взывали: у нас там тюрьма, у нас там зверства, гибнут невинные люди. Ничего, отвечали им, зато у вас бесплатное образование и медицина, у вас нет безработицы...

Защитите нас, просили литовцы. Ничего, отвечали им. Никто вас уж так сильно-то и не обижает, а нам нельзя осложнять отношения с Горбачевым.

Мир циничен. Я пишу это в дни, когда в мою несчастную страну со всего мира идут посылки. Посылки шлют добрые люди — но это не отменяет утверждения, что мир циничен. Он опять, в очередной раз все нам простит: десантные войска в восьми республиках, конец гласности и... Не хочу говорить, что «и»... Пока слова не произнесены, как-то спокойнее. Мир все простит нам, потому что он нас боится. На таких чудовищ не обижаются, это слишком опасно.

И убежище у нас и наших детей на все самые лихие времена одно — наша литература. Наша классика. Во все, в любые годы были тихие чистенькие учительницы литературы, умевшие, когда вокруг в каждой глотке кляп, с помощью Пушкина, Некрасова, Толстого, Салтыкова-Щедрина все сказать детям. Нигде не читала воспоминаний, но уверена, живет, жила где-то такая учительница, у которой в классе был мальчик Миша Горбачев. И, не будь такой учительницы, до сих пор, мои дорогие, стоять бы Берлинской стене. Жаль, не все она успела...

Вот эту непосредственную связь между крушением Берлинской стены и скромной сельской учительницей литературы я — продукт своего времени, жертва тотальной пропаганды и выкормыш господствующей идеологии — эту непосредственную связь прослеживаю.

...На одном уроке заучиваешь дикие вирши о Сталине. А на другом: «Оковы тяжкие — падут, темницы — рухнут, и — Свобода...»

Надо издать у нас «Родную речь» Вайля и Гениса. Скорее всего, мои мрачные мысли сегодня — под влиянием десанта в Литву. Может быть, все еще будет и по-другому... Может быть, и у нас будет прекрасная возможность наслаждаться

литературой, а не воспринимать ее как последнее убежище, последнюю надежду и последнее упование.

Но главу о Салтыкове-Щедрине пусть напишет все-таки Андрей Синявский. Салтыков-Щедрин писал про нас самих как никто, безжалостно и точно. Без этого учебника жизни — без Салтыкова-Щедрина — нельзя оставлять взрослеющих русских. Поверьте мне на слово, соотечественники. Вы, может, и умнее меня, и образованнее, и больше знаете, и лучше понимаете. Но вы — там, а я живу з д е с ь.

Татьяна Иванова

Так угрожает ли нам появление «среднего класса»?

Статья Евгения Старикова «Угрожает ли нам появление «среднего класса»?» представляется мне и интересной и вполне справедливой.

Хочу поделиться соображениями, возникшими при чтении.

Вполне справедливо отмечается печальное сближение культурного и духовного уровня «человека со средним, специальным средним и даже высшим образованием» с «самым примитивным люмпеном». Однако на это сближение можно посмотреть немного иначе. Не только интеллигента опустить до «люмпена», но и люмпена поднять до опустившейся интеллигенции. При всех огрехах — в стране всеобщая грамотность, появилось радио, четверть века телевизор. Признано, что съезды народных депутатов смотрели многие миллионы «люмпенов». Даже если считать уровень съездовского «зрелища» невысоким, как и его понимание зрителями, все же степень вовлечения масс в обсуждение важнейших общественно-политических вопросов по сравнению с 1913 годом будет неизмеримо выше.

Да и так ли уж высок был средний уровень культуры интеллигенции в минувшие сто лет? Ведь был не только пастернаковский Живаго, но и «человек в футляре». Беликов и Ионыч. И это не вычеркнешь.

Сопоставлять уровни культуры (при всей нетождественности все же первое связано со вторым) трудно. И даже если предположить, что Беликов виртуозно владел древнегреческим, а Ионыч был мастером от медицины, вряд ли их профессиональный и культурный багаж был выше багажа современного нашего учителя и врача. Обычное для интеллигента чеховской поры знание религии и иностранных языков не покрывается ли знанием основ марксизма-ленинизма (не будем сейчас говорить об их истинности, это уже другая тема). И столь ли уж серьезный показатель культуры — владение иностранным языком?

Может быть, нам стоит ввести несколько иную культурно-образовательную шкалу в сравнении с дореволюционной? Тот, кто раньше кончал гимназию, равен сегодняшнему человеку с вузовским поплавком, а окончивший дореволюционный вуз равен сегодняшнему ученому «стипендиату».

Да, конечно, культура не определяется механически — количеством оконченных классов или курсов, но, вне сомнения, связана и с этим показателем. Если мы пренебрежем им, то получится такой произвол в определении того, кто интеллигент, а кто нет, что не дай бог...

Еще одно соображение. Очень мне по душе взгляд Евгения Старикова на семейные предприятия, семейный бизнес. Организация работ в этой сфере мне

тоже представляется необычайно эффективной. Только, знаете, надо предусмотреть возможность появления здесь «мертвых душ» — работников, числящихся (что по моим наблюдениям уже есть в кооперативах) ради трудового стажа. А главное, пенсии! А ведь ее государство платить будет. Наверное, отчисления в пенсионный фонд должны быть достаточно высокими, чтобы накладно было держать неработающих жен в штате семейного предприятия.

Повторяю — статья интересная.

А. А. Крундышев

Пока еще есть кому написать...

Судьба, да и сама жизнь человека на фронте зависела от рода войск, в который он попал, от оружия, с которым воевал.

Константином Симоновым сказано, что война — это тяжелая мужская работа, выполняемая рядом со смертельной опасностью. Всем было тяжко в этой работе, гибли пехотинцы и летчики, танкисты и артиллеристы, саперы и связисты. Но жили на войне все по-разному, очень много зависело от системы оружия: тактика, боевой дух, боевая удача да и быт солдата.

Давно кончилась Великая Отечественная. Много книг написано об ее участниках. Больше всех (и по заслугам) — о великой труженице и мученице «святой и грешной» пехоте.

Но есть виды оружия, незаслуженно обойденные писателями. Например, печально знаменитая сорокапятка — противотанковая пушка калибра 45 мм. Ее «знаменитость» была от массовости — в любом пехотном полку имелось 12 сорокапяток — и подтверждалась солдатским фольклором, давшим ей несколько метких прозвищ: «прощай, родина», «пистолет на колесах», «ствол длинный, а жизнь короткая» (это о судьбе расчетов).

Сорокапятка в начале войны, когда немецкие танки были послабее броней, вероятно, знала лучшие времена: 12—16 выстрелов в минуту — крупный козырь в тяжелой ситуации... Положение сорокапятчиков круто изменилось в 43-м году, когда немцы пустили танки «Тигр», «Пантера» и самоходку «Фердинанд» с лобовой броней 80—200 мм. Для расчетов сорокапяток настали тяжелые времена. Задачи перед ними ставились прежние — огневые позиции должны быть не далее 200 метров от окопов пехоты, чтобы она не боялась немецких танков. А что мог сделать слабый (1,4 кг) бронебойный снаряд сорокапятки с мощной танковой броней? Оставалась надежда на большую удачу, но чаще всего она опаздывала, дуэль выигрывали танковые пушки. А бывало и так: пехота отходила и оставшиеся впереди расчеты сорокапяток несли большие потери. Большинство пушек было на конной тяге. Таскали их две заморенные лошади вместо четырех по штатам мирного времени. Справедливости ради надо сказать, что сорокапятки лихо били по автомашинам, пехоте, подавляли огневые точки, но с 1943 года против своей главной цели — танков были почти беспомощны. А ведь за низенькими щитками были наши бойцы, и сколько же их погибло, угадывавших свою участь, но не оставивших орудие...

История с сорокапяткой — пример забвения ставшего непрестижным оружия и судеб солдат, связанных с ним. А много ли написано о связистах, саперах, минометчиках? Кто рассказал о страшной участи экипажей славных тридцатьчетверок, вынужденных в 1943 году с 76-миллиметровой пушкой вести огневой бой против танков, вооруженных гораздо более мощной пушкой? Она пробивала броню тридцатьчетверки с расстояния 1500 метров, а нашим танкистам надо было сблизиться с «Тигром» на 300 метров, чтобы поразить его. Потом наши танки по-

лучили более мощную пушку, но где показаны героизм и самопожертвование танкистов в боях 1943 года?

Наверное, пора рассказать и об отчаянных, связанных с огромными потерями атаках конных лав на немецкие танки и о трудных судьбах наших конных корпусов.

Великая Отечественная война — наша боль, наша печаль, но и наша гордость, неуходящая память. И эта память должна быть сохранена возможно полнее и правдивее. Сохранена для истории, ведь когда-то историки будут по крупицам собирать то, что уйдет вместе с фронтовым поколением. Нужно это и для нас, еще уцелевших фронтовиков: чем дальше уходит в прошлое война, тем сильнее желание понять и донести до молодых психологию человека на войне, его способность вопреки мощному инстинкту самосохранения идти порой на почти верную гибель.

Поэтому просьба к фронтовому поколению писателей: напишите, как воевали люди с различным оружием, как оно определяло их фронтовые судьбы. Пусть это будет продолжением начатой Симоновым киноэпопеи о солдатах разных родов войск. Ведь пройдет еще десяток лет и писать уже будет некому! Пусть это будут не романы, а повести, рассказы — все равно.

Феоктистов Виталий Николаевич,
участник Великой Отечественной войны,
артиллерист. Ныне пенсионер.
г. Москва

Адрес редакции: 103863 ГСП, Москва, ул. 25 Октября, 8/1.
Телефоны: главный редактор — 921-24-30, заместители главного редактора — 921-13-81 и 921-08-09, ответственный секретарь — 928-22-78, отдел прозы — 923-72-82, отдел публицистики — 921-14-64, отдел критики и библиографии — 928-29-42, отдел поэзии — 921-59-67, для справок — 924-13-46.

Технический редактор Л. С. Алексеева.

Сдано в набор 07.03.91. Подписано к печати 02.04.91. Формат 70×108¹/₁₆.
Печать высокая. Усл. печ. л. 21,00. Усл. кр.-отт. 21,70. Уч.-изд. л. 23,17.
Тираж 421 000 экз. Заказ № 266. Цена 1 р. 90 к.

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типография имени В. И. Ленина издательства ЦК КПСС «Правда». 125865 ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24.